



ФЛАНЁР

Николай КОНОНОВ

ФЛАНЁР

роман

Николай Кононов



Галеев-Галерея



Галеев-Галерея

Николай КОНОНОВ

ФЛАНЁР

роман

Николай КОНОНОВ

ФЛАНЁР

роман



Галеев-Галерея

Москва

УДК 882
ББК 84(2 Рос-Рус)6
К 64

Художник М. Покшишевская
В оформлении обложки использован
рисунок Д. Митрохина «На улице» 1942 г.

ISBN 978-5-90536-802-8

© Н. Кононов, 2011

*Animula, vagula, blandula
Hospes comesque corporis...*

*P. Aelius Hadrianus Imp.**

**Душа моя, скиталица
И тела гостя...*

Адриан

СОДЕРЖАНИЕ

КОРОТКИЙ ПРОЛОГ 11

Глава первая 15

ТАДЕУШ

История о молодых и бесшабашных годах N, которые он бездумно отдает больше воспитанию своего любовного чувства, чем наблюдению за грозовым временем конца 30-х и его особенностями на своей непутовой родине, за что расплачивается невосполнимой потерей и родины, и всех своих любимых.

НА ЦЕПНОМ МОСТУ 17

ЛИК ТАДЕУША 22

ДЕТСКАЯ КНИЖКА 33

Павлик 33

Самый младший из всех 35

О БОЖЕСТВЕННОМ 40

ПЛОХОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ МУЗЫК 45

ФОТО ТАДЕУША 48

ЗАСТЕГИВАЮ ЕМУ МАНЖЕТЫ 52

РЕНТГЕН 54

МОЖНО МЕЧТАТЬ 56
ХЛОЯ 60

Глава вторая 83

ПОБЕГ

Даже уединенный в Средиземноморье остров не стал в 1947 году убежищем для N, пережившего войну. Череда событий вбрасывает его в водоворот послевоенной европейской истории, кромешность и неумолимость которой не позволят ему сделать осознанный выбор своей судьбы. Ему необходимо решить: может ли случайное и вероятное стать основой для ого будущего существования. Но ответ на этот вопрос оказывается не в его власти. Ему остается возвращать надежду всеми возможными способами, преодолевая то, над чем человек не властен.

ВИД ПРЕКРАСНОЙ ГАВАНИ 87

ТРИ СТРУНЫ 89

ПОХИЩЕНИЕ В СОБОРЕ 94

ФРЕГАТ ПЛЫВЕТ 100

СОВЕРШЕННО ПУСТОЙ ГОРОД 105

ВИД ЗА ОКНОМ УТЕШАЕТ 110

ГИБКИЙ ЯЗЫК 115

ПОНИМАНИЕ ДРУГИХ 117

ГЛАГОЛ И СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 120

ОЧЕНЬ БЫСТРЫЙ ОТЧЕТ 123

ФЕЯ 125

ОДЕЖДА НЕ ПО РОСТУ 128

ОЧЕРК УНИЖЕНИЙ 133

Глава третья 135

В. А.

Череда совпадений приводит N в дом одинокого врача, где в безопасности протекают дни его новой жизни, которой надо учиться, как азбуке языка глухих. Вокруг него живут и обретаются люди, выбравшие не по своей воле вариант униженного существования в невидимом, но строго ограниченном гетто. Прекрасное прошлое и незавидное настоящее позволяют N сложить иллюзорную фигуру равновесия, без которого физическая жизнь оказывается невозможна.

ОЧНУЛСЯ 137
УРОКИ ДИКЦИИ 140
ИНТЕРЬЕР СПАСЕНИЯ 144
КОВЕР НА ПОЛОВИЦАХ 147
СВЕТ НА ПОЛУ ЖИЛИЩ 149
ВСКРЫТИЕ ТЕЛА 152
В ОДИН ИЗ ВЕЧЕРОВ 157
СТИХИЯ 162
ЮНИС, ВПЕРЕД! 173
ГОЛЫЙ В ГОРОДЕ 184
САЙГАК И Ю. Ю. 191
ДОМАШНИЕ НОВЕЛЛЫ 202
 Новая анатомия 202
 Клейма на вещах 203
 Золингенy 204
 Шленцы 205
ПРОНИКНОВЕНИЕ 209
ПЕРЕМЕНЫ ИСТОРИИ 214
ФОТО В. А. 222
САМАЯ ВАЖНАЯ ИСТОРИЯ В. А. 225
 Друг кучерявый 225
 Осенний день в Москве 227
 Дружество 234
 Я представлял себе 240
ПРОСТАЯ СНЕДЬ 244
 В ресторан! 244
 Роскошный интерьер 250
 Мимо проходит пароход 254
СПАЗМЫ 266
ПОЙДЕМ В ОПЕРУ, ЧТО ЛИ 275
МУХИ И КАРТИНЫ 280
КЕНАРЬ 284
«КУРИЦА» РАМО 286
МОИ ДОКУМЕНТЫ 288
НА УЛИЦЕ 291
 Старуха с псиной 291
 Птички как на фронте 291
 Конь тяжеловоз 292
 Пьяный оголец 293
ЕГО ПОЧЕРКОМ 297
ОПЯТЬ СНИТСЯ ТАДЕУШ 307

Глава четвертая 309
АНДРЕЙ, ГЕРАСИМ И КРАЖА

Потеря и розыски документов, доставшихся N невероятным образом, погружают его в дебри повсеместного, всего того, из чего соткана теперь жизнь множества людей. Любовная авантюра оборачивается чередой открытий, закономерностей и парадоксов новой жизни. И N попадает в ее чрево, в котором он отныне будет обитать – с новым именем, обостренным зрением и безответным чувством к своему минувшему.

ФОНТАНЧИК В «ЛИПКАХ»	311
ИЗ ОКНА	317
БУЛЬВАР	320
ДОМ ИНВАЛИДОВ	326
ПИВО НЕ ДЛЯ ВСЕХ	329
ВОРЬЕ	333
НА ПУСТЫРЕ	339
АНДРЕЙ-АНДРЕЙ	344
ГЕРАСИМ	359
ПЛЯЖ	370
ЦЕНА	383

ЭПИЛОГ 390

Решительный способ смешаться с окружающей его жизнью находится сам. N наконец становится неотличимым, почти что «своим». Для этого ему приходится покинуть привычный дом В. А., и отправиться на край света в буквальном смысле этого слова. И он осознает, что остановки в этом странствии для него не будет.

ПОЕЗДА	391
КОНТОРЫ	411

КОРОТКИЙ ПРОЛОГ

Итак, для меня эта история выстраивается с конца, который не был, собственно, концом, так как главные признаки его завершённой судьбы: кишение, смутность, недоступность и непроявленность – не были трагическим падением занавеса или смолканием всяческого шума. Это такая вывернутая догма конца, абсолютная сама по себе.

Итак, в начало моей истории, которую я хочу поведать, положен конец, но не как рубеж, рубикон, а как последнее возможное состояние, к которому нельзя приложить усилий.

Эта ситуация по сей день кажется мне вопиющей в своей неподатливости, хотя бы потому, что всю жизнь меня не отпускает.

И я все-таки не перестаю о нем думать – ясный строй вещей, череда эпизодов, тихие реплики, перечень подлинных календарных историй, слышимые не однажды, превращаются в какофонию. Одно перекрывает и смывает другое. Мне недостает некоего главного стимула к пониманию простого порядка вещей. На вопросы «как?» и «почему?» ответа я не получаю. Время, присущее моей мысли, начинает топтаться на месте, не делая ни одного шага. Может, мне не хватает единственного маленького толчка, чтобы сдвинуться с места? Но те, на кого я возлагал надежды, уже мертвы и объективно мне не помогут. Меня заливают какой-то шум; для того чтобы в нем пребывать, должна быть сильная причина – он неприятен, происхождение его неясно. То ли гудят трубы высокого давления, то ли скандал у соседей. И то и другое неустановимо.

Мне всегда казалось, что это занятие грозит проигрышем. Проигрыш в нем заключен как одно из условий осуществления. Вот незадача.

Надо бы начать с описания документов, которые я помню даже на ощупь, бумага обветшала, да и их перечень ничтожен. Перетертая бумажная ленточка с номером его последней войсковой части и последним адресом полевой почты.

Не русской, не русской.

Два ответа из государственных архивов.

Он не значился ни в списках пропавших без вести, ни в списках убитых и раненых. Он просто исчез, не вернулся из похода, куда так бодро и в сердечном веселье отправился. Из Тишинского края пришло одно совсем краткое письмо и вложенная в него фотография веселого колониального шествия его отряда. Над дальним холмом ветер приподнял шальное облако, похожее на конфедератку. Я еще подумал тогда: «О, какие приветы тебе!»

Мне необходимо различить следы времени, исчезнувшего навсегда. Может быть, я и помещаю таким образом себя в специальную ловушку. Но хотя бы два выхода из нее кажутся мне вполне возможными в силу построения достоверной череды следов, все-таки дошедших до меня с разных краев света. И один окрашивает воспоминания в жизнелюбивые цвета жаркого Средиземноморья. А другой – мрачный и смрадный, словно корабельный трюм или нутро арестантского вагона.

Он сам, в каком-то смысле отсутствующим телом, почти что стертым голосом начал проступать как бы из глухоты моих сетований: «А вот сколько лет было бы тебе сейчас...».

Глава первая

ТАДЕУШ

НА ЦЕПНОМ МОСТУ

Он был странным – не в смысле поведения или вида. Нет, иначе – странным был его дар, доставшийся человеку просто так из несложной, в сущности, семьи обедневших и беднеющих зазнаек; все к самому концу тридцатых вокруг них было искорежено неумолимой русской и нервной польской историей.

Когда я смотрел на него, вернее, когда сейчас через столько лет его вспоминаю, – словно вижу насекомое, которое вот-вот минует самую смутную свою фазу, чтобы преобразиться. Во что? Я себя никогда не спрашивал, так как главным было просветленное напряжение, в котором он пребывал, которое его изумительно сковывало. Не думаю, что таковым его делает мое любовное воспоминание. Это чувство нас не касалось тогда, все кружилось вокруг любопытства. Потом я все-таки признался, что меня в нем интересовало: как он понимал точные науки, где в его курчавой голове это укладывалось, так как никогда ниже высшего балла он аттестован не был, и не было таких вопросов, которые он оставил бы без ответа.

Но самое удивительное – он действительно понимал, будто это и было его глубочайшей сутью, врожденной программой, – будто он сюда послан для того, чтобы понять, прежде чем почувствовать. У меня все было наоборот – я всегда был расстегнут, держал внимание, как мыльный пузырь, такой шарик сверкающего воздуха, только для того, чтобы почуять во всем другое. Совсем-совсем другое, которое никогда не станет моим.

Образы математики, перед которыми я недоумевал, ужасался и очаровывался, он понимал как-то по-особенному искренно и достоверно. Почти напрямик, будто сообщение было обращено именно ему. Он был честным человеком, но новости символов предела или интеграла, как он говорил мне, действовали на него как откровение, будто они были адресованы именно ему – во-первых и навсегда.

– Других адресатов нет! – вскрикивал он, очарованный какой-то леммой, – а у тебя не так разве?

Как же я не чувствовал так же, как и он?

Он пытался не то что объяснить мне, а внушить, что означают эти слепившие меня парадоксы, когда «нет» больше, чем «есть», потому что стало недоступностью, но наличествует.

Господи, друг мой милый!

Ты старался.

Я внутри не очень тебе верил...

Хотя простодушие его голубоватого или же нежно-серого взора, слова, произносимые темными губами – мне всегда казалось, что они не рождаются глубиной его тела, которое вообще страшило меня, так как чем-то волновало, – а слетают молодым прозрачным слоем, заключающим в себя воздух, который попадает в меня. Я будто ел его слова, когда слушал, а он, как ни странно, поговорив со мной о чем угодно, уставал, будто что-то терял.

– Тебе тяжело объяснять, хотя ты все понимаешь, – бывало, говорил он, прикрывая конспект или учебник. Но всегда сам заговаривал со мной. Он меньше меня стеснялся, чем я его, так как, наверное, видел меня насквозь.

Ну как его описать? Когда минуло столько всего, какими такими словами? Ведь время, которое мы переживали порознь, как-то затуманивало его, но не затемняло – и мне всегда было легко выудить его прежний облик, кажущийся мне исключительным. Но не потому, что он был красавцем, конечно нет, он им не был, а потому, что нравился мне. Будто он дополнял собой, как пазлом, некую картину, не созерцая которую я бы не смог состояться; не чужа линии его завершеного тела, я не мог бы почувствовать и себя. И посейчас не знаю – собой ли или его частью.

Вот история. Мы в захолустье где-то ловим раков (которых я, кстати, есть не могу). На машине трястись часа полтора, но он раздобыл «машинку», и мы небольшой компанией трясемся. Он сладко рулит.

Езда по битым сквозь пустоши дорогам воспринималась мною слишком культурно – будто я сам или передо мной перебирают театральные кулисы, опускают друг за другом задники, бесшумно выгалкивают декорации. То истовых просветов, когда ошеломленные низким порозовевшим светом оперные молельники выходят из скитов, то косых ливней, – это словно дирижабли прошли на высоте бомбометания со шлейфами. Театр да и только. Как правило, люди красоты эти не примечают.

Ну так вот – доехали до какого-то разлома среди пересохшей за жаркую неделю пустоши – к нему вела неезженная дорога, прошлые следы взошли в траву, как недельный шрам, – автомобиль трясся по отвердевшей сукровице, мы будто глодали шрамы на дорогом теле. На самом дне разлома стояла темная непрозрачная вода – «как ужас», – кажется, сказал я. Он как-то быстро взглянул на меня и бросил: «Не пизди», – будто читал мои мысли, не ставшие словами, – на этот раз его высокий голос словно стал ветошью, которая вполне может загореться, он ведь редко ругался.

Он вообще-то выдал себя, потому что тоже волновался, будто заранее знал причину.*

В мягкую воду, в рыхлое дно пришлось лезть мне – мы кидали монету, – а он забредал по берегу. Единственное, что он сделал, – разделся до

* Я хорошо помню тот день, так как впечатление от зрелища его тела оказалось сильнее, гораздо сильнее, чем когда мы с ним переспали.

трусов, будто этим мог помочь мне, хотя в воду лез только до середины икр – он брел, как увечная статуя (обезножившая).

Он вообще показался мне тогда копыеносцем Праксителя – утомленным бойцом.

Хотя что его томило? Он испугано взглядывал на меня, будто я упущу всех раков мира и опозорюсь навсегда перед всеми – его дружками, попивающими вдальеке, земным скатом и непомерным небом.

– Лучше бреди, получше! – как птица, вскрикивал он, будто помогая мне; и я старался.

Наверное, я увязал в жидком грунте, но не показывал вида, только смотрел на моего друга, с которым был связан таким странным образом.

Тогда до меня дошло, что он очень красив особенной отчужденной красотой, о которой, кажется, еще не знал. Я вдруг осознал, что тело его – сухое, и между белой кожей и мышцами нет прослойки – словно своим нутром он достигал границы, оболочки, – он был равен себе без допуска, а может, я почувствовал его столь пронзительно тогда. Мне даже показалось на расстоянии четырех шагов, и бредень был примерно такой длины, как он светится, испускает невидимый, но осязаемый мною свет. И если бы я напрягся, если бы смог освободить руки, то, пожалуй, и схлопнул ладонью тугой жгут его недалекого от меня истового горения. Я подумал, когда он снова велел мне «брести», что вот – он меня достиг. Как лунный свет днем – никому не нужный на самом деле, а просто приманивающий селенитов, которые пойдут за ним.

В своих белых трусах, уже изрядно попачканных разводами, он был вульгарен. Блондин с темноватой выпушкой на груди, из пройм трусов выбивалась темная волосня, как гарь дальнего пожарища. Но эта темень только озаряла его, будто он был волшебным со своей светло-светлой растрепанной башкой.

Наши спутники в неведомом отдаленье давно начали выпивать и уже, верно, покрикивали друг на друга. Но то, что мы должны были процедить через мережу весь длинный водоем, отдаляло и уединяло нас и обрекало на стеснение. Он начинал чувствовать неловкость нашего занятия, будто мы пели дуэтом любовную арию, – и действительно, бредень, иногда поднимающийся над взбаламученной водой, напоминал нотный стан с непонятными значками, застрявшими в тонком стекле ячей*.

Еще смешной мелочный дух – будто огромным валом раскатали сухие семена перестоявших низких растений. Да, вот-вот этот «низкий» запах, щекочущий ноздри, от которого хочется опустить голову, смотреть себе под ноги: полынь, чабер, зверобой, перетертая почва, перекати-поле,

* Много позже я прочел стихотворение, где он был обрисован с какой-то шемящей точностью, – одной строчкой – «один из ста», еще эпитет «далекий», и все стихотворение кончалось горестным «это странно», будто действительно не осталось ничего, все иссякло и обеднело и неизвестно – как надо было бы жить дальше.

волочащееся пустой сферой... (Но я глядел в черное зеркало грязной воды, которую баламутил еще сильнее, сдвигая сеть.)

Да, при всем его ошеломительном даре, уме – он был «один из многих», – хотя для меня и его единственность была апофеозом типического. Его кряжистость была в каком-то смысле пародийной грациозностью, стоило присмотреться к его запястьям и кистям в темной штриховке волосков, чтобы почуять тонкость и точность его устройства, если так можно сказать о человеке; но интересно, что я всегда видел сначала его жестикуляцию, а потом его самого – он словно оставлял в воздухе следы, которые затухали чуть позже, чем само движение – его рук, головы или корпуса. Его выразительность была особенной, видимой только мне, и мне порой казалось, что для других он вообще стерт – просто слова из предложения «один из них», по которым прошелся ластик.

Но я однажды попробовал его. Для чего? Наверное, потому, что он стал казаться мне бестелесным, я ведь почти его пронизал, и когда смотрел на него, то вдруг до меня доходило, что мое зрение не отражается от него, так как я видел его как ноумена, как культурное событие, которое не может исчезнуть никогда.

Однажды, стоя друг перед другом в университетской рекреации во время перерыва, когда старый профессор ровно посередине прерывал свою прекрасную монотонию, чтобы не торопясь прошествовать в свой кафедральный кабинет и вернуться чуть порозовевшим и продолжить теорему, иногда взблескивая глазами, – так случалось дважды в неделю на лекциях по методам математической физики, – мы стали шутить, что зачем это мы с ним сюда ходим, он все знает, а я потом, может, спишу его лекции; и я стал будто выталкивать его, я положил руки на его плечи, где должны были быть погоны или эполеты, и качнул его от себя и почти сразу к себе. Меня потряс его отклик. В самом деле – потряс. Будто я наклонил водяной столб, и он всю силу инерции, вдруг ожившую в нем, обрушил на меня. Я и не думал, что с чужим телом можно так совпасть, войти в сумеречный резонанс.

– Как на цепном мосту, – выдохнул прерывисто он, отодвинувшись от меня.

Он подумал о том же.

Прикосновение сразу стало ответом.

И я не задавал никаких вопросов, так как понял необходимость его для меня.

Мы волочем с ним сеть – сколько раков попадет в нее? Сколько рыбин? Но его голое тело – широкая грудь с пятнами сосков, ребра, поджарый дышащий живот и темная стрела, убегающая в тусклости, – с него можно лепить статую рыбака; и однажды я видел что-то похожее – деревянный торс в натуральную величину из какого-то светлого дерева, которое оживало, когда взгляд касался годовых колец, ставших призрачной глубокой татуировкой.

– Ну что ты на меня смотришь? Я здесь, не ушел, – вдруг говорил он, хотя как он мог уйти посередине лова.

Он брел, повернувшись ко мне в пол-оборота, и мне тогда казалось, что мы держим сетку для игры, не знаю какой, в волейбол или в теннис. Будто нас подрядили держать эти снасти. Вообще, в его позе было что-то античное, что многократно повторялось и вошло в типаж мужской красоты. Если бы он узнал об этом – удивился бы. Но белый выпачканный грязной водой трикотаж плотно облегал его член и мошонку, и они, прикрытые, были стыднее, чем если бы он был голым. Из-за выразительности – словно зрелище его требовало слов – точных и плотных, как материя, что обжимала их рельеф. Хотя это было не самым выразительным местом его тела. Меня больше влекла жила, туго стекающая по шее – от впадины за ухом в сторону ключицы. Если бы он не тянул эти браконьерские снасти, то обязательно скользнул бы пальцами пару раз по этому анатомическому чуду, оттопырив себе ухо, а потом чуть оттянув ворот тенниски. И в этом была какая-то глубина эротизма, которая иногда проступала в нем.

Пах под трикотажем был его бастионом, где скрывалась жизнь. Когда под произнесенным словом проступала пластическая формула того, что оно обозначало соединением слогов. Будто бы он носил с собой особый достоверный словарь, прикрытый тканью. То есть я хочу сказать, что это место было чересчур многозначным и лучше бы он был просто голым – с одним-единственным молодым смыслом желания. Но повторюсь еще раз – тогда он был более желанным мне, нежели когда мы с ним сошлись в самой близкой близости. Но речь не об этом. Мне надо его каким-то образом утвердить, чтоб он не растаял, как время, которое так разное нас обуяло, ведь стрелки у него точно не шли. Я до этого видел, видел его голым, но запомнил иначе и член его и яйца в черной выпушке, видел не как единственность, а частью общего мужского знака. Если бы он узнал об этом, то обиделся бы, наверное, сказал бы: «Что, как женщину, что ли?» И об этом тоже будет вестись речь... И я любил в нем – и ни мужчину, и ни женщину, а простое вещество своей страсти, которой был в самом делен обуян.

ЛИК ТАДЕУША

Мне всегда было трудно вспомнить, вернее, подобрать слова к его лицу – все по отдельности, но вместе. Может, просто голова? Я слишком хорошо запомнил его на ощупь... Он казался каким-то гипсовым, но под рукой или губами был сплошь мякотью, как детская игрушка со свистулькой в самом укромном месте – на животе или под мышкой, но где они у слонят или мышек?

Потом в нем было что-то нехорошо-героическое, будто можно звать Дейнеку, чтобы писать с него бойца, приметившего супостата. То есть что-то русское, но такое, чем оно стало, когда в одной банке встряхнули миллионы. Только вот волосы – совсем светлые, невзирая на темноватую щетину и темно-пегий, животный пух на теле, когда загар его не касался. Но он моментально золотел под солнцем, у меня была возможность убедиться в этом. Да-да, он был именно ровной смесью – ни высоких татарских скул, как у Шукшина, ни узкого казачьего носа, ни былинных кудрей. Важен был подбородок – тупой, но мощный, держащий высоко челюсть, так что когда он глотал – кадык летел вверх и падал, как гиричка сдуревших часов. Я всегда думал, глядя на него: «совсем нет времени».

Был такой бредовый фильм, где герой один делал то, что не сделать и полку: валит гектар ельника, разгружает состав со снарядами. Смотреть его надо было, зажав уши, чтобы только видеть этого потемневшего от страсти человека, и было неважно, на что была обращена его страсть – на стволы, будущее или на меня, глядящего на его обольстительный черно-белый облик.

Он был похож, да, был, хотя совсем не походил. Но я знал, что внутри него идет такое кино, что вот-вот что-то произойдет при полном попустительстве акустического пространства, ибо он был почти неслышим. Это несоответствие поражало, словно его надо было специально размыкать. Именно поэтому глагол «заточен» – про него – он колот неслышно, и реплики, которые он произносил, были тоже острыми, но не протяженными, ничего не надрезали. Ну, понятно ли становится теперь, мне очень хочется, чтобы он стал похож, тогда мне тоже станет легче – я смогу ему соответствовать, ведь тем, что я стал сам собою, я обязан именно ему, его ли линиям, с которыми совпадал, как пазл, его ли звукам, которые оживили меня, запахам, благодаря которым я полюбил жизнь.

Может ли так много сойтись в одной точке, не имеющей даже протяжения?

Может. Может.

Бессчетное количество раз – может!

Ибо так случилось со мной, и это, может быть, главная истина моей жизни.

Дурацкое кино, я засматривался на регулярную суету кадров, как фетишист на предметы, которых касалось родное теплое тело.

И я его имел не в дурном смысле, а в абсолютном – с какого-то момента – и навсегда; так, став моим, он стал мной. Или наоборот, но за него я не скажу – это было бы несправедливо.

Он стоит передо мной, и я боюсь, что разность между нами чересчур жесткая, если я двинусь к нему или от него, то все рассыплется, – и он уйдет первым, просто нырнул в проем – все равно в чем – во времени дня, в стене – ему надо было уходить, с этим «надо» ничего нельзя было сделать.

После той ловли раков, невзирая на его облачение, я всегда видел его голым, будто мы очутились в жарком прозрачном лесу и разделись. Мне немного страшно, ему – совсем нет. Как ни странно, когда я пишу это, меня не оставляет чувство, что все впереди и я никогда не опоздаю.

Я любил, когда цвет его светлых глаз – все-таки ни синий и ни голубой, в зависимости от света дня, переходил таинственную серую границу и делался неуловимым. И ничего не означающие, сугубо литературные голубой и синий обретали значение страсти, так как сера горит, вспыхивая от шершавого нажима, рассекая вокруг бороду искр. И я говорил ему «серый, серый», не произнося этих заветных слов вслух, а просто чиркая его своими, карими, как наждаком на расстоянии протянутой руки, не вытянутой, а именно протянутой от меня к нему, ведь именно я его просил. О чем? Ну не кончатся хотя бы. Ведь без его умиротворения я просто бы прекратился – стал бы бестелесным, ни на что не годным, просто существом.

Иногда он останавливался, опирался о древко, к которому был примотан бредень, как копьеносец на привале, и свободной рукой подтягивал единственную часть гардероба, белый трикотаж еще сильнее теснил и выпячивал его пол, будто специально, чтобы я видел – с кем имел дело. «Ну, не замерз еще?» – спрашивал он меня; я не сознавался. Не потому, что мне было не холодно, а оттого, что уникальность его наготы и моего неотрывного созерцания были даны только в этот день, и больше никого не было, нам никто не мешал – это словно было настоящее свидание, репетиция, пение – по нотам, и, как я уже говорил, мережа с набившейся грязью, какими-то ветками, слюдинками липкой воды напоминала мне партитуру и говорила в тишине на сумбурном страстном языке, связывающем нас.

Я понимаю, что он получается немного куцым, вроде бы тело было в нем главенствующим, но выбрать эпизоды, которым я свидетельствовал,

затруднительно – они вполне уложатся в такое обычное и невозмутительное мыло, что я не хочу неволить его этими воспоминаниями – он был лучше того, чему должен был соответствовать. Он не мог лгать во всех смыслах – так как имел чутье на людей, на ситуации, не мог халтурить. Я даже думаю, что это из-за его телесной органики – у него бы это не получилось, он бы просто распался, и все увидели бы, что он лжет. Так иногда бывает у цельных людей. Мне также не кажется, что я наделяю этими качествами из-за того, что любил его. Я думаю, что он и сам по себе, вне моего внимания смог бы остаться собой. Он мог миновать искушения. И я поэтому не хочу перебирать варианты его действий – все очень просто – он не мог изменить себе. Ведь это столь очевидно при его пластике. Я даже не могу представить, как он что-то просит. Невероятно. Ему ли, виртуозу ходьбы, внимателю простых смыслов, нелукавому и сильному, подсовывать просьбы, изложенные на бумаге его уверенным почерком?

У меня есть несколько его писем – простых, бессмысленных, словно сложенных из элементов конструктора. Я никогда не читал их, я их разглядывал, и некоторые буквы, выведенные его рукой, стали для меня фетишами, совсем простыми, так как именно гласные «а», «е» и «у» влекли меня с невероятной силой, и, разглядывая текст письма, я ловил себя на мысли, что не понимаю слов, не говоря уже о предложениях. Может, я точно так же и говорил с ним? Хотя была одна особенность наших бесед – я ждал всегда от него невероятного хода – будто он на моих глазах решал чудесную задачу в несколько элегантных движений, превращая недоумение и загадочность в очевидность. А как же еще?

– Ну вот – смотри – так, так и так! Видишь?

Я видел свое очарование им, я словно чувствовал, как он нагревается, словно захватывал еще и весь мировой континуум напряжений, сопоставлений и рывков, почти неведомый мне. И вся его дальнейшая жизнь оказалась связана с тяжелыми решениями – и в профессиональной сфере, и в других, к которым и я оказался причастным.

Я до сих пор не знаю, – можно ли мне было применять к нему аналитические приемы, – скорее нет. На мой взгляд, он был удивительно целостным и делал только то, что надо было делать, – эта внеположность его поведения захватывала меня. И поэтому, за какой сторонний сюжет я бы ни взялся, это всегда делалось пафосным. Он был какого-то ровного происхождения – без фрейдистских перегибов, – и то, что он полюбил меня, убеждает в том, что все эти теории к отдельно взятому человеку не очень применимы. Но об этом позже.

Я не интересовался его детством, да, думаю, ему и нечего было мне рассказать о своей «начальной поре». Мне даже казалось, что он просто «взялся», как-то «завелся». Сразу стал таким, каким стал. Я не знаю, можно ли применить к нему прошедшее время – «был». Как-то я видел его детские фотографии – и меня поразило то, что он просто окреп, сохранив то же выражение лица, тот же легчайший наклон головы, такую же чуть скованную

жестикуляцию оловянного солдатика. Он вообще фотографировался как кукла – на его зримой поверхности словно проступали стрелки, связывающие зоны его тела, будто план боевых действий, по меньшей мере можно было учить токи лимфы и следить, как собирается в узлы тепло. Кстати, о тепле – у него всегда были почти горячие руки – я один раз осознал меру его тепла, сжав ладонью поручень в автобусе, когда он отпустил свою, – так быстро нагреть эту холодную зимнюю железяку было невозможно. Мне даже думается, что, выпили я ее волшебной ножовкой, в ней навсегда сохранилось бы его тепло. Но это фантазия и не лучшего толка, мне предстоит отстаивать его свойства другими способами.

В конце концов он остановился и велел мне: «Забредай» – и показал освободившейся рукой, как примерно мне это сделать, – я пошел по дуге, сужая радиус. Мы встретились – в сети набилось, кроме мусора, десятка три раков. Он скрутил снасти вместе с их шевелящимися черно-зелеными телами – я смотрел на них с омерзением – пару отползших он поймал голыми руками – раки топырили клешни.

– Мы должны идти назад, но я захотел тебя поцеловать, при тех оборотах это, кажется, будет не совсем удобно.

Он сказал это так, что моего желания для этого было совершенно не нужно. Так, держа раков в руке, он быстро подошел ко мне.

– За что? – спросил я.

– Не за что, а во что – в рот.

Банальные описания мужских поцелуев, составленные классиками этого дела...

Только один Платон и оказался по-настоящему прав. Это было так, что я на всю жизнь осознал, как легкая чешуекрылая душа слетела с его сухих мягких губ, и я подумал тогда – ну отчего меня женщины так не целовали, почему я не целовал так их. Но это я только теперь так думаю. Тогда меня ударило, наверно, вольт пятнадцать. Я замер, упершись в него, – он стоял от меня на расстоянии рачьей клешни, не прижимаясь – меня лишь толкало его животное тепло, и он тяжело дышал носом. Я испытал жгучее чувство стыда, почувал, как краснею, будто упал в крапиву, но не от этой запретной территории, а оттого, что он таким образом приумножил меня, и степень увеличения была беспредельна. Это был не приветный поцелуй друга, в этом жесте открывалась бездна новых неведомых смыслов хмеля и галлюцинации, похищения и пропажи. Он сказал потом, что сделал это впервые, и на мой дурацкий вопрос, в котором, конечно, я напрашивался на похвалу в свой адрес, он всего лишь сказал:

– Так надо было.

Будто доказал теорему мне, дураку, не понимающему красоту простого хода. И он прибавил:

– Тебе ведь хотелось. «Хотелось» – происходит от «тело», – еще важно прибавил он.

Это и так было ясно.

Он целовал меня с открытыми глазами, и я увидел эту серую посуровевшую неотрывность.

Что такое близость, я понял, смотря в его пристальные глаза, где не было ни тени улыбки или самозабвения.

Меня тогда поразила одна вещь – во всем, что он делал и тогда и позже, не было эротизма – причина была в необходимости этого поступка, в его неодолимости. Его желания были жесткими и прямыми, как фронтовые расчеты: если их не осуществить – нам грозила бы гибель. Я потом думал, отчего государство в самые свои жесткие годы карало мужеложцев? Наверное, оттого, что они становились слишком мужчинами, находя в себе корень человеческого, того, что не имеет пола, вне жестокости, которую себе присваивало государство. Может, это вообще – критика Бога, первый страшный шаг? И ведь действительно, как мне раскрылось потом, – я любил лишь то, что не имело пола, что было вообще – существовало, было выражено, звало меня без обязательств, вне долга.

Это странное сравнение, но с ним я поцеловался тогда, как с боксерской перчаткой, которая не ударила меня, чью гладкую кожу я со страхом ощутил. Здесь не было ничего мазохистского, это было как причастие, я должен был это обязательно проглотить, впустить в себя. Какого она была цвета? Телесного, переходящего в коричневый. То есть я хочу сказать – в этом поцелуе была тень поединка, вызова, открытости и закона. Качалась ли почва под нами? Ушла ли, как говорится? Наверное, ведь ничего кроме его губ я не почувствовал – все остальное отодвинулось, изошло. Остались мы. Пахло ли чем-то от него? Мне ведь кажется, что этот отчет очень важен. Может быть, только папиросой, которую он выплюнул, когда вел бредень, ведь его руки добрый час были заняты... Но я этого не почувствовал, потому что не испытывал его, пододвинувшегося ко мне так близко, что я... что я... Ну что мне сказать? Я перестал быть собой.

Ну, пошли мы, пошли назад со своей добычей – он грязный, хотя и не был в воде, я – мокрый и покрытый гусиной кожей; кажется, я дрожал и ничего с этим поделаться не мог; два шага впереди – я видел его широкую прямую спину, «срез шеи», высокий затылок, ложбину, поднимающуюся в потемневшую шевелюру, он иногда мог темнеть и делался из блондина шатеном, расстояние в два метра казалось мне неодолимым, он чуть размахивал снастями, в которых шумели раки.

«Чужой, чужой», – как восклицание, забилося во мне.

Я забежал вперед, обнял его, припал всем телом и ударился о его лицо – нос, щеки, подбородок, щетина, губы. Он бросил поклажу и ответил мне. Мы стали одним, как сиамские близнецы с общим кровотоком, – срастись оказалось можно за одно мгновение. Он отпрянул и выдохнул в меня: «Ты не один», – и прижался опять. Сердце, если бы оно было только моим, должно было выпрыгнуть к чертовой матери, но оно было одно на двоих.

– Ты мой мужчина – сказал он. – Ты мой... – и он опять улыбнулся.

Раки расплозились, как ртутные капли в кино наоборот. В потемках мы их еле собрали, – я тоже научился их ловко ловить.

Этот сюжет не должен быть, так как право на его существование мне не доказать, это совершенная эфемерность – как счисление атмосферных явлений – радуги, дождевой тучи, нижнего края прекрасных облаков.

Я всегда думал, какую точность надо употребить, чтобы удержать их иллюминацию? Вот так же и с ним. Проходит время, и все говорит мне о том, что куда больше оснований забыть все, так как особенности его жестов рассыпаются на элементы и не могут быть воссоединены моим теперешним чувством в конечный силлогизм – его сияющей сосредоточенности на мне, ведь его дар был безупречен и искренен, – но где, где нужные слова? Они должны лечь на язык, как слова любимого поэта... Так, чтобы между их смыслом и звучанием не было зазора, как в его губах, когда он поцеловал меня. Правда, одна загадка все же есть в самом слове «поцелуй»: там пробивается корень «цел» – «целый». Действительно, он заключил меня, наделял меня целостностью и однозначностью – вместе с ним я стал равен самому себе, так он вошел в меня, и мы совпали.

Он, как престижиджитатор, у самого моего носа показал фокусы, в которые не верить было невозможно. Извлек число и возвел его в невероятную степень.

Мы возвращались к месту нашего пикника, где двое других уже были навеселе, и мне надо было быть наготове, будто не случилось ничего, просто затянулась ловля – но вот – смотрите, это кое-что, почти с полведра, даже побольше – наловить столько – это о-го-го. Я ждал двусмысленных шуток, грозящих ему унижением, а мне ведь было наплевать, я не собирался делить с ними время дольше этого вечера и ночи – и вообще их никогда не увижу больше. Но если бы мне дали зеркало, если бы хотя бы встретилась одна ровная лужа, – я бы был ошеломлен своим видом – скрыть ничего было нельзя – я будто видел себя самого – глаза мои горели, рот румянился, я молчаливый говорил о себе на языке громовых раскатов... Я ведь ничего не умел скрывать.

Но уже всюду надвигался вечер – вроде темное время суток перестало стесняться и притиснулось к линии горизонта, которая в степи – главная составляющая пейзажа, будто уже нет больше сил сдерживать эти судорожные силы, сливающие все зримое в одно сумеречное единство – на меня эта пора действовала странно – я вглядывался в нее, если время можно различить, я искал в ней следы своей прежней жизни, но перед этим сближением все мои обиды были ничтожны, так как оно было захватывающим, – и каждое облако, подержанное снизу, со стороны светлой брюшины, казалось непомерным даром, не имеющим протяжения*.

* Язык, на котором говорила атмосфера, был языком недоумения, названия облаков, их местоположения оказывались неуловимыми, прозрачными, будто этих слов не было вовсе...

Для подробного описания этого события понадобилась бы фотография без ее сосредоточения, отчета – все становится ускользающим – будто через меня тянут шелковину, и я не могу уравнивать череду слов с безмерностью видимого смысла, входящего в меня без напряжения. Это то, что нельзя исчерпать, это то – чего почти что нет, так как для того, чтобы быть, я совершенно не требуюсь.

Мы шли по сухой колее, в узле бредня трещали раки, и мне казалось, что эти звуки порождают наши тела, и кроме этого тихого шелеста ничего не оставалось за нами. А может, так гомонила моя сухая кровь, ведь я чувствовал свои жилы, будто в них сочился горячий песок, как в часах. И я никогда не смог вернуться к тому грязному водоему, рыхлой глине, сереющим к вечеру небесам, так как не взял с собой ни камушков, ни крошек, чтобы отметить дорогу.

Он вышагивал не качаясь, опережая меня, не помахивая спутанным узлом бредня, отставив руку, напоминая мне приземистого Давида с боевой оснасткой в руке – он белел на фоне близкой темноты. Самое страшное ощущение – что он может сравниться с ней – с россыпью безлунного времени. Его тело словно бы не имело зримых границ – он не был героем этой поры; так, лишь соответствовал ей, находясь на самой перепонке себя самого и чистого несуществования.

Не знаю, как это пояснить, – при всей своей ясности он был непомерной загадкой, разгадывать которую было сродни его уничтожению. Ведь желания его не имели причин, так как были равны ему. И я никогда не узнаю ни его детских книг, ни настоящей семейной саги – он об этом никогда не затевал правдивых разговоров, так как почитал самоочевидным и несущественным. Он не предназначался для психоанализа, в нем не искрило травматическое прошлое, так как то, чему я с испугом свидетельствовал, было им пережито без следов.

Лучшее, что в нем было, – это его настоящее, в котором он терялся, как певчая птица в лесу.

Я иногда вижу его издалека и с высоты, будто стою на высокой городской стене, а он там – внизу собирается куда-то уехать на вечернем пароме. Незначительная маленькая фигурка, частность, зажатая в вечернем времени, будто бы для того, чтобы только мой взор об него споткнулся. Но сфера его жизни, колеблющаяся радужным пузырем, где переливаются времена и страны, где есть я, уже неведомый ему, – вдруг предстала мне во всей светозарной силе его жизни, вдруг (тоже вот слово!) таким странным образом прочитанной мною. Это там, где улица, а точнее, щель между пожелтевшими домами, ул. Архиепископа упирается в парапет бастиона, нависающего над морем. Ничего не домысливая, просто вечерним фланером я увидел неистовую силу его жизни так зримо, что мне пришлось глубоко вздохнуть, и ноздри будто опалил запах – тела, старого платья, странной

торопливости, которая пахнет жалкими бумажными билетиками с шести-значным черным номером.

Незатейливый звук колоколов – будто привели детскую экскурсию в литейный цех. Наковальни, молоты, неэкстатические толчки пыльного звука, ухающая патина, которую глушит низкая синь, отверзающая розовый стыд заката. Это именно так – не стилистическое преувеличение, не измышленная краснота.

Еще особенность его способа существования, я давно это за ним приметил. Когда он где-то являлся – на лекциях, в компании, в библиотеке, то есть там, где я мог наблюдать безнаказанно за ним, – меня всегда поражало, что он не давал мне сосредоточиться на какой-то своей истовости, будто его оболочка состояла не из соразмерностей, что граничат друг с другом, а из полевого рассеянного субстрата, не имеющего границ, – это странно, но его внутренняя жизнь доминировала над его незаурядной внешностью.

Я всегда мечтал о его фото, где мог бы его спокойно различить, – он или читал книгу, и было видно, как порции смыслов обретают завершённое действие, которое, будучи понятым, делается по-настоящему необъяснимым, так как он его уяснил и вместил в самого себя: мною всегда читалось его увеличение – я словно видел, как незримые меры его тела растут на неизмеримые величины. Это было странным, но очевидным его свойством. Даже когда я перехватывал его взор, вдруг оторвавшийся от книги, когда он проходил им по моему лицу, шее и дальше, – я начинал чувствовать, что он ловит мой смысл, как вспомогательную лемму, чтобы внять чему-то настоящему, что простиралось перед ним.

Нет ничего удивительного, что я искал его общества.

Рядом с ним я чувствовал какую-то свою новую полноту.

Он мог смотреть, проникая, и кажется, его зрение, если это возможно, вообще не сходясь в фокусе – просто длилось куда-то, где никто кроме него не побывал, да и был ли он там сам?

Я иногда это свойство наблюдал у женщин, но никогда больше, никогда – у мужчин. Они, как правило, что-то сосредоточенно уясняли, будто искали отверстие, куда можно попасть – вложить отмычку и повернуть, это обычно острый взор охотника или вора, будто между зрачком и объектом натянуты тонкие резиновые жилки, такой язык игуаны, или наоборот – мужские очи апофеоз иллюминаций, когда человек смотрит, не видя ничего, кроме своей внутренней фигуры желания – широкой и необъятно виртуальной. Но зрение, присущее моему другу, когда вот-вот может скатиться слеза, когда видение настигнет его как экстака, – было совсем не мужским. Может, кто-то и называл его блаженным? Словно молодая неусталая женщина, во всем видящая объектив фотоаппарата – в пудренице, в засахаренном фрукте, в картинке глянцевого журнала, словно она любит не смотреть, а смотреться, вопрошать, требовать подтверждений своему кроткому взору. Когда Диана выходит на ловитву – в ней просыпается мужчина, то есть засыпает все, кроме возможно-

сти увидеть точную точку своего желания. Может быть, в этом сходятся все – и мужчины и женщины – хотят, чтобы в них открывался глаз: женщины – мужского устья, а мужчина – бесполого озаренья.

Эту его особенность, наверное, кроме меня, никто и не подметил – мы говорили потом об этом, – когда мне в каком-то смысле удалось «увидеть» его изнутри.

Еще это было похоже на дневной сон с открытыми очами, вроде бы для того, чтоб он начал жить, его надо было сперва пробудить.

Меня озадачивала его внутренняя структура – между мужским и женским – она иногда проявлялась в его легкой походке циркового акробата, хоть он был чуть косолап, но казалось, мгновенно может схватить перш и легко удержать многозвенную человеческую пирамиду. Это странно, но эти телесные качества вдруг прорастали из него, будто до этой поры он держал их в тени за драпировками, в совершенной отдельности от обычного себя. Но мы ведь всегда чувствуем, если только не полные тупицы, – что кто-то есть за занавеской в пустой комнате, – иначе и не бывает. А вот еще в нем – еще тайна – прежде чем взглянуть, он чуть поднимает бровь, будто зрительному лучу тесновато в его глазнице, и он удивлен тому, что постигнет сейчас. Неудивительно, что, ища его общества, я его побаивался. Не без оснований ведь потом оказалось – он мгновенно отгадывал цифры, что я воображал в уме, но только крупным шрифтом times, петиты он, увы, не видел.

Странно, что все распадается на эти споры, которые хотят разбежаться в разные стороны, чтобы перестать быть им, но сохраняя в каждой куда больше, чем целое. Это странное свойство, но он, ей-богу, обладал им. Наверное, я так помню его потому, что все время боялся, что он может исчезнуть, вскочить на подножку позднего трамвая – и все, больше никогда. У меня был такой детский случай – как-то на улице ко мне прибилась маленькая собачонка, или это я к ней прибился – одним словом, она привела меня ко мне домой, но мои семейные отказались делить кров с этой собачкой – и она, полная обиды, ушла, твякнув мне что-то, и больше я ее не видел.

Мы возвращались в наш бивуак.

Уже издалека было видно, что машина раскрыта, будто ее должны были скоро совсем разобрать – капот, багажник, двери – в сумеречном вечернем свете она походила на оледенелую книгу, которую только что лисстал ветер. Может, наши товарищи пытались срочно уехать? Пытались завести мотор, искали заводную ручку, как в старых фильмах? Я споткнулся о воронку. N. пересыпал раков в ведро. Они зашелестели сильнее, словно собирались упорхнуть на хитиновых крыльях. Сумерки все объединяли, и я вообще-то радовался, что наши попутчики куда-то подевались, они ведь оказались совсем лишними. Вдали иногда пробирались машины по какой-то десятистепенной дороге, и было видно, как мутные снопы света ширят

перед собой, будто расталкивают сумерки и прокладывают путь. Все это происходило в кромешной тишине, в глубоком заповеднике моего сердца, и любой громкий звук мог бы меня погубить. Казалось, время совсем обветшало и висит на крюке, будто к нему никто уже много лет не прикасался, – так бывает в степных краях, где летом могут исчезнуть реки, сгладиться холмы, сползти куда-то в низину тесные низкие кустарники. Мне не нужно было говорить об этом – это было так очевидно. Чуть поодаль от машины мы стали разводить костер, всякие обломки собрали наши исчезнувшие попутчики, и огонь медленно принялся тихой рассадой. Во впадине неподалеку была вода, так что я быстро вернулся с полным котелком. Я почувствовал себя отроком пилигримом, будто мое будущее не простирается дальше моего зрения и вся моя судьба давно перепоручена Господу. Тихое шествие моей жизни остановилось, и мне почудилось, как почва чуть пошла назад – как в детстве, когда я обожал крутиться на гигантских деревянных катушках из-под кабеля – и, идя назад, катил их вперед, не решая этой примитивной апории.

В крутой соленый кипяток раки попадали вниз головой.

– Два десятка хватит?

– ...

– Сейчас эти членистоногие приползут... Вот посмотришь.

Он будто знал про их «командировку» – когда она окончится. И действительно – скоро они пришли уже из ночной темноты с разных сторон, молча. В свету костра мы увидели, как у одного заплыл глаз, у другого были разбиты губы.

Как иерихонские розы.

Спрашивать что-то было бессмысленно, словно в очень далекой истории – и все это поместилось в одной бутылке водки.

– Ну что, задрались-замирились? – безразлично спросил он. – С кем не бывает. Эх, дзяды.

Он как-то умел спрашивать и отвечать одновременно, будто связывал время – и будущее переставало быть, так как делалось прошлым, словно бледнело, проскальзывало – его было не удержать.

Какой-то легкий бесшумный ветер тихо давил на кожу, будто подталкивал и смещал меня в сторону моего друга – кажется, меня догнала легкая волна чабреца, зверобоя, ковыля – перетертые между ладонями, они шелестели у самых ноздрей, но вдохнуть их было невозможно – точнее, название запаха убегало в темноту.

«Ты, гад, еще так о Пилсудском скажешь, я тебя убью» – эта единственная фраза трепыхнулась, как флажок на высоком шпиге, так много сказав об их разборке, что весь интерес к этому эпизоду пропал.

– Маршал Пилсудский и память о нем безукоризненны, – сказал мой друг таким тоном, что понять, глумится ли он или провозглашает здравицу, было невозможно.

– Ракообразные готовы, – сказал он.

И опять я понял его издевательство.

Поздний сумеречный ужин.

И он чистил их для себя и меня.

– Он их боится с малолетства, – объяснил мрачно он, будто они посмели бы что-то возразить или осмеять его заботу.

– А то как же, – прожевал ртом, еще полным слюней, подбитый.

Однажды Тадеуш рассказал мне про себя, не ручаюсь за точность, скорее всего, я возвысил и усложнил его совсем простой рассказ, но все-таки...

Он вспомнил, как на бортик низкой чаши фонтана как-то вспрыгнула кошка. Она замерла зверским арабеском и стала аккуратно слизывать воду, будто боялась потревожить ленивый мениск. И он вдруг поймал, что точно так же облизнул свои губы, а когда он так делал, ну лизал себя, трогал, тербил, то понимал, что у него есть тело, что в него сквозь рот затекает неизъяснимый воздух, синь небес, взоры других людей, – и он их не съедал, а тихо осушал, похищая их влагу.

«Как так получалось?» – спрашивал он меня.

Ведь даже во времена учебы, когда он был так увлечен математикой и ее приложениями, что подумывал о научной карьере, ему часто казалось, что, уставившись в страницу, испещренную формулами, он пробовал их безупречную архитектуру на вкус, обводил незамкнутые литеры или проталкивал внутрь их очертания язык, и неуклюжие крошки начинали блестеть, скользили в его сознании, не сдерживаемые никем. Он, как животное, насыщался ими. Понимал.

ДЕТСКАЯ КНИЖКА

Павлик

Это воспоминание о двустворчатых дверях, сдерживающих свет в соседней комнате, без которого я никогда, ни одного раза, разочка не мог заснуть.

За дверью – слышимый больше, чем видимый, аккуратный хлам, которым не пользуются, лишь переставляют с места на место, на полovice вздыхает старая больная собака, которая скоро исчезнет.

Голоса, немногие голоса умерших людей, которые во мне живы больше, чем образы их умершей плоти.

Они приходят в движение, будто во мне раздули мехи с их голосами, которые изменили фракцию, как «обратный» лед; были сухими, а стали влажными и живыми, наделенными единственно возможными тембрами.

Они говорят одни и те же фразы, будто это автоматы, и не знают других слов, точнее, они, другие слова, во мне не оживают.

Я не могу их принудить говорить иное, хотя они, говорящие – только мне и только во мне.

Это очень короткая пластинка, но для ее подзавода потребуется колоссальное напряжение – нескольких ГЭС.

Что это?

Сила жизни,
морок истома,
промельк любви,
вспыхнувшие во мне живой грозой.

Я раньше, по молодости, много думал о смерти, особенно в такие теплые дни, вдруг чувствовал, что понимаю ее уже не как череду чуждых мне подробностей, а иначе – как свою беспомощность перед ней, как внешнюю неукротимость.

Этим каким-то мыслям почти что без слов сопутствовало еще одно безупречное чувство.

Я сам себе говорил: «ведь так мало»: мало солнечного света, тепла, телесной бодрости, надежды и любви. Будто оглядывался. Список разворачивался гигантский. Так разве это – «мало».

Вот струи, возникшие из ничего, – будто я внезапно попал в прядильный цех; бесшумная водяная пряжа делалась из воздуха, из помутневшего времени дня, из моих воспоминаний.

Луч, будто бы огибающий тучу, показался мне восходящим, будто где-то был скрыт дневной прожектор. Будто это было время, когда еще не было пунктиров, когда все было непрерывным – как любовное чувство, не имеющее истока.

Мои разговоры с Г. тоже сходились к одному лучу – как мы полюбили друг друга, какие-то вечные поиски истока. Которого на самом деле не было. Просто так было надо. Ему и мне*.

Но было одно общее у меня с ним событие, которое можно принять за первую засечку. Дело было в летних лагерях, и мы почти не были с ним знакомы, так – кивали, но взгляды перехватывали, как мне теперь кажется.

Нас с Г. застал ливень в самой безлюдной глубине парка, где мы только что проходили умильными заросшими нетоптанными лужайками, залитыми светом, обходили неухоженные одичавшие клумбы, вели счет, а потом на втором десятке сбились – покореженным нечеловеческой яростью садовым скамейкам. Из мелкозернистой капли образовывалась бахрома, бахрома почти сразу начала лохматиться струями, и в конце концов прямо над нами развернулся сплошной водяной капюшон. И я не заметил, как мы попрятали в какую-то маленькую нишу нашу одежду и раздетые сначала просто стояли тесно, потом обнялись, будто холодный ток воды, пронизавший крону дерева, на первый взгляд казавшейся непроницаемой, нас склеил.

Прекрасная перьевая штриховка, какая-то мелочная арабская любовная каллиграфия на его груди должна была отпечататься и на моей, мы ведь были почти одного роста; и я так хотел принять любой его след – ведь то, что его мягкие и влажные из-за дождя губы слетали с моих прежде, чем я начинал чутя или воображать его теплое волнение, я уже знал.

Дождь, ливень, хлипкая купальня, речная плоть, прошиваемая струями, – для меня всегда были помечены знаком мужской корпорации, безгрешной, но такой трепетной всепроникающей сексуальности, для которой не нужны слова:

* Вообще, надо признаться, вода сыграла не последнюю роль в нашей с Г. истории. Нельзя не вспомнить, как в какую-то особенную, буквально проливную жару, когда в летних лагерях, где мы оказались, в трехдневной вылазке посреди пересохшей этим летом пустоши, не было не то что села, банного заведения, а вообще речки или ручейка, и Г. бодро предложил помыться мне буквально одной миской воды. Все дело в скорости и наличии хотя бы одной тряпицы.

И вот моя оболочка обновилась, я чувствовал быстрое скольжение его ладоней по своему помываемому телу, бестрепетное и обидно равнодушное, это обижало меня, ведь за полторы минуты мытья он успел пройтись по самым интимным моим местам, настолько по-деловому, что я едва сдерживал слезы. Я понял тогда, что он мгновенно меня завоевал, взял таким смешным образом, как сонную крепость, которую не защищали, так как ворота давно для него были распахнуты. Не понадобилось ни лазутчиков, ни подкупа, ни подкопа, ни тем более осады. Было ли это капитуляцией?

*Селезенка в песке, рот в опилках, крови нет,
Господи, помоги.
Слабоумные желудям молятся, лесным шишкам,
Мамоне.
Ишь, говорит, ишь... Лишние у тебя жилы...*

В мгновение стемнело, дождь стал слышимым, и взошла ночь, как в опере, – темным прекрасным пологом; краем женской одежды, брошенной в спальне, – истекающий сам по себе шелк.

Невзирая на цвет – шелк всегда ночной.

Это открытие когда-то ошеломило меня – через эту незначительность я понял пропасть, отделяющую меня от женского мира. Как какие-то скользкие места в женском теле всегда шелковые и ночные. Может, от этого меня никогда не отпускает чувство, что, сходясь с ними, я тоже делаюсь шелкопрядом, и мой лучший удел – электризоваться от трения; так – лоскут какой-то; разве в этом – мое приволье и краткие рубежи и обрывы мужской любви?

И женские поцелуи мне всегда казались унылым обретением целого, репетицией овального долга без складчатой силы бессмысленного мужского единства, всегда имеющего очевидную цель – секса, резкого оргазма, воплощения идиотской идеи или, на худой конец, авантюры.

И вот дождь почернел настолько, что брызнул градом, заледенелым зерном ландрина, будто в небесах разгромили склады целой фабрики, делающей эти несладкие сласти для всего мира.

Самый младший из всех

Младший был самый уживчивый, веселый из отцовских братьев – пьяниц и дебоширов, но именно по его светлым молодым кудрям прошла в полной мере вся семейная катастрофичность... В семье существовал странный обычай звать его только по фамилии, будто он сам с его именем, всеми личными особенностями мало что собой представляет. А может, фамилия должна была быть для него лекалом, жестким корсетом, таким правилом. У меня приключилась с ним тайная история, о которой я никому сказать не смог. Даже Тадеушу.

Ну было ли ему интересно знать про то, как Павел пускал мне в лицо облачко табачного дыма, придвинувшись совсем близко, и я мужественно претерпевал при общем семейном гоготе. Но мне ведь так нравилась теплая пульпа, обволакивающая мое лицо, она ведь пахла им и была его неотъемлемой частью, порождением его недр.

Он стрижет мне ногти маленькими ножницами из своего несесера. Старательно огибают овалы, отодвигает заросшие лунки специальной лопаточкой с костяной насадкой, заглядывает мне в глаза, тихо улыбаясь... Я ловлю его запах – сухой табачный, когда меня достает его дыхание, на-

столько сухой, что мне хочется пить, и я сглатываю, облизывая губы. И еще хвойный запах одеколона, будто он вышел из лесу с игрушечными волками. Бабушка, зайдя в комнату, гонит его:

– Ты зачем это затеял?

– Мне только два пальца осталось. Там ведь заусеницы.

– Коль два, тогда давай. Но больше – ни-ни, он что, лорд английский?

Пусть сам стрижет свои маникюр.

Она выходит, и Павлик иногда, забывшись, вздыхает, постанывая:

– Это я стараюсь. Твои серпики с лунками беленькими на память заберу. Хорошо? Отдашь? В ладанку зашью.

Мне не позабыть, как я маленьким мальчиком в купальне зарывался зрением в какие-то сиятельные просветленные черничники разоблачившихся бравых дядьев, как волновался и сглатывал слюну (что делаю и сейчас, вспоминая это), когда видел, оставшись один на один с молодым и застенчивым Павлом, как он, неотрывно смотря на меня, подхватывал в жменю и пробовал на вес свои ядра; он ведь не мог не замечать, как я неотрывно всматриваюсь в его сокровенность.

Меня однажды озарило внутреннее ликование в самый счастливый по неизвестной причине день, просто так, – я вдруг отчетливо понял, что давно люблю его – и за молодые узкие залысины в светлых коротких кудрях, образующих веселый прозрачный мысок, который мне так хотелось ерошить. И за помутившиеся ласковые глаза люблю, и за темные неблестящие губы, и за то, что не напивается и не буйствует, как все другие в нашем доме. И меня веселило, что его растительность помимо меня могли курчаветь еще и воображаемые мною нимфы, фавны и сатиры, проноситься лани будто бы сквозь поляну. Моим усердным фантазиям никто не мешал.

Низкое вечернее солнце, просвечивая наклонными лучами, как-то темнило купальню, не имевшую крыши. Свет проталкивался сквозь узкие щели, прокалывал сучки. Свет присыпал золотой пудрой невесомые шерстинки, будто только что взошедшие на груди Павлика, на его чреслах, запястьях и бедрах; словно вот уже и Рождество, которое на самом деле (я понимал, что страшно богохульствую) – он сам и есть; и вот там феи щедро раскидывают цветные стружки конфетти, эльфы едва дуют на маленькие барханы золотой пудры, кузнечики стрекочут его невероятным именем, самым лучшим в мире. Сперва чуть глухо, едва слышно, а потом совсем весело: «Пав-лик, Пав-лик».

Он будто услышал меня. И узкая струйка воды, пущенная им, попала в самый низ моего живота, разбилась брызгами о мою детскую мошонку. Он брызнул еще раз, еще. Я рассмеялся. Он молча протягивает мне фляжку, я набираю полный рот и хочу тоже достичь струей его. То самое место, тем более мне легче попасть, так как он взрослый, большой и стоит в полный разворот передо мною. Но вместо струйки из меня вырывается облако брызг, будто я

собираюсь утюжить белье, и в капели его тело сверкает. Он проводит по моему рту пальцем, словно учит, как надо плотно собирать губы.

Он тихо говорит:

– А у меня один шарик поменьше другого будет.

Он накидывал щеколду на ветхую дощатую дверь, которую смогла бы отворить наша старая собака, толкни она ее передними лапами, да и выход к пустой, ровной как зеркало реке был распахнут, там сужалась даль, заволоченная розовыми повечеревшими облаками.

Посмотрев в сторону реки, я почувствовал, как во мне в пенную трубочку сворачивается горячая волна каких-то облаков, обитающих во мне. Он продолжил:

– Отгадай какой. Если не угадаешь, то я с тобой сыграю в наоборот.

Он был неловкий застенчивый игрок.

– Нет, я не буду...

– А ты поддержи, по весу поймешь.

Я знал, что в любом случае не угадаю, и с замиранием принимал его игру.

– Этот! – С моей раскрытой ладонки скатывалось подношение, оказавшееся живым, подвижным и трепетным; каким-то не выросшим кутенком, птенцом, ладанкой с таинственными дарами, теплой замшевой котомкой.

– Ты не угадал! Совсем не угадал! Не угадал! Теперь моя очередь. Я-то у тебя угадаю.

Он говорил отчетливо-взволнованно, но так тихо.

Но он не угадал тоже, и мы знали, что обманываем друг друга. От волнения я буквально захлебывался.

Линия и череда игры сразу спутались и сбились в какой-то сладкий беспорядочный моток, и мы оба это хорошо понимали.

Потом были его тихие глухие слова, он произнес их в самое мое лицо, будто не разнимая губ, склонившись и приуменьшившись, я и воспринимал его как ровню. Вернее, мне слышались не слова, а образ его любовного тона, и теплый камертон остался во мне навсегда.

Он стоял передо мной на коленях, сровнявшись.

– Ты ведь, пожалуйста, лизнешь потом и у меня там.

Уже в его объятиях я отрицательно покрутил головой:

– А я не собака тебе, Павлик.

Но когда я произнес «Павлик», то понял, что все это для фасона, что не только лизну, а проглочу для него что угодно. Это нежное любовное имя, которым я давно окликал его, не произнося вслух, как заклинание, ожидая, что он поймет меня и немного и оборотится (как, кстати, часто и случалось), наконец произнесенное против моей воли, будто откупило меня, и вот я, совсем-совсем легкий, мог позволить ему все, опережая любые его просьбы. Он, присев передо мной на корточки, а потом и вовсе на сырой дощатый пол, клонил к моему животу свою курчавую буйную голову. Я стоял перед ним, как языческий алтарь.

– А я ведь тебя только разок лизну, ты ведь позволишь это Павлику твоему. Я ведь не боюсь совсем. Твой колокольчик.

И ему не надо было прибавлять к словам, которые становились для меня обретенной тайной, восхитительным секретом, – простую просьбу «можно?»

Это доселе неизвестное мне ощущение, когда я, исчезая, словно бы переставал быть, но одновременно разрастался безмерно, пускал ветви побегов, весь оборачивался звоном, становился звонким, брошенным впопыхах об пол стеклянным колокольчиком, но каким-то чудом пойманным им, чудесным Павликом, на лету, в сантиметре от дребезга и гибели...

.....

Мгновенным незаметным движением, прикрывшись кулаком, наверное, чтобы я не пугался (о, если бы он знал, что страха во мне не было ни капли), он сдвинул воротник с головки, и на меня глянул темно-розовый лик смеженным припухлым оком, которое, я почему-то это знал, вот-вот заплачет. И для меня, маленького мальчика, мое бесстрашие и стало самым первым вожделением, впечатавшимся в мое сердце. Никогда не позабуду:

– Разок, только разок, я очень тебя прошу, ну пожалуйста, мой любимый, только разок, единственный, ну попробуй, не страшно ведь совсем.

«Это – нельзя, но без этого тоже нельзя», – твердил тогда маленький мальчик самому себе.

И принимая мою ласку, он гладил меня по щеке, подбородку, волосам и только сопел. Я понял, что вот – владею им, ставшим тяжелой волной, которая все поднималась, зависала тяжелым призраком, чтобы рухнуть выдохом и перехлестом.

Он осел к дощатой стенке купальни, мне казалось, что он вот-вот может заплакать.

Я спросил его, шумно задышавшего носом, будто он теперь никогда не отдышится, я боялся за него:

– А чего ты, Павлик, так затрясся?

Единственное, чего я боялся, – посмотреть на свой рот в пузырящуюся от старости амальгаму бабушкиного волшебного зеркала, которое помнило и хранило глубоко в себе все-все-все. Мне было страшно увидеть себя в любой отражающей поверхности.

Я ведь после скоропалительного отъезда Павла чувствовал в своем рту посеребренную изнутри нежесткую сферу, обнаруживал ее следы во всем, что могло меня коснуться. Ледяные латунные шарики на кровати – я их сперва согревал ладонями, как маленькую державу, прежде чем лизнуть и вложить в рот. Заеденные несколькими поколениями наши семейные, с вензелями, серебряные ложки, я был не в силах опустить их в тарелку за новой порцией манника, облизывая их бесконечно, беря и вдвигая глубоко в рот одну за другой – столовую, десертную, чайную – будто ждал от них сокровенного ответа.

Но в конце концов то, что я искал, нашлось. Сферу новогодней елочной ягоды. Столь легкую и тонкую, что она могла изойти на светлые сияющие осколки от одного касанья или пристального взгляда, совсем как Павлик.

Шар, венчающий спинку ажурной кровати, одноглазо смотрел на меня ярой амальгамой по-зверски, будто вот-вот ужалит меня моим же оком.

– Павлик, Павлик, Павлик, – звал я, когда метался несколько дней в жару после его скоропалительного отъезда.

Мне чудилось, что я все бегу и бегу за ним до ворот, а потом по нашей уличке все дальше и дальше и дальше, как собачка.

«Павлик, Павлик. Ну. Тяв-тяв-тяв».

Отец, сидя рядом, сжимал мою руку, ведь он про меня, своего малолетнего бодрого отпрыска и своего младшего братка что-то тяжелое заподозрил. Он, не сказав ничего на прощание, в сенях кинул в сторону скрывшегося из вида своего брата комом горящей ветоши:

– Ты, проклятый кабан, забудь мой дом.

А я-то услышал про кабана.

Горячая шершавая щека, жесткий ворот пахучей военной одежды, какие-то нашивки на рукавах, портупея, холщевый рюкзак тянет его руку.

Щетина, шкварки, шура, скользота...

Все-таки несколько раз всего этого мне удалось коснуться.

Я знал, что в последний раз.

Я запомнил влажный вес его посветлевшего взора.

Он все твердил как заведенный в пыльных сенях: «Правда, Павлика не позабудешь, скажи, правда. Павлика своего».

Он шептал чересчур громко, так как не мог иначе.

Бабушка рассматривала тыльную сторону моей кисти, а там действительно зашелушился и заблестел сукровицей, темно-розовым аверс какой-то наиварварской монеты, с двойным устьем посередке.

– Господи, Господи! Да неужто у него стигма?! Да я его к ксендзу сведу!!! Нет, да я прямо сейчас отца Игнация к нам зазову. Пусть святой отец полюбуется!!! И мадера у меня имеется, как он любит.

Я-то знал, что там красноречиво оттиснулось, и ксендз мне совсем не подходил. Что бы я ему поведал? Но вот бабушка была уверена, что проявившаяся таким «расчудесным» образом блудливая монетка будет иметь хождение и при христианстве.

– Я тебя, старую, сам сведу, прямо к твоему Папе старому самолично отведу, пойдём-ка сейчас и куплю тебе билет до Рима, да чтоб пять ночей туда тащилась. Старая!!!

Он кричал.

Отец не терпел свою мать. Она, овдовев, в своем католичестве была, по его мнению, слишком истова.

Иногда мне кажется, что какие-то ракурсы античных героев, изваянных или начертанных на вазах, возвращают мне Павла на одно мгновенье. Но это очень быстрое чувство, скорее промельк.

О БОЖЕСТВЕННОМ

В одно из воскресений в нашей приходской церкви был концерт заезжего слабенького оркестра; кажется, наш органист, он же хормейстер, учился разнообразным музыкам вместе с дирижером в Вильно.

Очередной пик безденежья, смутная весенняя погода, когда тонкие холода раскатывают к вечеру влажный покров, – и мы оказались с Г. в тепле и сухости под высоченными церковными сводами. Почему-то всегда в этой церкви пахло чистыми дощатыми полами, невзирая на холодный шахматный орнамент кафлей, ведь церковь была старой, времен барокко; и еще там витал дух радостной и щемящей опрятности, и было чем-то похоже на зарозовевшую герань на подоконнике в старушечьем доме, где не боялся смерти. Этот дух, пожалуй, еще не щекотный, и оттого все становилось ближе и теснее, будто я – церковный человек, аккуратный мирный прихожанин и идти мне после мессы до своего дома всего ничего.

Я иногда тосковал по мнимым, не моим, подробностям прошлой жизни, по завершённому блаженному бытию, по укромному детскому уюту, даже в тень которых я, как кажется мне теперь, никогда и не вступал.

Странное барочное сооружение, возведенное амбициями одного хорунжего, позвавшего в эти края двести лет назад доминиканцев и щедро одарившего братьев кляштором*.

Он два века назад владел окрест всем-всем-всем – и здание вышло велико и громоздко для захолустного городка, слишком по-взрослому, как одежда на вырост. За свою длинную историю оно множество раз поновлялось, но симметричные мощные башни над фасадом базилики были утрачены навсегда, никто из настоятелей монастыря, землевладельцев и губернаторов больше не пытался снова громоздить их над окрестностями. Они сгнули то ли при пожаре, то ли в одну из войн их расстреляли в назидание за гордыню. Только смешная сигнатурка, когда-то объединявшая их вертикали, сохранилась. Так что зевака мог досочинить два вытянутых силуэта, возносящих в небеса и золотую цифирь огромного циферблата на часовой башне, и темень в щелях жалюзи на верхотуре колокольни, иногда проливающуюся на город и окрестности литым гудением. Теперь робкие коло-

* История этого места, ставшего в конце концов городом, кажется мне теперь синонимом скользоты – ведь ни одной бусине из суетливой низки: «казаки-поляки-турки-поляки-хохлы-немцы-советы» не удалось закрепиться во времени, будто сама топографическая привязка этого места было непрочной, развязывалась, и требовались новые и новые исторические силы, чтобы дома и жители не расплзлись по окрестным лесам.

кольчики били склянки, сзывая прихожан, будто все в этом городишке стали моряками.

Когда я смотрел на этот доминиканский кляштор, то пунктиры его полного очерка легко заполняли мое зрение, и я нисколько не сомневался в достоверности этого видения.

С любой окрестной дороги, обсаженной рядами выстаревших лип, всегда была заметна лишь преувеличенно крупная громада базилики, увенчанная задорным коньком между нелепыми вбитыми в землю остатками башен-параллелепипедов, не имевших наверхий.

Шагая по дороге в сторону города, видишь, как иногда контур этого строения застилал всю висту (этим прекрасным словом именовалась перспектива меж рядами старинных лип, высаженных вдоль дороги), и если заложить оставшиеся оконные и дверные проемы, то получилось бы капище такого особенного Бога, который не слышит молитв.

Но сегодня зрелище этого собора походило на сложную картину моего религиозного чувства, которое из-за множества допущений, оговорок и околичностей так никогда и не оформилось в осязаемый контур, как говорят, помогающий жить. Я знаю, как лучше сказать – оно не стало серьезным*.

Еще эти проемы-иллюминаторы в высоком ярусе собора, растущего передо мной, словно море совсем недалеко, и задорные рокайльные наличники окон гнулись, будто по стене пробежали световые шнуры, отсеченные веселой волной.

Мне и вправду не удавалось веру в Бога довести до какой-то серьезной плотности, за которой, как казалось мне, непременно должна простираться очевидность Божественного промысла. Во мне всегда были пазухи, щели, каверны, через которые все мое молитвенное усердие начинало сквозить, а потом и совсем выветривалось...

Но когда я вдруг ощущал себя совершенным безбожником, то искренне пугался и отмахивался от такого чувства; будто я перед входом в помещение запутался в складках тяжелой непроницаемой завесы, которую никак не преодолеть. Будто в том помещении не было людского счастливого света, а только один огонь – и я знал это помимо слов об этом, то есть так верно и глубоко, что мог бы изложить эту догму кому угодно только посредством математических значков – связной чередой пунктуаций и стрелок.

* Я видел одну военную картину, связанную с этим собором. Проезжающие по ближнему холму армейские грузовики с фарами, прикрытыми специальными узкими забралами, еще сильнее узившими снопы света до толщины лезвий, подскакивающих от тряской дороги, лизали речную воду, которая будто ахала, вдруг озаряясь изнутри, когда отвечала светлым воспалением на эти световые порезы. В темный студень воды глубоко входили светящиеся ножи. Потом я вдруг увидел посветлевшую церковь вдалеке, которую этот свет достать не мог. Так начиналась военная пора – с этой прекрасной ночной картины. Первое световое действие в ночном военном театре. Это было столь завораживающе красиво, что я понял, как может воплотиться кошмар. Все другое, что случилось со мной, столь сильно моих чувств не задевало, как этот ночной эквилибр острым светом.

Я иногда думал, что поверить по-настоящему, просочиться в такой предел защищенности, туда, где по-настоящему есть Бог, мне мешают свойства моей личности – ревнивое женское воспитание, какая-то тотальная мягкая осанка (не тела, не тела, а интеллекта) и притом – едкая критика, распространяющаяся на все вокруг.

– У тебя низкий градус дисциплины. Сколько тебя ни тренируй, ты совершенно не восприимчив, ты как будто все время в обмороке, – говорил мне обо мне Г.

– Как это?

– Ну, сползаешь. Знаешь, бывают такие ткани, в смысле – материи – вот возьми шелк. Кашне, галстух, жилетку – как ни клади куда-то, ни вешай на спинку стула, всегда окажется на полу. Сами по себе. И ты так.

Здесь мне стоило призадуматься, ведь Г. бывал порой пронизателен.

Вот перед ним такие проблемы не стояли, просто он грешил с размахом и при этом искренне знал, что если грех заодно с раскаянием, то, скорее всего, это единство принадлежит особенному времени – уж точно не тому, где мы с ним вдохновенно творили наши чудные дела. Мне же динамическая связь раскаяния и греха представлялась не столь очевидной – в отличие от Г. меня никогда доминиканцы не наставляли в схоластике.

Он заливался какой-то птицей, чью голосистую породу я уже и не вспомню. Ну, может быть, вальдшнеп какой-то, фазан, тетерев – в то время, когда охота запрещена. Как ни странно, но в нем было такое неуловимое нечто, за чем следовало непременно охотиться. Может быть – декоративность, штучки какие-то вычурные, перышко за тульей шляпы, в нагрудном кармане пиджака – платок такой непростой, у кромки вышит гладью вензелей с литерой готической, такой скол герба – кому надо поймут.

– Благолепно. О, мне с тобой благолепно.

Одними глазами смеялся он, тихо выговаривая вычурное слово это с совершенно серьезной миной; он мог артистически расставлять восхитительные знаки препинания в ничего не значащих для постороннего слуха фразах.

И он продолжал в том же роде. Он будто имел специальные цветные карандаши, чтобы подчеркивать в своей речи то, чего в ней совершенно не было. Это был такой летучий неуловимый язык, выразительный и артистичный, но жалкий, так как лишь мой Г., единственный и чудесный, был его носителем. Я почему-то не радовался этому театру, так как знал, что такая выразительность обречена исчезновению вместе с ним.

– А там, где есть лепота, там есть и благо. А это ведь – калокагатия! Это Аристотель! А ему возражать не можно! Столпам великой философии не перечат!

Восклицательные знаки он расставлял не голосом, а движениями своих чуть улыбающихся губ, которые у него могли заметно темнеть и на которые я смотрел неотрывно.

И он в таком же роде, расставляя совсем иные акценты, рассказал, что, когда он проходит площадь перед этим вот собором, куда мы идем

вместе, да вообще по любому открытому пространству, ему начинает казаться, будто он на берлинском палацу и видит самого Наполеона, гарцующего на белом скакуне.

Я поинтересовался: отчего же так вычурно он переживает переход открытых пространств. На что получил ответ, что в каждом пустом месте обитает абсолютный дух. И вообще, когда он думает, размышляет и прочее, то всегда представляет себя Гегелем, различившим такой абстрактный дух в Наполеоне, гарцующем на белом скакуне.

И он смотрел на меня так, что я, почти ничего не говорящий ему, как-то по особенному смолкал, так как в этот миг сглатывал желание, которое переполняло и меня и его*.

Я часто перехватывал его отсутствующий взор и думал, что он, наверное, видит парк, в котором посажены по прекрасному плану изумительные деревья восьмидесяти пород.

Он, кстати, рассказывал мне об этом обветшалом заросшем парке, что он заложен во времена барокко самым знаменитым за всю историю польского дворянства ландшафтным планировщиком Дионисием Миклером, и многие-многие годы его идеальный контур, прозрачный и ясный, сохраняется как идеал – те же деревья-солитеры, только вымахали маяками, те же вольные куртины, хоть и заросшие, лужайки, ставшие луговинами, прямые аллеи с ясными по-прежнему вистами, только в перспективах ничего уже нет, и амфитеатры, открытые к реке, как прекрасные законы классических дисциплин.

А вдалеке достигала небес темная стена ельника, посаженная Миклером для контраста, как сумрачный задник в волшебном театре. Чтобы пугать нарядных охотников**.

«Вот-вот, как на тебя-то похоже, господи, – думал я, – ничего в тебе не выкорчевать, особенно темно-еловый бор на дальнем конце твоей жестокой души».

Я потом всегда вольно или невольно сравнивал Г. с другими людьми, с кем сводила меня жизнь. Он навсегда так и остался в моем воображении парком. А вот другие бывали и лесами, и степью, которые сами по себе, но совершенно мне непонятные.

Кстати, женщин я тоже уподоблял буколическим затеям; они в моем сознании искрились мелкими крапинками, как мавританские газоны, благоухали незатейливыми грядками простых раскрывающихся к вечеру табачков, и уплотняли все своей ленью окрест, как пышные розарии, и преграж-

* Г. был из этих мест, и я, глядя на веселую барочную круговерть собора, понимал, что Богу вообще-то любезно все на свете, ну кроме душегубства, конечно. Эта путаница стилей веселила мое сердце, я понимал, что это похоже на Г., на нашу общую судьбу, где тоже все спуталось. Живи мы сто лет назад, и я бы лишь издали поглядывал, как расфуфыренный душистый Г. выходит важно на высокое крыльцо своего замка.

** Наверное, так метафорически хотел он обозначить русское, от которого при всей его красе и стройности идет на его соплеменников одна жестокая темень.

дали мне путь вертикальной шпалерой белого боярышника, и так далее; ну и уж в особо сложных случаях – я понимал их как палисады возле собственных домиков, где в тесноте сразу и мальвы, и петунии, и калина, и высокие георгины, очень женские цветы, кстати, апофеоз нарочитого грима, такое ухищрение косметологии, притирания для лица свекольного или малинового цвета.

Мой Тадзю прошел опыты католической закрытой школы, и у него там не было недостатка в наставниках. Оттуда происходила его мощность; даже когда он был не вымыт и не брит, он был щеголем и выступал как попичьи вроде – насвистывал даже молча, из себя, за что я звал его соответственно – щеглом. Певчие птицы не пахнут.

Чудное имя моего современника, могущего черным дроздом повторить, безупречно и издевательски посвистывая, любой, вроде бы на первый взгляд чуждый ему мелос... Это оно, сказанное вслух или про себя, заставляет меня держаться в отдалении от парусящего ненадежного смысла этого мира, норовящего схлопнуться.

Ведь он сам в молодые годы чем-то напоминал мне мраморного Зефира Бонаццо, дуящего в мою сторону, а на самом деле – на невидимую книжную страницу моего прошлого.

И вот буквы его имени навсегда слетают в новые изумительные очевидности и не могут устать от этого.

К нему можно было применить эпитеты лучших любовных стихов, хотя человеком он был не очень – скаредой и скопидомом, но его можно было понять – он готовился к всепольскому расцвету; это также объясняло его презрение к белорусам, литвинам, русакам, хохлам, татарам, жидкам да и почти ко всем прочим, не носившим звучных польских фамилий.

– Будет! Все! Будет от моря и до моря! Mikdzymorze.

ПЛОХОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ МУЗЫК

Реверберация высокого пространства церкви превращала прихотливую и вместе с тем такую ясную музыку в пробег и падение якорной цепи; она вдруг распаивалась по всему своему ходу еще до окончательного обрушения.

Отражаясь от гладких высоченных стен, звуки вступали с собой в перекличку и в противоречие. Ни одной полифонической формулой обольститься было нельзя. Но я не досадовал, ведь все равно чудное вещество звука – высокий свист флейт, манящий голос рожков, будто мы где-то в лесу на охоте, и дальние жалобы валторн откуда-то из-за горизонта только одним своим «губным» тембром показывали мне, что я питал тогда к Г. Я быстро чувствовал его бедро рядом со своим, и паруса высоких сводов, и крест со Спасителем над тем местом, где на службе ставят алтарь, и симметрия высоких византийских окон тоже примиряли меня с его телом и словно бы благословляли.

Потом я множество раз в своей жизни слушал этот концерт, и всегда только прекрасный профиль Г. вспоминался мне в том месте, где вилась долгая прихотливая каденция. Мне тогда сама линия его профиля, на который я взглядывал искоса, сбоку, казалась ухищрением, на которую был способен свет. Свет Божий, с которым я был раз и навсегда примирен. Кажется, что именно этот свет подпирал подбородок Г., сушил его губы, которые тот закусывал, охлаждал ему ноздри, и они едва вздрагивали. Мне кажется, я тогда узнал по-настоящему, каков ход его крови.

Я понимал, о чем он думал и что чувствовал. Ведь в этот миг я был для него всем и им тоже.

При иных обстоятельствах я бы ни за что не стал терпеть это обрушение звуков – они настигали и перехлестывали друг друга тяжкими волнами, образуя отверстие бурление, будто в корабельный трюм прорвалась вода.

Вместо клавиатура на низеньком возвышении стояло домашнее пианино с открытой декой. В его подполье поблескивали струны на медной позлащенной раме, будто вот-вот зашевелятся.

Наш знакомый дирижер N., который вел цифрованный бас, перебирая аккорды, часто оборачивался на оркестрантов – ему ведь приходилось все время крутиться и высоко вскидывать руки, чтобы задавать интонации и темпы. Ну вот он наконец вдохновенно «упадал» в каденции, которые получались у него слишком влажно, печально и любовно, как дальнейшее цыганское пение за рекой, и он, наш романтичнейший N., встряхивал стриженной

головой, будто был кудрявым и длинноволосым, – и мнимые локоны связывали сухие терции в невыносимо певучую линию скуки. Но все это было в пандан к тому, что я испытывал тогда, понимая, что состояние мое оправдано тем, что оно возвышенно. И именно это действительно уберегло меня от всех промахов и ошибок. Г. где-то в стыдливой низине быстро поймал мою руку в свою, будто я бы помыслил вырваться, и опустил эту телесную спайку еще ниже, в тесноту меж наших тел, ведь мы не были разделены подлокотниками – мы сидели на простой церковной скамье с пустым попитром, где сегодня не лежали молитвенники.

И вот мы стали больше чем любовниками. Близнецами, валетом и двойчаткой. И это же чувство посещало меня, когда я исходил в него.

Я столько раз думал об этом, что мне стало казаться, что все происходящее с нами уже было – разлито повсеместно, прочитано многократно и пережито всем миром сообща.

Сжимая его мягкую ладонь, я понимал, что и ожидание может стать нестерпимым.

Потом при любом случае я думал, что Г., даже исчезнув, должен мне самого себя. Иногда эта мысль поражала меня не только своей мстительностью, но и плотностью, вещностью; я, кажется, мог ее съесть*.

Мне чудилось, что во мне есть какой-то мягкий лабиринт, в котором звук погасает, не касаясь меня, не потому что музыка была исполнена с перехлестом жестко, а потому что своим телом я слушал сидящего рядом со мной Г.; я иногда ведь накручивал себя, убеждая игрушечную часть своей души, что мы с ним вот-вот разлучимся, не сможем повидаться сегодня – ненастоящий ливень, смешной ураган разнесут нас, и мы, найдя все-таки друг друга, бросимся в объятия еще сильнее.

Об этой силе мне говорил жар его тела, сидящего рядом, – и разденься бы я сейчас, бок мой был бы темно-розовым! Господи!

Я сам себе казался декой, звучной полостью, где обитают совсем другие звуки: любовное сопенье Г. и, может быть, даже его любовный стон, которым он иногда одаривал меня. Это акустическое подношение зависело от совершенно неведомого мне внутреннего календаря Г., не связанного ни с луной ни с солнцем.

Ведь прекрасно зная его, я чувствовал в то же время его как совершенно неведомого: ребра, поддерживающие его мускулатуру, иногда, казалось мне, скрывают еще одно дыхательное устройство в нем: тайное, мутное, безнадежно другое. Иногда я понимал его инаковость не умом, а как-то иначе, некоей текучей сокровенной железой – и делался счастливым – непомерно большим, равным моему Г.

* Не касаясь друг друга... Греза обладания уже переполняла меня; она сулила безвременье своей близостью и какой-то приторной реальностью. И мне всегда казалось, что это зона, где нас не было, так как все слова и все подозрения были излишними. Я ведь всегда боялся – если утром он раздвинет шторы, то блистательный мир будет опустошен только лишь потому, что мы с ним переполнены друг другом.

Буквально я чувствовал его, как звуки, которые сам извлекал и слышал, но без его тела это было невозможно...

Мне казалось, что когда мы внимаем чему-то вместе, – я лучше понимаю его – без слов. Я знаю в это краткое время – кто он. И меня не оставляла уверенность, что и он знает – кто я. А еще я был уверен в том, что этот субстрат уверенности, имеющий плотность и температуру, – общий для нас.

И если бы я почувствовал, что Г. слушает музыку серьезно, то я бы провалился в подпол этой церкви. Но, с другой стороны, я не хотел это проверять, так как это бы лишило мой любовный порыв мистического смысла.

Сумасшедшую температуру (свою!) я почувствовал, когда старая дама обернулась на меня; в ее тусклых глазах стоял настоящий огонь. Но я давно не боролся с тем, что живу врасплох, так как сам себя уже не застигал.

Я хорошо понимал избыточность этого дела – речь, взгляд, касание. Они ведь свидетельствовали о смерти, которой мы были призваны и из-за своего выбора, и из-за потакания истории, времени и государству.

ФОТО ТАДЕУША

Серо-синее облако с просветом луны, все небо – словно плотный темный шелк, перетертый до прорехи в единственном месте – его коленом или локтем.

Его колено круглилось под одеждой, через него пробегала острейшая стрелка, заглаженная на брюках, и оно говорило о теле, его голизне и трепете, только лишь проступая под тканью, но тем самым – светясь и сверкая странным образом, – не испуская света, как попятная луна. Но для меня этот убегающий свет был многократно сильнее обычного, того, который обитает в свече, фонаре, наконец, пробивается к нам откуда-то, сквозь жерло луны и буравя отверстия звезд.

Это его фото. Я утратил его навсегда, утратил, утратил.

Об этом фото нельзя сказать «которое я утратил», потому что того, исчезнувшего, нет вообще, и я никогда его не обрету в той же степени, как и того, кто был на нем запечатлен.

Я так усердно хранил картонный прямоугольник преувеличенно резкой печати, в который можно было вглядываться беспредельно близко, да и то зерно нельзя было различить, что пальцы помнят тонкую перепонку пергаментной бумажки, в которую я его оборачивал, пряча в кармане, бумажнике, а потом и в ладанке на груди и т. д. Мне было страшно, особенно когда я уверовал в то, что его не стало; в прямом смысле страшно утратить мельчайшую деталь, проявившуюся на изумительно гладкой эмульсии этого лоскутка. А я, честно говоря, еще одного боялся, что если трону его самого, то непременно оттиснутся следы моих пальцев, ведь перепонка, прикрывающая фотографию, сделалась от моих касаний будто бы тисненой, будто я – как ни отирал влажные пальцы, испарина всегда проступала – метил ее клеймом своего желания. И вот получается, что я на ощупь помню свою боязнь прикоснуться к нему.

Вообще-то так оно и было, только я не хотел, чтобы он это знал.

Фотография какой-то неистовой, сверхъестественной резкости, но теперь это не проверить, я подозреваю, что на самом деле была использована самая доступная печать, когда негативная пластина налагалась на фотобумагу, засвечивалась и проявлялась.

Думаю, что я не ошибаюсь, потому что Г. был запечатлен зеркально. И если бы не застегнутый на «немужскую» сторону тугой пиджак, облегающий его, как мундир, я бы никогда об этом не догадался, ведь его лицо, да и вообще он сам был без какой бы то ни было кривизны, он даже скри-

вить рот не мог. Единственная его победа над силами симметрии – неожиданно подмигнуть при совершенно серьезной мине.

Он объяснял эту свою особенность весьма остроумно, одной фразой: «Наш герб совершенно зеркален, только девиз в картуше все ломает».

Каков был этот девиз, на каком языке он был начертан – я так и не узнал.

Самое интересное, что я верил ему, ведь он мельком показывал мне старую почтовую карточку, где умиротворенный ландшафт, маленький дом на краю парка – все залито неправильными химическими колерами, еще и рябь какой-то типографической осечки – в углу впечатан малюсенький герб. Он ткнул в него ногтем, мол, догадайся, что это такое перед твоим самым носом, простец... И карточку тут же убрал*.

У меня даже его фото больше нет.

Старые фото – совсем иной психотип, теперь необъяснимый, кажется, чистый и не знающий о неврозах и тотальных угрозах.

Он запечатлен в чужом доме на фоне преувеличенных книжных полок, уходящих за обрез кадра, куда-то в светлую ученую бесконечность, это какая-то магическая кладка книг, расчищенный фундамент руины, нижний фрагмент вневременной декорации. Но книги стоят так, что сразу ясно – ими активно пользуются, и мне только остается ревниво гадать, в чьем доме мой милый Г. предстал фотографу.

Тень длинным овалом теплеет под его подбородком, и кажется, что это месяц на изводе. Еще полуоткрытый рот, дуга зубов под чуть вздернутой капризной губою, будто он что-то тихо промолвил своему единственному зрителю, – таинственное и, скорее всего, двусмысленное, потому и улыбнулся, конечно.

Не тому, не тому, совсем не тому, кто вот-вот щелкнет затвором, а тому, кто одарен счастьем его увидеть и полюбить, потому что тем, кому он улыбался, ничего иного уже и не оставалось.

Мне эта фотография всегда казалась началом улыбки, которая будет ниспослана мне. Но скорее он просто автоматически принял позу, так как был денди и пижон, – и на этой фотографии был вырисован одним плавным вензелем, таким скрипичным ключом на фоне нотного стана совершенно ненужных ему книжных полок**.

Я помню, как он рисуется: снизу вверх и вверх, даже опуская завиток вниз. Чернеет блеск штиблет, он скрестил длинные ноги в наглаженных

* Чтобы не было ему обидно... Я-то не говорил, что он пахнет совсем не по-дворянски, а стопкой пеленок, которые полчаса назад прогладили в тихой комнате у окна, пока младенец спал себе в колыбели. И никакой парфюмерный аромат не перебарывал это детскую тайну его тела, приоткрывшуюся только мне.

** Интересно, что сам он почти не читал, это польскому офицеру совсем не требовалось. А вот с плохими стихами я его заставлял не однажды. Он был остроумец и говорил:

– Очень удобно – на салфетках много слов не уложить.

– Почему это салфетки?

– Да промокать: или слезы или слюну, а может, и пот, это когда от гордости вспотеешь. Совершенно реальные чувства... Промокнул и пошел. Вот тебе и стихи.

брючинах и так заложил за спину руки, что узкий пиджак обтянул его, и мне стало ясно еще раз – сотый и тысячный раз, по какому чудному лекалу выведены линии его тела, бедро, торс, плечо, шея.

Иногда я успокаиваю себя, убеждаю, что он просто сочинил себе такую позу и физиономию, и вышло как в модных фильмах, которые он смотрел в изобилии и потом пересказывал мне.

Еще это похоже на балет, в котором нет движений. Он вот-вот, не сходя со своего места, скакнет пружиной в перекрестье софитов, убежит во тьму, чтобы принять уже череду воистину божественных поз. Такой рассыпающийся на планки веер. В нем было это свойство. Взлететь, не сходя со своего места! О! Да!

Это так похоже на то, как я рассматриваю сверхчеткую фотографию мельчайшего зерна, которая осталась только в моей памяти; что именно так и было на самом деле, свидетельствует ход моих воспоминаний – он всегда одинаков.

Да, да, ведь еще шелковый галстук, затканый мелкими «индийскими огурцами». «Стиль либерти, бесслезный плач по утраченным территориям», – спокойно рекомендовался он, проводя по лацкану, как по грифу музыкального инструмента, которым в этот миг себе казался. Забыть это невозможно.

Как мне хотелось увидеть небывалый для наших краев месяц, такой, когда серп лежит горизонтально, как линия подбородка Г., гордо задранного вверх. Но это бывает только на экваторе, в чужих колониях.

Прошлое можно развернуть, как протокол, – только точность и точность, ничего лишним не будет в пристальном деле воссоздания моего любовного трепета. Все вещества, что исчезли, не могут быть изъяты из моей памяти оттого, что именно она и есть жизнь вечная. И чем подробнее я вспоминаю, тем больше понимаю, что веществу моих воспоминаний не будет предела. И вот – вещество жизни дарит подробности, без которых его самого не будет, потому что оно – лишь они, которые были, – и ничего больше.

Г. говорил своим неудачам: «Я вместе со всеми вхожу в ничтожество. У меня достоверно есть только военная форма да еще ты. Но все кончится...»

Я задыхался: «И я?!!»

У меня есть еще одно воспоминание о нем. Не такое тревожное. Ведь я видел его всяким – спящим и бодрствующим, да что там говорить.

Вот все-таки светлые глаза, когда я смотрел в них, прищурившись, как сквозь слезы, то видел их голубыми. Из-за темных ресниц, не черных, а каких-то темно-русых, они были самым главным в его лице.

Иногда мне казалось, что кроме очей ничего и нет больше, будто он опустил забрало. Да и волосы – неважно какие, остриженные совсем коротко или отросшие, всегда чудились мне плюмажем на шлеме.

Он ведь вообще-то был самым настоящим рыцарем.

Из обветшавших, как он однажды при мне отрекомендовался одной безразличной деве, но все равно рыцарем*.

А иной раз я видел еще тонкую стрелку, тоньше тетивы, бегущую от края носа к уголку рта. Но как она станет морщиной, я уже не увидел. Потому что помню лишь его несвязанные положения. В мире, куда он попал, тоже нет никакого динамизма. И хотя бы это, думаю я, гарантирует мне связь с ним.

Иногда я переворачивал фотографию и рассматривал на просвет ее зримое вещество, делающееся на моих глазах протяженным, загадочным и ранящим меня. Так как очевидность того, что это именно он, делалась из зримой, которую я могу просто наблюдать, чувственной настолько, что мне казалось, что пульс мой учащается. Может, это происходило оттого, что все-таки слой фотобумаги «размывал», туманил изображение, и мне приходилось удостоверяться в нем, говоря особенные наши с ним слова, которые он унес с собой.

Но все эти объяснения несколько не приуменьшали волнения, вводившего меня в долгий ступор, когда я уже не видел того, на кого смотрел, так как взор мой ни во что не упирался, кроме просвета.

* Он иногда, примечая чью-то сквалыжность и убожество, нарочито бодро и независимо говорил: «А у нас все уцелело без нафталина». Я только догадывался, что он имеет в виду.

ЗАСТЕГИВАЮ ЕМУ МАНЖЕТЫ

На манжетах рубахи Г. из волшебного хлопкового полотна, сквозь которое тело буквально светилось, я застегивал пуговицы, так как запонки (хотя для них были прометаны петли) были бы чрезмерны, и думал об этой новелле, касаясь через тонкое полотно его крепких рук.

Меня ошеломило, когда я читал новеллу Бальзака о Саразине – не травестийная история, кончающаяся так трагически, когда молодой скульптор, вроде бы должный внимать всем телесным мутациям, не догадывается, с кем имеет дело, – а живописание туалета вождельной Замбинеллы, белых тесных чулочек, скользкого, плохо принимающего чувственное тепло ледяного лифа, такого тканого фундамента, будто поросшего мелочными болтливыми цветками, из которого возникало пошитое волшебником удивительное платье, почти без швов, как второе тело, и может быть, еще более чувственное из-за мишурных подробностей.

Словно поляна, осыпанная росой и разноцветом.

Еще...

Я слушал, как холодный пот пробивается к моей коже.

По всему телу сразу.

...Далекий пейзаж, лишенный каких бы то ни было свойств – оживший на моих глазах лишь один раз, когда в середину прямо расчесанной правильной гребенкой бахчи, в четко очерченную крону дерева, словно вылепленную из тяжелой пены, упала молния, расколов дубок, косо срезав половину его крепких ветвей, повалив эту кипу зелени на шалаш охранявшего быстро звереющие к этой поре арбузы сторожа, – и этот пейзаж с молнией, показавшейся, как растущая трещина на небесах, вмиг заполняется синим огнем, как раздвигается на какую-то долю сантиметра моментально порванный с гневным треском листок пергамента, донося до нас яростное сияние, как оказалось, с таким трудом сдерживаемое мыльной пленочкой этого пейзажного вида...

А теперь надо считать – раз, два, три, семь... одиннадцать...

И на втором этаже вмиг посизевшего неба случался какой-то срочный безумный переезд с передвиганьем неподъемной мебели, битьем электрических лампочек, с неукротимым бильярдом сдвинувшегося с тормозов могучего эшелона. Тут же, перестав прислушиваться к камерто-

ну, начинал вразнобой качать кронами, купами и сенью лес на ближайшем пригорке, едва видимый отсюда.

Волна ветра еще не дошла до нас.

С чем можно сравнить это короткое время?

Не двигаясь, я ловил его руки, обвившие меня, я хотел, чтобы и он окаменел вместе со мной.

Через много лет, при страшном повороте моей жизни, когда я спасался от гибели, настигающей меня повсеместно, я вспомнил о нем, услышав драгоценную граммофонную запись начала века, где был запечатлен голос последнего кастрата, Морески, – меня тогда ошеломило, что это не похоже ни на что – ни на мужское угрюмство или женское всеохватное желание. Просто звучащее ничто, что никогда не оборотится в нечто, – такая фило-софская неглубокая полость, – но это был настоящий звуковой портрет Тадеуша, итальянское пение будто извлекло из оптической тьмы на пару минут моего друга, вернуло мне его, и я – прослезился, что случалось считанные разы в моей жизни. Я знал – таким голосом, нет, это не совсем верное слово – тембром, нутром – звучало его тело, это был звучащий смысл того вещества, которое было только его и больше никогда не будет. Это было формулой его инстинкта, и он бы похвалил меня за это предопределение, ведь инстинкт на что-то направлен, поэтому – предопределен, хотя бы его жизнью.

Таким соболезнованием не поют ни теноры, ни альты, ну, может быть, дети, хотя молодой голос – умоляющий, как женский, он молит о сохранении голосовых связок – совсем немного, ведь так.

РЕНТГЕН

Зрелища, звуки, безмерное осязание пронизывало меня, и я видел, слышал, осязал гораздо больше, чем мог вместить, понять, повторить, как урок.

Мне показалось, что я для своей внутренней жизни уже не предназначался, став лазутчиком, и все, что касалось меня, превращалось во внешность, выворачивалось многократно – вымокшей от снежков варежкой, овчинным тулупом, рукавом, палаткой, сорванной порывом моего взгляда.

Будто кто-то научил меня все запоминать с первого раза, повторять чертежи человеческих тел, запоминать целые полотна, исписанные мелочным почерком страницы о судьбе этих невиноватых людей.

Они ведь совершенно не были предназначены для описаний и заучивания наизусть.

Кому я это расскажу?

Будто все, что окружает меня, светило в меня собою, но не сгорая, а проявляя свои свойства, как в цветных рентгеновских лучах.

Я вспомнил, как Тадзю раздевался в клинике, где его и меня должны были пронизать этими пресловутыми X-лучами, якобы всевидящими.

Он раздевался, звонко сбрасывая с плеч подтяжки, как упряжь, выворачивая металлические пуговицы тужурки, распахивая белую сорочку.

Теперь-то мне кажется, что все эти действия сопровождались не только звуком, который посейчас стоит у меня в ушах.

Иной раз я ловил себя на том, что оторвать взгляд от него было невозможно, будто это бестолковое раздевание было обращено ко мне как небывалый дар, полный щедрости и бескорыстия.

Еще бы, у меня были свидетели...

Помню, как хлыщеватый врач затеребил, оказавшись в таком неистовом театре, свою шегольскую бороденку, всего-то углядев, как мой Г. оголился по пояс.

Здесь потребны торжественные слова*.

Маленькая ладанка путалась в позолотевшей поросли, так рано обувшей его.

* «На рельефе плоских грудных мышц соски светились темным огнем, как варварские ордена на античной кирасе», – я почему-то очень гордился, что мог произнести такую тираду, и сожалею, что не высказал ему этих слов, хотя столько раз релетировал... Он бы улыбнулся мне, наверное...

А от грудины (боже ж ты мой! – ахал я на глубоком вдохе) к пупку и ниже сбегала стрелка плотных завитков, делавшихся темнее, темней, таинственной и кучерявей.

Какую-то нехристианскую, туземную тайну его тела ни воплотить и ни представить было невозможно.

Было отчего затеребить докторишке свою хмельную бородишку, ведь и я тоже поймал себя на таком же жесте, вот – стою как вкопанный и мну свой бритый подбородок.

Врач взглянул на меня и все понял про нас с Г., наверное, – мне ведь казалось, что когда нас видят вместе, то все про нас понимают с самого особого первейшего невидимого взгляда, даже не успевая и посмотреть в нашу сторону.

Конечно, именно в нем, моем Г., все и различали сразу, ведь больше ни на кого уже смотреть было не надо.

Тогда мне почудилось – и это была не мысль, а какое-то озарение – ведь я решил где-то глубоко в себе, на самом тайном дне моей души, что он, мой Г., не умрет никогда.

Он ведь повернулся и взглянул, улыбаясь, на меня так, будто был написан гением на деревянной створке алтаря, на меня, замешкавшегося; наверное, только для того, чтобы я никогда не позабыл напрягшуюся жилу на стволе его высокой шеи.

«Господи, почему же его нет среди живых, Господи?» – все мои размышления, наблюдения и т. д. кончатся одним и тем же, и кроме этой фразы я ничего сказать не могу ни в оправдание, ни в осуждение.

Кого?

Кого же мне оправдывать?

Только лишь самого себя перед собой...

За то, что уцелел*.

* Как ни странно, но ревность, где бы я ни бывал с Г., всегда распространялась на все – на X-лучи, видящие его, на самого Г., улыбнувшегося врачу, на металлическую конструкцию, охлаждающую его теплую грудную клетку. На самого себя, так как во мне растет беспричинная (ведь не могу назвать причины, так как их слишком много) ревность.

И еще – шум автомобилей, привлечший внимание Г., и его идиотский комментарий по поводу свойств проехавшей машины. Я становлюсь монстром.

Один офицер нашего полка в свободный день подъехал к казармам в прекрасном кожаном облачении верхом на потрясающем мотоцикле. Он был очень богат и в нашу глушь был сослан по каким-то темным основаниям. Г. тихо сказал сквозь зубы: «Креветка, ракообразное!»

В этом была банальная зависть.

Меня охватило жгучее чувство. Как же он видит еще и другого помимо меня! Все свои силы я направил на то, чтобы Г. не заметил моей вспышки.

МОЖНО МЕЧТАТЬ

Есть еще его фото, где он шагает по отмытой до слез улице, по центральному променаду Белостока, сам такой же – хвостун-зазнайка, полный жизни и проказ на ближайший вечер, мимо блеска прекрасных невеликих магазинов и чудной сутолоки нарядных подтянутых европейцев.

Он под руку с чудесной паненкой – с наилучшей, тончайшей барышней, той самой, еще не опаленной его приступами.

Вытянутая из-под привольной полы мягкого пальто ее ножка еще не завершила шага, но показала изящество туфли, всю прелесть рисунка икр, узость точеной щиколотки.

Он, преувеличенно модный, – без шляпы: он гордо показывает курчавые, чуть редующие волосы, которые не будут тронуты высокими залысинами (и они бы украсили его); мой молодой парусящий красавец перед самой войной.

Сейчас, сейчас все исчезнет. Зажмурься.

И он шел, не наступая на мостовую.

Топтал осенние дни, примерно те, когда по-особенному заяснеют холодноватые звезды часа через два, и Млечный путь замутился белым клеем, ну, чуть яснее проступит на пожелтелом сукне небосвода .

И еще одна карточка – он, сидя за столом на городской площади, вдохновенно записывает добровольцев – тоже изумительного вида молодец в прекрасной офицерской форме...

Вот их необстрелянный отряд в оперных конфедератках, они словно бодрые птицы – вышагивает по какому-то пресветлому селу. Сзади на платформе, запряженной десятью белыми волами, должен вроде бы следовать симфонический оркестр с большой группой медных, чтобы залить все светом победы...

В то время он мог меня найти хотя бы письмом.

Еще фото немного из другого времени – компания на пикнике, и он сидит в кольце безбородых бородачей, как обнаженная у Мане. Видно, что он-то никогда не станет бородатым. Так и вышло...

* Такой же шарфик совал в свое модное штатское пальто «от Шульца» мой дорогой Г., которого я никогда не увижу.

Даже одеваясь, он всегда оставался голым, а самое его чуткое голое место было под подбородком, и он показывал его миру, задирая свою голову, как на этом фото. Но во всем мире об этой выгнутой седловине знал лишь я.

По известковому, осыпающемуся уклону оврага вертикально метнулась ящерка, не знающая о гравитации, начертав сложный зигзаг арабского письма во славу. Я вспомнил, как мне в раскрытых арабских символах слышались гортанные вскрики, тряпичный выплеск знамен, будто встряхивают гигантскую простыню, бархан незримо сдвигается, как время моей жизни, наконец – дыхание возбужденного тела, идущее изнутри, из очагов гораздо более жарких, чем легкие.

Когда он, мой Г., ласкал меня, то его ящеричий язык чертил на моем теле газеллы, и я никогда не позабуду их ненадежного быстросохнущего смысла, оборачивающегося всем. Будто я не должен позабыть их текст, который никогда не учил наизусть, ибо он и так был во мне, моим, мной.

И чем больше времени проходит, тем точнее фокусируется их смысл, словно время лишает все флера, тумана, мерцания, оставляя мне только слова: «Его нет, Гремька нет».

Я запомнил его больше как отменной нежности любовный механизм, дающий и отдающийся без импровизаций, – о, его театр был божеественно хорош!

Я тогда пробовал описать где-то в своей бессловной глубине, почти что на языке гула, что со мной происходило.

Г. был виновен и в моих любовных неудачах – девушки давали мне так, как давал он, но сопоставление было не в их пользу – такого узкого отзывчивого канала больше не было ни у кого.

Потому что (думал я) ну какое в Польше судоходство, какие каналы в Речи Посполитой?

Вот речи – это да!

Именно речи, обращенные больше к зрителю, чем слушателю, – их надо было видеть – и он говорил со мной, как с немым, на языке Брайля, хлопая себя по груди, отчего его розовый сосок (он ведь сам золотел на свету, пробивающемся в комнату, до рыжины) отчетливо твердел и становился темнее и темнее*.

– Дай мне попробовать, – запинаясь, просил я, и через мгновенье или мгновеньем раньше он все понимал без слов и заранее и узил свои опушенные пшеничным огнем очи.

* Еще этот розовый цвет этого пятнышка будто бы выбеливал и мертвил его светлое, какое-то, как казалось мне из-за любовного страха, обморочное тело, словно он репетировал собственную последнюю бледность.

Об этом я не думал, не думал и гнал-гнал эти мысли.

Я потом встретил не раз такую же триаду цветов – да хоть на репродукции дурацкой картины, где Иван Грозный добывает царевича. Розовая одежда, помертвевшее лицо, темная кровь.

Я много раз натыкался на то, что в нем не было эротизма, а какой-то земляной гул желаний, и я знал – то, что оно обращено на меня, – случайность, погода, забытый предмет, что-то еще...

Кажется, он бывал иногда и сероглазым, как в одном стихике Ахматовой. О чем это она? О какой безысходной боли такой? Тетка.

Ведь серый, синий, светло-синий – это блуждающий цвет...

Мечтаю снова увидеть, как он подносил ложку, большую столовую ложку густого супа ко рту.

Какой такой стороной?

Узкой или широкой?

Как прикладывал губы к этому польскому вареву?

Проходят годы...

Но в моем случае нужен совсем другой глагол – все что угодно, но они не шли – они покатались, их понесло, их рвало, меня рвало ими, они легко настигали меня, пытаясь прикончить; я жив, но все-таки они сделали свою работу – из моей памяти вымылись теплота и плотность тех, кто был сутью моей давней истории, мною.

Я помнил только то, что когда-то, может быть, вчера, помнил их совсем иначе, и это было моей сутью.

Вот то время, потому что уже изъят, исключен из него. Оно стало настолько чужим, что его не отомкнуть ничем, даже мною.

А вот как он кидался хлебным мякишем в меня – такими перехваченными с боков крохотными шариками – помраченными, попадающими в мое сердце, – я забыть не в силах и поминаю, как он целился, глядя в ту точку на моем теле, куда метнет свой снаряд.

– Это ты не с причастия притащил?

Он замахивался на меня уже серьезно:

– Богохульник! Пес!

Ну и все такое – возня, объятия.

Он был крепок, и я никогда не мог одолеть его, если он сам не подставлялся, а иногда он изволил быть податливым, как тот мякиш, из которого его сильные пальцы вылепляли мягкие снаряды, попадавшие мне то в шею, то в левую сторону грудины.

После этой игры я вспоминал дурацкое стихотворение Христиана Моргенштерна об игральном кубике, о роковом броске игральные костей, оно внутренне переусложнено настолько, что хорошо лишь для философствования, но все-таки Г. уподоблял меня этому самому кубику и все хотел попасть в счастливое невеликое число, бросая в меня мякиши.

Было ли это возможно?

Эта мысль, ее щемящий вопрос не оставлял меня ни при каких обстоятельствах.

И я примечал, что все мои дальнейшие встречи и истории с мужчинами – длительные и мимолетные – были всегда обращены в фокус сияющего

скоротечного счастья, быстрого, как разрыв; но наречие «навсегда» главенствовало над всем списком слов, которые возникали тогда во мне.

Он говорил со мной, и я слышал его как-то странно, будто он звал меня из-за закрытой двери; а иногда я вдруг понимал, что вообще слышал его куда объемнее, больше, чем видел. Может, это было потому, что мне всегда казалось, что он говорит со мной отдельно от своего тела, будто речь его была уже внутри меня всегда, чтобы тревожить и волновать меня изнутри.

Он однажды, лежа передо мной голым, когда мы уже были любовниками, шутя, спрятал, зажал свои гениталии меж бедрами – и я ахнул, увидев то, что так любил в нем: мягкий длинный живот, чуть выступающее бедро, талию, вдруг увиденную мной как восхитительное лекало, – я ведь никогда не видел, как он танцевал, и понял всю глубокую гамму его человеческого смысла, где пола точно не было, а был только смысл моей лунатической любви к нему – я выходил из спальни, шел в гостиную, растворял окно и невесомо вспрыгивал на парапет балкона, с которого уже не мог упасть, так как лишался веса, только чувствовал, как он манит меня милосердной луной, тени от которой всегда гораздо светлее освещенных мест.

ХЛОЯ

Сколько раз он ускользал от меня – только стоило отвлечься. Будто из бус кто-то вытягивал леску, и они еще какое-то время лежали, храня овал, который помнил о шее, а потом бусины расплзлись во все стороны будто под силой времени, и я уже не мог себе представить ни ладного начала, ни фактов, которые следовали один за другим, прижимаясь чисто отшлифованными гранями, чтобы не искрить.

Как все это зародилось – его любовь к юному и красивому охламону, похожему на стертую монету совсем небольшого номинала...

Он с удовольствием подставлял, одалживал ее, свою сероглазую кралю, симпатичным молодцам, с которыми она на его глазах бодро первой знакоилась, и последствия не давали себя ждать; он, как понял потом, словно имел секс с ними через нее. Таким вот образом, насыщая свою тягу посредством ее бодрого молодого дара, он полагал, что и она, его подруженька, ставшая просто мировой оболочкой, трепещущим стягом, не может быть в одночасье растрчена.

Он всегда одобрял ее поджарый выбор, особенно когда они, эти ее новые скоротечные товарищи, походили каким-то образом на того, самого незабвенного, которого я видел только пару раз.

И он, мой Г., будто сам попадал через нее (через щель в монетохранилице) к своим обожаемым младым нумизматам.

Он говорил: когда она туманными способами, обычно из пригородов, возвращалась поутру еще в сумерках, как нимфа, или уже к обеденному времени, радостная и необыкновенно нежная к нему, как сестра, то он всегда мог почувствовать и чувствовал, чувствовал – невзирая на то, сколько часов назад это произошло, – жесткий и кислый дух металла, стелющийся округ нее, как от плавильни, – затушенный жар той редкостной табачной окалины чужих далеких людей (ведь и тот, незабвенный, охламон охламон, воображал себя художником, был денди и курил трубки).

Но все-таки она всегда, и это незабываемо, появившись и усевшись на стул, подоконник, диванный валик, чьи-то колени, просто на пол – делалась особым знаком препинания. Будто все помещение было заполнено мерными словами, сплетающимися в простые фразы, и только о нее все время задевали – быстрая и верткая, как змейка, она действовала, как лиш-

няя запятая в предложении. Все начинали выяснять – в каких отношениях состоят забредшие сюда люди, кто кому, как и зачем. Легкая бессмысленность времени улетучивалась.

Замершая, она всем мешала, ничего не делая и ничего собой не означая, но приковывала этой незначительностью все внимание к себе. Как ей это удавалось? Посредством какого такого невидимого вещества, влекшего всех? И в комнате, где она была, все как-то начинали немного стесняться друг друга.

Она, появившись на людях, всегда отменяла такие простые вещи (по которым и судят о календарном времени), как длина юбок, высота каблуков, фасон прически – ибо под любым платьем ее тело читалось отчаянно и задорно, невзирая на фасон, материю или расцветку. Высокие бедра, плоский живот и всегда заметный, невзирая на крой ее одежды, низкий холмик лобка, как слабое грузило, едва удерживающее здесь ее тело, такая подушечка для иголок в светелке белошвейки.

Ни милое кукольное личико, ни виноватая шея, ни худые ключицы – почти ничего не значили в ее облике. Будто она была воплощена в другом – в том, что скрыто покровом, но сделалось пронизывающей всех скоротечной реальностью.

Я списывал это впечатление на то, что назубок знал все ее тело.

Ведь так, наверное, было всегда – во что бы она ни была одета: в гладкое, складчатое, обтянутое или просторное. Плиссе-гофре. Будто нельзя вспомнить и высоты ее каблуков, так как всегда, невзирая на обувь, она была босой, будто усевшись и вытянув ноги, могла пошевелить пальцами, как томящаяся *m-me Vouary* в припадке страсти. И я словно знал о среднем пальце ее стопы, что он чуть длиннее и создает правильный овал следа, как у античных статуй. О фасоне туфелек или ботиночек уже и говорить не стоит, их никогда не удавалось рассмотреть, только расшнуровать или расстегнуть. Меня настигает ее капризный топот у дверей. Несколько па галоп. То ли отряхивает снег, то ли сбивает пыль, то ли просто так спешит, оттого что не терпится...

Я, кстати, не то что не мог вспомнить подробности ее облачений, я не мог на них сосредоточиться, так как дело было совсем в другом, в какой-то вспышке быстрого, будто бы спортивного взветренного стиля, будто у нас открылась регата, завелись дерби, что-то такое, где открытые окультуренные пространства и ветерок полощет уютные флажки. Рецепт ее эротизма всегда ускользал от меня.

А короткая прическа ее – неискоренимо растрепана, будто пополам со сквонзьяком, и я ловил скрытое мускульное электричество в своей руке, которая помимо моей воли тянулась отвести тончайшую прядь, былинку из нескольких волосков, наворачнувшуюся на ее губу, еще немного – и попадет в уголок рта, я всегда видел самого себя, поправляющего локон, щекочущий ее веко, – ведь Хлоины волосы легко рассыпались даже не на пробор, а такими ленивыми волнами только от одного моего взгляда. И никакие

ухищрения – ни гребни, ни заколки, ни шпильки не сдерживали суету этой каштановой копны. Всегда, оказавшись в помещении, она буквально стряхивала из прически все шпильки и заколки, удерживающие хоть какой-то там порядок. Будто начинала на людях раздеваться. Начиная с прически. Так происходило и в кафе, и в гостях, и в кино. И кто-то из нас всегда подбирал овальные гребни, выскальзывавшие на столешницу или на пол. Но надо сказать, что Тадзю уступал мне в этом турнире. От великодушия. Ведь все остальное и так принадлежало ему.

В ней ничего не было неизменного, и может, именно поэтому я не мог вспомнить в конструктивных подробностях и помещения, где мы втроем оказывались, будто бы она им самим, вернее, ключом к их убранству и становилась. Такая калька раскатывается перед моим внутренним взором – где очерки сводов, оконные проемы – линии ее изумительного тела. Будто она надевала и их на себя. Какая высота потолка, сколько было окон, были ли на них занавеси... Все-все как-то смещалось к ней, она ведь была такой горючей лункой, в которую стекало и вкручивалось время нашего тройственного свидания, сделавшееся вертким и плавким, и совершенно очевидно нисходило бессмысленное пространство, отведенное нам, такое незначительное и банальное, совершенно лишённое притягательности и эротизма по сравнению с нею. Когда она находилась рядом с нами.

У меня было ощущение, что где бы мы все вместе ни пребывали, это место всегда оказывалось лужайкой уединенного сада, где курчавились зеленой шевелюрой прекрасные кустарники – вереск, барбарис или боярышник, нестриженная пестрая трава, и можно вольготно расположиться для отдыха, примять полотнище скатерти, извлечь провизию из корзинок. Легко и нестыдно, услужливо друг к другу, расстегивая тесные пуговицы, совсем разоблачиться.

И я часто пригибался к ремешку, расстегнувшемуся на туфельке нашей нимфы посреди людного тротуара, завязывал скользкий бантик на шнуровке ботиночка в кафе или кинематографе, касаясь ее голени столь долго, что еще мгновение – лизнул бы сливочную карамель ее чулка.

Я смотрю на нее, и мне чудится, будто я целую ее макушку, рассыпь волос, все должно пахнуть сухостью и одновременно кислить младенцем. Я и на бодрствующую на нее смотрел, как на спящего человека, так как понимал, как она наконец уравнена со мной, как и хотела, – мягкая оболочка, тонкий невозмутимый слой, где все условно.

Такая облатка: всего-то прижать к нёбу, чтобы не стало ни жесткости, ни хруста...

Кажется, задорные особенности ее тела, такая скрупулезная безупречность среднего рода, юношеская отверстость и вместе с тем пылкая недоразвитость, будто она еще чревата всем самым лучшим на свете, – не позволяют и посейчас, через столько лет упрекать ее в тех планах, что она

осуществляла и осуществила. Маленькая грудь, худоба – трогательная и немного убогая до сих пор как-то гасят ущерб, который она все-таки причиняла всем, кто окружал ее в том времени, которое всегда при ее появлении становилось бурным, неожиданным, сумрачным и дерзким. Обнаруживало себя. Такая брэнная смесь, но именно таковым оно и становилось.

Я однажды понял, что самое главное и в каком-то смысле доблестное в ней, дающее ей устойчивость и какую-то ошеломляюще скользкую симметрию, из-за которой она все время и исчезала из моей памяти (которая настроена на заусеницы, на отклонения). У нее был центр тела, в буквальном смысле. Такой на удивление крупный клитор, противоречащий всей ее хрупкости и жалкости, выступающий из жесткой поросли на лобке, не дающий сойтись складке. Такой пенис малепуленьки, только что вынутого из крестильной купели. Точка для мировой оси. Да! Я даже подозревал, что в Хлое сокрыто еще одно таинственное тело, про которое я никогда ничего не пойму. То ли плененное ею, то ли еще не рожденное, не пророшенное насквозь.

Когда мне доводилось касаться ее, я всегда подозревал, что мое тактильное чувство обладания ею уже давно минуло и я вижу и осязаю ее в отдалении через слой слюды или старинное оплывшее стекло, будто она уже превратилась в собственное описание, в пустой прекрасный жест, который невозможно ни заключить в объятия, ни повторить.

Я часто думал о ней, то бессловно умиляясь, то прибегая к лексике глумления, потому что она была одновременно суеверна и на удивление набожна. Это как-то дико сочеталось. Она к месту и не к месту бормотала молитвы, мелко крестилась, окружала все ритуалами: еду, посадку в автомобиль, вход в помещение. В пазухе ее глубокой сумочки, там, где пудреница и помада, лежал еще и затрепанный походный томик детского молитвенника, в который она иногда смотрела, разглядывала его странички как-то мимо букв в отрешении. Будто должна всюду, куда ее забросит нелегкая, прежде чем совокупиться с новым молодым человеком, перелистать его хрупкие и выжелтевшие листки. Закладывала ли она самые любимые необходимым в таких случаях средством?

Г. мне объяснял, что ему было еще в ней интересно. Он говорил об этом мне не раз, что уже в детстве видно, как из девочки пробивается тело, словно биомасса из набухшего фасолевого зерна, для этого даже не нужны долгие наблюдения: по какой-то светящейся мягкости это можно понять сразу. Но вот интересно то, могут ли они сами, эти бывшие девочки, увидеть самих себя таковыми. Вот Хлоя, к примеру. Наверное – да, только для этого необходимо искусство. Что он понимал под искусством – я не поинтересовался.

Хлоя – множество раз спрашивал я себя, ну какая она красавица со своим вздернутым носиком, смягченным маленьким подбородком, очами

смутного цвета, – ну никакая. Для меня и ее личность была лишь продолжением оболочки, словно бы вытянутым оттуда отчужденным элегантным усердием – ткачихи, прядильщицы – не знаю. Кажется, это самонадеянное предположение, но ведь она и изучала где-то там в невыясненном месте (курсы? семинары?) артистические дисциплины, как бутафор собственного театрала. Все случайное в ней, я знаю теперь, было предумышленным. Чего стоила растерянная улыбка, которая держалась всегда меньше, чем надо для ответа, и которую можно было в любой миг смахнуть, – а смотрит все куда-то в плинтус самой дальней стены, но нельзя каким-то глубинным чувством не почувствовать, что сквозь опущенные веки видит все происходящее вокруг.

Я думал потом, что эта способность смотреть, не видя, и была тем самым заповедным ее фокусом, который никакие мужчины не выдержали. Во всяком случае, мы с Тадеушем. Сначала испытывали необъяснимое смущение, а потом и прямое смятение. Вот шел кто-то себе на охоту в полной амуниции, гордый такой, а тут какая-то пташка промелькнула – не обращает на него внимания, так как занята своей пернатой ерундой, а на самом деле держит давным-давно его под прицелом – и в разросшемся дурацком разговоре все его реплики слышала и помнит именно она и сверхотчетливо сквозь мундир (это было особенно по Тадеушевой части) примечает все его нервные порывы, которые он своими мышцами лишь начал только сам осознавать.

Одним словом, от такого наблюдателя нельзя было просто так отмахнуться. Но вот вопрос – кто же им был? Неужто вот эта наивная грустная особа, что и в глаза-то смотреть стесняется?

Не помню, с каким бытовым оборотом это было связано, но я несколько раз слышал от нее девиз «Но я-то честна перед собой», как будто этой сентенции предшествовали страницы и тома чужих лживых жизней, изученных ею во всех бесчестных подробностях.

Только и выдавала в ней законченную вуайерку чуть тонкая верхняя губа, особенно когда она улыбалась. Губа делалась совсем узенькой, будто она ее глотала.

И улыбка казалась мне промельком ящерицы по ее лицу, вдруг нашедшей самое горячее место ее тела. Совершенно бессмысленно, что так получалось, – просто сейчас горячо было там, а сутки назад – в совершенно ином месте. И я и Тадеуш знали об этих местах.

Вообще-то, кроме скользоты и быстрого таянья в Хлоином теле я так и не обнаружил никакого вкуса для себя, просто мука, попавшая рот, скорее бы запить. Так и Тадеуш считал.

Их непростые отношения усложнялись. А самые настоящие сложности начались с того, что он как-то вдруг ни с того ни с сего решил сжечь ее фото. Перед самым ее носом. Я сам видел это действо! Вот так! Он вытянул его из своего бумажника, как крохотную купюру уже не существующего государства. Керенку? Чиркнул спичкой и опрокинул отпечаток прямо на

горючий язычок. Она переполошилась и вырвала карточку со своим обожженным ликом.

Потом еще эпизод через какое-то время, он тоже ни с того ни с сего, находясь в той же комнате, именуемой «студией», сидя на постели, голый – это было при мне – начал сочинять ей не очень длинные письма, якобы ради тренировки в стиле и грамотности. Такие изысканные записки, полные скабрзностей и ласки, ругани и утешения.

Он их свободно показывал, как будто это были мадригалы.

Закомпонованные красиво на открытом письме.

Будто их исполнял сторонний переписчик.

«Сегодня смотрел, милая моя, на желтый след на свежем снежке – это я посмел, чудо мое, наконец помочиться, поссать на твое злополучное фото», – начиналось письмо каким-то писарским истерическим наклоном.

«Ты самая чуткая сука и вероломная тварь из всех, которых я знал, но по-настоящему кроме тебя я не знал никого, ни-ко-го! Повтори за мной это слово по слогам, птичка-зараза!»

Это было следующее открытое письмо, написанное в каком-то зловредном печатном стиле, будто его выстукал ундервуд.

Еще подчеркивания, курсивы, какие-то обводки испещряли почтовый прямоугольник, который он не отправлял. Он говорил, что только одно это оформление насыщало его столь желаемой тревогой.

В какие времена это происходило? Как ни странно, я не могу на этот вопрос точно ответить, так как от времени остались какие-то мощные плотские руины.

Из-за нее.

Да что она!

Мечтала о бусах богемского хрустала. Красных. Вся история.

Мы сидели у витринного окна в модном тогда кафе, что на изгибе Августовского бульвара. Большие окна, пробитые в первом этаже старого фасада. В любое время года небеса прорывались в эти огромные окна заведения, как начало эпоса, обещающего нам приключения, удачу, светлую дугу будущего, мгновенный штопор восхождения. Но, знаю почему, я всегда думал, что этот дом, кафе на первом этаже, нарядная старинная улица, крепкие высокие липы бульвара, время года обязательно сложатся в руину, так и оказалось вообще-то. Но загадка в том, отчего я так провидчески думал, проходя мимо этого заведения, осталась.

У самого этого эпизода как будто бы не было времени, так – картинка, зарисовка горелой спичкой на желтом, как вечерний свет, листке, который я подобрал на полу. Чья-то рука рисовала, пока не иссякло контрастное вещество, только что бывшее огнем, абрисы трех фигур, буквально смешивающихся друг с другом.

Мне так казалось всегда, и я часто раздумывал: ну какое же меж нами есть родство, кто может его по-настоящему благословить, ведь меж нами не было никакого разврата, хотя бы потому, что не было и расчета.

О календарном времени напоминала только свернутая в трубочку газета, которую принес с собой Тадзю, будто он собирался ее внимательно читать. Обрывки передовиц, хвастливые слова. Это время было не наше.

Провинциальное заведение всеми силами изображало столичный лоск, настаивало своим стилем на неизменности, ведь декораторы, устанавливая какие-то диковины на пьедесталы, добились того, что гость, где бы он ни сидел, – у широкого окна на бульвар, у завешенной тростниковой гардиной двери на кухню, – чувствовал себя в декоративном эпицентре, будто внимание посетителей было направлено только на него. Я понимал, что происходит этот обман из-за роскошного радиоприемника, поднятого на этажерку, будто надзирающего надо всеми, и открытого патефона, отстоящего от радио по диагонали, перечеркивающей весь зал. Они, никогда при мне не игравшие, подавали безмолвные вещные знаки друг другу, будто и мы охвачены новой конкретностью всепроникающего эфира радиоволн и затаившегося в их мембранах электричества. И я чувствовал, глядя на своих спутников, их голизну куда сильнее, чем акустические шнуры волн, могущих ожить в любой миг.

Широкая прямая спина Тадеуша, его высокая крепкая шея, военная ткань штанин, натянувшаяся на ляжках, когда он присел вместе с нами, мужество его тела – все настаивало на жизни, не учитывая настоящие исторические новости, уже одолевавшие нас со всех сторон.

Тадеуш произносит негромко, едва роняя слова:

– Не думай обо мне так сильно. У тебя от этого будет крапивница, а у меня колика.

И непонятно, к кому он обратился: ко мне или к Хлое.

Она, примостившаяся тут же, будучи рядом, всегда была на огромном расстоянии, и это впечатление не менялось даже тогда, когда я осязал ее. Но это правильно – ведь знание о ней никогда не уравнивалось с ее обликом.

На барной стойке плещет и лучится хромом новенькая машина «барецца», видимо, доставленная откуда-то из Западной Европы для приготовления особенного, небывалого в наших местах кофе, который и мы сейчас пригубим. Мастер церемоний с отточенной грацией топырит локотки, слишком высоко вскидывает руки, будто сейчас законглирует и затанцует; он звонко заправляет фильтры свежемолотым колониальным веществом и галантно опускает рычаги над чашечками.

«Барецца» вослед ему вздыхала.

Налаченная голова его сияла, как часть механизма.

Может, он исполнял роль машиниста таинственной машины, такого волшебного стерильного локомотива. Наш поезд вот-вот должен был тронуться в сторону настоящей прекрасной столицы – Парижа, Рима или Ве-

ны. Хлоя облакачивалась о столешницу, подпирая свою растрепанную голову, она казалась мне охапкой простодушных полевых цветов.

Прочая публика, как нарисованная, деликатно теснилась за малюсенькими столиками, и все знали, это не от жадности владельцев, а дань принятому в Париже стилю рестораций. Тяжелая зеленая муха звонко чертила молниевидными зигзагам воздух, разрушая столичную иллюзию, напоминала, что мир имеет гораздо больше измерений, чем на дурацкой картинке меню. И еще есть луга с пасущейся животиной, жирная вспаханная земля, выгребные ямы, загородное кладбище и скотомогильник.

Тадзю, придвинувшись совсем тесно к Хлое и ко мне, невинно и очарованно светлоглазо, как умел только он один на свете, вглядывался в свое отражение молодого военного, прибывшего на побывку. Мне даже казалось, что он немного удивлен себе. Будто еще есть какие-то вопросы. Но главное – он был так хорош в своей свежей форме, щеголевато подогнанной по фигуре, – выбритый до матового блеска теплым светом и припудренный блестками реклам вечеряющей улицы, цветные вспышки проезжающих машин сорили конфетти на его китель. Мне казалось, что это не Тадзю, а его безупречный оттиск на стекле, отгораживающем нас не только от сегодняшних тревог, но и от времени как такового.

Все, что происходило с нами, было выпадом против его течения, победой инстинкта над отвращением. Мы ведь не хотели умирать, невзирая на все сигналы. Я прищипывал себя за тыльную сторону ладони, и кожа совсем не сходила с нее перчаткой, а побелев в месте щипка, упруго возвращалась на свое место. Господи, ну какая такая смерть...

Только вот чувство, что Хлоя делается прозрачной, не оставляло меня. Она, сидящая вблизи, не мешала мне видеть особенности стула, на котором восседала.

Легкий венский стул, две гнутые дуги составляют спинку.

Хлоя умудрялась иногда становиться пустым местом, не застить собой ничего, и поэтому ее было невозможно стесняться.

Я думал об этом ее свойстве.

«Во-во, бесстыжая она, а то как же еще», – говорил мне Тадзю.

Она настоящая, наверное, убежала с кем-то, с каким-то подлинным кавалером, а нам оставила лишь немного себя, свою тень...

Мне было известно, что сейчас воспоследует, но я с волнением следил за последовательностью этой процедуры словно впервые. Как Тадеуш, наклоняясь галантно к Хлое, вроде бы невзначай касаясь ее бедра, быстро подсовывает свою кисть раскрытой ладонью вверх под ее легкий круп, будто сейчас легко вознесет ее к потолку, зарываясь всей рукой в воланы ее юбок, будто так и надо, будто он такой изысканный карманник, специализирующийся на молодых прелестных посетительницах модных кафе.

Едва заметно приподняв свой зад, давая место Тадзиной ладони, будто невидимые стропы еще не потянули ее вверх, а лишь едва напряг-

лись, она, безыскусно ерзнув, ища удобного положения, посмотрела с самым искренним удивлением и на меня. Ах и ты как-никак здесь тоже?! Впрочем, куда же ты без Тадзю, как и он без тебя.

Она как-то широко оседала, такой пуховкой в пудреницу, и принимала его длань, будто это не рука обнаглевшего дерзкого Тадзю, а корзинка стратостата для увеселительных полетов, седло велосипеда для прелестных прогулок, вдруг распустившиеся под ней цветоложом, на котором она наконец-то благоуханно столепестково расцветет. Она щурила светлые веки, будто ловила долгожданный ветер приключения. Она становилось настоящей бессмысленной кошкой, наконец нашедшей обольстительное пятнышко, нагретое невидимым светом. Когда я смотрел на нее, то знал, что мне не придут мысли о протяжении и быстроте моего чувства к ней, я не помещу ее на неприкосновенную высоту, не наделю трагической светотенью. Я слишком ясно знал зону, где она находилась, служа услугой Тадеушу, но совершенно его не удовлетворяя, так как была на самом деле слишком однозначной. Да мне тоже казалось, что у нее совсем не было прошлого, так как все происходило не с ней, а только с ее телом.

Громко – он полагал, что никто и не наблюдает из посетителей кафе за нами, – он сказал мне:

– Присоединяйся, ну...

Будто я на этот раз мог отказаться.

И, развернувшись так, чтобы всех нас заслонить, я отчаянно и робко нырнул между разведенных бедер по шелковому пути ее черного чулка в самую шелуху юбок, как шмель в соцветие. Моя рука в темном плену делалась зрячей, и я знал, что слепило меня, когда за белейшим исподом ее лядвий, после подвязок я находил в путанице повлажневших лепестков ладонь моего друга, его жесткие персты, нежащие деву. Самое потрясающее в этом путешествии было то, что я переставал видеть, что осязал, меня накрывала волна жгучего волнения – каждая новая порция этого чувства, разбитого на сегменты, запрокидывала и низвергала меня. Будто я начинал говорить на самом искреннем языке, где затора между объектом и его обозначением не было. И я беззаветно ловил мениск ногтя моего дорогого Тадеуша, признавал указательный палец, потом средний, наконец мизинец – будто искал способ наречь их словами, снова опознать как объекты своей любви и желания, – именно их, именно их таким вот способом. И ничего более.

Наше с ним высшее виртуозное достижение – в самом устье нашей благорасположенной невесомой нимфы, там, где срастались воланы и оборки ее плоти, покрутить вместе крупную пуговку. Свести с ума нашу прелестницу. А самое выдающееся мое – совсем забраться в нежные недра и тронуть крепкое устье ее матки, такое крохотное китайское яблочко, будто замыкающее отверстие тайну ее тела.

Я будто подыскивал телесные объекты к словам, обозначающим мои чувства, которые беспрестанно повторял где-то в своей глубине.

Не знаю, было ли это смятением...

Тадзю тоже понимал, что мы зашли в наших играх слишком далеко.

Я такое нежное напряжение чувствовал в своем сердце, когда месса подходила к евхаристии и в небольшой сверкающей чаше на алтаре возникло Христово тело – совершенно из ниоткуда. Только магией слов и пассами священника.

Тадзю не терпел пафос и провозглашал нарочито громко и отвлеченно, превращая неприличие, невидимое никем, как казалось нам, в ритуальный глумливый театр:

– Теперь главное – не соскользнуть на всякую ерунду.

За этим занятием карту меню раскрыть мы уже не успевали. Что он подразумевал под словом «ерунда»?

Хлоя сидела отрешенно, подперев подбородок, кажется, что и не дышала, словно удерживала в себе растянутый испуг, не хотела спугнуть нас внутри себя малейшим мускульным движением. Да я и не ощущал ее как плотность. Мне казалось, что еще немного, и я смогу тронуть ее розовые губы – изнутри, с исподу. Там где альвеолы, небо... Когда я взглядывал на нее, отрывая глаза от сомкнутой папки меню, то понимал, что вот она – плотная и живая – не сможет задержать мою мысль, которая сквозит, не огибая Хлою, дальше и дальше, делаясь собою, становясь тревожной и невыносимой. Мне вдруг стало ясно, что Тадеуш должен исчезнуть.

– Кофе, кофе и еще раз кофе, скользи швыдче, одна нога тут, другая там, и сливки всем троим с корицей, – бросал в сторону официанта он чрезвычайно ровным голосом, как автомат.

– А мне с шоколадом, – говорила робким шепотом Хлоя, будто это желание было постыдным.

– Нет, – выговаривал брезгливо он, – будешь как все, я не люблю горький дух.

Хлоя показывала ему язык – на одно мгновение, розовый, упругий и широкий, будто из ее рта сквозняк выворачивал главную букву любовного алфавита, такой лепесток мясистого плотского цветка – перестоявшейся в палисаде мальвы, вянущей крупной розы, садового львиного зева.

Мне чудилось, что это я вытолкнул его из ее недр на свет божий.

Но тут же складывала его мякоть узенькой трубочкой, зажав ее овалом губ.

Сочетание отрешенного выражения ее серых глаз с большими зрачками и этой младенчески наивной розовой детальки, такой карамельки, которую она вот-вот опять заглотит, было неподражаемым.

Кончик языка, трубочкой зажатый губами, и был, в общем-то, формулой ее тела, вернее, им самим, выраженным единственным местом в ней, про которое я точно знал, что оно воистину стыдное, в отличие от прочих бледных обморочных выемок и румяных одышливых скользот, где мы с Тадзю увлеченно серьезно елозили. Может быть, мне так думалось, потому что Хлоя умела молчать.

Но будто бы с Тадеушем нечто нашли в ней, такой исток, от которого побежали плотные волны. И она, приоткрывая рот, молча провозглашала единственную литеру, которая ей давалась и в молчании:

– Оооо...

Дама по соседству, нервно нагнувшись под столик к вдруг захрапешему мопсу, ошалело выдохнула: «Пфуй. Матка Божска!» Будто бы по полу уже расплзлось облако пьянящего газа.

Но мы хранили покой, как триумвират, изваянный гением из одного цельного камня. Что-то вроде Лаокоона, только вместо змей нас каменило единое беспросветное желание, окольцевавшее наши тела.

Я вдыхал носом похолодавший воздух, чувствуя, как Тадзик нежно оглаживает Хлоин бугорок и, подталкивая, вжимает в складку, оплывшую липким, и мои пальцы, соскальзывая с них. Оставалось ведь совсем немного, чтобы окончательно ее извести. Наши руки, мои и его, сплетались, будто именно в этих касаниях и было самое настоящее удовольствие и святотатство. Ведь мы находили друг друга через Хлоин благословенный травяной покров.

Я смотрел, не отрываясь, как он все прикусывал свою нижнюю губу, словно обколотую темными точками сбритой щетины, и белый серп на нижней губе от дуги его ровных зубов так и не зарозовел за весь вечер. Неяркие лампы, свисающие в матовых шарах со сводчатого потолка, светили так ласково и мирно, что его короткие завитки и кудряшки сквозили одомашненным светлым светом, виделись мне как нимб, как такая зашумевшая световым сквозняком обводка на наивных католических картинках, с чьей помощью благочестивый художник указывает на то, что нуждается в особом поклонении.

Не знаю, было ли что-то кроме собственных кофейных чашек, взбитых сливок и пирожных заметно другим, но в кафе, как казалось мне, с нашим приходом смолкали смешки, болтовня и разговоры, будто люди тоже заодно с нами погружались в некое плотское озеро вожделения, найдя в себе силы только звякнуть ложечкой в чашке, отодвинуть легкий стул и бросить звонкие чаевые на столешницу. Укоризненно шипела кофейная машина, и подвижные двери распахивались сами собой, и короткие оплехи уличного шума достигали меня, будто буквы из газеты, принесенной Тадзю, складывались в слова, которые можно тут же позабыть.

Наша дева вдруг высоко вдохнула, вытянула шею, запрокинула лицо в потолок и откинулась на спинку стула, будто вот-вот лишится чувств.

Мне показалось, что это небыстрое кино, и еще она пару раз вздрогнула всем телом, подковки каблучков зычно царапнули пол и, шурша юбками, свела бедра так, что нам пришлось склониться к ней, будто мы должны друг другу сообщить некий секрет.

Я увидел, как мочку Тадзю покрывает тонкий золотой пушок.

Мы все согласно замерли, сплотившись над нетронутыми чашками кофе и сугробами сливок. Хлоя будто хотела вскрикнуть, так как стала фарфоровой и жесткой, но сглотнула звук.

В розеточку из ее прически вывалилась шпилька, она застряла в белом холме, как последняя вешка, указующая путь*.

Все посетители кафе, как казалось мне, нарочито делали вид, что нас не замечают. Я словно почувствовал такое «минус внимание». Но, впрочем, мне могло казаться.

Остывший кофе я так и не выпил, так как кислота и горечь уже расплылись во мне сами по себе, когда я посмотрел на черный мениск маленькой чашки.

– Посмотри, – сказал, когда мы вышли на бульвар, невозмутимый Тадеуш, – я промок, как Хлоя.

На его военных брюках возле ширинки растеклось пятно.

– Это ты кофе облился. Кстати, не обжегся там? – глупо пошутил я.

Бульвар казался мне особенным, будто тоже пережившим соблазн, блаженство и недоумение; редкие автомобили, ползущие навстречу, пристально ощупывали нас, высвечивая при развороте, словно стыдя и изнуря тряским огнем фар, таким просвечивающим изнутри желтком. Темные и светлые промоины в небе не означали ничего, кроме позднего времени, они не спорили со скупым электрическим освещением, которое, впрочем, ярким не бывает никогда.

Эта жизнь запоминалась мне оплеухами света, и я вдруг приметил, как Хлоя отвечает на плещущий свет фар. Она инстинктивно прижимала ладонями подол к бедрам, будто широкий шнур света был порывом ветра, могущим заголить ее, завернуть к поясу легкое облачение. Я понимал, что она так наивно переживает витальную силу, буквально толкающую ее, слепящую и останавливающую. Чувствовала ли она так же меня и Тадеуша?

По узкой улице, втекающей в бульвар, где пахнет Средневековьем, где видятся заложенные кирпичом морески и низкая, в три погирели, давно не отворяющаяся дверь.

Тадеуш должен здесь промчаться на мотоцикле, когда его обретет.

В невысоких домах, мимо которых мы идем, желтеют нарядные окна, кажется, там гомонит жизнь, укладывают спать детей, ругают домашних животных, сорят высушенными дафниями аквариумным рыбкам. Женщина у приоткрытых створок нервно крутит в тряпиче чашку, будто должна стереть декалькомани. Заметив нас, резко сдвигает занавески. Будто боится, что в дом войдет бесформенная ночь тленом далеких потемнелых с исподу облаков, не светлая и не темная, а какая-то первоначальная, как воспаление света, высвечивающееся на далекой кромке уходящего за горизонт дня.

* Должен помянуть и свое чувство, всегда наступающее меня, когда я чувал, как Хлоя исходит. Ни с одной женщиной я его не переживал. Я тоже вдруг чувал, как кровь по моей жиле взметнулась ящеркой от пальцев, запястья по вене вверх по внутренней стороне руки, тепля мою подмышку и опалая пятно над ключицей, чтобы вздрогнуть огнем в сонной артерии, где она проходит под самой кожей, близко к ушной раковине, так яростно обжигающе, что в глаза мои вдруг брызгали откуда-то изнутри сияющие слезы. Будто по всему прошел корабельный прожектор, чье сияние еще будет остывать.

Я думал о том, что могу повернуться и уйти в ту сторону, где еще светлеет удаляющийся день, и тогда они, мои Тадеуш и Хлоя, станут для меня просто напоминанием, теряющим форму, как это затухающее время темной поры.

Но в конце бульвара две вороны, непонятно откуда взявшиеся так поздно, затевают у самой обочины свару, будто они и есть настоящие демоны ночи. Они плавно прыгают вокруг какого-то комка, теребят и рвут его, взмывают боком совсем не по-птичьи и, планируя же, боком возвращаются, будто их тянет невидимая каучуковая лента. Тадзю, как мальчишка, оглядывается, будто ищет камень, и несколько раз озверело замахивается в их сторону пустой рукой, они отлетают на несколько шагов по широкой шумной дуге, и это все выходит зловеще. Будто на него нисходит темное вдохновение. Он замахивается снова и снова, как механический. Какой-то жесткий задор не отпускает его, и совершенно непонятно – откуда в нем столько ярости, будто замкнули клеммы. Кажется, что он сам вот-вот закружится, как дервиш, вослед своему внутреннему ротору.

От неожиданности Хлоя пятится, будто попала в эпицентр потасовки, делает шаг назад, замедленно отступает, подворачивает каблук и с высокого бордюра оседает на дорогу, словно балетная корифейка в многолепестковых юбках, неожиданно заголяясь. Я вижу все это замедленно, будто уже заснул, сейчас повернусь на другой бок. И вот она лежит смертельно усталой или просто пьяна совершенно, пьяна: голени, низкие чулки, ленты подвязок и белейшие бедра поперек тротуара, корпус и голова – на дороге, будто не в силах подняться, будто перестала слышать ночную музыку, звучащую отовсюду. Из светлых юбок, сбившихся к поясу, из разведенных ног попятным светом горит мета ее голизны. Она так растерялась, что не пытается даже оправить юбки. На скупом вечернем свете ее нагота особенно заметна, и все кажется высоким искусством, приостановленным балетом, чем-то ненастоящим, словно приуготовленным и искусно воплощенным. Но меня поражает эта непристойность жалкого черного мха, разросшегося в ее сокровенности, будто этот лоскут тины, прилипший к мрамору кожи, прячет в свою водяную тьму то, что я совсем недавно осязал, мятл и гладил вместе со своим другом. И Тадеуш, тоже что-то почувствовав, нарочито нагло, как балетный выскочка, наставляет палец промеж ее бедер, прежде чем помочь нашей Хлое подняться.

– Вот и я говорю – седло, чистое там седло у нее, шкура черная. Козья... – Он торопливо говорит помимо собственной воли, сглатывая что-то.

– А ты ведь из Хамова колена, – качаясь на подвернувшемся каблучке, слишком спокойно произносит Хлоя, не глядя на него.

Она оправляет юбки, отряхивается от наших взглядов.

До Тадзю доходит смысл ее слов. Он взвизгивает:

– Тебе что, неизвестно, кто я? Как ты сказала?! Если повторишь, я тебя убью!!!

Он скакнул сразу на фальцет. Ярясь еще больше, что не владеет своим голосом, он плескал ее сторону, попятившись, будто для разбега:

– Я Тадеуш! Повтори по слогам, чушка. Та-де-уш!!! Та-де-уш...

Он шипел в конце своего имени, полуприсев, разведя напряженные руки, как фальшивые крылья, преграждая нам путь. Это был совсем непозволительный театр. Где-то наверху громко хлопнула оконная рама, словно пародийная гроза в убогом театре.

– Перестань бесноваться, уйду сейчас, – говорю я.

.....

– Да куда ж ты уйдешь, ты мой самый разлюбезный, – неожиданно улыбается он.

– И то правда, – я тоже улыбаюсь ему.

Вот он уже глубоко вздыхает, выпячивает грудь, поводит плечами, будто возвращается в свое тело.

– Кстати, я в Тишин скоро должен, может, завтра грузиться полком на станции, – говорит Тадеуш уже спокойным человеком, – посмотрю, что это за места – Силезия.

– Ой, Силезия! – вскрикивает Хлоя, тоже обретшая себя, – там ведь Богемия недалеко. Ой, привези мне бусы красного хрусталя. Ой, вот такую-такую нитку, чтобы три раза вокруг шеи и до сих пор!

Хлоя показывает уровень своей талии.

– Будешь как все. Белые, обычные привезу, – соглашается Тадеуш.

Сквозь запах неметеных полов мы взбирались по скрипучей лестнице на второй этаж небольшого кособокого дома. Он куда-то кренился, будто начал плаванье, отшатнувшись от причала. Короткий коридор и несколько дверей. Тускло тянет кипяченой водой.

Просевшая дверь что-то осуждающее прохрипела нам, сжевав широкой дугой пыль с песком, попавшие на стоптанный порог.

Лампочка в абажуре-кульке из промасленной бумаги зажглась вслед за щелчком выключателя с задержкой.

«Вот и ток потек медленно», – подумал я.

Кажется, внутри меня затикал какой-то неостановимый метроном.

Все происходило обыденно, Хлоя хозяйничала:

– Будете лимонад? – и показала нам небольшую коробочку и пробирку белого вещества и потрясла ими, будто это наши анализы и сейчас мы узнаем диагноз.

Не дожидаясь ответа, она налила в чашки воду и развела в них белый порошок соды, ударяя дрожащей ложечкой по сумеречному голому окну.

Совершенно квадратная комната не впускала ничего в это голое окно, настолько она была заполонена жизнью немногих предметов, которые выталкивали всполохи уличной жизни прочь.

Тадзю важно сказал голосом хозяина:

– У меня, радость моя, еще не приключилась изжога.

– Так приключится.

Из пробирки в жидкость ссыпались кристаллики лимонной кислоты, и по комнате побежал сквозняк холодного шипения, будто Хлоя готовила приворотное зелье, в котором никто из собравшихся не нуждался.

– Ну скорей-скорей-скорей, пока шипит еще, а то совсем невкусно будет, – залопотала капризно она, став совсем маленькой.

Мы сгрудились у подоконника широкого окна, который служил и столом.

Я подумал, какие запахи слышали любовники, изображенные на су-меречных голландских картинах, – когда длинновласый малахольный кавалер в ослабленных томных подвязках и слабых чулках, в чешуйках кружев, выбивающихся из прорезей камзола, искусно орудуя фруктовым ножом в бокале с невидимой водой, сворачивал с лимона завитушку цедры. Золотая спираль, вясь, сияла непристойностью. Волоокая дева не отводила очей с кавалера. Как Хлоя с Тадеуша.

Опередив глоток, он громко срыгнул над лимонадом, и я услышал тесный дух казенной еды. Ржаной хлеб, мясо, что-то еще, будто у самого моего лица быстро провели факелом, не успев опалить. Ни лука, ни чеснока, ни укропа. Слава тебе господи. Я улыбнулся. Он быстро накрыл своим ртом мою улыбку. Один кристаллик кислоты не успел растаять. Еще какое-то время он горел на моей губе; какого цвета был тот огонь, я из-за громкого тиканья внутри своей груди понять не мог.

Стоит ли удивляться, что и я как-то оказался по-настоящему меж ними – ровно посредине неширокой постели, деля и связывая их собою. В этой самой комнате, которую Тадзю снимал Хлое, она ведь безуспешно чему-то там такому училась. Курсы, семинары, занятия с педагогами. Чего педагогами? Комната звалась студией, но никакие художественные аксессуары кроме богемного беспорядка не выдавали бессмысленного артистического существования нашей нимфы. Разворот женского гимна – пестрядь платьев на плечиках вперемешку с чулками, поясками и шарфиками оттягивала протянутую наискосок угла комнаты веревку, на фоне полосатых обоев они мне казались нотами, и их можно было пропеть, если условиться, каким звуком станет цвет, чулок или тряпица. Туфли и ботиночки топтались внизу пьяным табунком, будто осрамившийся хор девиц в панике бежал, теряя обувь. Большой фибровый чемодан без этикеток знаменитых гостиниц с водруженным зеркалом служил туалетным аналоем. Чтобы взглянуть в зеркало, пришлось бы встать на колени. И в блюде ягодная бижутерия лгала о времени года. На длинном подоконнике незанавешенного окна беднела чайная ерунда и несколько мутных стопок. Такая вот заброшенная лаборатория.

Напротив кровати что-то вроде языческого жертвенника – смешное эмалированное биде на параличных ножках, где мы по очереди подмылись остывшей водой. Мы ведь торопились, и Хлоя не пошла через коридор к титану, где всегда была горячая вода для нужд нескольких жильцов, навер-

ное, таких же художников-виртуозов. Голая Хлоя, а ей раздеться было проще всех, оказалась отмытым солдатиком, которого только что наряжали в женское. Будто Тадзю велел ему слушаться и не возражать и не удивляться, что бы ни происходило, и он скромно кривлялся перед нами, зажав бедрами свои гениталии, увлеченно притворяясь девой. Это сравнение как-то тревожило меня.

Тадеуш, насмотревшись на наше суетливое раздевание, которое немолимо придвигало самое важное, разулся, составив свою военную тесную щегольскую обувь, которую он заказывал модному башмачнику, а не сапожнику. Но кожа его военных штиблет давно отдала свой желтый мягкий запах, говорящий об элегантной форме его крупной стопы и неистребимом щегольстве. Теперь до меня доносился простой людской пот, в чьей основе – застоявшееся теплое молоко, от одного соприкосновения с воздухом выгибающееся кислой дугой. И мне показалось, что сам Тадеуш тяжелеет и заваливался в волнуемые низины. Уже босой, топчась по половицам своими крупными лапами, преувеличенно аккуратно, как в казарме, раздевался, складывая детали своей формы в неторопливую стопку. Пуговиц было слишком много. Это было похоже на такое вывернутое кино про то, как он отправится на парад или представляться начальству. Все наоборот.

– От тебя псиной тянет, ты задохся, – сказала Хлоя, напуская на себя простодушие.

– С зари до зари в мундире, цыпа. А не побрезгуешь ведь, драгоценность моя, хоть я и не того колена, как ты выразилась. А что, я должен бенгальскими огнями искрить? Жасминами белыми брызгать...

– Ты? Искрить? Брызгать... – она рассмеялась.

Мне почему-то стало обидно за него.

Голый Тадзю уселся на табурет, он принялся отирать стопы влажной тряпичей, задирая голени и выгибаясь. Он, гибкий, задрал свою стопу и поднес ее к носу, как в цирке. Он казался мне каким-то языческим божком, возведенным на глумливый подиум, он эманировал из густеющих потемок, и я почувствовал путаницу токов, апологию теплого застоя его босых ног и неприкрытого забавного срама. Это его след, такая родная духота, опережая его, вошел мне в ноздри, забывая теплым тампоном обоняние. И я видел – скользкий и одновременно тусклый обод невидимо озарял все его голое тело, потому что зрелища как такового в нем делалось все меньше и меньше, потому что скоро от его другой невидимой непроницаемости и плотности нам будет невозможно уклониться.

Рассматривать его серьезно было невозможно, ведь меж его разведенными бедрами светлели в густых кучеряшках по-детски маленькие «не мужичьи» гениталии, будто процитированные с античной статуи мечтательного Эреба, будто там у Тадеуша – замершая над гнездовьем растительности светлая пташка-невеличка или глиняная свистулька-ладанка с хоботком, куда надо нацедить жменю воды для упоительного лугового свиста.

«Неужели ты умрешь? – спрашивал я себя.

– Что мне от тебя достанется? – повторял я.»

Он подмывался расчетливо последним, нагло побряхтывая, и вдруг, браво раскрутив полотенце, как пращу, над головой, показал нам кавалерийскую атаку молодого Давида; меж голеньями он зажимал тонконогую эмалированную кобылку биде, будто оседлал игрушечную лошадку. Я примечал его маленький тонкий член, несоразмерный с его наигранно мужиковатой осанкой. Он, гарцуя, топырил свой круглый зад, и мне была видна густая шерсть, взвивающаяся по его промежности осыпью сухого светлого пороха, еще не потемнелого.

Я занял место меж ними. А может, они – подле меня.

Это было воистину пергаментное событие, и я его помню как легкий треск натянутой полупрозрачной, не бывшей в комнате ширмы, которой предстал тогда сам себе. Что мне напомнила наша конструкция? Исповедально, где есть третий, настолько вещественный, что уже неодушевленный – деревянная решетка, занавеска, скамья?

Можно догадаться, кто из нас холил в себе эти признаки.

Будто какой-то источник освещал наше противоречие, сближая нас и делая событие возможным.

Она ведь была и Каллироей – прекраснотекущей истекающей, и еще и Хлоей – зеленотравой, нет – самим зеленотравием... Звалась она так настоящему или по чьей-то прихоти – мне неизвестно.

Когда я под ее насмешливое высокое сопение, будто это флейта, в которую едва задышали музыканты, просто утопал в ее лоне, то и бесшабашный Тадзик, легко пристроившись сверху, как-то присев над ее лицом раскорякой, взгромоздившись верхом, чуть не наступив на меня, оказывался в ней тоже, нежно буравя ее уста, совсем близко от меня. А потом, немного погодя, набравшись сил и решимости, и во мне. Подробности были столь возвышенны, что почти неописуемы. Они были особого рода, так как нищий уклад, полупустая комната, смешивающаяся нестыдная голизна всех троих только отчетливее собирали в моем душевном фокусе то, что происходило возле моего тела.

Ну что значит, например, вспыхнувшая темно-розовым лоском головка его члена, неотличимая от цвета Хлоиных уст, да никто и не светил в эти сакральные места, мне даже почудилось, что он пристроился таким образом, чтобы я разглядел и запомнил навсегда эту липкую палитру.

Но вот, шутя и играя, будто в нашей пьесе наступила следующая мизансцена, он, подстроившись к нашему с Хлоей банальному метроному, еще теснее подталкивал меня к своей чудесной подружке, добавляя силы качаниям, вводил всех в новый рискованный резонанс.

Он будто помогал. Вталкивал меня, обвинившего деву, вторящего ей, лежащего с ней на боку в позе двойного зародыща, как телка-несмышлениша в воротца узких яслей.

Мне было поначалу просто весело от того, как он, такой горячий, толкался, тесно приладившись, будто заняв очередь позади меня; возился, отирая о мой зад и бедра свои влажные холодные кучеряшки, прилипал, повторяя, если это можно так сказать о третьем, нашу эмбриональную позу-двойчатку.

Я чуть не прыскал, как он заодно, тепло и серьезно вдруг засопел мне в спину, уткнувшись носом в мой затылок, в каком-то непривычном одухотворенном регистре, как сырой еж, забредший в деревенский дом, как он колко и щекотно заезжил лобком, месивом своих тяжелеющих гениталий, словно пародировал мои толчки в Хлою, легко попадая в такт, словно слышал метроном, и я сперва хотел просто отмахнуться от него.

Но вдруг меня осенило – это передо мной сквозняк перелистал знакомую уютную книгу, но страницы ее оказались набраны столь мелким щекотным шрифтом, что мои глаза счастливо заслезил. Я ведь знал в ней не то что абзацы, а многие страницы, ничего не читая! Укол любой крохотной буквы возвращал мне горизонты текста!

Его игра оборачивалась нестерпимой нежностью, которую я не заслужил, и колкий подбородок его тяжелой бесшабашной головы возлег на мое плечо, будто у меня появилась вторая шея и я сделался двуглавым. Обо всем этом я прежде читал изнуренные и прекрасные строчки. И укромные слова своей любушке он вышептывал у самого моего уха, лоя его губами и прикусывая, и я не мог ослышаться, так как видел эти словеса на развернувшейся где-то внутри меня быстрой странице. Он комкал и швырял их в нее через бруствер моего тела, которое он теснил, будто разрывы этой едва слышной речи могут покалечить его самого. Банальные, лживые и вызывающие, они оттискивались на ее вожденной плоти, которой было сладостно все – восхваления, поношения, толчки, ожоги и уколы.

Он бросал туда горячую ветошь:

«Люблю-только-тебя, ты-блядское-ты-отродье».

Он начинал размахивать коротким палахом:

«Не-могу-связка-ты-похотливая, я-без-тебя-жить».

Он скрипел зубами, будто от страха:

«Съебуть-как-пес-без-тебя-я».

И он залаял, застучал на отчаянном ундервуде:

«Люблю-люблю-люблю-люблю».

И я чувствовал, как он действительно любит, как эти слова он обращает ко мне, как ему горько.

А может, это я их шептал, пришептывая?

Он хорошо знал свою кралю, и я понимал, что мой новый ритм, будто бы выпяченный и усиленный им, именно то, что она так ждет. Я только

переставал слышать ее захлебывающиеся вздохи, так как происходящее со мной было во много крат больше, чем всхлипы, шелест и скрип ее сказочной утробы.

Он возился, электризуя меня своей густой растительностью, чтобы и я в ответ заискрил. Но внутри меня все давно превратилось в горячий еловый стланик. Обняв меня за бедра, будто я могу умчаться куда-то, он будто подсаживал меня, вжимался и вдавливался в расщелину ягодичек таким живым седлом. Он прилаживал свое желание, как сбрую, тянул по моей промежности сыромятной загрубевшей вожжой своего вострого срама.

Я чувал, как меня и его перехлестывали одинаковые жажда и голод, ведь он нашел ту единственную сквозную точку в моем теле. Она расплылась легко и помраченно под его натиском в такую тесную обжигающую краткость, что я взвился и охнул в какой-то отрешенной высоте не от боли, совсем не от боли, а от приступа страха.

О, разве со мною это происходит?

Куда ты, Тадеуш, меня забираешь?

Что ты делаешь со мной?

Что?

Он не отступался.

Я понял, что окружен им и взят в плен.

По мере заполнения моей пустоты я будто повисал на стропах над такой глубиной, о которой секунду назад и не подозревал, где меня, меня, меня, который отзовется на свое прежнее имя, никогда не будет.

– Да не бойсь, ну не надо меня бояться, господи ты боже мой, полюбил тебя сто лет назад сразу как увидал, господи боже мой, не бойсь Тадзю своего, – все повторял он, вталкивая свои тихие слова в самое мое сердце.

Я утыкался лицом в Хлоин затылок, как в пушистую россыпь темноты, так как уже изошел в нее только от одних Таdziных глухих молитв. И я чувал, как он, став твердым камешком, чем-то вроде перепелиного яйца, втиснувшимся в меня, лишался опасной скорлупы, неизъяснимо мягчея, обызвестковел. Будто был сварен всмятку.

Член его оборотился ручьем пересыпающихся жемчужин, чередой скользких блестящих шариков, засновавших в узком рукаве вдгонку друг другу.

Невзирая на свою подвижную твердость, нежное острое упорство, он делался хлипким и чересчур нежным, и я боялся, что теплый желток Таdziного сердца может истечь в любое мгновенье, и он тут же умрет.

Я вдруг понял, что это – он сам, жизнью своей пришедший в меня.

Вышедшая тучей из-за холма неопрятная прачка-великанша легко выжала меня, как вымокшую холстину; кажется, весь я свился в жгут, и моя ветошь, только что упруго парусящая, опутала стропы, и я пролетел

вниз. Мне стало понятно, что спасительный купол надо мной больше никогда не раскроется светлым материком.

Ни одна птица не промелькнула мимо.

Все было против меня, и даже маленький детский зонтик, прозрачная кружевная парасолька, моя контрабанда, которой я думал заслониться в случае чего, стал со зверской силой раскрываться во мне злобной перепонкой, топыря спицы, разрывая и растаскивая во все стороны света мою плоть.

Ничего не предвещало такого оборота.

Не надо так меня наказывать!!!

Внизу маячила смерть, и я успел выкрикнуть только одно слово, позвать Тадеуша. Что было сил.

От ликующей судороги, вывернувшей меня, я забылся, валясь своей изнанкой в пустоту.

Ненужные зрение, слух и осязание оскудели и совсем оставили меня.

Сколько я был в забвении?

Напрягшиеся руки Тадеуша скрестились на мне лямками, пережав и перехватив грудь и шею.

Разве мы утонем вместе?

Что? Зачем?

Он захрипел и затрясся, став вещмешком неподъемного скарба. В нем перекатились и соударились пушечные ядра. И все услышали этот чугунный звук, проваливающийся в него.

Жался к моему затылку, шее, спине, подогнутым бедрам.

Нераскрывшийся купол парашюта, перепутанный со стропами.

Рудименты насекомых крыльев, которым уже не суждено ни развиться, ни расправиться.

Я понял, что он вот-вот изойдет.

Только брошенный чьей-то рукой в мою сторону смешной камешек, несколько раз отразившийся от воды, не долетев до цели, завис, чтобы прорваться облаком теплоты, которая куда горячее человеческого тепла, куполом спасительного парашюта, дернувшим в самое последнее мгновение вверх, туда, где был свет, были слова, обращенные ко мне:

– Перестань, не плачь, не плачь, радость моя...

Я не знал, кто это говорит.

Я Тадеушу или Тадеуш мне.

Хлоя отодвинулась от меня, она будто ждала нас.

.....

– Тадзю, ты гад, Тадзю, какой ты гад жестокий, ты ж его извел, да посмотри же! Ты всех совсем извел, ты гад! А я, что тебе я? Чехарда, дура просто какая-то, колечки от детской пирамидки. Знаю! Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Да я, может, задервенела с тобой совсем.

Я хотел сказать ей, что то, что было твердым, сваренное всмятку на огне моего сердца, отвердело, но совсем иначе, наоборот;
и так ли она чувствует меня, когда я исхожу в нее;
но слов не находилось;
и я вдруг понял, что сам это яйцо и выносил.
От этого открытия голова моя пошла кругом.
Я хотел сказать ему:

«Было совсем не больно, так – чуть плотно, будто этого нельзя ни в коем случае, но я с тобой ведь не чувствую запретов. И слова, которые ты не говорил, все-таки были, как символы душевного угара, они будто бы рождались тут около самого моего слуха, а не выпадали из словарей. Это были летние слова, не сказанные тобой, поэтому они были столь нежны, – я понял, что именно они, их отсутствие, вакантные места привяжут меня к тебе навсегда».

Эту фразу я не сказал ему...

Тадеуш стал серьезен, будто мы остались с ним совершенно одни:

– Ты понимаешь теперь, какова она, когда ходит на сторону. Разве так изменяют? Ведь ее каждый раз отжимают, – он лежал ко мне лицом, дышал мне в нос недавней усталостью; сведенными кулаками он перекрутил пустоту, – досуха отжимают, вся влага в ней будет после этого другой. Это уже не Хлоя, а просто существо.

Он задумался:

– Только разве вековечная весна ее тела все искушает...

Слова «вековечная весна» он достал из потайного коробка.

– И наши бесчинства?

– Извини, но мой чин при мне.

Он обратился теперь к ней:

– Ты вот Чехова, к примеру, читала, кукла? Ну так вот, невзирая ни на что! У него всегда профессии, врач там, купец, учитель, наконец, – без профессий только женские особы, такие артистки-каштанки вроде тебя, – мужчин без профессий нет! Так что молчи лучше.

Что он имел в виду?

Он опять поворачивался ко мне, и я перехватывал поворот его головы, ловил его взгляд, следующий за телесным движением, и он уже куда-то смотрел совершенно отвлеченно, не разумея предмета. И я понял, что он тут, со мной, что он ничего не осмысляет, наличествует. Мне хватает и этого.

Утренний свет, льющийся разведенным молоком в пустое окно, бередила меня, и мне показалось, что спящее тело моего Тадеуша, лежащего навзничь, граничит не с воздушной пустотой, а с побелевшим безвременным молозивом, с таким особенным сумраком начинающегося дня, где только и могут смешиваться видимое и зримое.

Хлоя, закрутившись в простыню, как в саван, еще спала, чуточку посапывая на самом краю людской слышимости, будто уже начала принохи-

ваться к мутнеющему вокруг нее животному свету, и я думал, жалея ее, – у нее, как и у меня, нет ни профессии, ни жизни, ни прошлого, так как для спящего ничего не прошло, только все ответы напрасны, – а может, отвечать чересчур мучительно.

Небеса уже оправляли складчатые юбки утреннего пара, и розовый свет едва пробивался сквозь эти оборки, засвечивая пыль на оконном стекле и голого разметавшегося Тадеуша.

Я увидел в нем, глубоко спящем, уходящего человека и приподнялся над ним, осознав это. Вдруг он заломил руку за голову, будто спал не на постели, а в чистом поле, где не бывает подушек, будто ему было мало сверкающего в утренних сумерках лоска собственного тела и он хотел предъявить мне и темную заросшую подмышку, как визитную карточку своего тела.

Я сказал молча ему, но уверен, что он меня услышал: «Тадеуш, мой дорогой, мой самый светлый, жизнь моя, визит состоялся».

Я понял, что вижу его в последний раз*.

Любое место этого города было пресыщено воспоминаниями. Это звучит торжественно, но очень верно до какого-то умопомрачения.

На каждой улице, практически возле любого дома со мною что-то происходило. Я бывал с кем-то, о чем-то говорил и помню все это до сих пор – все то, что меня волновало, или то, что всегда хотел оставить в отчуждении.

Честно говоря, боюсь снова попадать в эти места – они мне угрожают, не посягая на меня, так как уже давным-давно я стал их пленником. Я спешил по улицам, западающим в какие-то светлые темноты, где за заборами я, не видя, видел и знал всё – паскудный устав уничтожений, старательную неопрятность, истерическую силу, которую не к чему приложить, так как жизнь, пылевидная и влажная, не имела рисунка, была невыразима.

Я доходил до дома, где когда-то квартировала Хлоя, до того самого дома – и никогда не находил в себе сил войти внутрь. Ненависть и раздражение далекого прошлого не модулировали меня – просто угрожали, как шум жизни за тонкими стенами. Я победил прошлое еще тогда, когда оно не прошло, но у меня никогда не было трофеев. Мне ничего не принадлежало. Хотя нет, – в абсолютном смысле, наверное, не совсем так, но то, что они были, я догадался чересчур поздно.

* После стремительного броска в Тишинскую Силезию, которая, кстати, никогда польской не бывала, откуда он прислал мне пару фотографий и открытку, следы его затерялись; ни о мертвом Тадзю, ни о живом я больше никогда не слышал. Но ждал его долгие годы. И не перестал и посейчас.

Был еще случай, он не в счет, так как в истинности своего видения мне удостовериться не случилось. Он уже был в армии, и был ли он жив – никто не знал.

Это произошло в Белостоке (в сущности, он мог и примчаться, так как был скорым на всякие безумства), у самого Браницкого паласа, где улица через разрушенные ворота и осыпавшуюся стену вползает болезнью в преисполненный затей и красот сумеречный парк, который давно никому не нужен.

Стояла свадебная осень. «Оформление томленья» – как говаривал когда-то мой Тадзю.

На противоположном берегу почернелого канала прямо на поляну мягко выкатили автомобили, и потом один молодой пан, отделившись от компании, – он все стоял ко мне спиной, поначалу опершись, а потом полег на утыканный цветками капот, будто отчего-то устал безмерно...

Издали его поза была прекрасна – крепкая спина в светлой розовой рубашке (господи! цвет улыбки, свет здоровых десен) – видимо, пиджак он оставил в кабине – переходила в ягодицы и скрещенные ноги в совсем светлых для осени брюках.

Он привлекал внимание не только светлым облачением на фоне сияющего чернотой авто и потемнелых зеленей, но и тем, что его позу нельзя было нарисовать.

В цвете и линиях эротическая сущность его положения была совершенно невыразима, ведь он всецело отдавался чужому зрению и, кроме моего созерцания, в нем, ей-богу, ничего значительного не было. Да и я почему-то не хотел столь пристально смотреть на него. Что-то меня угнетало, какая-то тоска. Его вычурность и провинциальное пижонство. Позер. Гаер. Какое мне дело.

Отчего-то я раздражался.

Издали его оболочка зияла, как формула или символ посреди страницы текста. Повторюсь еще раз – смысла в нем, кроме того, что его видел именно я, не было, и ничем иным наделить его было нельзя, кроме сугубо эротического, привнесенного из моих собственных глубин значения.

И мне он представлял всеобъемлющим на этом крохотном сегменте времени, кромешным и символичным. Он стоял как русская заглавная «Г», «гэ», облокотившись о капот, разукрашенный к свадьбе осенними цветками. Чего-то ждал.

Поодаль закопошилась возбужденная компания, связей между теснящимися людьми было слишком много, они порождали сплошное мельтешение, и тем глубже и пронзительнее общий покой заявлял о себе.

Он один был статуарен настолько, что на расстоянии пятнадцати – двадцати метров заслонить его никаким хороводом тел было нельзя.

Он словно поджидал условленный час, который сам настигнет его, выдвигаясь символом поглощающего жерла. Но замерев в прекрасной утомленной позе, он уже настиг свой предел, став самим собою, – и это

совпадение его позы и преодоленной силы времени было пугающим и изумительным.

Можно было положить ему руку на плечо и увести куда угодно – будто он уже склонился к низкому оконцу какого-то незримого бюро, что-то вроде вокзальной кассы, и сейчас получит свои дорожные документы...

Но дело не в желании, на которое он провоцировал своим покоем, а в том, что символическая нутряная сущность сама собой сигналила в нем. Будто он был измышленным кадром, после которого жизнь развернется по невероятной дуге, где главные силы – цвет, свечение и согласность.

Наконец откуда-то, наверное, из невидимой отсюда дворцовой часовни вернулись невеста с женихом, еще несколько парней следом с чемпионскими преувеличенными букетами.

И он, распрямившись, даже не преодолел десяток метров, а лишь качнулся к жениху и мгновенно поднял его, как вымпел, на высоту и стал его носить, как трофей, – и это разрушило уклад, введя все совсем в другой контекст – мужской близости, удальства, ревности, которую – даже на расстоянии нескольких десятков метров, сквозь дальний зашумевший парк, вздохнувший в отдалении город, шум невидимых автомобилей, дух холодной воды, повеявший с дворцовых прудов, – было не скрыть.

А вообще-то это был Тадеуш. Вернее, я не мог отделаться от чувства, что это был он, так как другому на всю эту катавасию было бы наплевать.

Но разве он напросился на ее свадьбу, да и был ли он к тому времени в живых?

Я не мог отделаться от мысли, что так разглядывать мог только его.

Глава вторая

ПОБЕГ

ВИД ПРЕКРАСНОЙ ГАВАНИ

Сколько раз я мысленно фотографировал эту гавань, будто нет ничего важнее, кроме того как выбрать самый достоверный способ, чтобы запомнить это зрелище... Фотографируют ведь все подряд – я это видел, удивляясь объектам запечатления. Но слово «зачем» никто вслух не произносил. Я тоже пробовал – будто отколупывал какой-то нежный слой – самый верхний, поражаясь, что язык предлагает для новых действий самые точные слова, будто где-то шел долгий торг и выбор, будто я изымал оболочку времени, которое не становилось из-за этого «минувшим», когда я снова смотрел на оттиск того, что созерцал на самом деле, то мое прошлое предстало передо мной бумажной невещественностью.

Вчера вечером наблюдал огромный духовой оркестр. Сотня человек, да, не меньше сотни, целая толпа шаркала и теснилась. Подскакивающие неевропейские ритмы, будто турки взялись танцевать быстрый вальсок, повиливая бедрами. Это чуть непристойно, будто трубы чего-то басовито клянчат в россыпи потешного балета. Это страшно, но не грозно – в отличие от советских маршей, которые я уже слышал, – под эти убьют однократно и дальше будут жить, а советские – давить вслепую и всегда.

Мне понравился тромбонист – дурно выбритый, голубоглазый молодец. Вместо того чтобы смотреть в ноты, прищепленные к тромбону, он все взглядывал на меня и все поворачивал голову, пока оркестровый строй топтался на одном месте. Вообще, много красивых, будто целовавших арабскую каллиграфию – губы, подбородки, шеи. Видно, что живут трудно, но ошеломительно опрятны, это материнское усердие – оно здесь во всем; чувствуется неприятие арабского – слишком близка воплощенная в гигантских фортификациях история, а крепости действительно несокрушимы, как католический дух.

Когда иду мимо собора, где идет месса, то почему-то кажется, что из дверей летят буквы, которые только что были встроены в молитву, – эти просьбы состоят из слов.

Длинная партия – ударных, чтобы всей камчатке внушить ритм, – заворачивала. Такой блестящий акустический шампур.

Напряженная луна над гаванью словно принуждена сиять, будто во тьме ее ударили, как тяжелый ствол, висящий на невидимых тросах. Словно он вот-вот выстрелит стеклянным ядром.

Вот я стою с раздвижным кодаком-гармошкой в руках на крутом уступе, мне кажется, что я слою какой-то невидимой бритвой видимость, подставляющую мне свой самый безобидный смысл. И я наклонялся, приседал, встряхивал головой, будто отмахивался от того, что уже запечатлел. Я мог быть ненасытным.

В порту стояли на приколе большие военные суда, но я приметил и английский фрегат, которого прежде не было. Он бодро дымил, было слышно, что машины его работают.

Я видел себя со стороны, как приседал, будто делался метафизическим сиденьем для зрелища, которое становилось все более и более грузным. Оно не отвечало на мою игру, хоть и приуменьшалось, так как груз слов, обозначающих лишь видимые свойства, тупил эти мутные правила.

Вот я приблизился к нему, будто места для ракурсов мне не хватало, будто им надо было совпасть, как в стихотворении.

ТРИ СТРУНЫ

Церковь Пресвятой Богородицы Дамасской на улице Аргвишон похожа на маленький бутон белого прохладного цветка – тюльпана, речной лилии, где я всегда чувствовал себя мушкой или жучком.

«Жу...» – всегда хотелось прогудеть мне холодным церковным стенам, порождая волну ревербераций.

В городе все колокола колотили по-пустому, и легкие старушки сползались к дверям церквей, как мучные насекомые.

Это время, превратившееся в звучности, догоняющие друг друга, точно не имело стрелок и было спокойным.

Валетта в сорок седьмом году. На театральной площади террикон руин. Барочную церковь Св. Екатерины теперь ничего не заслоняет, она белет издалека забытым кубиком рафинада.

Колокола бухают, как цистерны воды, куда попадают большие камни, звук напоминает о налетах, пожарах, далекой оставленной жизни, которую переполняют страдания: будто туда приоткрывают заслонку, и сразу опалет таким жаром, от которого можно задохнуться.

Постиранное исподнее свешивается с балкона уцелевшего фасада пестрой блевойтой.

Почти сразу за городскими воротами, всего в нескольких шагах от выдающихся нерушимых фортификаций (я всегда жалел, что это зрелище невозможно отодвинуть от себя, как-то театрализовать, проверить на соразмерность времени дня, длине теней, людской суете вокруг) громоздился оперный театр, вернее груда его руин; это зрелище всегда представало внезапно, к нему нельзя было привыкнуть, так как обойти его было совершенно невозможно, потупить взор или как-то иным способом уклониться.

Широкая, отверстая небесам руина, заваленные в разные стороны колонны, битый кирпич, разнесенные блоки белесого песчаника, не обрушенный еще скелет перекрытий, расплзающаяся театральная начинка, какие-то непомерной величины шестерни колосников, отпоротые куски холстин с фрагментами орнаментов – только разметанных веерами программки не хватает и брошенных в панике музыкальных инструментов. Разбомбленный оперный театр. На руинах галдит колония чаек, как нотные знаки, и это уже перебор. Можно подумать, что руина образовалась очень давно – еще две-

три войны назад, так как лишь хаки английских военных, их свежая форма, лощеный бравый вид как-то связывают это зрелище с календарем.

Как ни странно, но даже в таком виде останки театра останутся преисполненными артистизма, томности, даже какой-то гривуазности. Наверное, удар пришелся в самый центр зала, под дых, как апофеоз, о котором всегда мечтает настоящий дирижер, вдохновенно жгущий собственным невидимым огнем листы клавира.

Во время налетов, да и вообще во время войны спектакли не шли.

Но все-таки последний ангажемент состоялся – я всегда представлял себе некую оперу, раскрывшуюся к последнему действию столепестковым пиротехническим апофеозом, такая огненная многоярусная мальва, поджигающая изнутри все – отару хора, перепуганных теноров, метнувшуюся стайку колоратур, обезумевших меццо, валяющиеся декорации, суфлерскую раковину и пр.

Кому он помешал?

Как ни странно, в этой руине не было ничего понурого или оголтелого, вид ее не призывал к мести, будто она наконец-то в таком виде приобрела последнюю органику, стала декорацией себя самой; и вот на фоне этих уступов, сквозных зияний и кутерьмы могли быть снова разыграны мистерии Перселла, Генделя, Люлли или Рамо. Ни Моцарт, ни Россини, ни Вагнер здесь совершенно не годились.

Несколько пожарных расчетов, чтобы гидрантами смыть известку, завалить баграми опасно нависающую ферму, ну перекатить к центру два цилиндра расколовшейся колонны. И все. Если будут орудовать тихо, их можно оставить на увертюру.

Опера не умирает.

Во мне зазвучали обольстительные такты арии из «Дардана», где монстры и любовь, слезы и смерть...

Эх!

Дредноут в Большой гавани пыхнул узким черным хвостом, и небо казалось взбаламученным водянистой тушью*.

Неподалеку от собора, где улица Сент-Джон вливается в Сент-Джованни, где всю улицу перекрывает крона очень старой не плодоносящей смоковницы, – она не родит, видимо, оттого, что прыткие дети обрывают еще саму завязь, – меня коснулся неясный звуковой сквозняк какой-то

* Я понял, что обречен на воспоминания, все приходящее ко мне навсегда связано с Г. Вот и театр, куда мы попали вместе, в других краях, которых теперь попросту нет, но во времени, которое было. Мы – вместе в тесной ложе, на задних стульях, с которых толком ничего не видно, надо все время изгибаться, тесниться, что так нравилось нам... Но упонительный театр с голубо-розовой росписью в обильной выпуклой позолоте: будто это такой крем, которым нельзя питаться, – розы, пятки улепетывающих путти, заголившиеся животы нимф, сочленения голубого с розовым. В оркестровой яме глубоко внизу роскошные фразники, я не могу отделаться от того, что они похожи на тараканов. Но они заливают поток общего тона в самую верхотуру, где вовсе не смерть, толкая ко мне Тадзю ближе и плотнее. О безмятежность и жизнь вечная! В этих сотах я пережил настоящее счастье – я и сейчас улыбаюсь.

странной тихой и поначалу непонятной мне органики. Я еще не увидел, на каком инструменте играют, но по мере приближения крепкий и упругий, будто на струны пошли сухожилия очень выносливого небольшого животного, звук сам двинулся на меня трогательным и волнующим сквозняком. Он словно едва перебирал мелкими копытцами по мощеной улице Сент-Джованни, чуточку прицокивал. Будучи тугим, каким-то жильным, чуть экзотическим, он был вместе с тем мягким, трогательным и до слез знакомым. Еще через несколько тактов я все и узнал – завершалась классическая барочная пьеса, столь прельстительно имитирующая перекликание птиц, что мне, когда я слушал ее, всегда хотелось к десятому такту самому защелкать или засвиристеть. Но характер звукоизвлечения меня озадачил – ведь когда требовалось длить аккорд или тянуть ноту, замыкающую фразу, сойти на грустное затухание, сойти, так сказать, в «регистр печали», звук словно вспрыгивал на подножку особенной высоты, где царили только сквозняки и брызги, броском восходил к уровню волнующейся ряби и упал в такое трогательное мельтешение.

Это взволновало меня до горловых спазмов, словно я вслушался не в пародию трепета водной ряби, а в ее доподлинный, любовно выписанный облик и единственно возможный смысл. Словно это отозвалось глубоко во мне, в моей беззащитной утробе – море, то самое, солонее которого нет и из которого народилось все.

Я понял, что с таким орфическим тремоло можно было звать мировым тенотам: «Эридесе, Эридесе, Эридесе...»*

В густой из-за яркого прямого света и полуденного жара тени, у плоского фасада, сидя на стуле, вынесенном из ближайшего жилища, старый, что называется, не подлежащий призыву господин, отрешенно музицировал на балалайке. Такое происходит здесь не каждый день.

Не обратить внимания на эту сцену было невозможно. Около него толкались случайные слушатели; «дивящиеся профань», – сказал сам себе я. То, что он виртуоз, было несомненно. Сидя на табуретке, в потертом и каком-то ветошном платье с признаками далекого стиля, он вдохновенно играл, словно прислушиваясь с удивлением к звукам, которые сам столь виртуозно извлекал. Он должен был наяривать «камаринского» или «из русских песен» Хандошкина. Может, он уже и представил что-то такое, но когда и я пристал к небольшой компании слушателей, он играл исключительно Рамо, пьесу за пьесой. Эта программная настойчивость была удивительна для уличного музыканта. Будто он возвращал обещанное по какому-

* Скользя мимо и мимо, что было сутью этой волшебной пьесы, переставляя дальше и дальше с каждым тактом свои чудные лекала, но приманивая меня к себе сильнее и сильнее – будто я кинусь вот-вот со всех ног туда, где все были когда-то живы, а я – счастлив. Я подумал, что только Г. может так манить меня, удаляясь невозвратным ходом, в самом деле становясь значительнее и различимей, чего никогда не бывает с живыми. Словно он, исчезнувший из моей жизни, постоянно уходящий, стал символом бессмертия.

то тематическому, затеянному знаменитой щепетильной филармонией абонементу...

Хорошо принявший марин, стоящий в обнимку с таким же съехавшим приятелем, негромко бухтел и требовал гимна. Старик ничего не замечал.

Породистого вида худой русский господин. Кого он мне напоминал? Запевалу казачьего хора, оставившего дома фуражку с приклеенным чубом? Он был худ, словно кустарный нож, и, может быть, поэтому как символ остроты, будучи столь старым, не имел возраста.

Он иногда взглядывает темными глубокими глазами сквозь переминающуюся публику, не устанавливая контакта ни с кем. Когда он повернулся к пожилой даме, стоящей поодаль, будто просил перевернуть ноты, которые перед ним не лежали, я удивился его резкому профилю.

Из-под его пальцев лились удивительно мягкие для этого тщедушного инструмента аккорды, будто это что-то иное – маленький клавесин, многострунная лютня, ну на крайний случай – старинная гитара. В моем представлении балалайка никак не была сопряжена с миром звуковых протяжений.

Когда он выразительно замер, словно не в силах удержать выплывший из инструмента звук, все заплодировали. Он поклонился. Дама собрала какую-то мелочь. Он поклонился опять и стал бисировать. Он опять заиграл «La gappel des oiseaux», как-то причитая и длинная такты, будто специально для меня.

Он содрал пальцы. Улыбнулся, ничего, мол, бывает и не такое...

Люди еще топтались возле них. Я мельком услышал, как дама призналась, что им, едущим из Тебриза, необходимо попасть теперь в Триест непременно, там ведь собирают русских для отправки на родину. И лучше уж все-таки в Россию, туда. И это счастье. И с Божьей помощью. И они доберутся. Кого-то непременно отыщут. И т. д. Дальше я слушать не мог.

Господи, вот я и увидел остановку русского Орфея с трехструнной лирой, чье тщедушное деревянное тельце и вибрирующие жилы порождали космос.

Эти люди не были авантюристами, своей пластикой они напоминали обреченных, и именно поэтому символизм этой сцены был душемутителен, будто то, что я увидел, уже когда-то со стеснением читал в эмигрантской книжке, дивясь добродетели автора такого счастливого сюжета. Это было именно так, если бы не тавтология просительной умоляющей музыкальной формулы, вобравшей и мои смыслы.

Английские морячки, вместе попятившись к стене, просто прилипли к ближайшему фасаду, стали одновременно слишком громко мочиться, возвращая простые циничные смыслы этому дню, хотя и они, два крепких детины, стояли, широко разведя ноги, чтобы морские штаны не стекли с бедер, как атланты, оставившие свои посты под глубоким фризом, сползая буквально по-ящеричьи с верхотуры. Такие гекконы... По мостовой посочилась теплая струйка. Как это ни странно, по виду текущей жидкости поч-

ти всегда можно понять ее температуру (к сожалению, не я отметил эту закономерность, а Г., вообще обладавший множеством пространственных познаний в пограничных областях).

Я посмотрел поверх их склоненных голов на изысканный барочный фасад, и действительно, было легко найти для этих оборотов подходящее место, они бы не нарушили фантастическую гармонию редких розеток, выпуклых замшелых гербов, оконных углублений и всего сумеречного извращенного лаконизма. Да и сами братья госпитальеры были бы не против такого рыцарского соседства.

Ничего удивительного, ведь это низкое зрелище было продолжением стихшей музыки, апофеозом барочного жизнелюбия, новой сутолокой. Даже начни эти долдоны драться, брызгать кровью и все такое, все предстало бы одним сверхнасыщенным скульптурным фронтоном. Такой алтарь, разобранный на тысячу сцен, исходящих друг из друга и снова прорастающих в самих себя, связанных одним сквозным хронометражем.

ПОХИЩЕНИЕ В СОБОРЕ

Нарядные внутренности собора Св. Джона на главной улице. Столько золочения, нарядное просветленное письмо на парусах и сводах, каяться в этой сияющей муфте никогда не будет страшно. Так, шорох насекомого в бонбоньерке, апофеоз уюта. Какие такие наказания?

Инкрустированные мраморные плиты пола – сплошь в гербах рыцарей, кавалеров и прочих знатных персон, упокоенных в подполье. По одному уставу вытканые из каменного руна равновеликие коврики.

Я множество раз разглядывал там, в левом крыле, где несколько исповедален и небольшой алтарь, одну из самых жестоких, сладостно жестоких и безбоязненных картин разбойника Караваджо «Усекновение головы Иоанна Предтечи».

Меня перед ней всегда охватывал обруч молчания, будто я должен вот-вот начать плакать, рыдать, лить ручьи слез. И я с трудом проговаривал про себя тайную молитву, которой научил меня Тадеуш:

«Господи, ну как Ты любишь меня, блудодея?

Персть моя никогда не станет чистой?

Разве это так?

И губы?

Только тень от тени Твоих благодеяний, Господи, ниспосланных не мне, прошу я.

И этого будет премного».

Мне всегда кажется, когда я произношу ее, что он специально внушил мне ее, чтобы я всегда его помнил, даже позабыв на веки вечные. В любом случае, он будет ею упомянут.

И вот я глядел на потемневшую картину, и дело не в ней, а в том, что однажды молодой человек, тоже слоняющийся в прохладном соборе, подошел внезапно ко мне и сказал, глядя мне в лицо, довольно тонко для случайного зеваки, что мне стоит особо присмотреться – как белый, какой-то неистовый мазок гения, сверкающий посейчас на кромке клинка, которым перерезали шею Иоанна, не отражается нигде – ни в глазах палача, ни на потускневшем золотом блюде, – так как именно смерть, беспощадная и неодолимая, нехристианская (подумал тут же я) – является сюжетом этой картины, и поэтому она, эта картина, совершенно безнадежна.

Как это странно для такого нарядного собора, где могут быть только беспечальные праздники. И вообще, она вся, эта картина, – надругательст-

во над временем, выпад, только этого никто не понимает. Такое торжество мгновенного. Об этом не хотят говорить, так как в церкви смерть лишается своих понятных признаков.

– Ведь правда, – переспросил он, – только и отвернуться можно от этой сцены?

Но Караваджо – он почти весь такой, а он много где еще его видал. И всегда – непреодолимо жестоко. Как это непонятно.

Он говорил это, придвигаясь.

И я присматривался в который раз к деталям этого полотна, и к широкому хирургическому лезвию, заведенному палачом за спину, к напряженно безразличному лицу анатома – без каких бы то ни было следов озлобления и жестокости, а только точность ремесленника. Ну, может быть, еще слишком цепкая поза, будто, находясь на шатучей корабельной палубе, он собирался вдеть нить в иглу.

И мне показалось, что детали картины от такой пристальности обрели небывалое протяжение, будто их время вывернулось из свитка, – и палач, который, несомненно, утром был чисто выбрит, за то время, что я с восхищенным страхом разглядывал его, вытемнел изнутри и обородател.

Мне показалось, что Караваджо учел труд моего зрения, которое я приложу к его картине.

И я догадался, в чем тут дело. На самом деле он изобразил фундаментальную остановку, вплетя свое зрение в крошечный узел прошедшего времени, в котором, останавливаемом его волей, уже невозможно завершить любое действие – ну хотя бы оторвать от пола отрезанную голову Предтечи, чтобы водрузить ее на золотое блюдо, что держит простоволосая безразличная дева. «Почему, почему?» – спросил я себя.

Да потому что голова заговорила проклятья Ироду сквозь застылые губы, из которых только что шел хрип. И если продолжить линию короткого клинка и домыслить направление звука, произносимого губами, то получится крест из двух линий, которые никогда не пересекутся не из-за того, что находятся в разных плоскостях, а потому, что слово вообще не может быть пресечено.

Я хотел сказать это молодому человеку, который навел меня на это воспоминание. Вернее, я вспомнил этот сюжет, вычитанный, когда я еще был ребенком, которого могли увлечь библейские зловещие сюжеты.

Но несколько потеснив меня, чтобы не отказать и себе в удовольствии еще раз рассмотреть сверкание короткого клинка, не принявшего на себя кровь, эту гениальную закавыку мастера кьяроскуро, молодой человек виртуозно меня обчистил.

Исчезли две купюры, все что у меня было – одна ничтожная, а другая – целый месяц моей скромной жизни. Они были сложены вчетверо, да хоть и вдесятеро – это теперь совершенно неважно. Я хватился их только потому, что этот славный парень, бывший только что рядом, оплетавший меня, жадно смотревший на караваджийский блеск, то заслоня собой зрелище, то из-за моей спины, – исчез.

Просто испарился сквозь высокий свод – ни быстрого топота каблучков, ни шарканья я не услышал.

Как иллюзионист. Престидижитатор...

Может, мне все это показалось?

Может, у меня и не было с собой никаких денег?

Картина мгновенно потускнела – но и через темный лак было видно, как палач втягивает лезвие куда-то за спину – в самого себя, будто клинок являлся частью его тела, такую выдвигной телескопической зацепкой, хамелеонным языком, – он так естественно округлял его сокровенное жестокое движение.

Я еще раз посмотрел на одеревенелую жестикуляцию персонажей картины, пойманную Караваджо, будто художник лишь на одно мгновение раскрыл свои глаза. И мне показалось, что лишь отделенная от тела голова Предтечи, смежив глаза, может вещать сквозь сжатые губы при всеобщем молчании.

А ведь действительно – для этих слов совсем не нужно дыхания.

Ведь слова не речь.

Как это мне раньше в голову не приходило.

Я еще какое-то время чувствовал подле себя остаток, такую выемку запаха этого парня, только что топтавшегося вокруг меня. Он ведь появился и исчез по атмосферическим законам, как радуга, которая в отличие от облаков не имеет отношения ко времени. И он оставил мне дугообразный запах влаги, могущей преломить тусклый свет.

Может, так и должен благоухать ловчий инстинкт, который с трудом поборол, замкнув внутри нетерпеливого тела. Инстинкт отчаяния, риска, бесшабашия и азарта. Только не мести. Кажется, так пахло само время моих прошлых экзаменов, от которых зависело не то что мое будущее, а вообще моя жизнь. Безуханным, почти видимым разноцветным духом рассыпающейся влажной неосязаемой небесной дуги.

И он скользнул по мне и хлопнул там меня быстрой ладонью. Я только и успел заметить такую его картинку вблизи – обтрепанный, потерявший форму ворот, сбившиеся завитки душевных кудрей, как бывает у южан, да разбегающаяся в ворот распахнутой рубахи черными брызгами поросль. Как будто ветер все шевельнул...

Я это заметил потом, когда он исчез, когда его уже не было.

Через каких-то четверть часа в неприметном баре, куда вела тяжелая с ковкой дверь без вывески и битая ступень, я повстречал этого молодого человека, будто он и не собирался куда-то срываться от меня.

Это было уже на смутных низинах Северной улицы, где в высокой прорехе между домами море буквально виснет.

Казалось, что дома должны буквально срастись, еще немного, самую малость, вот-вот – и едва прокатишься между ними ядром, так как ступе-

ни вытерлись в желоб, да и вообще вся улица с заветренными фасадами, сбитыми порогами, косыми дверьми, тетками-профессионалками, жмушмиися к стенам, должна стечь в рябь Большой гавани, искрящейся где-то там внизу.

Я туда вообще-то почти никогда не добирался, так, лишь несколько раз.

Да, замечу, невзирая на время года, морская вода всегда вспоминалась мне в мишуре солнечного блеска, таким апофеозом благорасположенности и неги.

Парень, конечно, сидел себе у стойки. Будто подждал меня. И рядом была свободная табуретка. И еще несколько мужских пар еле копошились в далеком преувеличенном сумраке, как в темнице Пиранези.

«Да, это же праздник искусств», – провозгласил я.

Где-то в самой моей глубокой глубине, в конце коридора моего дорожного дома, где есть и библиотека, родительская спальня и палисад с розовыми кустами и густой сиренью, – на пол упала книга и раскрылась на странице, где все это, происходящее со мной, прекрасным языком было описано. Я словно считал абзац.

Да, это был не день, а текст дня, в который я попал, – сообразил я. Кажется, мне не было страшно.

Он глянул в меня, признал и, не сказав ничего, неловко поднес тыльную сторону ладони ко рту, будто отмахивался от чего-то, – сжатые пальцы прижал к губам – наверное, чтоб и я молчал. Но у меня и в мыслях не было выяснять с ним отношения.

Было видно, как сильно блестят крылья его носа, и мне захотелось отереть платком его лицо. Нервные ноздри какого-то жесткого разреза. Это было видно так отчетливо и резко, словно скупая мавританская лампа, свисающая из скрещенья потолочных сводов, подсвечивала сквозь цветные прорезы только эту деталь его лица. Ведь и правда, все остальное в этом притоне барахталось в глубокой нескромной тени. Облапившие друг друга марины будто дремали над батареей пустых стопок, темнели, как грозовое облако. Они словно сошли с картины, которую я только что рассматривал; там два сумеречных узника, глядящие через окно, забранное частыми прутьями, навсегда вписаны в сцену казни Предтечи, и такая кара несоизмерима со всем тем, что они могли совершить в своем беспутном прошлом.

Я уселся рядом, и парень быстро сунул мне в карман сложенную четверо купюру, как какую-то записку, где содержится то, от чего я не откажусь. Рука его там и осталась. Он ведь показал мне, куда обычно вешают такой клинок гопники Караваджо – на бедро, в узкий такой колчан, где теперь у нас прорезан бритвой карман. Валетта – крохотный город, его величина все и решила – другую купюру, что гораздо меньше, ничтожнее, мы с ним благополучно пропили, и он не дал мне добавить денег, чтобы рассчитаться, взяв в долг у бармена.

Натурщики Караваджо – эти лжелютнисты, не умеющие ни трогать струны, ни петь по нотам; эти созерцатели невидимых фруктов, накормленные

до отрывки за четверть часа перед сеансом; еще востроглазые мастера виноватых взоров – карточные шулера и жеманники. Мне кажется, они должны всем показывать руки. Траурный контур по лунке сломанных ногтей. И – ладонями вверх – смотри, ведь ничего нет у нас, ни-че-го.

Художник всегда выбирает моделями тех, кто никогда не переживал культурных историй, – такие выразительные тупицы, необидчивые пасынки выселок, обаятельные дети городских низовий, их при первой же возможности покинули родители, чтобы символически передать в руки живописца.

Вообще и в поденной бестекстовой жизни мне всегда свойственны ретардации, экфрасисы – будто надо еще чем-то удерживать эссенцию собственного прошлого, неважно какого – близкого или далекого, какими-то там культурными присосками, изжитым языком, тщетным перебором воспоминаний, тотальной инспекцией исчезнувших подробностей, которым я верю только отчасти, так как на самом деле они, истинные, остались там, в минувшем, и – забылись.

Но никто не смог бы разуверить меня в том, что, распорядись я своею памятью иначе, – время, которое я сейчас переживаю, сделается недостоверным и рассыплется в пыль.

И должен признаться, что в самые решительные моменты своей жизни я перебирал подробности роковых сцен великой литературы, будто всегда носил в себе коллекцию извлечений из лучших книг.

Они были во мне. Но не как слова, а как картины, которые безразличны к течению времени, потому что в этих сюжетах все было сведено в кольцо, превращено в монаду. Они ведь давно казались мне решением алхимических задач. Квадратуры круга, например.

Из «Войны и мира»:

– раненый князь Андрей, заваленный навзничь облаком, стынувшим в вышине; – в нем, в его теле, в том, что он безропотно видит, сошлось все – любовный ропот, непроходимая меланхолия, покорность своему прошлому и тому, что будущего у него не будет;

– еще оттуда же – Николенка перед атакой и затишье, обуявшее его голову кушаком; – это просто невесомый рисунок, почти лишенный цвета, так как в нем нет нужды для того, кто, опрокидывая свою тягу к жизни, непременно умрет.

– Еще, но почти без детализовки, совершенно нецветной, порожденный одними словами, – из прустовской эпопеи: барон Шарлюс, проведенный в потайной закуток мужского борделя, неотрывно смотрит на своего дражайшего Мореля из-за зеркала, с его оборотной проницаемой стороны – буквально глаза в глаза молодому человеку – тот его, само собой, не видит, но от неодолимого удара ревности, прошившего амальгаму, стекло и слой воздуха между ними деревенеют и делаются белыми, будто он почуял свой смертный час. Почти что всех героев и героинь Пруста, ну, кроме рассказчика, так как видел все его очами, я не нагружал телесными особенностями

ми, не потому что не мог их придумать и дать им живое овеществление, а потому что всегда его персонажи казались мне условными словесными вешалами, на которых висят названия давно снятых одежд, такими индексами чувств, не обращенных уже ни к кому, и, наконец, строками из утраченной адресной книги; они были для меня заряжены сверхзначительной эмоцией, которая была столь сильна, что предвляла не только их действия, но и вообще их жизни, во всяком случае – в моем восприятии, уточняла их настолько, что уже и разоблачала их одежды, смывала цвет волос, запах тела, низводила румянец или бледность, лишала привычек и т. д.

Когда я эти эпизоды вспоминаю, то и мои волосы ерошит тревожная волна, пробегающая внутри, под самым сводом моей черепной коробки, и в ней точно нет никаких атрибутов языка.

Вообще-то я уже догадывался, что меня изымают из моей жизни. В теплый весенний день в Валлетте, когда я догадался, что будет со мной, еще ничего об этом не зная.

ФРЕГАТ ПЛЫВЕТ

И я навсегда позабыл своих незадачливых попутчиков, отовсюду по мере возможности правдами и неправдами собранных союзниками. Они, шляющиеся по всем палубам, по отсекам и даже по трюму бодрого английского фрегата (тоже навсегда позабыл его гордое имя), казались мне стадами разнообразных тварей, согнанных Ноем, для нового пышного разведения где-то в предгорьях Арарата. Кого там только не было! Это было похоже на очень дурной путаный роман, устаревшую кулинарную книгу большого хозяйства, выживший из ума телефонный справочник.

Любое знакомство на этом корабле было бессмысленно, встреча была последней, ведь кроме сладкого средиземноморского Эола над всеми задувал совершенно неведомый безымянный ветер. Только до полных тупиц это не доходило. Но пока еще не запертые, свободно планируют по палубам, глазающие на дальние горизонты и на дельфинов, вдруг вспарывающих петлями голубое стекло моря, не разлученные с дорогим памятным скарбом, они все, как казалось мне, пребывали в наивном воодушевлении. То, что новые створки распахивались перед ними, было несомненно. Обрывки разговоров и смешки, английский вперемежку с французским. Рядом стоящий субъект жеманно сказал, что это так похоже на великий толстовский роман, просто салон Анны Павловны Шерер.

«Только вот по привольным именьям вам больше не разъехаться», – с тоской подумал я.

Как насмешки, на палубе были развешаны «американские лампы», такие манки-морилки, в которых насекомые с треском погибали, коснувшись оголенных проводов. Я смотрел, как в распахнутую ботанизирку набиваются новые и новые насекомые, привлеченные таинственным синим светом, – мушки, комары, мотыльки. Они гибли, вспыхнув серным огоньком. Так и эта разношерстная публика не слышала тревожного духа своего будущего. Что я мог поделать?

Если бы я сиганул в ночную воду, то точно знал, что стрелять по мне никто не стал бы, но вот нимфу, ухаживающую за мной в сырости вонючего грота, я представить себе не мог. И я стоял на темной палубе, словно из-за непреодолимого магнетизма всех этих людей, совершенно не привлекавших меня. В том, что я больше их не увижу, я не сомневался, как и том, что эта временная точка бессмыслицы, лишь искрой коснувшаяся меня, совсем не мой предел. Исток этой уверенности я не искал никогда. Моя

жизнь простиралась за оболочку моего тела и была куда больше меня, хотя бы потому, что я почувствовал этой ночью, как шевелится море у корпуса корабля в Большой гавани Валетты, как гудят внутренности машин и скользко проворачиваются гребные валы лишь посредством того, что это я их промыслил.

И несколько свободных дней, проведенных на корабле, я видел веера разбегающейся средиземноморской ряби, волны клубили белые прочерки пены – всегда одно и то же: в войны, в междуцарствия, в моровые эпохи. Когда на меня наведут мушку, я подумаю о том же.

Погода вдруг закручивалась темным штопором, так бывает в южном Средиземноморье, и хлещущий жестокий дождь иссякал через мгновение, уходил в сторону шлейфом, будто у него был четкий край, попав в который можно вымокнуть только наполовину.

Самое отвратительное было то, что англичане испытывали к пассажирам какой-то деликатный стыд, будто их преступление пред нами было безмерным. Ешьте, пейте, ходите куда угодно, но теперь только по кораблю, будто говорили они.

В публике кто-то рассуждал о чудесном обретении, о волшебном возвращении, на которое, может, сами и не решились бы, но такое предложение...

Самые молодые бурно поносили с дворянским проносом давнее бегство своих родителей. Картавое имя «ассия» вспыхивало на молодых устах то тут то там, как фальшивый огонь, и я отчетливо понимал, что все мы собираемся в самую настоящую неведомую и бесконечно далекую безблагодатную Азию.

Старшие господа всяких сортов горестно поминали свой двадцатилетней давности выбор, свою безрадостную эмиграцию, свою тщетную маету в ней.

По одним кивкам было все понятно.

Люди отчаянно без умолку общались. Ведь все вместе плыли в объятья восхитительной далекой родины-победительницы, которая в той же мере благорасположена к ним, как и они к ней, и ждет она их не дождется, и теперь-то после стольких лет вынужденных разлук уж точно все сойдется, и тогда...

Иные успели даже обзавестись новенькими советскими паспортами.

То тут, то там какие-то быстрые мотыльковые компании слетались в нервную тесноту, чтобы забыть друг друга через минуту, но стайки задумчиво роились в других местах на палубах снова и иногда выпевали красиво в унисон старые русские песни, в основном тянули длинные гласные запевов, и так становилось задумчиво.

Те, кто помоложе, бодро затевали новейшие советские запевки, будто примеривались к чему-то перед тем как прыгнуть, но тоже быстро смолкали, будто источник света, необходимого для роевой певческой жизни, ис-

сякал сам по себе – то ли никто уверенно не знал слов дальше первого куплета, да и прочие не могли поддержать вокализом звенящие победительные темпы, для которых на самом деле были потребны многоярусные муштрованные хоры. В глубине трюма неумолимо урчала горячая машина. И времени на разговоры и пение оставалось меньше и меньше.

У меня никаких сладостных вокальных иллюзий никогда не было, как и хоть какого-то толкового паспорта, если не считать сложенный вчетверо лоскут, удостоверяющий мое доблестное прошлое в рядах несуществующей армии несуществующего да и толком не существовавшего государства. Единственное достоинство сего документа – моя крупная прекрасной четкости в три четверти фотография в гимнастерке с петлицами ничтожно-го тылового чина, пробитая в левое предплечье отверстой сияющей клепкой (будто я получил ранение навывлет, как Грушницкий), на листе гербовой бумаги, где по волнистым разводам светлел неправдоподобно большой герб-орел и роскошный крылатый росчерк некоего министра Dr. pf., осененный столь же карикатурно большой преподробной печатью. Я казался сам себе последним подданным этого выразительного атрибута.

Последнюю ночь нашего плаванья я провел на палубе, не сомкнув глаз.

Я следил, как свет небесный расходится восточным веером сквозь дальний облачный фронт. Но почему-то от него становится еще темнее. И вот все обидно осветилось еще раз, словно говорило: что-что, а вот прощание будет надежным, точная точка будет – даже без обещаний.

Ночь будто с трудом отодвигалась от клейкой, не отпускающей взор такой приманчивой сини. Но она все-таки находила в себе силы сделаться по-настоящему и серьезней, и темней, и непроницаемей, буквально выгорая от какого-то невидимого никому каления до глухоты всепоглощающей сажи.

И вот – в загустевшую химическую консистенцию небосвода одновременно ударялись остриями мириадом дротиков звезды, равные смыслу изумительного слова, которое обозначает их остроту и мгновенность на всех языках.

Будто насильно, сразу, с той невидимой непредставимой несуществующей стороны света они сорили нам и едва видимой мутью бесчувствия оробелого блеска, сливающегося в лоск, и еще каким-то давним отчаянием, открывавшимся нам, то есть тем, кто удостоился их созерцать.

Кроме того что это зрелище наблюдало такое же несметное множество людей, сопоставимое со всеми проколами на небосводе, я ничего придумать не мог, но и это измышленное равенство ошеломляло меня тем, что отменяло историческое время, – все в тисках это дышащей сажи представало сколь недвижимым, столь и бестолковым, как апофеоз случайного. Разве подметки хрустнули щебнем с таким же неодолимым пустотным смыслом?

Я думал о бессмысленности своей жизни, ее тщете и бесплотности, но зрелище застывшей и еще сильнее запустевающей тверди вводило меня в какой-то согласный ступор. Эта бездна никому (естествоиспытатели ни в счет) не открывалась, так как была равна своей полноте, нетерпима ни к каким смыслам и посему неодолима.

Я увидел свою жизнь как бунт, ведь меня не должно было быть столько раз, сколько этих сияющих проколов.

Это зрелище снимало вопрос моего существования с «повестки дня», меняя все на «повестку ночи». «Повестка» – пританцовывающее слово.

Я не мог, как ни старался, представить – ну кто же из моих дорогих близких и потерянных мною сейчас смотрит на звезды, – может быть, они уже сами стали ими. Но тогда это только моя больная память, напор прошлого времени, которое не иссякло, пройдя сквозь меня тысячекратно.

Вообще-то, ничего более безразличного ко мне, чем звездное небо, я не видел в своей жизни; я ведь давно понял, что оно ничего не сулит и не обещает.

Бог позволяет быть всему, так как это все – и есть он сам.

Мрак, и сияние, и то, что меж ними, может быть наречено его словами.

И вот эта смола надо мной... Разве таким должен быть синий абсент Средиземноморья, такое пьяное желе куантро, живая медная закись на исцезнувшей монете...

«О, как темно, – думал я, – будто уже давно нигде нет городов!»

Нет отсветов фар, мерцанья костров. Вот только если чиркнет о горизонт зарница.

Я словно попал в крошечный плен зрения, будто все другие чувства оставили меня навсегда.

Когда корабль еще затемно пришвартовался к военному пирсу, то все пассажиры мгновенно почувствовали, какой оборот совершил над нами мировой флюгер.

Ночной причал в едких гирляндах фонарей был запружен военными, будто сошедшими на благотворительный бал.

Для торжественной встречи их было, по-моему, чересчур много.

Еще и ружья с примкнутыми штыками пока составлены были в пирамидах, зачем-то у некоторых сонные ротвейлеры на поводках.

Еще мне послышалась где-то на окраине веселой английской мужской трепотни казенная русская речь, будто уже начали развешивать карантинные флажки.

Мигали слова, осененные шипящими: «товарищ», «разрешите», «так точно», «есть».

Документы цивилизованно отобрали еще в море, выдав бумажные номерки.

Кто-то провозглашал, будто его с интересом выспрашивали: «Я – гражданин СССР такой-то».

«Да, сэр! Прекрасно, сэр! Спасибо, сэр! Ваша квитанция, сэр!» – приподнято и напевно сообщал всем рослый матрос-ирландец совершенно рыжего англического вида, он сумбурно набивал документы с вложенными закладками в большой планшет – взамен люди получали синие листки с проштампованными трехзначными цифрами, такими же, как и на закладках.

Мне же, приняв мою затертую на сгибах ассигнацию, он только грустно улыбнулся и сказал, что квитанцию я получу попозже. Он меня всенепрременно отыщет.

И действительно, перед самым сходом, когда все уже толпились около трапов, я получил из его веснушчатых рук, тронутых золотым пушком, совсем другой листик с какими-то литерами вместо цифр, как для всех прочих, вернее, прочим-то был я.

Он еще как-то чрезвычайно трогательно потрепал меня по шее, назвал братом и пожелал надеяться на лучшее, и Всемилостивый Господь мне поможет.

Недолго думая, скомкав шариком, я запулил этот листок в глубокую черную водяную щель между бортом корабля и пирсом к прочему портовому мусору. Когда сходил со всеми по трапу. Я отчетливо понял вдруг, что именно так необходимо поступить.

СОВЕРШЕННО ПУСТОЙ ГОРОД

Длинной нелепой (хотя для кого нелепой, для кого – я ведь не заметил в то утро ни одного прохожего) толпой с поклажей всякой выразительной ерунды в руках, через плечо и на спинах (только хоругвей и киотов не хватало, зло подумал я) – с каждым шагом ничтожество взятых в путь вещей делалось для всех очевиднее, и многие оставляли за собой прямо на дороге вещные следы – свертки, узелки или чемоданы, просто без сожаления перешагивая их, как вчерашний день, будто уже и в мыслях никогда не вернуться к ним; – в плотном союзническом оцеплении, как в частокале, мы не торопясь шли по утреннему прекрасному средиземноморскому городу от порта, где остался наш странноприимный фрегат, к вокзалу, где под парами уже стояли наши скорые поезда.

О, как пахнет неизвестность! – все думалось мне.

Принудительная, но это была одна из самых лучших прогулок в моей жизни, и никогда ни до этого, ни после не получал я впечатления такой отчетливой завершенности и такой редкостной силы и красоты. Будучи свободным, я не почувствовал бы и не осмыслил и сотой доли из увиденного тогда. Нести в помощь чей-то идиотский скарб я наотрез грубо отказался, громко послав просителя по матушке, чтобы другие тоже услышали. С пустыми руками, ничего не оберегающий, я вообще-то вызывал подозрения. Но я-то знал, что это, может быть, мое самое последнее свободное время.

Я хотел побыть еще какое-то время фланером.

В некотором доступном при сложившихся обстоятельствах смысле.

С совершенно свободными руками.

Хотя бы отрешенно поглазеть по сторонам.

И я задевал не только зрением, нет, еще и языком, как хамелеон, проговаривая про себя, буквально слизывал имена улиц с эмалевых табличек, где перечислялись католические святые, словно разыгрывались эпизоды Св. Писания;

чуял, как безглазая улитка сочащейся липкой пятой, неширокие ухоженные улицы, теснящие нашу толпу в высокую муфту вековых платанов, сросшихся кронами над мощеной проезжей частью, где пойдет через не-

сколько часов после нас, дрожа, невидимый трамвай, по чьим скользким колеям мы шествуем;

потемнелые и по-разному стареющие белые и розовые мраморы фасадов вбирали занимающийся свет, и невысокие ограды едва сдерживали своими браслетами растительность, на знающую зимы. Иногда почти что черные кипарисы вкручиваются бессмысленно вверх быстрыми шурупами – только посмотришь, и уже не оторваться, все поворачиваешь шею. Будто иссякло время. Что же они спрягают собой?

Я касался, я трогал всю прекрасную городскую теплую усталость, проступающую так рельефно лишь по утрам, меня настигал жадный клекот чаек, планирующих на невысокие уличные фонари, изысканно загнутые вокруг уже потухших лампионов в бесконечный ряд басовых ключей, и их неслышный звук томил мое сердце. Будут ли у этого дня ступени или все его время растянется в бесконечное плоское утро, было неизвестно никому.

И кажется, люди тоже начали понимать эту партитуру низких звучаний.

Все шли молча, перестав переговариваться.

Улицы, выложенные битой лаптой светлых камней, заполированные жесткими подметками поколений ходоков, гудели под моими ногами. Иногда попадались орнаменты цветов, выложенные черным, они сползли от старости в сторону, будто на них подействовали силы, подмывающие правый и ровняющие левый берег.

Я вдруг понял, что вижу этот город, как вдохновенный архаический поэт щит Ахиллеса, который отчаянно нуждается в моих описаниях, чтобы не исчезнуть в разверстом *«навсегда»*.

Скоро низкое утреннее солнце засверкает так, будто захочет пощекотать под подбородком, засветить последнее недоступное никому белое пятно над моей шеей. Мне всегда хотелось задрать голову ему навстречу, если бы не ярая сила, пробивающая сначала чем-то теплым, а потом темно-розовым и, наконец, нестерпимо желтым мои прикрытые навстречу ему веки.

Море тихо гудит и облизывает прозрачными губами парапет набережной, и я ничтожен пред его вечной работой, почти так же, как и пред самим собой. И неопикуемый цвет его поверхности, ведь пока я собирался его назвать и искал слово, утренняя тень делалась короче, и цвет словно бы тоже вдвигался в другой регистр, но из какого он туда попадал? Какие ноты применить? Так с чем же я останусь? И я никогда не тратил силы, чтобы поймать его стеклянный цветовой фокус. Всегда. Пока обдумывал. Мне было не нагнать его смысл.

Мы шли по дорогим улицам, и витрины, над которыми сияли гордые имена, были затянуты ребристыми вертикальными жалюзи. Вдруг я ощутил до боли знакомое чувство, когда я еще мог посещать их, раскрываю-

щихся колокольчиком навстречу мне. Я ведь не мог удержаться и заходил бессмысленно вовнутрь их ларцов, где пахло свежей дорогой обувью, где мне всегда мерещились задвинутые стеллажи с пеналами для перчаток и сотами для галстуков, из рук моих соскальзывали шелковые носки, которых я не касался. Во втором и четвертом магазине я понимал: если я ничего не куплю, то согрешу самым непростительным образом, и платил за автоматический карандаш, красивый конверт, ненужную открытку или закладку для книги, денег на которую у меня не было.

Позорный прекрасный зуд поупок, возвращавший меня в людское лоно. Я захотел присесть напротив пустой витрины на корточках, как Тадеуш, которому вдруг взбрело на ум стать обладателем несусветно дорогих штиблет. Снизу вверх глядя на меня, он говорил с тихим азартом: «Но я ведь так хочу эти лапоточки». Почему «лапоточки»?

И мы миновали две совершенно плоские как зеркало пустые площади, высланные шахматными мраморами, еще совершенно безлюдные площади, распахнутые ровному заливу и запрокинутой в него слабой небесной синьке, будто туда только что по воле сладостного бриза легко скатились фигуры знаменитых партий;

я еще заметил сухие чаши незатейливых фонтанов с почернелыми мраморными аллегориями, откуда накануне расчетливые горожане вычерпали последнюю дождевую воду;

серо-розовая небесная дымка над нами еще длила свою истому, будто не хотела превращаться в настоящее утро, истово поголубеть со всем чувственным жаром, сложиться в символ подступающего полднейного необоримого часа;

неподалеку мелькнули, как видения, парусящие торговые аркады рынка, и я вспомнил одуряюще точно, как йодистая кисть только что выловленных моллюсков касается ноздрей и соленый трепет свежей рыбы ликует, будто завеса из невидимой чешуи, – ими сегодня просто еще не начали торговать – вдруг начал убеждать я себя;

на первом вдруг брызнувшем солнечном свету мне просияли отражением небесной голубизны зеркальные витрины не работающих (только из-за раннего часа, – убеждал я себя) ресторанов, и я озирался, мечтая разглядеть хотя бы одну грифельную доску со столбцом вчерашнего меню, чтобы по числу нулей оценить меру инфляции этого государства, будто у меня были деньги, но черных досок с меловыми прописями не было видно нигде;

на меня снисходительно поглядело высокое здание оперного театра, отступившее возвышением подъезда с балюстрадой и фонарями от красной

линии, оно словно раскрывало широкие объятия собирающейся публике, и я заметил обольстительную улыбку шестиколонного немного вогнутого портика и символические слезы череды трагических масок-аллегорий, они должны были стечь по золоченым картушам на пилонах;

вот еще череда мраморных дельфинчиков, будто прилегших отдохнуть на край тяжелой, как волна, балюстрады, распахивающей низкий подъезд к зданию театра; мрамор, если он отполирован настоящим каменотесом, всегда чуть теплее суточной температуры в любые погоды, так как шлифовка правильными абразивами приоткрывает на камне поры, такие же как на молодой коже неизнуренного человека; эти маленькие морские животные были выстроены восходящей гаммой к самым истокам пропиленей, и казалось, тепло посвистывали водяной ноздрей, расположенной надо лбом, улыбочиво отвечая прикосновению моего взгляда;

и я пожалел, что не вижу тумб, на которых бы мне просияли премьерные афиши, ну «Волшебной флейты», «Манон» или «Саломеи», к примеру.

Еще было широко видно море, и я обернулся. Оно лежало как закаленный клинок посиневшей озябшей стали.

На самом краю.

Мне стало не по себе.

Вдруг я понял – все, что я вижу, говорит со мной на языке горького безутешного прощания.

Больше встреч не будет.

Наверное, мне стоило бы разрыдаться.

На пустой привокзальной площади случилась перемена конвоя, англичане неорганизованным шествием покинули нас тем же путем, что и вели, будто просто попятиться.

И после суток озверелого ожидания стоймя на прекрасном триестском вокзале,

– где я при всех, да, впрочем, как и многие другие, мочился прямо на кафли перронного дебаркадера, спокойно ссал прямо себе под ноги, где собирали еще несколько партий таких же «счастливчиков», настойчиво убеждая почтенную публику минимизировать свой скарб, так как необходимым все будут обеспечены, и какой-то нелепый, как перепачканная мазутом чайка, господин с доцентской бороденкой вдруг опрометью кинулся к только что оставленному им кофру, так как опрометчиво позабыл дорожный несессер, без которого он, извините, ну совершенно никак; с несессером под мышкой он стал мочиться с платформы на пути;

– где я всерьез захлебывался паровозными соболезнаваниями, восходящими пустыми белыми гирляндами в высоченные перекрытия обольстительного, стиля Второй империи перронного зала, заполненного никем не сортируемой, перестоявшийся, дуреющей толпой;

– и был я в итоге отправлен куда-то в полную неизвестность отдельно ото всех прочих, отправлен без каких-либо объяснений, так как не нашли и не искали моих выброшенных квитанций, но почему-то в отдельном купе с соглядатаем-рядовым и с каждодневными негрубыми расспросами в специальном помещении соседнего штабного вагона.

Путь-то лежал у всех в одну сторону.

И мои интересанты все листали какие-то непонятные мне многостраничные подшитые списки, неазартно водили по ним пальцем сверху вниз и наискосок, приносили откуда-то еще новые и новые сброшюрованные бумаги, сличали мою небритую физиономию с каталогом фотокарточек всяческих господ в форме и в цивильном и еще с подшивкой вырезок из эмигрантских разномастных газеток и листовок, где тоже были изображения каких-то там «настоящих патриотов» всех мастей, исповеданий и национальностей на пленэрах и при исполнении.

Стоило ли мне повествовать что-то им?

Это было совершенно бесполезно, они были заняты своим делом, к которому я и моя личность отношения не имели.

ВИД ЗА ОКНОМ УТЕШАЕТ

Пейзажи, видимые за окном вагона, я чувствовал, словно исходил эти территории многократно, рассматривал и трогал сухие ветки, топорщащиеся по низу стволов, обходил неказистые домишки и бывал в городках и городах, я будто чавкал влажным травяным настилом, пылил по незаасфальтированным улицам, видел чистые клочки небес сквозь самодвижущиеся грозовые просветы. Я подозревал, что только стоило начать. И эта истина была столь подробна и абсолютна, что вполне могла накрыть собою безмерное количество созерцателей-визионеров. И во всем, в чем я удостоверился, всегда был заложен какой-то очевидный скандал, эксцесс – ведь от выбранной точки зрения оторваться мне было совершенно невозможно. Она требовала и забирала меня целиком. Я буквально примерзал ко всему зрением, как мальчик, лизнувший в ледяную зиму какую-то железку, не в силах отлепить от нее язык.

Поезд прошивал циклопические разрушения, переполненные шевелением людей-насекомых и уютные опасливые пятна нетронутого животного теплокровия...

Скорбные луговины, изымающие сами себя из моря впечатлений, увиденные, забытые, они остаются во мне какой-то координатой – меньше малого числа, но больше ощущения, которое может меня нагнать в любой миг. Будто это музыкальная тема, мишура сквозняка, малярия любовного чувства.

Меня настигает волна воспоминаний, будто для того, чтобы в который раз удостовериться, что все это произошло именно со мной, мне достаточно только одной реальной детали, по которой я могу провести подушечкой указательного пальца. Во всяком случае, сумасшедший эффект истины, ее неукоснительности пронизает меня снова и снова.

Когда в детстве я рассматривал что-то, то ко мне всегда приходило чувство, что именно то, на что я взираю, глубоко вмещено в мое тело, было когда-то, было мною, моим, моим или, на худой конец, со мною.

Я читал откосы дорожных выемок, они тянутся параллельно горизонту желто-зелеными свитками, как развернутые складные страницы древних बहुколических манускриптов, на пристанционных клумбах краснели рваными потоптанными геранями готические розетки «Победа!», «Слава Сталину!».

К поезду тихо подходят голодные и оборванные какой-то картонной походкой, будто стали силуэтами тетра теней.

Просят хоть что-то – еды, мануфактур, бумаги.

По громкому радио почти на всех станциях ликует дуэт замечательных заматерелых теноров Бунчикова с Нечаевым, их фамилии нельзя было не запомнить; и так запредельно бодро и сладкогласо. Будто зверушки бесптиария пошли себе вдругорядь впрысядку:

*Лучами красит солнышко.
Стальное полотно.
Без устали, без устали
Гляжу, гляжу в окно.*

И это вообще-то было чистой правдой. Даже в самом паскудном склонении искусство бывает иногда безупречно правдивым. Эти голоса так и останутся во мне, как жестоко-сладостный символ того времени.

Из открытых окон пассажирских составов, проносящихся по соседним путям, вываливаются парусящими ключьями, белея, одеяла, занавески, стриженные головы пацанов. Такой железнодорожный табор, дикая цыганская оперетта.

В конце концов, мне все стало казаться макетом, и вид за окном – крашенная кулиса, да и сам поезд – искусная декорация, которую качают работники сцены.

Жизнь была за стеклом!

У беззлобного паренька, приставленного ко мне, был, видимо, диатез, как у младенца, – он почесывался сквозь несвежую гимнастерку одним и тем же автоматическим движением, сдерживая в себе какую-то колкую пружину.

«Вы парень видный, хоть куда», – хочу сказать ему, видя, как он темнеет от удовольствия, когда я оценивающе взираю на него, и по его телу пробегают круглые разряды, видно, как он вздрагивает мускулами, как конь. Тихо втягивает воздух ноздрями, когда я смотрю на него чересчур долго.

Нас кинуло друг на друга, когда поезд притормаживал.

Мы почти что обнялись, и я успел почуять его кряжистую оснастку, живые шарниры сочленений, неподатливые жилы и какой-то далекий-далекий съестной дух.

Тело всегда было переполнено его внутренними движениями, словно они были сильнее тесноты, сдерживающей их. И все его жесты, как бы мелки и незначительны ни были, переполнялись трепетом нервов и словно совершали полет по намеченной линии, едва двигаясь, – как тяжело летящие жуки.

Получалось, что хоть он и должен был разыгрывать своего рода пантомиму «охраны», – был проницаем и принимал мои ходы, как амальгама зеркала. Я мог считать с его лица то, что он видел перед собой, понимать его внутреннее время, иногда уравнивающееся с моим.

Мне стало казаться, что времени мне дано столь много, что я могу разглядывать, изучать его, бесконечно думать о нем.

Сосредоточенный молодой человек, этот солдатик, – вот я сижу против него в купе через откидной столик. Это продолжается уже которые сутки, скоро собьюсь со счета. У него жесткие серые волосы, из-за серого же цвета очи кажутся глубокими, суровыми, он преувеличенно серьезен – вот нынче все читает где-то подобранную смятую в четвертину газетку, что-то о «серьезном», чувствуется, жует все буквы подряд, огибая смыслы. У него продолговатая макушка, не узел и не точка, будто в голове есть тайный пароль. Впрочем, так оно и есть – в нем нельзя не заметить мелкие вычурные движения, которые он изредка совершает, будто загадывает что-то про себя, некое обязательное правило, которое необходимо выполнить. Ну вот – указательным пальцем уперся в свое средостение, потом все гнет кисти крупных, очень чистых рук, трещит суставами.

Это время казалось мне экскурсией в железнодорожный музей, в котором уже описано все прозой, стихами, отчетами, диаграммами и реляциями.

Мирные думы не покидают меня. И наш состав разгоняется, как оркестр в «Тристане и Изольде», когда видимы все обнимающие друг друга звуки прекрасных музыкальных инструментов, и катит на меня сияющее море, как в великих стихах. Будто я попал в партер старинного театра, пылкий бархат обивки, полированные подлокотники кресел, люстра проницает, сияя, дух пыли и жаркого угля. Клубы театральной ваты липнут к окнам, бежит слеза по пыльному слою, как по щеке. Как об этом можно думать? Как это можно видеть? Ни пота, ни стука сердца. Чужая премьера.

Купе иногда заливают лунный свет. Блестят на скупом свете латунные и стальные детальки, исписанные мужскими именами, их выцарапывали чем-то острым на полосках желтого пахучего металла...

Латунь даже ночью помнит о солнечном ожоге, хранит про себя запах окисла.

В окне, едва опущенном на какую-то щель для сквозняка, разворачиваются лентой поздние предместья, станции с побеленными служебными домиками, просто пустоты, вся предночная горизонтальная жизнь, словно свиток истории болезни, где скоро все засветится нутряным светом, как подгнивающие взбаламученные водоросли. И мой караульный, сдержанный в своей серой томящейся красе, тоже иногда посверкивал жестикуляцией, показывая сокрытое внутри него напряженное электричество, которое было его секретом, и он никому не хотел его раскрыть, ведь тогда он не был бы так хорош своей тайной обузой. Когда он встал, чтобы выйти из купе, – я в который раз замечал, будто оживал камень, – ведь он был очень сдержан и от этого скульптурен, – я понял, что он из тех, кто готов к самоотдаче, но еще не дождался зова. Может, оттого, что порождает зов сам. Сирена мужского пола.

Разве он отяжелеет на пути к телу, лишится эфемерного покрова, который пока дан ему как шутка – возраста, пола, сокровенной хворобы, ко-

торая так элегантно его навсегда пометила? Лишь вычурность случайной жестикуляции придает ему рокайльный смысл, вроде он, как барочный орнамент, заполняет нестерпимую пустоту отсутствия собой – не жалким, нет, но непоправимо живым, не могущим быть животным.

Нос, лоб, «непроросшие» брови – как новая трава у обочины – все застыло в сиюминутности. Каким он будет через неделю? Даже через день?

Вот опять помимо своей воли, как подвижная скульптура, такой шарнирный манекен, он совершил двигательный сдержанный ритуал, будто забросил свои жесткие жесты, живущие отдельно от него, как Мальчик-с-пальчик хлебные крошки, которые никто не склюет. Он будто заговаривал жизнь, простирающуюся вокруг. Надо ли ей это? Нет, все-таки он немного мертвоват – чуть кукольный в своей по-мужски преувеличенной сдержанности, но в этом была некая сила, отнимающая у него пол, – как странно. Одеваться в мужское, чтобы женский хаос все время пробивался через бреши вычурной жестикуляции, – это ведь не скрыть. Губы, губы надутые – он точно знает место, которое надо замкнуть, но оказывается – отверсто все – и то, что он будет расти, раздаваться, и то, что не умен, не везуч и т. д. и т. д.

Иногда он поднимал лицо от газетного листа и прикрывал очи. Вроде засыпал. С совершенно помертвелым лицом – истончившиеся веки легко обегали глазные яблоки, кажется, могла стечь слеза, будто Морфей действительно прикрыл его ладонью, как мотыля, и он наконец-то расслабился.

Это время, даже не разбитое на дни, стало походить на странную воронку, ее сечение сужалось, но скорость течения времени не увеличивалась ни на йоту, а наоборот. Поезд пошел медленнее, на пристанционных базарах кричали все громче и громче, и меня удивляла поглубевшая русская речь, словно прошитая истерическими вскрикиваниями, буквально обескураживала разлившейся руганью, перемешанная с задорным пеньем из репродукторов. Будто из моих ушей вытекал воск, и я, как Одиссей, связанный обстоятельствами своего положения, переживал любовный зов наоборот, граничащий с омерзением. Открытые бабьи сопрано пели по-матерински любовные песни – владетельно и бесполо, просто желая заполучить что угодно: фаллос, морковь, в конце концов, просто тряское седло, кляп любого свойства. Истовое голошение – будто разожженное нутряным огнем тело приоткрывало топку, где польхало умопомрачение войны, зажимались тиски бессмысленного спазма, который вот-вот станет дугой припадка. Лишь однажды тенор – удивительно сладкий, почти непристойный, как в специальном мужском кабаре, провозглашал любовные чудачества. Он пел, держа кого-то под столешницей нежно за руку якобы незаметно для других: «Я полюбил тебя на Волге». Я усмехнулся – значит, все в порядке.

– А кто это? – спросил я вслух. – Так сладко...

Он посмотрел с удивлением, ведь никакие речи нам не полагались, но важно ответил очень серьезно и тихо:

– Заслуженный артист Козин – очень проникновенно эти песни теперь исполняет.

Мне бросилась в глаза новая порода людей – они ежедневно вели бессмысленные для меня расспросы, для этих процедур меня препровождали в специальное купе в соседнем вагоне без откидных полок, что-то вроде дорожного кабинета. Переходя из вагона в вагон, я сделал полезное наблюдение – так как вагоны, соединенные друг с другом, были разного калибра, то муфты, перекинутые из одного тамбура в соседний, были периметром разные, и проходные рукава при соединении оставляли существенный зазор, при движении поезда он зловеще колыхался, обдавая проходящих жесткими ключьями сквозняка. Исхитрившись, между ними можно было и проскользнуть.

Эти мужики, расспрашивающие меня, походили на кряжистые корни, смотрели пронзительно, пытаясь только одним взглядом зацепить, откупорить, извлечь наружу истину, нужную им. Такие упыри. Я почему-то думал о том, как они танцуют. Пляшут? Прыгают? Фотографии прикладывались к моей физиономии, они бессмысленно тасовались, я отодвигался и придвигался, вырезки опять с шелестом перелистывались. Если я и был похож на кого-то, то по прочим параметрам вопиюще не подходил. Они досадовали больше и больше. Наши сперва миролюбивые семинары начинали походить на остервенение. Будто я злонамеренно не хотел снимать маску или надевать ту, которую мне предлагали.

Но главная перемена, как я заметил, случилась в женщинах, я видел их во множестве из окна, пока поезд стоял на разъездах, полустанках и станциях, – мне казалось, что они на этой территории подчиняются демонам азарта, – и это самое главное в них, такая злополучная сила, отвечающая за новейшую мерзость. Они озирались – истовые, скорые, растленные – не дай бог попасться. И я благодарил судьбу, что не они проводят со мной физиогномические испытания.

Мне стало казаться – если я доподлинно коснусь этого мира, то упадусь на атомы. И действительно, даже судя по звукам, этот мир был уже для меня неприкосновенен. О совмещении меня и его невозможно было и помыслить. С каждым новым календарным оборотом, когда день прибавлялся к дню, мне чудилось, что изменяется давление, и я вместе с ним уплощаюсь тоже.

Луговые выгулы, на которых я не видел никакой скотины, густеющие тяжелой зеленью сырые перелески, из которых никто не нес хворост, незасаженные, оставленные без попечения пожелтевшие земли. Только одуревшие быстрые птицы стремглав пикировали и чиркали о низкую траву, будто там предавались неге сытые грызуны, пресыщенные метафизическим урожаем. И еще небо пронзительно ровного цвета, как строго вертикальная кулиса, развернутая из скатки, такой колоссальный картуш, на котором не было написано ни одного слова, будто все смыслы, как и облачные льны, выбелены до полной прозрачности.

Мне казалось, что поезд скользит по мировой дуге, и я бы не удивился, если бы узнал, что рельсы кладут перед ним накануне, а после его проезда – спешно разбирают, перебрасывают на новый участок, подчиняясь, как течение реки, подмывающее правый берег, лишь Кориолисовой силе.

ГИБКИЙ ЯЗЫК

Ночи я проводил в одиночестве. Не смешно ли?

Только лишь прекрасная ругань, перемешанная со звездными всполохами, – ее острые искры настигали меня на темных полустанках, на ночных станциях, где не было не только перронов, но и платформ, и все лезли из масляной тьмы в вагоны с самой земляной насыпи, будто воскресая из могил, и было слышно, как вязко трется под их подметками крепкий щебень, разведенный в пахучем гудроне, – эта ругань язвила меня, и я не мог не понимать, что все происходит со мной на самом деле. Люди будто выгалкивали из кромешной тьмы самих себя ругательствами, словами, которые обретали новую физическую силу, делались плотными и твердыми, как уступы лестниц, как логика календаря. Эти краткие русские слова напрямую связаны с либидо, точно так же как действия, которые они выражают. Я произнес беззвучно несколько ругательств, вторя им. Ротовые мышцы круглились жесткими сфинктерами.

«Подсоби-подсади-да иди-ка...» – какие-то еще похожие слова, их смысл равен усилию, с каким их произносят. Иногда он – просительный, но такой, что просьбу не выполнить невозможно, чаще – повелительный, так как главное в этих словах – указание, что именно, в каком темпе и с какой силой необходимо сделать, чтобы ситуация невыносимой спайки была разрешена.

На забытом полустанке.

Немногие слова русской ругани, когда их случайные вспышки вдруг меня на мгновение слепили, рассеивались с той же быстротой, как и возникали, – они совершенно не оставались на моем слуху. Я будто что-то знал о том, что эти слова, как их ни соединяй, обладают слишком малой инерцией, чтобы представлять что-то весомое и оскорбительное для тех, к кому они были обращены. Просто способ обратить внимание, выразительно оформить бесцветную речь, распуścić перья.

Не более чем султан зимнего пара, тающий на расстоянии полуметра от рта.

Я слушал, как люди бросали в ночную пустоту или дневной гвалт эти унижительные и опасные по своей словарной сути короткие фразы. Но они всегда оставались бесплотными и проницаемыми. Эти окрики словно не приклеивались к имени того, кого таким образом призывали, звали срочно вернуться, делать все быстрее, не делать вообще ничего, немедленно исчезнуть. Так, всполох досады, выхлоп отработанного пара, просто умелый свист, наконец.

Энергично сбитые комом слова, необходимо в кого-то плюхали почти что приятельским окриком или зовом, будто имели свойство не долетать до адресата только своей энергетической составляющей, а не ругательным смыслом. Такая пантомима: будто снежки лепят из воздуха, но кидаются по-настоящему.

Но вот случилась перемена. С какого-то момента ругань стала уплотняться в кромешную завесу, отринув все другие смыслы, которыми я только что был занят. Я вдруг понимал, что только эти слова я и должен слушать, более того, понимать их значения, видеть, что ими на самом деле обозначается. В языке возникала какая-то несвойственная ему сухость, будто это был слишком пунктуальный перевод. Так как слова вдруг стали видимыми, приобрели плотность и вес и пройти сквозь их завесу невозможно – ругаются так, что каждое слово значит гораздо более того, что означает, и речь становится гротескным и гипертрофированным мороком заголившихся людских гениталий. В невеселых и злобных поношениях ничего не оставалось от эвфемизмов. Это был рокот видимостей, когда они, став больше чем смысл, без зазора вдвигались в скважины своих похабных образов.

Я понимал, что мы подобрались к какому-то крупному городу и поезд стоит в предместье.

За всю ночь мы не проехали и метра.

Я вспоминал музыку скупых звуков, сопутствующую мне. Стук, бряцанье, удары – скупая механическая партитура, будто меня засасывала машина. Будто из меня должны были что-то приготовить.

Вагон отцепили. Потом прицепили снова, и поезд пошел по совершенно другой дикой ветке, казалось, что и колеса тоже стали другими – чем-то вроде многогранников*.

* История эта была нереальна, она ведь складывалась из осколков, то, что мне удавалось вспомнить, сейчас же обросло сложной конструкцией мотивов, связей, но все равно осколки с разными краями совершенно не подходили друг другу ни формой, ни сутью своего материала. То, что я жив и нахожусь здесь, говорит, что мне все-таки удалось если не сложить их, так сплавить.

ПОНИМАНИЕ ДРУГИХ

Я должен был постичь моего молодого стража. Ведь когда с человеком проводишь столько времени не по своей воле, то начинаешь его как-то обостренно чувствовать, во всяком случае, со мною именно так и случается всегда. Ведь моя воля-то, невзирая ни на что, оставалась свободной.

Вот, находясь против этого парня дни и ночи напролет, я исподволь начал общаться с ним. Он ведь сразу показался мне нарисованным простым карандашом на легком листке неважной бумаги. Серый молодой человек с серыми глазами и короткой шевелюрой. Мне было легко вообразить внутри своего сознания, что это я рисую его то плавными линиями, как обводки его запаха, вдруг по-звериному озаряющие его, то мелкими штрихами, когда до меня доходило, что так пахнет обычное человеческое тело.

Там, где я видел утменненные следы его кожного зуда – на запястьях, на шее и левой скуле, таким материком, похожим на Южную Америку, я начинал скользить невидимым карандашом, пытаюсь вызвать настоящее раздражение в нем, но совершенно тщетно. Он был непроницаем, как латунный глобус. И мой остро очиненный метафизический грифель соскальзывал, не оставляя никаких следов, будто попадал на навощенную безуханную плашку, по которой рисовать было совершенно невозможно, только царапать и колоть. Но на такие выпады я еще не решался.

Иногда я достоверно понимал, что исподволь заставляю его повторить нехитрые задачи. Перекрестить руки на груди, сложить средний и указательный пальцы на левой кисти таким богомерзким всеотрицающим крестом. Как это ни странно, но он словно нехотя выполнял их.

Когда он заходил в купе, то вносил с собой целую таблицу запахов. Все начиналось с тяжелого множества казенных учреждений – и я только догадывался, что хранят на этих волшебных складах: оружие в промасленной ветоши, порох в небольших бочонках, бухты горючих фитилей, груды роговеющей обуви.

Мне казалось, что от него пахнет всем на свете: вдруг скисшим грудным молоком, которое срыгнул младенец, или теплыми обмаранными пеленками.

Мне вдруг представлялись мрачные каптерки, где разворачивают опрелые шинельные скатки, ведь их можно было уже резать, как рулет, прослоенный личинками моли. Флажки перестиранных портянок истошно

пятнились в сумерках. И в конце концов, я слышал, как сладостно ликует забродивший пот мужского тела. Такой исподний роговой оркестр.

Еще горелые спички, которыми он некогда чиркал, но ими пахнет так, что их шустрою гарь надо выколупывать буквально из каждой щели, отделяющей один секундный тик от другого.

Но какофония озверелых запахов, принесенных им, через какое-то время стихала, будто одомашнивалась. Ведь к такому духу, кажется, попервости привыкнуть невозможно, но на самом деле к нему, в отличие от зрелища, привыкнуть куда легче.

Я говорил себе: «Привыкай, иначе умрешь» – и я привык.

Могучие летние погоды, не замечая происходившего со мной, простирались за окном, и поезд, казалось, шел с такой же скоростью, как и отряды облачных вдохновенных всадников, не пахнувших ничем, ну разве что далеким голубым озоном. Вид этот не менялся долгими часами, и еще не пролилось ни одного дождя, так как эти белые кипенные сгущения тучами не становились. Но вот во мне появлялось большое, как яблоко округлое, слово, которое обозначало облако, оно тихо начинало клубиться под моим небом сгустками небесного пара, не занимая собой никакого места, но при этом полняя своей незримой округлостью весь рот. Казалось, если это слово не выговорить хоть кому-то из нас двоих, то белыми перьями можно было буквально поперхнуться.

От этого зрелища нельзя было оторваться, невзирая на мое, прямо скажем, кромешное положение. Словно я попал в мастерскую самонадеянного ваятеля, пытавшегося снять посмертную маску вчерашнего дня, но получилась лишь чехарда осколков затвердевшего гипса, в которых видится то высокая скула, то энергичный нос, то потекшая голубым глазница с надбровной дугой.

Не может так стать, чтобы я не смог передать этому человеку, сидящему напротив, слепленного из того же вещества, что и я, своего чувства. И я видел, как и он искоса бросает взгляды туда же, куда и я.

Мне надо было установить с ним хоть какой-то контакт, начать «говорить», нет, не вслух, мы обменялись лишь несколькими кратчайшими фразами и замечаниями за несколько суток. Да и ни одной завершенной фразы, по существу, сказано им не было. Но вот вопросы я все-таки стал ему задавать. Сначала очень простые, примитивные.

Из всех его запахов мне остались самые примиренные. Вдруг непонятно откуда взявшаяся компостная яма в нашем старом саду, головокружительно благоухающая старую гнилью повядшего огромного букета, о котором начисто забыли. Или голубая осыпь искр из захлебнувшегося новомодного электромотора, вдруг ставшего качать не воду из глубокого старого колодца, а донный осадок.

Я сам себя при этих галлюцинациях печально вопрошал: «Что?» Спрашивал с расстановкой еще и еще. Ответа от моего стража я не полу-

чал, естественно, никакого. И так множество раз. Мне становилось печально. Пока не случилось следующее: поезд стал со скрежетом притормаживать, мимо окон побежали клочья пара, как театральные приведения в белом, посыпалось сияющее конфетти не догоревшего в топке штыба – паровоз от нашего вагона был совсем близко. Я это понял сразу, когда смазчики, как черти, тыкали в подбрюшье нашего вагона горящими факелами и что-то орали машинисту, который спокойно, как аристократ с высокого балкона, отвечал им.

Так вот, продолжая вопрошать моего стража, я вдруг понял, что делаю это не один, сам по себе, а мне помогает и движущийся поезд, создавая своими механическими усилиями некую психическую линзу, в гигантский фокус которой было помещено и мое вопрошение. Он будто бы на своем языке произносил примерно такое же слово, и мне хотелось выглянуть в окно, узнать, что происходит. Сам мой безответный вопрос висел в воздухе, как клоч ватного пара, не растворившегося еще в воздухе какого-то чистого поля, где приостанавливался наш состав.

ГЛАГОЛ И СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

И вот произошло чудо – иначе я это объяснить не могу. У меня возникло чувство, будто я приближался, подъезжал к моему визави, как к становичу на саях, по мягкому, только что выпавшему снегу – и он тоже взглядывал вопросительно на меня как-то исподлобья, будто с трудом различал меня за стеной снегопада, и я повторял вопрос, еще раз, еще, и вот он начинал ерзать, одергивать гимнастерку, будто хотел почесаться. Я был абсолютно уверен, что мой пока бессмысленный вопрос им услышан, как возникший внутри него самого, произнесенный его собственным голосом. Без какого бы то ни было моего участия. Поезд помог ему понять меня.

Когда дрызг делался нестерпимым, будто вагон сейчас сойдет с рельсов, я отчетливо говорил ему: «Нет!» Я повторял несколько раз это отрицание в такт с дрызгом, вдруг возникавшим в мировой акустике плотно завязанными узлами. Я тоже нанизывал в себе кольца мышечных усилий, насаживал их, как дикарские бусины на вервие, уплотнял свое дыхание, сгонял сужающиеся горячие круги в топку средостенья – и на мой третий или четвертый посыл он взглядывал на меня с осуждающим пониманием, будто я несмышлениш, приданный ему в воспитание, который выталкивает изо рта ломоть.

Почувствовав и этот ответный ход, вернее, вакансию для ответного хода, я начал старательно разучивать с ним азы этого простого языка, который он знал и сам, но я так боялся вспугнуть его. Главное, чтобы мои усилия были поддержаны железнодорожным оркестром лязгов, бряцаний, скрипов, скрежетов, шипений, свистков и рева. Он ведь не должен был понимать, что это я нечто такое навязываю ему.

Дело дальше одного слова в один слог не шло, но и здесь был изрядный простор, ведь русский язык ими буквально испещрен, из одних только глаголов можно связать ремень и опоясать земной шар по экватору.

Дай, ешь, спи, жди, жми, зри, три, рви, мни, бди, будь, мри, смей, льни, пли, стой, тронь! И до бесконечности.

Можно изощренно повелевать целой дикой дивизией, не произнося ничего более сложного.

Я говорил ему вместе с истошным свистом паровозного пара: «Дай» – и мог поклясться, что видел, именно видел, как по руке его от плечевого сустава к запястью скользил под рукавом гимнастерки электрический браслет усилия, и он его с удивлением сдержал.

Оказалось совершенно не трудно обучить его откликаться на глагол «пить». Я ворковал про себя на стыках раскоряченных стрелок сизарем, увидевшим прекрасную лужу. «Пиить, пиить». И он выходил и быстро возвращался с кружкой нехорошей воды. Я не мог поверить, но это была уже серьезная победа.

Шутки ради я раздельно произнес про себя «туалет», когда вагон накренился и колесные пары засвистели, задевая по живому зубные нервы. «Туалет» твердил я, но совершенно безрезультатно. Старательно подбирая железнодорожные клавиры к словам «сортир», «клозет», но и это не возымело никакого действия, он неподвижно сероглазо смотрел на меня, будто оглох. На слово «толчок» он, как показалось мне, все-таки ерзнул по полке, но это пришлось списать на грубый тычок рельсового ухаба.

Я, впрочем, думал, что могу и обольщаться своими медиумическими способностями. Просто череда чувствительных совпадений. Но повелительный глагол «сри», удесятеренный скрежетом тормозов, вдавивших его в стенку купе, хлестнул по нему, как жгучий арапник, попавший в промежность, – что-то случилось с его перистальтикой, я внятно услышал это, увидел, как он положил ладонь на живот, и через полминуты его буквально взорвало, могу поклясться, это было именно так, – он стал вжиматься в полку, словно ребенок, стесняющийся попроситься по-большому, чудилось, что он уже прибавляет в весе, он не мог не испортить воздух, почуял это сам, покраснел волной, поднялся и вышел в туалет, конечно, заперев за собой дверь купе.

Вот так мало-помалу мне стало казаться, что я владею его речью.

Но на другой день случилось непредвиденное.

С увлечением я продолжил учить его слову «спи». Я обдумывал, в каком ансамбле оно окажется максимально органичным. При легком свисте разгона? При качении с возвышенности? Просто при тупом качании? Но сегодня был день исключительного громыханья, бросанья из стороны в сторону. Казалось, вдруг поезд разогнался и тормозил не по сплошным рельсам, а по пунктиру, словно эпилептик, уже вошедший в пике припадка. Наш состав должен сойти в конце концов с рельсов.

Мимо окна со страшным громом проходил встречный порожняк, его качало из стороны в сторону, как пьяного, казалось, что составу нет конца. И я отчетливо разобрал в кавардаке пустого железа внятно слово, сказанное моим учеником, которое я стал повторять внутри себя радостно и тысячекратно:

– Грохот! Грохот! Грохот!

Меня буквально обожгло.

И он утвердительно и как-то горестно кивнул самому себе.

И он в следующий миг, наставив в мою грудь, где левый сосок, плотно сжатый кулак с оттопыренным указательным перстом, как пистолет, будто решил сыграть со мной мальчишескую игру. Он прикоснулся ко мне.

Встречный пошел.

В мгновение все стихло.
Из-за его стрелкового жеста я понял, что ослышался.
Не существительное «грохот», а глагол «грохнут».
Значит, меня грохнут!

.....

Мне уже было понятно из пустопорожних разговоров со следователями, что меня приняли за кого-то другого, и они не знают теперь, куда же меня беспаспортного пристроить, какую изобрести мне категорию, народность, воинское прошлое.

Я должен был бежать, от этой мысли мне уже было не отделаться. Чего мне было тут в этом поезде ожидать – ведь вариантов не было – все предстояло смутным и все более устрашающим. Куда меня везут, зачем – можно было только догадываться.

И я начинал видеть себя со стороны. Сначала смутно. А потом, будто фокус оказывался наведен до точной оптической слезы, увидел, как кто-то сходит с подножки, нет, спрыгивает опроретью на землю, не так! про-скальзывает ужом под соседним составом в тот миг, когда поезд только-только начал двигаться, потом еще под одним, еще, а там и станция, и при-вокзальная толкучка прекрасных, равнодушных к своему племени обор-ванцев.

И больше я ничего не увидел – просто начиналась жизнь с чистого небольшого листа. Я могу сам исписать его согласно собственной воле, а это самое главное.

ОЧЕНЬ БЫСТРЫЙ ОТЧЕТ

Мне остается только предьявить отчет.

Еще раз сверить хронометраж моего стремительного броска, начисто лишенного внутреннего времени. У него ведь было лишь начало и конец, остальное – глубокая безмерная пауза, такой апофеоз напряжения, к которому на самом деле я сосредоточенно готовился.

А все произошло очень просто.

Потом много раз я представлял еще и еще подробности своего исхода. С каждым разом подробности делались отвлеченными, принадлежащими миру грез и изощрений, то есть фантазии, не имеющей ничего общего с паскудной униженной памятью. Если бы я писал учебник побега, то этот случай (в моем изложении) вошел бы в анналы.

В каком-то городе, куда наш поезд едва доскребся, каким-то резким страшным окриком моего стража потребовали явиться без промедления. Перенестись по воздуху. Он буквально взвился испуганной птицей, и пока озирался в проходе, я выскользнул следом. Мне не пришлось его даже отталкивать. Прямо к двери ближнего тамбура, где сходятся через разнокалиберные манжеты соседние вагоны, и какой-то прорехи в этой дефектной муфте мне хватило, чтобы проскользнуть вниз, на самые пути, меж металлических лапами, таким узким волшебным червем, оставив сияющие лоскуты своего страха, которые мгновенно испарились. Я не оставлял следов, да и сердце мое провалилось столь глубоко, что услышать, как оно колотится, было нельзя, и я вступил в какую-то небывалую тишину.

Черным столбом передо мной вырос мужик-обходчик, колотивший по колесам молотком. В черной замасленной робе он напоминал черта и нисколько не удивился мне.

По щебенке насыпи я метнулся расчетливым земноводным. Не в сторону каких-то ближних лабазов – поезд был на крайних путях, и вся похабная железнодорожная жизнь простиралась низкой ширмой передо мной, а в сторону, переборов инстинкт, заполненную составами, проскользнул ужом под парой нефтеналивных, тихо идущих в разные стороны, замедливших на станции ход, еще под одним, видимо, очень тяжелым, натужно дрожащим.

Мгновенно оценивая скорость качения, я смог скользнуть сразу за колесную тележку в самом начале гулкой цистерны, чтобы попасть между

двумя дальними парами колес, а не под ближними соседних вагонов, с цистерны сочилась такая же чернота, но это роли не играло никакой. Я повторил эту операцию несколько раз, и только бы имбецил не выкрутился из этой скаутской ситуации с блеском.

Меня спасали движущиеся колосники этого прекрасного театра. Что это за город, что будет со мной через полчаса, меня не волновало.

Я виделся себе с птичьей высоты ныряющей под грохочущие линейки составов механической игрушкой на невидимом шесте Божьего промысла. К счастью, перронов между путями не было, и мои следы – помимо обстоятельств и быстроты моего побега – заметало общее неблагополучие, кавардак и разруха жизни, куда я дерзновенно вступал.

Метнувшись в который раз в сторону, я припал к подножке пассажирского поезда и дернул ручку двери – она поддалась легко. В противоположную распахнутую дверь была видна приличная публика провожающих, мне оставался только вагон, который был счастливо пуст...

Мне казалось, что многие ширмы движения, которые я миновал не раздавленным, меня и поглотили.

Но из другой двери тамбура мне уже было не выйти, так как за ней еще торжественно катился заполненный публикой, военными и милиционерами перрон и краснокирпичный фасад вокзала. Сделай я лишний шаг, сразу бы попался. Но в отчаянных положениях надо полагаться только на инстинкт, и я остался в вагоне, сдвинув за собой дверь какого-то купе. Поезд качнуло, дернуло, и он двинулся в какую-то сторону. Я мог бы поместиться на узкой полке, куда ставят багаж. Пыль, легкая копоть...

Никто за мной не послал отряды легионеров, стаи собак-ищеек. Их просто не было.

И я будто бы просто вышел – без документов – в кафе, а деньги забыл, как будто был в Валетте, вот-вот обогну руины театра, разбомбленного в холм обломков. Я вспомнил, как он казался мне настоящим обвалившимся Колизеем, погребенным под обломками опер, когда-то метавшихся под сводом прекрасного зала. И театральная аллюзия не показалось мне лишней.

ФЕЯ

– Вас кто-то видел еще?

Я отрицательно закрутил головой, будто мы договорились заранее, будто это – пароль.

Я вжался в угол купе, уставившись на ее ноги в гладких чулках, и почему-то боялся поднять глаза – легкий пестрый костюм, меня удивляет время года – и то, что я могу увидеть, почувствовать это и запомнить сначала на мгновение и потом – навсегда.

– Вас кто-то видел еще?

Меня спасла эта волшебная женщина. Она пахла чем-то теплым, домашним, уютным и торопливым, и этот запах своей суетой всегда умилял меня – теплый, мгновенно испаряющийся неколкий женский пот – я бы заметил его при любых обстоятельствах, даже если бы меня вели на казнь, я все равно его заметил бы. Он вибрировал в ноздрях быстро и как-то низко, совсем не по-мужски, с этой стороны тела, будто кто-то торопливо говорит, перебирая одни и те же простые смыслы – безопасно и глупо. Этот запах кажется всегда удаляющимся, будто уплывает в лодочке по теплой воде городского пруда. Низкий запах мира, прижимающийся к оболочке, границе, последнему рубежу живого, к коже, кажется, он никогда не станет кислым.

Она меняла своим запахом календарное счисление и могла еще безмерно много*.

Обездвиженность одолела меня – и то, что она судорожно искала в сумочке ключик от чемодана, пробежала вдруг рукой по череде пуговок, обшитых тканью (я никогда их не позабуду), – я сразу почувствовал в руках все швы ее чудного легкого платья. Я чувствовал себя многоруким, будто ак-

* Я потом множество раз возвращался к тому эпизоду своего чудесного спасения. Я думал, что, хоть все и происходило в центростремительном темпе, для осуществления этого будто бы понадобилось очень много нот. Чтобы разыграть эту короткую пьесу, нужен был огромный оркестр с приданным многоярусным хором – взрослым и детским. Чтобы в неистовом порыве развернулось все сразу. Будто времени у всех музыкантов еще очень много. Множество раз отрепетировать такт за тактом и переворачивать листы партитуры.

Все зазвучало, когда я смог вздохнуть полной грудью. Будто я пьянел прекрасным вином и был уверен, что хмель через мгновение пройдет без следа.

Я понял потом, что это была опера, и чтобы вызвать ее к жизни, понадобились усилия цивилизаций.

робат, которому на короткий людской счет надо сделать так много, тем более что у меня не было никакой, даже самой ветхой страховки. Платье-платье-платье, ткани, отрезки тканей, запах уплощенного саше в крепдешиновом мешочке, я зарывался в сборки и жевал швы, как щенок.

– Почему нитки горькие на вкус? – я спросил ее.

– Я не знаю*.

Едва задвинув за собой дверь, открыв запор на чемодане, она сразу дала мне одежду. Так не бывает, но это произошло, именно так произошло. Я понял, что мне предстоит еще испытать множество невероятных совпадений, но я уже не буду им удивляться.

То, как она это сделала, навсегда оставило у меня впечатление, что она к этому готовилась загодя, она почти угадала размер моей одежды, и она не спускала с меня глаз, когда я переодевался, и она не побрезговала моим тряпьем, скручивая и комкая его в свой чемодан...

Одна особенность времени, огромного волнения, которое одолевало меня, которое означивало конец, – все делалось видимым, будто я только что обошел и исползал пространство, где находился лишь пару мгновений. И еще – все стекленело, будто я переживал детский ужас перед непоправимым, но таким, будто оно, это происшествие, уже минуло меня, – и вот я благополучно жив – со своим захлебнувшимся сердцем, одеревенелыми членами, мешком легких, которые почувствовал всей телесной изнанкой.

Мне всегда казалось, что в таких случаях с самого глубокого детства я говорил себе:

«Так не умирают, так не умирают».

«Тебе везет, тебе везет, так не умирают».

Я стоял раздетый в одном купе с ней, я путано одевался, беря из ее рук предметы одежды.

Моя внутренняя речь будто бы ожила ее фразой, я будто бы сказал ее сам себе:

– Как вы похожи, но у вас нет ничего общего, кроме этого, – она указала на мой член, она провела там рукой, – вот так же... не то шерсть, не то пух...

Она еще сказала одну фразу, засевшую во мне навсегда, может быть, я сам ее сказал, но это неважно:

– Он исчез. И страсть стала...

Она не знала, как продолжить, замялась:

– Безмерной... Вам лучше тихо спрыгнуть, мы совсем недалеко отъехали. – Она продолжила, ею владел сумбур: – Вот – осталось от него. Вам

* Я сразу понял про нее главное – она была фейерверком теплых запахов, которые проскользили сквозь меня навошненным шнурком с грузилом, равным моей смерти. Можно ли смотреть на запах издали? Герань и ее пыльная сладость. Теплая тошнота сиреней, близко поднесенных к лицу. Роза безуханная, как горизонт ветреного дня, который не приблизить, так как завтрашний ветер не пахнет ничем. Горошины мимозы пылят прямо в очи желтым едким сиянием.

не нужен, попадетесь. А как его забрали, он пожелтел, как обгорел. Только теперь стекло резать!

И она с силой чиркнула по стеклу вагонного окна, оставляя косую дерзкую бороздку.

Будто от этого вагон качнуло так, что все должно было покатиться по откосу, как в школе на большой перемене, когда старшеклассники в реакции толкали малышню, и я летел от стены к стене, задевая кули других тел... Я не успел натянуть штаны и застегнуть пяток пуговиц.

– Вы фея Сирени?

– Нет, я теперь фея Карабос. Я теперь только ненавижу. Это такое низкое чувство. Господи, ну как вы на него похожи.

Я так и не узнал, на кого – мужа, любовника, отца, сына.

«Слишком много мелочей, слишком много мелочей...» – кто-то бормотал во мне.

От этого эпизода во мне останутся слова газетного отчета, как в разделе «Хроника и происшествия».

Мне показалось, что вблизи нее я попал в неизменность, будто она вырастила вокруг меня защитный кокон, который никто не смог бы прорвать. Эта сцена должна была длиться столь долго, что я успел бы снять оттиски с веселых вагонных деталек, которыми удерживают полки, открывают окна, тушат свет и замыкают замок, – я, как узник, узнал бы их запах, вкус, цвет и величину.

– Отстань, у тебя что, дел нет больше?! – Она блистательно перелетела в другой регистр – как птица на высокую ветку – проводнику.

– Мне с вами нельзя, тогда и вас убьют, – наконец-то сказала она мне. – Как от вас пахнет, наверное, от него так же должно пахнуть теперь. Простите.

Она дала мне яблоко:

– Натe, нате...

ОДЕЖДА НЕ ПО РОСТУ

Трудно восстановить это в памяти, так как все шло по глиссаде, сейчас будет земля, удар о почву.

Апофеоз бесчувствия, будто я уже помертвел и не могу сдвинуться с места, и все делалось непомерным.

Я спрашивал – есть ли во мне желание жить, но я не знал, что это такое, – интеллектуальный вопрос оставался без ответа – значит, не было.

А что было?

Страсть и ужас.

И ничего иного – торопливость наоборот.

Судорожность и недоумение – будто за дверью купе уже топтались охотничьи черти, свита короля Марка в опере, и Тристан скоро умрет, вроде не переживет этого последнего обольщения страхом и ожиданием собственной смерти.

Я не думал, что можно так бояться.

Какой-то плюшевый кролик, мыши, укусы мушки, комариные личинки, люди рифмовались во мне. Ведь прибудут ни за грош! Просто так, если попадусь. Страх, страх и ничего личного. А вот пуговицы, пожалуй, сейчас мне не застегнуть!

– Я застегну, не волнуйтесь так, время на пуговицы есть, хоть и мало... – она быстро застегнула мне все пуговицы на простой рубашке.

А вот воротник она позабыла.

Сейчас скажет: «Вот, одела мужчину».

Она сказала именно эти слова и подула вверх, отбрасывая челку, задев фонтанчиком воздуха и меня, – и в нем не было ни усталости, ни страха.

На одно мгновение я увидел всю свою жизнь, как с горы, и все такое*.

* Я потом пытался не однажды припомнить мою фею, будто должен был отправиться на опознание, но признаюсь: навести на ее исчезающее лицо мой внутренний фокус мне ни разу не удавалось. Лежа ночью в постели, вполне мирной постели, я звал себе в помощь перестук колесных пар на рельсовых стыках, запах вагонной пыли, однообразие ландшафта за окном. Но ее изображения получались каждый раз как в кино – никакими. Ведь чтобы понастоящему вспомнить черты артистки, ее надо снова увидеть, буквально упереться взором в ее лицо. И может, из-за того что она была как-то обобщенно смазлива, напугана и исполнена какой-то своей высокой миссии, а я – растрепанный, пропадающий, рассыпающийся на ее глазах, – ну как мне снова попасть в кадр ее жизни... Я смотрел на нее, не узнавая, и она была забываема, – и я будто ловил на ней быстрый ответ последнего зеркала, в которое она взглянула перед выходом. Это зеркало и погубило мою память, сталкивая меня все время в

– Сейчас будет переезд, это самое лучшее место, идите от путей все время вниз, город там, может, вам кто-то поможет еще. Быстрее, быстрее. И адрес запомните – Крапивная, девять, можно войти с улицы, сразу поднимитесь на второй этаж. Ошибиться нельзя. Он по вашей части, он дружил с ним.

С ним – это с мужем или просто с ним.

Время уплотнилось до кубика рафинада, и я держал его в руках – сладость начала липнуть к пальцам.

Все до того момента, как я спрыгнул на насыпь, я видел спиной, но лучше, чем глазами:

вагонный проход с приспущенными окнами,
несколько дверей в купе, которые двигались сами собой, будто их прикрывали прозрачные люди,
поднятые лавки в открытых купе,
даже сортирный вагонный дух, перемешанный с углем, я почуял всей своей спиной.

В распахнутой двери тамбура смещалась и кренилась какая-то далекая городская ерунда. Домишки, столбы, домики, дома, заборы, пустоши, корпуса нелепых заводов.

Передо мной раскрывалось белое, сияющее, невзирая на календарный час, время, оно вспыхнуло мне навстречу холодным невидимым жаром. Будто я вошел в символистскую картину. В спину мне смотрел проводник, которому были дадены какие-то деньги, а может, вещь, от которой он не смог отказаться... Часы?

Мне потом часто казалось, что в этой стране часы нужны были всем и их ни у кого не было.

Мне еще встретятся солнечные часы разных пород – на цветочных клумбах, на фасадах домов, в маленьких двориках, устроенные шутниками, я даже обдумывал конструкцию наручных.

Поезд уползал так медленно, что из него спокойно могла бы сойти компания лилипутов...

Над городом, мусорным прибоем подступающим к дуге железной дороги, простиралось великолепное азиатское небо, смытое с выцветшей миниатюры.

К небесному горизонту была приколота обольстительная луна на слюдяном ущербе.

Я понял, что и скудость этой жизни способна сиять – нищетой, несчастьями, неустроенностью, всем, что простиралось передо мной.

Я не думал, как проведу ближайший час, ведь ценность каждого мига, обрушившегося на меня, была непомерна, и они, эти разорванные мгнове-

сторону мимолетной иллюзии. Ну цвет помады... Яркий, но какой из миллиона оттенков красного? Но если бы мне показали ее портрет, сделанный самым бездарным рисовальщиком, который разглядывал ее, сидящую перед ним в течение какого-то времени, я бы признал ее мгновенно среди тысяч прочих.

ня, вспыхивая, не образовывали времени, будто я его оставил, и оно не имело ко мне отношения.

Я увидел себя с такой высоты, что любое изменение координат в этом нечеловеческом масштабе было неуловимо.

Еще я знал, что обостренная интуиция спасала многих. В толпе, в новом городе, за квартал перед патрулем. Будто наперед известно, куда надо сворачивать и каким темпом шагать. Будто то, что со мной будет, – я уже помню, но по-особенному, связками разрозненных фрагментов, вышелушивая ненужное. Случай, он спасет.

Вот и огромная река вспыхивает в просветах старых улиц. Город не бомбили, он ветшал сам собою...

Втоптанная колеями глина железнодорожных проулков, завесы пыли, будто развешенные кем-то на просушку в полном безветрии, самодвижущиеся отряды лузги и окурков, сочащийся неумемный дух скисшего сена с навозом, чехарда насекомых, вдруг прозрачной сферой осенивших меня. Крен этого ландшафта, кажется, оставленного людьми, почувствовать было невозможно, будто во мне не работал гироскоп первый раз в жизни.

Косые заборы, вырванные калитки, яблони, перекинувшиеся за оградой, убогие дичающие цветы в заросших палисадах.

Застывшая соляная баба в цветном халате плещет на обочину стеклянную дугу помоев.

Пацаненок подсказывает верхом на палочке, на палочке верхом подсказывает, пацаненок какой-то...

Мне было необходимо миновать бесчеловечные пути уклада, не сделав лишних движений, не разглядывая ни детей, ни животных.

Уравнение с десятью неизвестными веществами, десятым был я, и мне стало ясно, что оно неразрешимо.

День открывался сияющим бессмысленным сгустком, не имеющим ни темпа, ни протяжения. Он был умерщвлен и втоптан в почву армией великанов, прокатившихся валом через эти места.

Ужас обуял меня, потому что я вдруг ощутил смерть! Не свою, не свою, а почувял, что она – есть.

Но все равно от невероятной свободы можно было задохнуться, заболеть чесоткой, не сделать и вдоха. Мир оборачивался ко мне изнанкой, и на меня шла стеной тыльная сторона запаха. Новый дух этого мира зудел широким аккордом какофонической пьесы – от горизонта и до горизонта.

Вот новая жизнь – плавкая, разогретая, безнадежно большая и неравнодушная. В нее было не попасть, как десне в искусственную челюсть, которая будет изготовлена только через десятилетия. Все не оплодотворено, и протоплазма может только распухать – вне координат.

Я стал животным, и моя жизнь была нужна только мне! Я будто выпустил из себя внутреннего пса, став им! Он бежал быстро впереди, о, он оглядывался. Будто я только что народился на свет – склизкий, безводный, еще

не принявший форму, какой-то безвременный, легкий и очень смертный. Может быть, я просто не заметил своей смерти и был сметен в этот неправдоподобный мир, где каждая вещь вопияла, что она пережила всех... И со всем этим играют какие-то дети, которые никого не признают за живых.

Сквозь слезный обод, заволакивающий зрение, мне был виден мой поспевающий ход по каким-то безымянным загаженным проулкам, превращающимся в ветхие улицы. Мне несколько раз встречались колодцы с косыми журавлями, телеграфные столбы без проводов, вокруг которых паслись на привязи козы, иногда я спотыкался о понурых собак, лежащих в пыли посреди улицы, еще я увидел курицу, помеченную зеленкой, бежавшую со всех ног, будто должна была принести кому-то благую весть...

Не надо задаваться вопросом – смогу ли я запомнить слова редких вывесок, чтобы вернуться снова к поездкам, как Мальчик-с-пальчик домой по еще не склеванным крошкам.

Я быстро шел по чужому городу, просто стекал, как дождевая вода по старому руслу. Шел не торопясь, но жутко спешил – и зрение скакало передо мной на гигантских шагах*.

Около кустарников егозили верткие перепачканные дети, крича: «Ты убит, ты убит», – целились указательными пальцами друг в дружку, жутко вскрикивая: «Пах! пах!». Они обращали на меня внимание, беззастенчиво прицеливались: «Пьяный идет! А Маричев пьяный, пьяный, пьяный. Ты убит!». Я стал пьяным убитым Маричевым. Я отворачивался от них – только бы не побежали следом, как собачки.

Это было как в волшебном кино, где все происходило не со мной, где сновали неправдоподобные люди, и можно было отвернуться и рассеянно никуда не смотреть, но вдруг время пошло вспять, все лишилось театральности и прильнуло без зазора – глухие удары, кровь, насилие – я понял, что сейчас стану реальным свидетелем и буду отвечать за то, что увидел. И я спешил и не смел бежать.

С этим миром контактировал не я, а мои инстинктивные реакции; не я его чувствовал, а он теснил и задевал меня, как одежда не по размеру, скользящая или делающая движения звериными, насекомыми, птичьими. И если бы босой ногой я прыгнул на битое стекло, то не заметил бы его не из-за того, что был в аффекте, а потому, что не задел – как моллюск, окруженный магматической мантией.

Мне стало ясно, как перестают быть людьми только оттого, что очень хотят жить. Осколки под ногами на косых проулках, не знавших асфальта,

* Еще все полно поступками, частью которых я только что был. Еще все крутилось вокруг жестов, из которых сложилась перемена моей жизни, – кадры куцего кино трещали и дергались, будто в аппаратной моей головы порвалась и съезжала пьяными бухтами пленка. Еще – мир, надвигающийся с дикой силой на меня, был обездвижен, состоял из понурых сумм не связанных картин. Загадку его жизни я решить не мог. Я видел все, как суфлер, и, о ужас, – был виден всеми со всех сторон. У меня не было тыла.

вонючие выемки канав, сухой въевшийся дух выгребных ям, кучи металлолома, лужи сизой небесной слизи – я перелетал их, не прикасаясь.

Запах наэлектризованного мира – озон, словно перед грозой, которой ничего не предвещало, кроме того, что вокруг меня все кончилось, иссякло и перестало, поэтому должно было в конце концов пролиться.

Единственное место в своем теле, которое я по-настоящему чувал, были мои ядра, тяжелеющие в тряпичной мошонке. «Яйца, яйца», – бубнил я, будто пытался снова зазвать их в сокровенную глубину моего тела.

«Ужас – яйца Бога», – все пошло из этого места. Мне казалось, что я должен прикрыться, будто стал голым среди толпы.

Проулок неожиданным поворотом вырвался на настоящую городскую улицу – тротуар, проехал легковой автомобиль, поспешают опрятные люди под аркадой разросшихся деревьев, есть обшарпанные магазины, смотрящие на улицу полупустыми витринами. В них издевательски выставлены ненужные, какие-то неказистые одичавшие вещи, батарея ведер, кружки, корыта, в другом – конская упряжь, кусок толстого войлока и гигантский фартук, в третьем – резиновые галоши и боты, и в книжном – политические тома, сложенные дурной стеной, и чей-то белый бюст рядом, словно некрополь. Никчемные предметы пытались смотреть на меня, как я на них, – по-горгоньи, будто могли меня окаменить.

Улица переходит в бульвар с аллеей посередине, а вот и густой сквер и схваченные оградой пыльные деревья и фанерный щит со словом «Танцы». Я чуть не осенил себя крестным знамением, отчетливо поняв, куда мне надо идти. Засунул руки в карманы, передернул плечами, распрямил хребет, вскинул подбородок и пошел себе на танцы, встречая таких же сосредоточенно поспешающих; на меня не смотрели или взглядывали как на возможного кавалера, и я угомонился.

Две нарядные девы с азартом обогнали меня, игриво поспешая и хоча, они весело присматривались ко мне, оборачиваясь и дурачась, они передразнивали мою напряженную походку, прыскали со смеха, будто сняли меня тайным фотоаппаратом и предвкушают, как покажут мою клоунскую фотографию другим своим подружкам. Они вдруг сорвались, будто досчитали до какого-то числа три-четыре и побежали на прямых ногах, как ожившие циркули, выпрыгнувшие из распахнутой готовальни. Это была такая приготовленная реприза, они одеревенело переваливались такими штативами, держась за руки, будто пытались что-то вытряхнуть из себя, против воли зачавшие. Они трясли прическами, и у одной вся укладка вдруг просыпалась волной и растрепалась.

ОЧЕРК УНИЖЕНИЙ

Мне не высказать, ценой каких унижений, глубиной какого падения мне пришлось заплатить за свою жизнь, за то, что полоса принуждений осталась в прошлом...

У меня был ключ из нескольких слов, которым я смог открыть человеческое сердце. Ведь я сказал тогда этому человеку всего-то ничего, всего лишь: «Я пропадаю». И, спасая меня, он ходил по лезвию, и что с ним стало, я не знаю и не узнаю никогда. Но слово «никогда» для меня давно лишилось трагического смысла, так как я видел его зримое воплощение очень часто, и зрелище давно загромоздило все прочие смыслы, которые можно было бы в нормальной человеческой жизни услышать не только слухом, но и всем сердцем, ценой унижений и трат...

Вход на танцплощадку был платным, и я нашел неподалеку скамейку. И вот в чахлах прозрачных посадках, на побитую, покалеченную скамейку подсел какой-то подтянутый мужчина, как-то искоса на меня взглядывая, и не очень-то отводил свой темный тяжелый взор, когда он перекрещивался с моим.

Он чуть двигал губами, будто в нем звучала музыка и он собирался запеть, и действительно – я уловил несколько коротких музыкальных фраз, но понять, чему они принадлежали, было нельзя – то ли дурному куплету, то ли грезе Тристана.

Я прекрасно понимал, что вот-вот что-то между нами произойдет, будто уже ловил искры, и он действительно сделал в мою сторону какой-то летящий жест, будто поймал тумблер и легко повернул его, вроде: «была не была». И он пропел целую фразу почти полным голосом, но за сжатыми усмехающимися губами. Я различил внутри этого вокализа: «Я люблю вас, Ольга», – будто из скользкого конверта выпала черная грампластинка, и я подхватил ее буквально в сантиметре от заброшенной окурками почвы.

– Чайковский, – выпалил я.

– Петр Ильич Чайковский, – согласился и он.

– Думаю, вас иначе зовут.

Коротко стриженная шевелюра, о которой скоро скажут: «соль с перцем», чисто выбрит, одет весьма опрятно, светлая тенниска в тонкую полосу и светлые брюки, целая обувь, ногти чистые, руки не работаги – я перебирал про себя детали его облика, пытаюсь разгадать. Сидя ко мне в профиль, он казался подозрительно молодежавым, может быть, из-за короткого боксерского носа.

– У вас пиджак наперекосяк застегнут, будто вы уже полдня пьяный. И рубашка без воротника. Извините, но не- хорошо-с.

Эти слова не звучали замечанием, а пристегнутое «с» все и решило.

Было несомненно, что это происходит именно со мною, но достоверность была какой-то целлулоидной, будто все можно изменить, если посмотреть в другую сторону, скосить глаза.

Отчего-то вспомнились разные перемещаемые лица, с которыми я коротал несколько дней на корабле, пока не попал в Триест. Вот мне бы их идиотической веры, которая может воспламенять все без помощи огня.

Совсем близко уже гомонили люди, они будто разминали мышцы и шаркали подметками неношенной обуви, на площадке, окруженной высоким забором, затевались танцы, и воздух начинал потеть сам по себе. От невидимого напряженья закрутился фальшивой юлой неприличный оркестрик. И от стены черемух со сквозняком на меня запарусил кислый дух солдатского белья, будто сто изнуренных воинов расстегнули пропотевшие штаны, и совсем близкий плеск струи и звонкий плевков о почву в завершение подтверждал, что я не грежу...

– Отсюда лучше уйти. Здесь знакомятся вообще-то мужчины и на очень краткий срок. Быстро знакомятся. Понимаете меня? Вы меня понимает? Хорошо. Так, значит, знакомство состоялось. Вот и не говорите, что нет. А пойдемте-ка отсель домой ко мне. На смертоубивца вы не похожи. Уже смеркается, ваш вычурный вид никого не скандализирует.

По быстрой улице, вдруг ее звонко пересек трамвай, раскачивая колею, мы спускались к его дому, именно спускались, ибо идти надо было под уклон.

Пошел разогретый к вечеру дождь, который так долго собирался, – длинные капли лениво буравили пыль, плоско ударяли мне в макушку, как гвозди, шляпками вниз. Это было выразительно и чрезмерно.

Мы встали под густую крону каштана. Скрестив пальцы, средний и указательный, будто готовился осенить себя каким-то богопротивным образом, я провел с нажимом от его щеки к подбородку. Он попятился и стянул мое касание.

– Э, так нельзя. Это буду совсем не я, а маска.

– Я пропадаю...

– Уже нет.

Глава третья

В. А.

ОЧНУЛСЯ

Я очнулся: две смежные комнаты, корабельные широченные половицы с покрашенными яркой охрой вытоптантыми следами, будто ходили сотни лет к исчезнувшему алтарю. Пестрый ковер во всю главную комнату, стоптанный по другому ритму. Первое, что бросалось в глаза, невзирая на аккуратность и уют: все пространство пронизано общей жизнью! Оно пронизуемо. Хозяин приложил палец к губам. Но я увидел то, что производит звуки: пианино и патефон очень хороший. В бамбуковой этажерке альбомные тома пластинок «Страстей по Матфею» – «Итог многоходовой мены, не я привез. Из какого-то Влтавского замка».

В этом доме даже от растений должен восходить мужской тесный запах, такая утрамбованная неосязаемая пыль, тянуть духом тщательно вымытых полов, тонкий сквозняк тянет щелоком, далеко-далеко кто-то затевает стирку.

Я все смотрел в слегка прорванную тарелку радио – будто в нее кинули чем-то очень острым. Такая точка на стене. Хозяин вставил вилку, свищающую из него, в радиорозетку. Комнату хрипло залил баритон с середины фразы:

«...счастье, радости, на штурм природы, чтобы она была еще более покорной слугой человека, поведет трудящихся партия на быстрейшее строительства коммунизма...»

Меня словно обожгло.

Хозяин нагрел воды, поставил таз на пол. «Вы можете не стесняться меня, я стародавний медицинский кадр, в каком-то смысле врач, все в прыжке, молодой беглый человек, меня учили ассистенты Пирогова, благороднейшие люди». «А откуда вы взяли, что я могу вас устыдиться? Можете мне спину потереть?» «Могу, – и не только спину, лишь возьму холстину». «Да, вы правы, так брызг будет поменьше». Ну и все такое.

Я понял, что невозможно трезво описать, как шумят доминошники и лоточницы, они этажом пониже, во дворе, под самыми окнами, они собрались послушать звуки проливаемой на меня воды. Будто порыв ветра быстро перелистал на моих глазах какой-то неясный словарь их жизни. Показав транскрипции на миг, за который ничего нельзя запомнить. Как соблазн. То, о чем говорят, но не показывают. И я вспомнил сцену из моего далекого детства, как хоронили нашего старенького епископа, и глухо бухтел ко-

локол, и на бедном, светлом дощатом ящике гроба, вынесенном за ворота собора, лежало распахнутое Евангелие, и его вдруг мгновенно стал листать, не читая, невесть откуда взявшийся ветер, ведь все было известно наизусть.

Сквозняк приносил, как во дворе под ветхой липой в оконных светлых отсветах, где копошились мои с хозяином жилья тени, – лото и домино. Одно тихое и размеренное, другое со стуком и кряхтением, замиранием и сухими всплесками, толчками азарта. Смешиваясь, они друг другу не мешали.

Доминошники гулко ухают, в паузах аккомпанируя сухим дроботом по отзывчивой древесине. Лотошницы же внимательно тихи, будто подсматривают за пальцами, вынимающими из холщового мешочка бочонки с цифирью на торце. К концу кона начинают как-то чувственно возиться, будто пересаживаются, утомленно охать.

Мне показалось, что за то время, пока он орошал меня теплой водой, во мне сыгрались эти неазартные усталые партии.

30 июня

С вечера невысоко на юге в созвездии Весов виден Юпитер, заходящий к полуночи на юго-западе. Под утро в созвездии Тельца виден Марс, а в лучах утренней зари – Венера. Меркурий не виден.

Основные работы на огороде в июле:

В средней полосе СССР сеют репу и редьку для зимнего пользования (между 5 и 15 июля), проводят полку, рыхление посевов до смыкания междурядий, пасынкование томатов, подкормку, поливы. По мере созревания идет сбор урожая – редиса, гороха, ранней капусты, цветной капусты ранних сроков посадки, сбор огурцов, раннего картофеля. В июле прореживают на окончательные расстояния морковь, петрушку, свеклу, подготавливают помещения для зимнего хранения овощей.

Нельзя человека закупорить в ящик,
Жилище проветривай лучше и чаще.

Запомните —

Надо спать
В проветренной комнате.

В. Маяковский

УРОКИ ДИКЦИИ

Он пролистал книжку отрывного календаря, из которого он ничего не вырывал, а только перечеркивал прожитые дни. Он сосредоточился на одной страничке, как оказалось, совсем недавней дате:

– Вот, всю оставшуюся жизнь буду отмечать этот пресветлый праздник. Кто бы мог подумать! Сожжение на костре Яна Гуса, вождя чешского национально-освободительного движения. 1415 год, 6 июля, вечером. Это все-таки получше, чем девяностолетие Клары Цеткин, благочинно почившей в 1933-м. Интеллектуальная фаворитка моей супруги, между прочим, в каком-то смысле символ моих страданий. Как это она говаривала, здесь вот зафиксировано, не отвертись: «История разрешила теоретический спор о правоте русских рабочих и крестьян, взявших власть в свои руки». Благодаря чему вы мне и попались, друг разлюбезный.

Было непонятно, насколько он серьезен.

В. А. говорил мне, что я слишком грассирую, и это могу привлекать в своей персоне излишнее внимание.

– Но разве можно изъять «эр» из русской речи?

– Говорите как можно больше о еде – там, как ни странно, «эр» не много: семга, сельдь, лососина, заливное, масло, щи, пельмени, дичь, котлеты, птица, каша.

– А борщ?

– Это хохлацкие придумки, – возражал В. А.

– Шкварки!

Но потом успокаивал:

– Грассирование, впрочем, сойдет за картавость. Заикайтесь иногда, и тогда вас ждет удача!

Еще его замечание по этому же поводу:

– Грассируя, вы словно съедаете слово, будто вы очень хорошо владеете столовыми приборами, вы словно получаете удовольствие от его артикуляционного вкуса. Так теперь удовольствие не получают. Так что рисуйте ваши звуковые пейзажи без лессировок, не будьте книжным. Вы пока для этого молоды, иначе все увидят ваш неместный анамнез. Берегитесь.

Свои логопедические уроки он давал мне в роскошном по тем обстоятельствам жилище – две высокие комнаты с собственным парадным выходом на улицу – по крутой деревянной лестнице во весь дом в один крутой марш.

Высокая чистая лестница, хранящая всегда прохладу, чуть пахла черной смородиной, сухим ребристым листом, и запах поэтому тоже был такой же, глубоко запоминающийся, словно с мелкой зубчатой кромкой.

– А где у вас сушат черную смородину?

– Нет, друг любезный, это кошки у нас милуются, все что можно метят, – констатировал низкую истину быта В. А.

Часть анфилады на втором этаже добротного дома, вся цивилизационная начинка которого была бесследно порушена в самые ранние после-революционные годы.

– Октябрьский переворот!!! – негромко восклицал В. А., поднимая брови, – последовавший за сентябрьским... Ну кому помешала канализационная система?

К тому времени никакие проекции людской и зверской физиологии не вызывали во мне омерзения, так как видел и не такое. Я сказал об этом В. А., он не мог удержаться от брутального комментария:

– Я, знаете, милый племянник, давно ничем не брезгую – и в силу профессионального профиля своего, да и вообще. Вот тема натюрморта. В утреннем трамвае. Мутная осень, плакать хочется. Розовеет искусственная челюсть в луже блевоты, ну, как хороший завиток семги в лиловой сервировке. Называется «восьмое ноября», а чтобы вы сразу поняли – восьмое после седьмого следует.

Он помолчал, добавил нараспев:

– Ноябрья. Да, я говорю с вами на ненавистном языке.

Об осеннем и зимнем Ленинграде он сказал: размыв самых коротких стемневших дней – словно подмышка мраморной статуи, куда не проникает прямой свет. «Бог телархе там живет и тоскует»*.

За грациозным достоинством, за оттиснутой на светлой поверхности дня жестикуляцией, выправкой из старого времени проступало что-то не-

* Одним из пронзительных свойств его незаурядной природы было смешение в нем пристального цинизма и углубленной сумеречной лирики. Будто никогда нельзя было понять, насколько он серьезен. Я это осознал довольно скоро, когда обнаружил под радиоразеткой маленькую этикеточку, изготовленную, конечно, им собственноручно, вырезанную из газеты, календаря, агитационной брошюры. Вот эта, оттиснутая на желтой бумаге сухим злым шрифтом, была такова:

Радио по своему охвату, по своей массовости является, пожалуй, самым сильным средством пропаганды и агитации. (М. И. Калинин)

(Слово «пожалуй» подчеркнуто красным. Злым маковым курсивом еще было просыпано: всероссийский староста.)

Мне все время будут попадаться в этом доме похожие, только с другими афоризмами, в разных местах: на кухне, в коридоре, в комнатах. Будто это музей-заповедник прошлого быта, чье время давно истекло, но вот каким-то образом не прекратилось.

Под электрическим выключателем я приметил светлый прямоугольник.

Любовь к свету, выразившаяся в пословице «Ученье свет, неученье – тьма», составляет одно из лучших и благороднейших свойств русского народа. (В. Белинский)

ясное, но очень существенное – словно у него что-то такое еще имеется помимо известного всем; ну, скажем, невзрослеющая племянница бесшабашного поведения, за которую он почему-то отвечает вот уже столько лет. Светлоокая дева бесовского завода (но такая утлая и болезненная), Манон, вечно соблазняющая кавалера.

Это метафизическое родство с несуществующей особой насыщало его отсветами отчаяния – он и взглядывал на меня, как будто чиркал по боковине коробка самую последнюю в своей жизни спичку. Ну а уж если положит руку на плечо, тронет мою щеку кончиками пальцев, то точно заискрит последним электричеством.

Я его и позвал как-то:

– Господин Леско.

На что он ответил без толики удивления, впрочем, он так шутил, переходя из одного мира в другой, совершая абсурдные скачки:

– Он самый. Малоросской губернии помещик. Мелкоземельный. Мелькоземельный. – Короткие оборванные фразы он бросал на весы, как разновесы, будто хотел добиться, чтоб чаши не колебались.

Было легко представить его куафер с косицей, провитой шелковой темной лентой, на сухих голенастых ногах – чулки, башмаки с пряжками. Думаю, даже мушка на щеке повыше к скуле была бы для него вполне ничего себе. Ну там пудры, румяна. Жженая пробка.

Это все вдруг проступало в нем каким-то пунктиром, будто взблескивало, и иногда мгновенно представало жесткой линией – достаточно было ему посмотреть на меня из-за плеча, обиженно отвернуться, резко свернуть в трубочку газету для надоевших мух. Тогда становилось понятно, из какого мира он сюда попал.

Я любил смотреть на него снизу вверх, когда он как бы восставал над мной, на его тяжелый и сухой, как нос баркаса, подбородок, когда он заглядывался, стоя посредине комнаты, на свою прекрасную люстру, будто там, вверху, куда устремлено его зрение, сходятся неудержимые токи барокко.

Отчего это так волновало меня?

Будто я углядел луну на дневном небе, когда осела пыль от разрывов, стих грохот и развеялся пороховой дым. Как ни в чем не бывало. Значит, будет ночь.

Как он, в конце концов, выглядел? Его внешность будет затмеваться фразой, точнее, тем, как он ее говорил мне, умоляя, будто у последней черты:

– Я вас полюбил, так как вы сравнялись с моим ожиданием, – сказал мне В. А., – я только и ждал, чтобы меня умыкнули.

– Да ведь все наоборот.

– О, вам только кажется. Вы ведь себя не видели там, в парке, у той сучьей танцплощадки...

15 июля вторник

восх. 4.05

зах. 21.06

Луна

посл. четв. 11 июля

восх. 0.55

зах. 18.43

10 лет со дня открытия (1937) канала Москва – Волга.

1916 – Умер И. И. Мечников, великий русский ученый-биолог. Родился в 1845 г.

1410 – Победа русско-литовско-польского ополчения над немецкими рыцарями при Грюневальде.

Картинка «Шлюз № 3 на канале Москва – Волга» – маленький далекий утюжок пассажирского парохода собирается миновать разошедшиеся античные пропилеи, обозначающие створ шлюза. Крупная косая штриховка кучевой облачности омрачает праздник.

Оборот

Пенициллин

Для борьбы с микробами, вызывающими различные заболевания, существуют различные средства. Одним из этих средств является пенициллин. Он был открыт английским ученым Флемингом. Изучая свойства микробов, вызывающих нагноение, Флеминг помещал их в плоскую чашку со специальным питательным веществом, где они быстро размножаются. Во время опытов в чашке с микробами появилась плесень, которая также является микроорганизмом. Ученый заметил, что около плесени микробы прекращают свой рост. Проведя множество опытов, Флеминг убедился, что этот вид плесневого грибка выделяет вещество, уничтожающее некоторые виды микроорганизмов. Он назвал это вещество пенициллином от латинского названия плесневого грибка – пенициллиум.

В 1942 г. в СССР профессором Ермольевой был также найден плесневой грибок, выделяющий пенициллин. Пенициллин широко применялся во время Великой Отечественной войны. Его вводили раненым бойцам, и он оказывался надежным средством против заражения крови. Он дает также очень хорошие результаты при лечении целого ряда других болезней.

В настоящее время в СССР организовано производство пеницилина, и он широко применяется в медицине.

ИНТЕРЬЕР СПАСЕНИЯ

Вдруг мне стало казаться, что я перестал чувствовать время. Утреннее, дневное, вечернее... Оно лишилось ритма и предстало чем-то вроде бесконечного плато, чистой незамутненной условностью.

Из огромной потолочной розетки, сложенной мутными, многожды забеленными путти, свисала чудесная узкая люстра с синим призрачным пузырем внутри поблескивающей ограненной россыпи. Она не была оскорблена лампочками, и крупные кристаллы хрусталя розовели и синели изнутри, отражая дневной свет. В. А. говорил:

– Осьмнадцатое столетие! Середина прекрасного века. Строгий протестантский взгляд на идеологию освещения жилищ.

Он любил выражаться на высокопарном ущербном языке делопроизводства, находил в нем если не изысканность, то едкость и въедливость:

– Этот язык еще дождется своего поэта. Вы еще ослепнете от его канцелярского блеска! Скрепочки, дырокол, скобочки, протоколы и доносы!

Я отвечал:

– Лучше не надо.

– А что вы думаете, эти гигантские шаги, это камлание может продлиться вечно. Ууу-ух! Эээ-эх! И дальше в том же размере.

Он имел в виду стихи, которые иногда читал с выражением репродуктор или заносил сквозняк на непонятно откуда взявшихся листках отрывного календаря, на промасленных или мокрых клочьях газет, которыми что-то съестное оборачивали.

– Вот послушайте, какая лирика.

И В. А. тихонько проскандировал, возводя руки к потолку:

*Знаю я – потомкам легче будет,
Но во всех веках, что не настали,
С нами бы судьбой сменялись люди,
Чтобы жить, когда на свете – Сталин!*

– А ведь при всех смыслах и сюжетах это – метафизический бред, бессмысленная жажда смерти. Ведь нет зазора между тем, о чем они пишут, и тем, как они это делают. Язык стал равен самому себе, то есть умер уже внутри, ничего не претерпев.

Я вспоминал картину Карпаччо, где в светлую комнату с алтарем Блаженного Августина только что вошла лохматая, совсем легкая, как ма-

зок кисти, собачка – усевшись на линии солнечного луча, буквально прижав его, как узкую светозарную ткань. И свет, толкаясь с ангелической легкостью, должен вот-вот сойтись в светлые круги.

Это жилище в какой-то мере походило на заспиртованного зародыша прекрасного уединения, где можно ворошить точную память, подводить итоги, вычерчивать зигзаги проясненного пошлого.

Крупнолистная розетка на потолке, она обрамлена акантом, перемеживающимся с соцветьями подсолнуха и тонкими лозами хмеля. Мне почему-то бесконечно приятно, что я могу назвать этот орнамент словами, это так же чувственно, как и видеть эту чудную мирную декорацию. Пухлые маленькие путти ведут беспокойный хоровод, будто щенки ищут место, где бы им примоститься и справить малую нужду, которую никогда не должны испытывать. Мне иногда казалось, что я попал в это помещение на школьную экскурсию, и я не должен знать точные смыслы аллегорий, так как новый мифологический словарь составлю сам. В нем не будет символов силы, покорности, бессмертия и молодости.

Необходимо еще заметить и то, что в комнату залетали бабочки, вернее, пытались залететь, но, может быть, боялись комнатных сумерек и улетали по касательной, чертя пленительные легко постижимые зигзаги. Мне всегда казалось, что после их лёта в воздухе должна какое-то время мерцать их цветная пыльца, которую можно собрать подушечкой указательного пальца, если на него влажно дохнуть из своих собственных губин, не ведающих света*.

На стене уютнейшая самая мирная картинка.

Литография распустившегося шиповника, словно лист аккуратно вынут хрупко высохшим разворотом из ботанического атласа. Безупречное акварельное качество делает лепестки прозрачными и призрачными, будто по ним прошла самая дорогая пудра, высветлившая нежность эпидермиса и прелесть глубокого румянца. Что-то сверхдомашнее, будто для выхода в свет обязательно понадобится макияж, ибо без него никому не разглядеть, как трепещет стрекозиное слюдяное крыло в середине груди, возле самого сердца, в средостении.

Пудра-пудра, круглый коробок, я тоже помню – там еще над сладким помолом шелестят обрывки пергаментной плевы, и открывается – будто дверь распаивают в кукольный буран.

– У моей матери был целый гербарий таких листов, – резонерствовал В. А. и был прав. – А у нее еще от ее матери, но этого кроме меня уж никто не помнит. Купил по случаю у старьевщика. Их когда-то во множестве печатали. Да... Какой мальчик не шарил по туалетному столику своей бабушки. Мне

* В этой комнате, по меньшей мере мне так казалось, звуки легко отражались от вещей, стен, оконных створок – несколько раз, будто настигали друг друга с перехлестом. Может быть, из-за того что вещей было мало, или из-за того что они помещались в единственно возможных исчисленных местах, как на чудесной картине Карпаччо, и давно стали частью общей пустоты, не мешая ничему.

даже думается теперь, что без туалетных столиков не бывает ни бабушек ни внуков. Так, пионерия... Да, судя по всему, туалетный столик и псише – самые необходимые предметы для зачатия деток. У меня нет ни того ни другого.

Я всматривался в картинку и думал, что вот было время, когда из эпитегов были только «прекрасно» и «восхитительно», а глаголов не было вовсе.

Но что же греет каким-то обратным жаром мою память? Безмятежность этого изображения кажется маниакальной.

В. А. уходил довольно рано на службу, бегло позавтракав, он, кстати, многое делал бегло, навязывая себе автоматизм, к которому на самом деле склонен не был. А я оставался и был обречен до его прихода предаваться праздности в этом отменно обставленном жилище, где я чувствовал себя птицей, которую откармливают, чтобы в конце концов свернуть ей голову.

Жизнь с В. А. была в одно мановение подчинена укладу, давно заведенному им, и я легко, как казалось мне, подстраивался. Два крупных яйца дожидались в эмалированной кружке, покрытые салфеткой, – и в этом был сексуальный смысл – я разбивал их над разгоряченной сковородой, и запах свежего белка, похожий на запах спермы, заслонялся мягким духом топленого масла, которое тоже – в розетке желтело рядом – все уже было готово. В этом я читал его право на ближайшую ночь со мной, и оно действительно было у него, так как спас меня именно он, а мог бы... И я смотрел на синие фитили огня, занимающегося в керогазе, чуял, как запах горящего керосина перекрывает съестной дух яичницы, и мне казалось, что ничего такого, и на уме – самое худшее, что может быть, – тоскливая погода и морозящий дождь, и вообще – я немецкий студент, герой Гофмана, и варю жженку, медитирую у огня.

– О боже ж ты мой, – вырывается у меня.

И я молился Божьей матери, черной Божьей матери из Ченстоховы. Я делал это тайно, так как совсем не хотел агностических дискуссий с В. А. Но, как ни странно, его дом напоминал мне жилище одного епископа, где мне довелось побывать. Но разница была в том, что у епископа ничего своего, кроме очков, не было, а в случае В. А. весь скупой антураж был его изобретением и безраздельным владением. Это было особенное царство мужского вкуса, который противостоял бабьему растленному сумасшествию, которое я, не видя почти ничего, чувствовал и пронизал. Я вспоминаю по сей час его аскетичный и изысканный дом, где он приютил меня и спас, может быть, слишком высокой ценой. Стоил ли я этой траты, – до сих пор спрашиваю я себя, но не могу ответить.

Предметов в доме было немного, но все были примечательны, начиная с люстры, которая смотрела на наши дела с потолка. Кстати, она не светила, так как В. А. не хотел уродовать ее проводами, да и доверять это было некому. «Аккуратных всех перебили», – говорил он, и я понимал, что главное, что останется от этого времени, проведенного с ним, – вроде сухого остатка, – его жесткие реплики, его безмерная любовь ко мне, его мягкость, позволившая мне поступить так, как я поступил.

КОВЕР НА ПОЛОВИЦАХ

Примятый по ходу другой дальней жизни, как-то наискосок, ковер с узким затоптанным ходом. Будто по нему шаркали поджарые люди. С глухим косоватым прямоугольником в середке, со светящимся откуда-то глубоко изнутри серебрищимся ворсом, с безумной скомканной бахромой – она не поддавалась упорядочиванию и путалась сама по себе, без чьего либо участия, каким-то шерстяным пыльным пожаром, будто ковер покрывал опасный торфяник.

Он лежал на половицах, как фон другой жизни, будто прикрывал утробное гудение корабельного двигателя где-то очень глубоко, в трюме. Мне все хотелось понять причину его цветового вибрата, уловить источник пресыщения в заглушенном коричневом и зажатом в тесноте волокон синем, совместить симметрию бордюров, узнать очерки животных, отставших от стад и караванов, застывших сетке в этих распластанных орнаментах.

В. А. говорил, что безобразным может быть все, что любые предметы впитывают мерзость чужого быта, но только не ковры. Это окно в прошлое, в особенное прошлое, где нет времени, только цвет, который, даже поблекнув и погаснув, никогда не постареет.

Решетка орнамента, очерченная сильным цветом, схватывала собой другую, словно опиралась на нее. Они, кажется, красная и синяя одинаковой интенсивности сквозили друг другом, именно друг другом, создавая аберрацию расстояния, ведь, глядя на них, было невозможно выбрать главенствующую и понять ближний план. И это было таким домашним миражем, сном с открытыми глазами, теплым бредом, пленом, который не сковывает, но и не отпускает.

Вся эта комната, он вспоминал, была в тыквах. Он рассказывал об том, как огороды, посаженные по весне, дали к первой военной осени небывалый урожай, хотя из-за эвакуационной суеты, проводов и отъездов их никто не думал полоть и тем более поливать. Но бахчевые сами забили все сорняки, а гигантские картофельные клубни буквально коробили почву.

– Кто смог собрать сие богатство... Я вот уже отбывал. Только посмотрел и роздал соседушкам разлюбезным.

Чуть запинаящаяся речь будто специально была дана ему, чтобы не делать оплошностей, – свободно он только пел любовные песни, и это были песни войны, в которых тосковать и вождельть было не зазорно.

Он объяснял:

– Сводки Совинформбюро, недоедание и любовные песни – они лились отовсюду. Это удивительно. Может быть, это смерть всем приоткрывает такие смутные ритуалы. Ведь и слезы похожи на пение – что-то приоткрывается, исчезает время. Будто смотришь на циферблат без стрелок – и это, кстати, первое, что испортилось, – на каждом углу висели такие светящиеся бочонки часов – особенно в темноту хорошо, – а в войну они все остановились и показывали разное время, да и не светились больше.

Всегда чувствовалось, если кто-то из соседей среди белого дня находился дома, хотя их, пропадавших в дальних закутах переиначенной барской квартиры, услышать было практически невозможно. Но все-таки что-то происходило с общей домашней атмосферой, вдруг делавшейся наблюдаемой, переуплотненной, но легкой – будто все стало шерстью, из которой кто-то сучит нить – скучно и усердно. Словно продолжалась скучная починка, бесконечная штопка и перелицовка одежды, сношенной одной стороной, и другие такие же тихие хитрости жалкого быта.

Я еще различу стопки спортивных разноязыких журналов с гимнастами, бегунами, пловцами и атлетами. Он открыто интересуется мужским телом, роня повсюду следы этой гуттаперчевой эстетики. Черные гантели в никелированной кювете, как изъятые органы, они тоже свидетельствуют о самоизнурении хозяина и его дисциплине. Будто дома он все делает, закусив губу, порождая сухость таким отрицательным запахом, будто боится оставлять следы – словно кот.

Было очевидно, что средь бела дня кучерявые любовники сюда не заходят, не бродят, крадутся, по половицам такой наикосачей походкой, оставляя за собой лишь клубок мужского духа, соря жжеными волосинками, которые здешние сквозняки не распутают и не развеют за неделю*. Но скука, рукоделие, иголки, воткнутые в клубок, удерживали время, которое здесь никогда не было военным.

Образ дома, где кошка садится в сердцевину солнечного пятна такой богиней уютного одиночества, сохраняя в себе тайну равновесия. Ведь иногда кажется – сойди она с этого абсолютного места, разрушится все, стремглав раскатится, будто из бус вытянули скользкую нитку, и бусины сами по себе никогда не сохранят волшебный овал.

* Мне казалось, что так изменял собою дух любого жилища, куда попадал, мой милый Тадеуш, который на самом деле не благоухал ничем, сколько бы я не вспоминал.

СВЕТ НА ПОЛУ ЖИЛИЩ

Куда выразительнее были узкие полосы на паркетном полу. Свет еще сильнее желтил древесину, делал из комнаты палубу колониального судна, которое заплыло в эти края совершенно случайно, по мановению Борея, но скоро Бореады выпустят нас на волю. Детские мотивы солнечных теней, гномоны, просто штыри, отбрасывающие тень, и прочие устройства... Я снова проходил школьный курс, разглядывая чуть колеблющиеся ленты света, облизывающие пол. Я тоже мог не спускать с них глаз и видеть, как они едва меркнут вот здесь, на краю, чтобы новый край образовывался все ближе и ближе к окнам.

Что интересно, всегда, когда я оказывался в каком-то жилище – с той или иной степенью временности, меня настигали эти меняющиеся ленты – в моей детской обители, в богатом доме Гремяков, где я проводил каникулярный отпуск, в казарме, даже в окопах...

Ведь все связанное с ним обрастало любовным смыслом – местности, времена года, идиотская одежда, никчемная посуда, вытопанные полы. Будто у всего на свете была одинаковая восхитительная любовная изнанка.

Мне порой казалось, что В. А., потерявший однажды столь много, что мне невозможно было и вообразить, не крохоборствовал, чтобы что-то восстановить, а выступал на своей собственной сцене, внутри самого себя.

Он сам себя воссоздавал, теряя созданное через короткое время, но так как работа была неостановима, В. А. не боялся потерять свою собственную личность, расточить плотскую оболочку. Передо мной он точно предстал особенным художником, и его работа была запечатлена мною, что уже было для него, с обожанием смотрящего на меня, более чем достаточно. В его достойной скованной искренности не было фиглярства, суетливых жалоб и мелкой критики. Это был уникальный интегрирующий стиль поведения как искреннего, всеобъемлющего художества, присущего его незабываемой личности.

Он вообще-то казался мне изысканным рефератом непомерного самого себя. Я не говорил ему об этом.

Его истину, особенный изысканный внутренний уклад я тогда постичь по молодости не мог.

На дне моего ума жило осознание того, что все эти детские занятия не могут отвлечь меня от того, что я жду возвращения В. А., который мо-

жет принести мне освобождение даже от него самого (и он это, конечно, чувствовал, бедняга).

Мне иногда казалось, что я уже начинаю отвечать его желанию.

Это были какие-то конспективные дни, будто тезисы мне подсовывало это обоюдосоопасное время, где любое своеволие, дерзость, анализ были чрезмерны и становились синонимами игры, полной авантюризма. Игроки рисковали головой. А самое главное – никаких правил в этом растленном общежитии не было.

Я думал что-то вроде этого и понимал, что главная моя цель – просто биологически уцелеть как особи, на которую открыта тотальная охота вне сезонов, без жалости.

В. А. словно считывал мою смертную тоску, он, может быть, чувствовал, что я начинаю по-детски звереть, и утешал меня, как мог, игрушками своего мужского мира. Будто я ребенок, и любая ерунда – уличная зараза, трамвай, автомобиль, встреча с милиционером – смертельно мне угрожают. Насчет последнего – совершенно верно. «Вот сладенькое», – вечерами всегда говорил он, и я делал вид, что без сладенького не могу совершенно. В основном это было варенье, пару раз – мед. Его жесткие кристаллы надо было выскрести – продукт сберегался давно, и я понимал истинную цену таких подношений – она была безмерна. Все другое готовила престарелая дама из соседнего дома, и В. А. оставалось только разогреть старательно приготовленные яства на керосинке – дама дорожила приработком и старалась. Я думаю, что такой ритуал был заведен долгие годы назад – еще с конца тридцатых, когда В. А. попал в заволжское захолустье, но быстро был перемещен в областной центр, даже был удостоен права доказать свою лояльность на фронте. После контузии, случившейся буквально на исходе батальной, он имел тремор и уже оперировать не мог – остался консультантом, имел учеников и перешел в патологоанатомы, что, конечно, его исключительная выучка и педантизм позволяли.

– Я успел побыть интерном у профессоров, которые в молодости ассистировали самому Пирогову.

И вот мое чудесное спасение, как говорил он, воистину было его карьерной вершиной.

– Вокруг хирургов не клубится божественная бумазья! – В. А. поднимал указательный перст в лепной потолок.

16 июля среда
восх. 4.06
зах. 21.05

Луна
посл. четв. 11 июля
восх 1.29
зах. 20.08

1917 – Выступление рабочих и солдат в Петрограде, переросшее в грандиозную вооруженную демонстрацию под лозунгом «Вся власть Советам!».

1868 – умер Д. И. Писарев, выдающийся русский критик и публицист. Родился в 1840 г.

С картины художника Васильева «В. И. Ленин, И. В. Сталин и Я. М. Свердлов».

Оборот

Альпинизм в СССР

Родина русского альпинизма – Кавказ. В 1873 г. на Казбеги впервые поднялся Козьмин. В 1891 г. Кавтврадзе достиг вершины Уилпата. В 1910 г. на Казбеги поднялся Сергей Миронович Киров, в 1911 г. он поднялся на Эльбрус.

При советской власти приобщились к альпинизму широкие массы трудящихся. На вершину Казбеги в 1923 г. и на вершину Эльбруса в 1925 г. поднялась группа грузинских альпинистов под руководством профессора Николадзе.

Непрерывно возрастает спортивное мастерство альпинистов. На Кавказе не осталось ни одной важной вершины, на которой не побывали бы наши спортсмены.

Восхождения, о которых иностранные альпинисты говорили как о невозможных, оказались по силам советским людям. Достаточно сказать о траверсе (восхождение) на Цурунгал-Шхары, высокогорный переход от Дых-Тау до Коштан-Тау, восхождение на пик Хан-Тенгри, пик Сталина, пик Ленина и др.

Более 40 тыс. человек имеют значки «Альпинист СССР» 1-й ступени, около 500 человек – значки второй ступени. Всемирной известностью пользуются имена заслуженных мастеров спорта, лучших альпинистов Е. и В. Аболаковых, М. Погребецкого, А. Джапаридзе и других.

ВСКРЫТИЕ ТЕЛА

– Слава богу, что эта провинция не обзавелась крематорием, а то были бы, как в Ленинграде, высокие визитеры, зрители. Знаете ли, чины своих красоток искушенных привозили в подзор стеклянный смотреть, прости господи. Здесь тоже иногда бывают посетители, наш Андрон иногда косвенно мне намекает. Но без меня, без меня.

Меня порой пугал некротический цинизм В. А.

Он говорил о чем-то жестоком и жестком, что колебалось осадком на его дне.

Он представал передо мной какой-то речевой проекцией, будто мне дали большую невидимую линзу, чтобы я рассмотрел, как стареет его кожа вокруг глаз, проявляясь сухой схемой его мышечного лада, как иногда по главному синеватому яблоку пробегает красным руслом тончайший сосуд.

И я больше смотрел на него, чем слушал, будто в моем сознании переключалось реле – и выносить вид его мне было в сотню раз легче, чем вслушиваться в звуки слов, у которых нет возраста, а только смысл – резкий и плотный – он будто бы точил лезвие о правило.

В каждом его слове, понимал я, всегда скрыта ранимая кромка.

Будто бы он так проявлялся – выходил из ванночки с чуть голубоватым реактивом времени суток – сухим, четким, снабженным номерами своих документов, которых у меня не было.

В эти минуты я всегда отвечал ему невпопад, так как слушал не его ровную язвительную речь, а рассматривал отдельные язвительные слова как его самого. Переводил их с языка на язык.

– Хочу поведать вам, милейший, – с утра у меня было вскрытие миллицейское – сугубо для протокола, ничего особенного, никто голубчика, одним словом, из наших светочей не залечил, просто ухайдакали любезные граждане горожане. Проломили черепные своды. Или сам упал с лесов. Тут кое-где, да какой кое-где – все предместья военнопленные строят и весьма бодро. Но вот что хочу вам изложить. Кстати, доводилось ли видывать вам «Анатомию доктора Тулипа»? Очень хорошо. Только у нас в секционном зале сразу несколько анатомий – свои, с анамнезом, и этот – с раскроенной головою белокурой. Немец, знаете ли, уже точно немой немец. Знаете, что «немец» от него, но это к слову.

Я запомнил его речь как нервную диаграмму, он обычно не «дымил» с такой интенсивностью, как сегодня, ведь вскрытия он проводил практиче-

ски каждый день, когда посещал, как он говаривал, «присутствие». Воскресенье он называл – «отсутствие присутствия».

– Вот вам очерк тела: хорош всем, боевой, спортивный, даже на секционном столе сохранил стойку, – правда, в общем – мягкий. Только уже синие пятна за ушами на нашей жаре, извините, понимаю, что это – перебор, но тут само тело – перебор. Ну так вот, мне сразу виден статус – образование там, происхождение – вижу под всеми социальными полипами. Ну вот, укокошили такого молодца. Но дело не в этом, я бы иначе не стал вам эту фортецию возводить.

А дело в том, что меня просто поразила его внешняя жесткость такая – рисунок мускулатуры не античный, а у него – как доспех дорогой поковки, просто устройство, знаете, такое – и в то же время – мягкий, чуть лопоухий, подбородок молодой, запястья вот, – В. А. соединил в кольцо указательный и большой пальцы, – да и лодыжки. Вообще, кость роскошная, извините, конечно, за пиетизм. Но вот ступни. У трупов обычно мускульный рисунок мягчеет, а тут плюсны просто веером накрыты таким напряженным, как пальмовая ветка.

Он выставил вперед себя растопыренные пальцы, будто собрался проскользнуть гаммой по столешнице, взять широкие аккорды, накрыть сразу всю тарелку.

И действительно, эта история была в каком-то смысле музыкальной. Может быть, Лист или Шуман что-то могли и сочинить, если бы тоже повидали такое. Но вслух я это не сказал. Хотя бы потому, что никакого пафоса в рассказе В. А. не было.

Мучительная рутина. Да! Именно так.

– И все это в мягком молочном свете – у нас окна в таких стеклах. И понял я, друг мой, не в первый раз, конечно, но очень уж отчетливо – что это, знаете ли, такой автомат, прекрасная такая машина, избороздившая отчаянную территорию – в снегу, в грязи, по спекшейся глине.

Да, вот еще что, – прибавил В. И., сверля меня темными глазами, мне стало не по себе, будто он свой взор с трупа перевел на меня, – и с него, мертвого, можно еще лепить героя – даже абрис стопы совершенно античный, – большой палец короче среднего.

Я представлял себе простертую фигуру с какой-то жесткой жестикуляцией, будто рисовал мертвое тело, разворачивая его в метафизическую дугу. В моей руке был не карандаш, а острый фермент одеревенения и отчуждения, нечто *несуществующее*, но вещественное и весомое. То, к чему притронулась сама Смерть*.

* Подумав об этом, я словно приостановил на миг работу смерти, и *мертвое* оборотилось в *мощи*, которые останутся по сию сторону для нашей вящей силы. И глубинный смысл *мертвеня*, равного покою и сну, превращался в то, что, будучи с *мертвением* заодно, превышает его многократно и безмерно. С помощью приставки *с-*.

Меня осенило это «новое» слово (краткое, как удар, во многих европейских языках). Во мне словно вспыхнул его смысл. И смерть стала означать, что зыбкое и несущественное

Зачем он мне так подробно все это пересказывал? Он посмотрел на меня, но не в глаза, а как-то особенно щемящее – соскользнув по шее, скосив взор к плечу.

– А мы, мы что – плотность, простая плотность, но на сей вопрос ответит диалектика. Ну, что молчите, скажите что-нибудь.

– Слишком жесткое материнское воспитание, думаю, по Фрейдю...

Он не дослушал:

– Да, Андрон все кричал довольно остро: «Аж кромсать такое зрелище страшусь». «Зрелище страшусь», отметьте, а читал ли он что-нибудь, кроме Писания в глубоком церковно-приходском отрочестве, не ведаю, но даже его проняло. Вот вам история. Помните, как Базаров вскрывал что ни попадя, чтобы разум победил всё?*

Бывает, уходят в умиротворении, совершенно без страха там, мандража, вне зависимости от быстроты и внезапности.

Но все одно, не телом пахнет, а самой матушкой-смертью, – ноздрями этот дух не поймать. Никаких шансов он не оставляет. Я это прозвал «синдром наказания».

Он извинялся за подробности. Рассказал, как у его приятеля совершенно внезапно в выпускном классе умер сын. Утром не проснулся, такой весь рыжий был, совершенно неземного профиля. И В. А. вскрывал тело. Так вот, невзирая на все свои прозекторско-протокольные действия, он представить этого мальчика мертвым не может.

– Меня, признаюсь, иногда ужас секундный охватывает: и куда жизнь из молодого тела делась? Ну, вы меня понимаете: где тот слой, что ниже сна? Тот слой, на котором сводится фокус, что острее боли и слаще оргазма? Ведь когда кончаешь, а я вообще-то об этом задумывался, становишься таким бубенцом и кажешься себе безвременным, безвременным. Что якобы – навсегда и невоготу и без этой боли уже невозможно. Умереть без смерти.

А вы думали о том, что все главные слова укладываются в краткий корень?

Он помолчал, ковыряя еду, тяжелые приборы глухо звякали о дно тарелки, еда сегодня легко рифмовалась: крошка-картошка.

Он говорил, что не любит чистить вареный картофель. Пусть в мундире остается, иначе не еда, а просто мыло.

– ...и к американской зоне я даже близко не был, может, и к лучшему – союзнички-то всех повыдавали, сами знаете, пароходами и поездами... Столько повидал, что слова как-то стерлись, но вас бы пристрелил.

свелось в укол нового отсчета, жесткого и краткого, как удар. Ведь я-то думал о теле моего Тадеуша, который не мог быть в моей памяти мертвым.

* Запомнилась его тирада, что он всегда будто видит на секционном столе помимо тела еще и историю смерти человека. Понимает ее независимо от вида – насильственная, «естественная»); он всегда говорил: «естественная в кавычках». И кстати, венки, атрибуты смерти, еловый лапник – это тоже кавычки, и похожи в каком-то смысле.

Последнее слово он произнес по слогам, но не утвердительно, а как-то безнадежно.

– А я та-та-та-та вас, – напевал я фальцетом на мотив из «Онегина», ну там «Я люблю вас, Ольга...» – гимн нашего знакомства; он не сердился, только взглядывал в мою сторону как-то странно, пристально и очень печально. Наверное, только глубокая ненависть ко всему большевистскому не позволяла ему что-то предпринять со мной, да и любовь превращала всю авантюру со мной, как он говорил, – в «сверхдраму».

– Я верю во все это, только когда вижу тебя, – говорил он вслух, но так как обычное «вы» он заменял «ты», я понимал, что последняя фраза из его глубокой внутренней речи.

– Ты можешь проверить и осязанием, – я тоже перешел на ты.

– Нет, ты знаешь, теперь, после всего, что было, только глазам можно верить. Вот ты исчезнешь в один прекрасный момент – и что письма, они для ушей. Ну почерк – след твоей руки. Но это в миллион раз меньше, чем просто тебя видеть вот здесь – напротив. Вот – чай сегодня со мной.

Я столько всего видел, что какая уж «жизнь вечная». Вот рядом с вами еще что-то искрит во мне по-настоящему, будто и вправду кущи, на цевницах дурачки тренькают, птички мечутся. Да и вы, впрочем, из царства теней, дуновение Эола.

Он опять переходил на вы.

Такие вот пасторали.

И надо сказать, что чувство, которое, уверяю всех, я тоже питал к нему, было безмерно сложным для меня, не из реальной жизни, и я бы предпочел, если бы все ограничилось плотской стороной – без ожидания, которое, безмерно разрастаясь, разрушало меня.

Но обстоятельства были сильнее всего, и благодарность В. А. переполняла меня, ведь я обязан ему своей жизнью, жизнью.

Он не мог перейти в другой регистр, разорвать время и говорил дальше:

– А хотите ознакомиться с текстом моего выступления на минувшем собрании в нашем скорбном отделении? Читал прямо из календаря, самый доходчивый первоисточник. Вот, нашел сейчас в кармане, пожалуйста, прочту и вам с удовольствием, уделите внимание:

И он забубнил без обычной язвительности:

«Задачи советской демократии принципиально иные, чем задачи демократии в буржуазных странах.

Там демократия как демократия еще должна завоевывать возможности для своей свободной творческой деятельности. У нас эти возможности налицо.

Там, в зарубежных странах, господствует принцип индивидуальной наживы. У них личное благо – прежде всего. Советская же демократия имеет в своей основе принципы коллективизма и товарищеского сотрудни-

чества. Мы говорим: благосостояние социалистического государства – прежде всего, хочешь поднять свое личное благосостояние – поднимай благосостояние социалистического общества. Непрерывное укрепление социалистического государства, рост его материальных и культурных богатств, улучшение работы всех его органов ведет к дальнейшему увеличению благосостояния отдельно взятого советского человека, к развитию его индивидуальных и моральных качеств. Советская демократия имеет глубоко позитивный характер, вследствие чего она предъявляет к советским людям повышенные требования».

Он помолчал.

– Откуда же все это следует? Из письма Калинина избирателям Ленинградского городского избирательного округа пятого февраля минувшего года. А теперь домыслите наше анатомическое отделение, инвентарий убрали, несколько трупов переложили на тележки, сдвинули их в угол и свели две ширмы, получилась что-то вроде аптеки, публика заняла все седалища и стояла. Будут фотографические карточки.

В ОДИН ИЗ ВЕЧЕРОВ

Вернувшись, В. А. жжет бумагу и спички:

– Да пропади пропадом эти стряпухи. О этот чад старых шкварок! Пусть лучше пожар. Горелое, знаете, почему пугает? Оттого что старостью пахнет, тем, что нас ждет. А вот рифма: ждет-жжет. Прimitивная, но весьма верная.

Иногда В. А. после серии умозаключений, обращенных к самому себе, что выдавало в нем глубоко одинокого человека, овладевало чувство судорожной, немотивированной свободы, будто к нему пришла долгожданная безопасность, – с этого момента (может, имеющего зодиакальную или лунатическую природу) он настойчиво начинал жить, будто он легко соскальзывал с этого пика времени в прекрасные безвременные воздушы. Он уже не мог думать ни о чем, кроме своих уплотняющихся желаний. Они становились видимыми, как одежда, в которую он облачал свое жилистое тело. Даже в жару, когда костюм (он звал его «строгий») был совершенно неуместен, В. А. звякал, перебирая мишурную россыпь запонок, значков и жетонов, оглаживал и теребил перевязь пестрых галстуков, подозрительно всматривался в зеркальную изнанку платяного шкафа, трогал рукава какой-то несезонной одежды, будто в них было заключено нечто одушевленное, близко знакомое ему, но, главное, он мурлыкал что-то, вдруг изнывая на нарядных высоких нотах, оставляя под потолком бравурные невидимые арабески, которые какое-то время не развивались, а медленно, как перья, опускались.

Он оборачивался волшебником, заклинаниями оживляющим мишуру своей жизни. Приводящим в движение машину. Наверное, в эти моменты посуда зарубцовывала в себе старые трещины и сколы. Я, честное слово, хотел тогда взять в руки какую-нибудь болезненно попорченную фарфоровую плошку и рассмотреть получше – как она поздоровела. Я переставал в такие моменты чувствовать сюжет своей жизни, я вообще переставал что-либо видеть, осязать и слышать, так как делался ассистентом его волшебства. Я ожидал перемены, так как был к ней готов.

Может быть, в такие моменты я понимал В. А. особенно проникновенно – и тело, и душу, и много еще что в нем. Во всяком случае, его голос, играющий комичными умиляющими меня звуками, был неотличим от его тела, которое тоже делалось простым и игривым, не скрывающим от меня ничего, что могло бы мне угрожать. Он, не престаивая двигаться, словно бы

вмещал меня, становился оболочкой, делался трижды мною. И я вдруг с изумлением понимал, что, глядя на него, двигающегося передо мной, переставал понимать его движения, а внимал ему как новой целостности, знаку, который можно прочесть, не понимая ни грамматики, ни алфавита, – просто внимая – простосердечно и искренне.

Отпуская свое тело на волю, предаваясь желанию трогать, брать, пить, он делался бестелесным, символичным, близким и понятным, как стихотворение, которое я могу в любой миг прочесть наизусть, не приуменьшив его прелести, хотя вспоминаю его в тысячный раз.

Почему получалось именно так?

Будто он ускользал из той зоны, где я мог за ним наблюдать, составляя внутренние отчеты о его свойствах и признаках.

И вот время этого вечера, лишившееся такта, представало предо мной мягкой слитной видимостью, начинало нарядно подрагивать, словно желе, которое надо непременно съесть, иначе оно непоправимо растает.

Передо мной, как обелиск, стояло мое сияющее желание – выжить. Прожить еще какое-то время*.

Накрывая стол, он достал из буфета помимо стаканов в подстаканниках (его – с одутловатым профилем Пушкина в выпуклом огне бакенбард, мой – с заносчивым Лермонтовым в глубокой не по размеру фуражке) еще и тяжелую чашку-кубок. В пышной гербовой виньетке утопал профиль вождя пролетариата, и по краю, куда прикладывают губы, зверский девиз «смерть эксплуататорам» змеился золотом. Чашку он поставил на дальний край стола, будто чаевничать к нам пожалует неведомый гость. По тому, как В. А. прищурился, словно промеряя расстояние до мемориального прибора, я понимал, что это реквизит некоего действия. Меня он не стеснялся с первого мига нашего знакомства, так что и дома был волен во всем, а уж в чайной церемонии и подавно.

– Можете его убрать? – спросил я тогда. В. А. отрицательно покачал головой.

* В. А. говорил: Мы их не интересуем, есть дела и поважнее – так-то-с! У меня друг близкий был из неблизких нам органов, потом чикнули его, конечно, – да ни за что, просто пришла пора, у них тоже все было, как на огороде: полив-прополка-урожай, и пошло-поехало... Отчаянный он был – нет, только в постели отчаянный, из латышей. Но помогал, – а я кое о ком просил его. Мы даже жили с ним вместе. – Да здесь! – Он квартиру свою уступил семейному сослуживцу. Тот, говорят, его и погубил, но он-то был к этому готов. А я не боюсь. Когда такое сделали – чего уж нам, простым смертным, бояться. И он улыбался – по-пижонски на золотые коронки были наклеены белые пластинки, и когда он, поднося руку ко рту, будто в усы улыбался, – искрились тонкие золотые стрелки. Не то что мне видятся прекрасные фотографии мельчайшего зерна, где лица чувственны или безобразны, не то что я вижу фальшивую хронику, но по оговоркам камеры могу судить о настоящем; но вдруг в какие-то прекрасные моменты чувство истины настаивает меня, как друг, поспешающий за мной следом по тихой пыльной улице – хотя бы и этой. Тогда все правда, все волнует и все сводит с ума. Будто это очень хорошие рисунки с перьевыми обводками, дающими характер времени.

И действительно, в чашку полетели косточки из вишневого варенья, которые В. А. прицельно выплевывал, сжимая и кругля рот, как школьник, собирающийся свистнуть.

– Мелкая месть, – сказал я.

– Не смею спорить. Не крупная.

– А вот так вот, извольте-ка, – и он, зажевав в себя, втянув плотно щеки, метнул с легким присвистом короткий и тесный вишневым дротик. И виртуозно попал, кружка в ответ тупо чпокнула. – Не могу из-за вас ломать ритуалы, милый друг. А ведь хотел сплюнуть по-простому. Но вас стыжусь.

– Снимаю шляпу, сударь.

Вот В. А., сидя передо мной за столом, поглаживая ушную раковину, вдруг нахмурил лоб и мелко затряс пальцем в слуховом канале, будто хотел вытряхнуть оттуда горошинку.

Быстро-быстро-быстро, быстрее, еще быстрее...

Он взглянул на меня и спросил:

– А вы и не полагали, что любые каналы в организме способны доставить ни с чем не сравнимое удовольствие? Ищите либидо в объятиях круглых мышц! Вот, скажем, чихание. Стариковская услада. Утеха обреченных.

Он, повернувшись в профиль, изящно сымитировал чихание, подыгрывая себе рукой, будто дирижировал последними аккордами апофеоза, неслышного мне.

В его речи и жестах было неприкрытое щегольство, он делал все как денди. Гладил согнутым суставом указательного пальца левый угол губы, как сурдину музыкального инструмента. Я вполне мог это оценить.

– А хотите цитатку из свободного французского сочинителя? Написал хорошо, по собственному почину, у нас даже в отрывной календарь поместили, сейчас извлеку эту единицу. – Он поднес к лицу выжелтевший календарный лоскуток: – Да, семнадцатого мая сего года крупный юбилей, семидесятипятилетие Анри Барбюса. Вот чем он славен в нашем календаре, внимайте без отрыва:

«Человек, чей профиль изображен на красных плакатах – рядом с Карлом Марксом и Лениным, – это человек, который заботится обо всем и обо всех, который создал то, что есть, и создает то, что будет...

Когда проходишь ночью по Красной площади, ее обширная панорама раздвигается: то, что есть теперь, – родина всех лучших людей земного шара, и то архаическое, что было до 17 года. И кажется, что тот, кто лежит в Мавзолее посреди пустынной ночной площади, остается сейчас единственным в мире, кто не спит; он бодрствует надо всем, что простирается вокруг него, – над городами, над деревнями. Он – подлинный вождь, человек, о котором рабочие говорили, улыбаясь от радости, что он им и учитель и товарищ одновременно; он – отец и старший брат, действительно склонявшийся надо всеми. Вы не знали его, а он знал вас, он думал о вас. Кто бы вы ни были, вы нуждаетесь в этом друге. И кто бы вы ни были, лучшее

в вашей судьбе находится в руках того, другого человека, который тоже бодрствует за всех и работает».

– А помните стихи?

– Которые?

– Нет, не луна, но... циферблат, – пропел он. – Ну, кто это написал? Не знаете, нет? Конечно же нет...

Он сказал в сторону:

– Каннибалы... Они перебили своих лучших поэтов, и никто не заметил – ни-кто. Знаете, кто это «Ник-то»? Иннокентий Федорович Анненский – он как знал – всё «никто». Вот их гимн звериный: кто был «никто, тот станет всё» – значит не все так безнадежно. Вот вы выучите. Учите: «Аромат лилеи мне тяжел». Не умрите от верных русских ударений, беглец. Нет, вы подумайте – «Кто был никем, тот станет всем». Вот и я говорю, что теперь всё – это ничто – совершенно добиблейские времена; и вначале ничего не было, никакого слова, понимаете – ни-че-го, даже гнили не было. Я, о, я понял! Спасибо вам – понял «не было» и «не было». Это ошеломительно!

– Пока меня не призвали, все растил на огороде и ел тыквы! Никогда не думал, что можно снимать столько... Вы ничего не знаете – от этого еще более обворожительны. И потом – удивительно – как много криминальных абортотворцев было... Будто от святого духа. Но мне-то от вас не понести, или вам от меня – это только либо для чувств, либо для разврата – иного не дано. Вот я уже в стороне разврата давно. А вы? Ну, можете не говорить, не надо.

– Вот я с вами... словно на меня в юности учебники с полки попадали: и ничего я в людях не знаю – ни анатомии, ни психологии. Вот вы улыбнетесь, и мое сердце трепыхает. Как глупо: и то, что происходит, и то, что я вам вещаю.

19 июля

суббота

восх. 4.11

зах. 21.01

Луна

новолуние

18 июля

восх. 5.03

зах. 22.25

1941 – Указ Президиума Верховного Совета СССР о назначении Председателя Народных Комиссаров товарища И. В. Сталина Народным Комиссаром Обороны СССР.

1761 – Родился В. В. Петров, выдающийся русский физик, умер в 1834 г.

Оборот

Первая электрическая дуга

В 1803 г. в Петербурге вышла книга об опытах, которые производил профессор физики Петров. «Естьли, – писал Петров, – на стеклянную плитку или скамеечку со стеклянными ножками будут положены два древесных угля... и естьли потом металлическими изолированными направлениями, сообщенными с обеими полюсами огромной батареи, приближать оные один к другому на расстоянии от одной до трех линий, то является весьма яркий белого цвета свет и пламя... от которого темный покой довольно ярко освещен быть может». Таков был первый прообраз дугового электрического фонаря, первые попытки создания которого сделал В. Петров. Он же первый разрабатывал принцип ламп накаливания, применения открытой им электрической дуги для плавления металла, для восстановительной плавки.

В. В. Петров верил в то, что его работы в свое время получают надлежащую оценку. «Я надеюсь, – писал он, – что просвещенные и беспристрастные физики по крайней мере некогда согласятся отдать трудам моим ту справедливость, которую важность этих последних опытов заслуживает». Эти надежды полностью сбылись. Имя его широко известно в науке. Советский народ гордится работами русского ученого В. В. Петрова, внесшего огромный вклад в науку.

СТИХИЯ

Стоит описать мои впечатления от города, куда В. А. вывел меня, как больного, все-таки сделать первые шаги к выздоровлению. Наверное, многих сил ему стоило не взять меня в городской толчее за руку, и он вроде случайно, скользя, касался то моего плеча, то локтя, то едва-едва опущенной кисти. И эта теплая сухость не отпускала меня.

И вот мы следуем рельефу; город не противоречит ему – плавными уступами, будто потворствуя, сползает к мишурно поблескивающей на позднем усталом солнце реке; вот мы идем мимо разросшихся лохматых палисадов, мимо ширм из осыпающихся неостывших домов, с их облупившихся фасадов; с остатков старинной классической архитектуры только что стек жаркий свет, напоследок породив на улицах сквозняк летучего торжища. Сосредоточенно смотрят перед собой люди, ставшие по нужде торговцами, они образуют общее тело, теснятся живым фризом, передают покупателям из рук в руки небольшие предметики, свертки, жесткие коробки и мягкие куски, обернутые ветошью, с сожалением расстаются с аккуратно сложенными пожитками, и люди, почти на торгуясь, быстро вынимают и еще быстрее прячут несчитанные купюры, не глядя, будто осязая их количество и номиналы на ощупь, уже за пазухой или в глубине карманов...

Я понимаю, что вся эта шевелящаяся, осененная сжатыми до сипоты голосами и простеганная бедными запахами скульптурная череда людей едва сдерживает где-то глубоко внутри судорогу переизбытка жизненных сил. Переходя от одного торгующего к другому, становясь корпускулами неутихающего общего шевеленья, люди сохраняют напряжение, будто оберегают себя, и первый же сигнал опасности оборотит идеальную композицию, выстроенный конвейер, в россыпь ничем не связанных торопливых ходяков, просто вот оказавшихся в этот миг на улице, просто поспешающих по своим неотложным делам.

Но среди затрапезно одетых, образующих эту кромешную мешанину, вдруг посверкивают бравые военные в свежайшей форме, такие своевольные кристаллы среди шлака, попавшие вместе с другими на ленту транспортера этого дня.

И еще – дамочки в кудельных завитках с нитевидными бровями и поджатými ртами, опасующиеся чужих рук, расфуфыренные душистые крали, такие самородки, вытесненные почвой из недр, похожие на волшебные лампы у самой рампы, будто скоро состоится спектакль.

И статный милиционер, бессмысленный здесь, который сам, по-видимому, что-то продает или покупает, – нелепо столбенеет.

Всех, кто имеет хоть какую-то выразительность, текучее вещество толпы обездвигивает – видно, как они глупо стоят, будто позируют невидимому фотографу.

Я замечаю, как В. А. и милиционер-скульптура едва обмениваются улыбками узнавания. Милиционер успевает взглянуть и на меня, и смотрит не то что дольше, чем на просто незнакомого человека, а как-то протяжно, будто силится признать во мне знакомого.

Торговая предвечерняя сумятица застывает, если движение способно застыть.

И действительно, что все эти люди и я в самом деле – укрощенная брезгливость, направленная волевым усилием вовнутрь тела, нерассасывающиеся комки чужих толчков и прикосновений, случившихся мгновение назад.

Чуткий В. А. будто бы расслышал мою внутреннюю речь:

– Тут и с мертвых продают, уж я-то знаю, мосты, само собой, и одежду. Так что... Нехорошо-с. Если можно, то лучше ничего тут не покупать... Просто мимо проходить.

Лента рынка так же внезапно кончается, как началась, и я перехватил взор В. А., устремленный на массивное высокое облако, единственное на всем небосводе, и оно показалось мне маской, побывавшей на чьем-то остывшем челе, такой плотный гипс для отливки посмертной маски этого дня.

– А кто этот ваш знакомый, которому вы кивнули?

– Да так, человек просто неплохой, бодрый сыщик. Он презабавно отплясывает еще... Этим и интересен.

– ?

– В народном клубе. Понимаете? В народном.

Но день к вечернему времени наливался истомой, приобретая объем и плотность, он лишался дневной отзывчивости, становился вязким, будто никогда и не было ни напряжения, ни резонанса, и сквозь него не проносились фартуки пыли, гром трамваев и выхлопы автомобилей, не неслись листья распотрошенных гербариев, не трепетали мелкие каблук и не раскрывались сами собою страницы мусорных новостей – теперь это самое простое время, ставшее теплой выемкой, невидимым собранием изъятий.

Я почувствовал, как эта новая мягкость привлекает и примиряет меня со мною.

Крутая улица, где все это происходило, была испокон века торговой, и цокольные этажи двухэтажных домов с большими крепкими дверьми и высокими оконцами были когда-то лабазами и складами, но теперь их приспособили под убогое жилье. Но скользкий дух обмена и прибыли, словно

пролитый укус, смешивался с чистым звоном выигрыша, который здесь иногда случался; я углядел, как торговец, вручивший счастливому покупателю невеликий сверток, тут же растворялся в толчее.

Только вот разлапистые надписи старой орфографии над узкими оконцами и забитыми дверьми никакой известкой замазать было невозможно. Обрывки купеческих фамилий, название лавок были будто подсвечены изнутри, и стереть их можно было только вместе с самими домами.

– Окна, посмотрите, какие узкие-преузкие – это от домушников, чтобы не пролезли, уже черепа, просто бойницы, – говорит мне В. А., будто я сам ничего не вижу, идя рядом с ним*.

Кажется, еще совсем немного – времени, шагов – и я могу навсегда остаться в этом городе, где на самом-то деле у меня едва хватит к концу недели сил обмахнуть пыль с подоконника. Словно подтверждая это, В. А. говорит, какие выдающиеся визионеры, бездельники, авантюристы и барчуки, то есть отрешенные от мировых дел парадоксалисты созерцали эти места. Витгенштейн, попробовавший в двадцатых профессорствовать в университете красной Казани, и Розанов, прозванный Волгу русским Нилом... О боже мой, – какой список, и вот вы теперь.

Но его экскурсии только выпячивали убогость и ветхость, которыми было отмечено все вокруг.

Что-то всегда было украшением – недвижимое, но темнеющее на глазах взбитое облако, огромный жестко шелестящий тополь-осокорь, вздернутый или изогнутый, прозрачные фермы едва видимого вдали, уже в самой излучине, железнодорожного моста. Уже во всем этом было и дикарство, и изысканность.

В этом вечерющем времени город кажется ветхим опереточным мундиром с мишурными позументами базаров-толкучек. Ведь настоящее

* Стихийный торговый ряд, мешанина, захватывающая и одновременно отчуждающая, напомнили мне прекрасную картину Альтдорфера, где художник изобразил откуда-то сверху – будто чудесным образом взмыл над местностью, – как со скользкой влажной зелени холмов в седловину ландшафта потекли плавкие армии, повинуюсь жару световых потоков; как туда же устремились бестолковым мальштремом стада латников, губящие друг друга; как высоким ярусом над ними зазмеились узкие стяги пестрых знамен, и всю миллионногую конницу мира привел в волнение ветер, словно высокую траву.

Что тут было общего?

Да ничего кроме гигантского расстояния между зрелищем и тем, кто его придумал и узрел из метафизического фокуса, уведенного в бесконечность. Я ведь тоже наблюдал всех из своего тела, ставшего абсолютным оптическим отдаленным прибором – где-то в глубине фантастического ландшафта событий, случившихся со мной; сквозь объектив угрожающего времени, которое в этот безнадежный миг не имело ко мне никакого отношения. Этот парадокс будто выплескивал меня, как дугу воды, в отдаление и эстетизировал каждый мой взгляд. Будто в отличие от всех, кто мне виделся, я один знал истину только что открытых великих законов. Например, что земля совсем не блин, что любой физический побег приведет к возвращению, потому что одновременно знать и быть невозможно хотя бы потому, что нет человеческих сил свести в единство свое бытие и трезвое знание о нем.

тело его покинуло. Осталась ветошь прошлого, никем не поновляемые декорации, стареющая дребедень, обмякшие оболочки, атрибуты прошлого, которые по-настоящему нельзя продать.

Я спросил В. А. – отчего столько ржавых скобяных деталей, ненужных инструментов – плоскогубцы, напильники, топорщица – люди держали их в руках, выкладывали на ящики или прямо на землю.

– О, это только видимая поверхность торга, чуть глубже – запретное и необходимое. От мануфактур, ед и пилюль – до икр и проч. Все знают, что ищут. Такие магниты внутри.

Знаете, я в достославные времена в юности побывал на Ниле. Очень, кстати, похоже, поэтому Розанов прав. Русский Нил. Ничего не скажешь. Там дома – такие перевернутые руины. Недостроенные, будто обмирающие к верхнему ярусу. Здесь у нас ровно наоборот – рухлядью вниз, но все очень похоже.

Вот оправляется, наверное, только что выбралась из толчеи, плотно сбита дамочка, главное в ней – она в свежайших туфлях на массивных каблуках и еще в носках – выбравшись из торговых фронтов, она буквально висит на локте бравого мужичка, а он выразительно смотрит «на сторону», и мятая папироса из его рта торчит, как опасный запал. Они кажутся беглой карандашной зарисовкой недоброго художника, соединенными лишь его артистической волей. Кавалер совершенно обособлен: и разлапистой корабельной походкой не в такт даме, и тем, как целит прищур в разные стороны. Кажется, а может, и на самом деле дама удерживает его от какого-то страшного деяния и от неминуемой кары, которая за деянием воспоследует. Понятно, что такой никогда не танцует, – он, в отличие от плавного знакомого В. А., отплясывает. О эти прыткие, плотно набитые приземистые тела, будто пружина в любой момент метнет их через забор, штaketник, в кусты, в подворотню, за угол. Они даже не ждут свиста или сверка ракеты, в них самих уже есть весь арсенал внезапной атаки.

В. А. перехватил мой взгляд.

Я не мог отделаться от ощущения, что сегодня в его голосе будто бы сокрыты какие-то новые ноты, будто ему есть что сообщить мне помимо того, что он говорит. Его укороченные реплики и комментарии вдруг озарились картинками из какого-то волшебного фонаря, спрятанного внутри него, и все, о чем бы он ни говорил, делалось видимым, объемным, приобрело аромат и плотность.

И я легко представлял себе, как и эти ветхие двухэтажные дома глохнут и впадают в мировой склероз, одолевший всех после великой войны. Светлая перхоть верхних этажей и сумеречная подагра внизу, где торжище судорожно проталкивает себя по цилиндрическому клеткуту говора.

– Посмотрите, – прерывает мою задумчивость В. А. – Вот здешние акации, они совершенно особенные, к ним, когда они от жары должны бы скукожиться сто раз, как сирени или боярышники, никогда не липнет пыль,

только стручки костенеют, но вот их купы все время свежи, будто вообще изнурения нет. Понимаете меня?

Я не мог поддержать этот разговор, так как боялся быть неискренним с ним, ведь глубинный смысл нашего общения для него состоял в том, чтобы вернуть свежесть, попробовать все еще один раз, наконец, замаскировать мной, моим телом, кажущимся бесконечным присутствием в его жизни, все то, что было на самом деле кратким и эфемерным, но парадоксально заслоняло собой реальное положение дел. Будто бы он хотел перестать слышать и переуплотненный гул времени, и понимать его тревожные позывные.

Он ведь чуял и подозревал со всей трезвостью, присущей ему, одно, но видеть и верить хотел совсем в другое, потому что иллюзия прочности и силы нового чувства его пленила.

Я жалел его, я опускал руку ему на плечо – будто длил фразу, жалобу или просьбу, которые вслух не высказал, – опускал руку на совсем краткое время, чтобы не смущать тех, среди кого мы проталкивались по улице, сползающей к самой Волге. О, если бы он смог приглушить яркость этого паноптикума и услышать все, что простирается рядом, вот меня, например, – ему было бы во много крат легче.

Но надо всем восходила упоительная луна, пересиливая и затмевая все звуки этого мира. Пока мы шли по узким полуразрушенным улицам, я не заметил, как она нагрубла из белесого изъяна на небосводе, но вот – чуть смерклось, и изумительная ирреальная видимость, попирающая все законы, всплывала над нами. Это как в камере фотоаппарата, когда на несколько лимбов смежая диафрагму, сгущают само существование света.

На лавочке, на верхнем ярусе циклопической заброшенной набережной мы сидели, как бессмысленные растерянные животные, забредшие в разрушенный амфитеатр. Скелеты небольших барок, словно штормом выкинутых вразнобой на берег, далекие компании, копошащиеся темными кучами у костерков, одинокие рыбаки по пояс в темной слюдяной воде.

– Вот не застали, как кусты белеют. Это когда низкое солнце совсем, и зелень вроде седеет, особенно дикие оливы.

В. А. понимал, конечно, что о луне, столь выразительно густеющей в сумерках, говорить ничего не надобно. Она напоминала все что угодно, например мятный леденец, он уже опрозрачнел и почти что истаял, но его выталкивают языком к губам, им будто дразнят и манят того, с кем вот-вот поцелуются в губы.

И в самом деле, не нуждаясь в оправдании, луна нарушала законы тяготения, – восходя вверх; она ничуть не приуменьшалась, а теряя массу своего напряженного блеска, будто таяла и делалась легче и легче, нагрубнув переливающимся плавким молозивом, не имеющим веса, стано-

вась ртутной пуговицей, норовящей расстегнуться и сорваться за изнанку небесного полога.

Но все происходило наоборот – поднимаясь вверх, она сосредоточивается на своем сиянии, ревниво не отпуская его от своего тела. Она становилась для моего зрения в конце концов яростным светоносным жерлом, знаменитой репродукцией, просто блистательной отвлеченной репутацией культурной луны.

Я почему-то представил, как на нее смотрел В. А., путешествуя бог знает когда по настоящему Нилу. Жерло вот-вот закрутится в церебральный циферблат, распространяя вокруг себя морок болезненного безвременного блеска. Восходя вверх, смещаясь, она делается чистым прободением – и в там могут слиться все смыслы вне зависимости от времени.

О! о ней не страшно говорить красиво*.

– Я, как увидел: вы уже сидели, ссутулившись и о щеку опершись, – все понял. В здешней галерее есть одна картина – «Осенний мотив», я ее «заговором любовников» зову – там тоже так один сидит, со спины, голову склонил, шея как стебель, совершенно поверженный, ноги широко развел, чуть пошло, но от этого сильнее приманивает. А главное: встанет и немедленно зашагает прочь.

Я посмотрел на В. А., – он говорил это, словно покинул свое прежнее тело, став равным своей взволнованной речи.

– И еще очень хорошо помню, как вы возникли промеж акаций, напролом, не видя ничего, как будто из рамы такой зеленой вышли в одежде не по размеру, очумелый. Как видение в балете дурачком, но сработало, знаете ли, в момент.

Ну что можно было ответить на эти признанья? Не мог же я сказать ему, что все то время, что он тихо говорил мне эти слова, я чувствовал, как у меня сводит желваки оттого, что вспоминаю совсем другую историю.

Как впервые увидел Тадеуша, ставшего самой большой любовью моей жизни, как в умывальной нашего училища в большом горизонтальном зеркале, в осыпающейся отсыревшей амальгаме и он предстал мне тоже в обрамлении огромного распахнутого окна и синего, местами траченного неба за ним.

Я тоже мог поведать В. А. свою историю: мокрое лицо, белое полотенце, струйка воды, брызнувшая в зачумленное зеркальное стекло из его сжатых губ.

* Она ведь, как и еще не проснувшиеся звезды, самое затертое место в мире. Кажется, даже созерцание прошлось по всему ластиком. Когда я различаю что-то – изгиб реки, косогор в отдалении, то говорю – «многократно», – будто впервые встречаюсь с этим словом. Это же происходит с губами, выговаривающими его. Вся подозрительность исчезает, когда я прикасаюсь к своим губам тыльной стороной ладони. И эти места влекут взор потому, что они прикосновенны, будто знаешь их, как возлюбленное тело, и они не могут надоеть.

Я тоже смотрел в это зеркало, и мне показалось, что это в меня летит стеклянная субстанция. И еще артиллерийская геометрия, над которой мы оба склонились, будто свела нас в неукоснительный закон.

Мы с Г. застали друг друга врасплох, и случившееся следом было похищением особого рода, когда, обкрадывая, одаривают многократно. Врасплох, внезапно, неистово и навсегда*.

– Вы давно не здесь, не здесь, – говорил мне В. А., кладя руку на мое плечо. И я клонил голову набок, припадая щекой к его руке, как к теплому воротнику.

– А вы бреетесь вообще-то? – спрашивал он.

– Вашим «золингеном».

– А кажется, у вас еще и нет щетины.

На набережной – ни души, и луна светит из зенита огромным пятном.

– Вы хотите поцеловать меня? – спрашиваю я и быстро опережаю его.

– Ох ты боже мой, – выдыхает он, он начинает говорить как-то бегло, будто его вот-вот настигнут: – Вот послушайте, я еще помню наизусть из Лукреция совсем стародавнее. «О природе вещей». Эх, память, память...

И он сделал паузу, будто пробежал глазами по свитку:

Тучи собираются там, где слетается много шершавых

Облачных тел наверху по пространству небесного свода.

И хотя эти тела не очень-то цепки, но все же

Могут, друг с другом сплотясь, держаться достаточно крепко.

Я смолчал.

– Вообще-то всегда младым мужчинам эту строфу читаю, действует безотказно. Правда, скажите, ведь после этих гекзаметров хочется прижаться, как-то сплотиться, что ли.

– У вас совсем не шершавое тело.

– Благодарствую. Вы все влет запоминаете. А я вот еще представил, как вы в тесном сюртучке таком по-комариному застегнутом, на парапет этот сиганули и ступаете, балансируя, руки раскрыв. Не знаю, отчего так подумалось. Такая картинка вполне в немецком стиле, где клятвы на краю горного обрыва, ну, может, еще льдины скрежещут, ломаясь, наступая на берег. Нет, льдины уже слишком. А сюртучок пошел бы вам – та-

* Я будто вздрагиваю, видя его руки, а я не вспоминаю, и вижу их все время, мне не надо извлекать их из далей того времени, вижу рисунок жил, миндалевидные широкие ногти, большую ладонь, розовеющую полоску шрама, там, где сходятся большой и указательный, и как я дышал ему в ладонь, в маленькую родинку, как в крошку черного хлеба, совсем задыхаясь... Штриховка рыже-золотых волосков – и какой был риск – попасть в его руки. Я всегда вспоминал, как увидел его гораздо глубже, чем могут смотреть мои глаза, будто он всегда был во мне, и, пребывая в прошлом, исчезнув на самом деле, не перестает без усталости возводить мое настоящее.

лия, плечи, стать такая подростковая, ну и серые ичиги. А может, для ваших чудных стоп лучше пулены? На худой конец, поймите меня серьезно, чувяки. Шевро, мягкие, из волшебного козленка!

В. А. никогда не мог удержаться от бесконечных предметных экскурсов, которые, как казалось ему, утончали простые смыслы его желания.

Мне много раз хотелось сказать ему, что не стоит смещать любовные смыслы с их нежностью и трепетом в какую-то мануфактурную сторону.

Мне ведь было с ним не стыдно.

Но он всегда, косвенно комментируя свои чувства ко мне, словно раскатывал на прилавке бесконечную штуку материи, которая соткал сам, тоскуя, и вот она своими складками заваливала и застила все.

И я едко думал про себя, что стоит ожидать и описание сорта прекрасной бумаги, на который был оттиснут шедевр Лукреция.*

Вдруг В. А. осенило, мне показалось, что он даже просиял, невзирая на темную пору:

– А давайте отправимся в парикмахерскую хотя бы! Это ведь замечательный мужской обряд. У нас тут есть еще одна оставшаяся с единственным мужским залом. Работают допоздна, вроде клуба. Вы не против? Вас подстрижет настоящий тупейный художник Иоанн. На девять ступеней ниже уровня земли.

И вправду, в старую парикмахерскую надо было спускаться по вытертой до белого лоска лестнице чугунного пупырчатого литья. Пересохшая, давно не крашенная дверь была приотворена.

Сухая вечная смесь дурных одеколонов, пудры, и неопрятных мужчин, пребывающих в бездельном ожидании в маленьком фойе...

Широким жестом усадил меня в кресло, пару раз качнув под ним педальку, и поршень, скользя, привел мое тело к безупречной высоте, будто все это происходит в далеком детстве, только тогда мастер накачивал кресло, чтобы я приподнялся.

Неправдоподобно печальный парикмахер сосредоточенно собрал в шепоть мои волосы на макушке, провел по ним к затылку, стараясь примять их, как палую листву, отвел со лба челку летящим жестом, будто смахнул пепел любовных писем.

Еще раз взьерошил все и замер.

Начало было очень выразительно.

– Желаем как быть причесанными нынче? – в каком-то литературном торжественном регистре провозгласил тощий маэстро. Голос его был словно сплюснут.

* Это в нем вращался такой неостановимый ротор, на котором, в сущности, и держалась возможность в условиях этого времени просто существовать, не умирая. Словно в подтверждение я выхватывал всполох его ясного глаза; там нельзя было различить никакой мизерии, ведь ставки, сделанные им, были очень крупными.

Верткий парикмахер был как-то бледен и белес, будто он был гением этого подвала, освещаемого лишь старыми пропыленными плафонами-шарами, и еще я заметил и рябь сухих морщинок у его глаз, и скорбную складку у обветренного рта, будто его внешность уже на несколько шагов опережала настоящий молодой возраст.

В. А. сказал за меня из дверного проема:

– Иоанн, будь любезен, постарайся. Он желает а-ля «чемпион»!

– А когда я, В. А., не старался-то, вот и я говорю, не упомянуть, чтоб не старался, – двусмысленно хохотнул он, будто расточал непристойность в приличном обществе, но тут же посерьезнел. – А вы все-таки совершенно уверены, что именно он и именно всенепременно этого «чемпиона» желает? Что с того, что теперь все хотят новомодного «чемпиона» из трофейного кинематографа.

Он подражал чьим-то артистическим речевым оборотам.

В. А. не ответил.

– Ну, а-ля «чемпион», так а-ля «чемпион»! Нам ведь, парикмахерам, все триедино – хоть кросс, хоть покос!

– Иоанн, ты просто кровосос.

Тощий длинный парикмахер, в котором было что-то комариное, хмыкнул, так как был очень доволен рифмой.

Мне в зеркале было видно, как в специальном закуте-нише общего цирюльного зала над чьей-то совершенно седой головой другой толстый парикмахер совершал сложный ритуал завивки. Старичок в кресле, осененный бигуди с прижатыми к вискам ватками и торчащими несколькими металлическими зажимами, как антеннами, восседал в белой накидке-тоге совсем как патриций-триумфатор.

Его голова в железках вдруг игриво выпалила:

– Пособолезнуйте лучше, В. А., ветшающему адепту опрятности и мученику ветреных красот. Еще час претерпевать этих противных экзекуторов, ведь тооолько нааачалиии... – он тоненько захныкал, будто внутри него был скрыт ребенок.

С такой же легкостью он переключился:

– А мне надо вас, В. А., посетить еще непременно. Есть проархинаин-неотложнейшее дело.

– Ю. Ю., любезный, вы здесь в такой тревожный час. Так добрый вечер же. Да приходите же. Не капризничайте. Не откладывайте визит. Кажется, я еще никуда не съехал. Вы не ошибетесь.

И он, шумно шаркнув сухой подошвой, добавил:

– Morituri te salutant.

Иоанн грустно обходил меня, как сумрачный спутник планету. Но вдруг он вставал как вкопанный, попав в единственную точку, откуда можно было меня обозреть как некий эстетический образ. Из нагрудного кармана под планкой фронтовых наград он неожиданно выхватил ножницы, будто на что-то решился, и они зачикали в прелестном регистре сами со-

бой, как кастаньеты, и другой рукой он вознес металлическую расческу, которая, едва коснувшись моих волос, сверкая, затрепетала.

От зеркального зрелища этой процедуры уже нельзя было оторваться.

«Это же картузный балет», – подумал я.

Вдохновенный мастер Иоанн ориентировал мою голову то вправо то влево, склонял или откидывал ее так, словно она была сцеплена с моим туловом хорошо смазанным шарниром, – едва нажимал двумя пальцами, как-то отдельно. Он посматривал иногда на меня через свою ладонь, поставленную вертикально у носа с замершими ножницами, будто ловил меня в особенный эстетический прицел-прищур, через который только ему открывается уже сфокусированное завершенное зрелище произведения.

Он словно показывал, на что способно тупейное художество, доставшееся непростому человеку, и он им великолепно и как бы исподволь, можно сказать нехотя, но остроумно владеет. Такой высший шик. Но в этой пародийности была и бездна старательного артистизма, если учесть, что и он сам был словно приурочен для критического созерцания. Прямые бровки, сложная линия эспаньолки, проведенная словно по лекалу, округ по-детски надутых неподвижных губок и безвольного скоса подбородка, и гипсовый шлем аккуратнейше зализанной шевелюры – все было выгемнено в единую чернеющую земляную рыжину. Это вообще-то с его белым коротким халатом и бледным ликом не очень-то вязалось. А самое главное – он, представ даже в изумрудно-зеленом окрасе, остался бы очень-очень светлым блондином. Почти альбиносом.

Я ждал от него чего-то такого, что и доктор Ашенбах у Томаса Манна, отправившийся прихорашиваться ради польского шалопаю. Но цирюльник Иоанн только грустно сказал В. А., по-прежнему подпиравшему косяк проема:

– Прекрасные фактуры у кавалера, мои комплименты. Но будем ли править бровь? Нет, вот и очень хорошо, это только любителям. Иначе не физиономия будет, а карточка киноартиста от ретушера. Я вот в завершение подровняю вам затылок и виски исключительнейшей машинкой трюфлейной, но она английская.

И по моему затылку зашустрила маленькая жатка, косилка и механические грабли в одном приборе. И грустный Иоанн иногда припадал к моим плечам, совершая круг, слишком плотно.

– Бриолин! Бриолин! – провозгласил он, будто кого-то позвал в помощь, отскочив наконец от меня, как от завершенного произведения.

Он натер ладони приторным душистым веществом из жестяной баночки, и меж моих коротких заблестевших по-жестяному волос пролегла процарапанная дуга пробора. Я стал походить на кустарную картинку свежепричесанного молодца, висящую рядом с прејскурантом.

Напоследок, будто прощаясь, парикмахер Иоанн несколько раз взмахнул перед моим лицом огромной кистью. Розовая дымка пудры озарила меня, окончательно закрузив.

– Может быть, маникюр сделаем, как у поэта Пушкина Александра Сергеевича? Краса ногтей на склоне дней? – уже без надежды сказал он

мне, цитируя кого-то, в спину, – а то в случае чего заходите, будет желание. Мы и броем вполне себе чисто.

По ступенькам в помещенье парикмахерской навстречу нам сбегал молодой мужчина навеселе. Может быть, это ему понадобился маникюр?

– Гера, да зачем же на ночь бриться, какой Морфей, откройтесь, припадет к вашей гладкой щеке?

– Все бы шуточки-прибауточки всякие вам, а если и припадет, а что, – сказал ласково весельчак; просачиваясь мимо нас, он уже провозглашал: – Иоанн, ты всё? А, и вы здесь тоже, Ю. Ю.! Самотверженно приветствую заслужённого труженика красоты! Как сегодня броем, Ваня? С пальцем или с малосольным? Палец мылом мылил, змееньш?

Казалось, плотное облако перегара, изошедшее из него, можно было оттолкнуть или опрокинуть. Запах был почти что твердым.

– Вот уж кто не сопьется – не человек, а просто жизненная ситуация, функционирует по ее обстоятельствам, – поставил со смехом диагноз В. А. на улице.

– А почему Иоанн? – спросил я о парикмахере.

– Так он же «златоуст», разве не заметно? Его сам Ю. Ю. достаивает употребленья. А Ю. Ю., хоть вы и не спросили, потому что он – Юрий Юльевич, и легко ошибиться. Это он меня В. А. провозгласил, и ничего себе получилось. Я принял.

Мы шли еще какое-то время, и он, вдруг на несколько шагов опередив меня, пристально оглянулся, будто искал кого-то другого во мне признать в этих чуть шевелящихся сумерках:

– Ох, вы совершенно не похожи, совершенно. Но кто сказал, что вы должны быть на кого-то еще похожи?

Он приостановился в свете фонаря.

– А мой был кудряв, как бес, все-таки, – прибавил он, хотя мне было понятно, что весь этот ритуал был совершен им ради выявления каких-то качеств, которые он, бедный, искал повсеместно, и этот ловчий азарт был сильнее его.

Я провел по голове растопыренной пятерней, будто по засохшей купальной шапочке, растрепав своего ороговевшего от бриолина «чемпиона».

ЮНИС, ВПЕРЕД!

В. А. слишком радостным голосом обратился к зашевелившимся сумеркам, будто обрел в них волшебную эссенцию, нечто, что нас защитит:

– Да здравствуйте же, Юнис разлюбезная!

Навстречу буквально выпорхнула из палисада, хлопнув жидкой калиткой, и резко остановилась перед нами худая, загорелая до пергаментной смуглости, что было видно и в такое время, дама в панамке. Поля шляпки были опущены на глаза по решительной довоенной моде. Своей темной кожей дама словно вбирала световой экстракт вечера – еще немного, и она, казалось мне, стемнеет, как поздний час. Но удивительно, что он нее шел свет, будто она куда светлее этой потемнелой поры. Может, из-за светлого холстинного платья-рубашки с линейками вышивки на просвет и в складках, замятых веером, уже неисправимых глаженьем. Архаическое одеянье (скрупулезного кроя хитон или власяница – символ самоотречения) овивало ее худобу, как парус высокую мачту, – во всю длину, и можно было, дернув за свободный поясок, мгновенно распустить его в безмерное взветренное полотнище. Да и она сама была как юнга-сигнальщик, устроившийся на носу парусника и прошедший так всю жизнь, ведь в ней горел задорный фонарик, подающий условные знаки, будто она тоже плыла в сложном створе, как и мы с В. А.

Стоя перед нами на тротуаре, в свете, идущем из окон дома, она производила многослойное впечатление. Ее можно было разглядывать бесконечно. Может, из-за глубокого загара, может, из-за отскакивающего опрометью стеклянного взгляда, из-за пластичности, из-за странного притягательного духа, чего-то неясного еще. В ней было всего много, хотя исчислить ее можно было, как это ни странно, одним знаменателем при всей ее исключительности.

Я потом подробно вспоминал: плоская, совершенно не женская статья, в широком вырезе лучатся ключицы, никогда не приманивавшие мужского взора, резкая шея и кисея решительной стрижки – словно оборка, притороченная с изнанки к тесным полям панамы; из украшений – чрезмерно большие наручные часы, свалившиеся к самому запястью, словно по сухой ветке, – настолько большие, что я различил их тиканье. И еще странный, дающий сразу о себе знать запах, идущий от нее решительным толчком. Не вал женских томительных притираний, не сладкий лоск помады, не щекотка пудры, а чего-то иного, но тоже – из мира до-машности. Это я почувствовал очень остро. Будто, невзирая на жаркую

пору, только что очень близко от нас попилили на дрова целый ствол, и ореол еловых опилок мельчайшей новогодней перхотью опутал все. Если бы не еще какая-то навощенная плотская оболочка в ее аромате, проступившая из-под древесного хаоса розовой сладостью, я бы решил, что она просто-напросто растирается скипидаром.

К ней, буквально выплыв следом из калитки, пристроилась стустком тумана томная спутница – полная ее противоположность – большая и мягкая, словно выбеленная, какая-то разомлевшая на тысяче перин восточная нимфа в пародийно женственном облачении – в суеде оборок, лент и рюшей, с перетянутой талией, будто ее платье шили, споря друг с другом, сразу несколько портних, наперегонки пришивая суету оторочек, шнурков и лент. Просто птица какая-то редкостная, выбравшаяся на волю из случайно открытой клетки. Черная коса, свитая нисходящими от затылка ярусами, как у садовой статуи, и темная тень над влажной губой. Виллиса, которая вот-вот закружится...

В. А., видимо, тоже впечатлился зрелищем этой изукрашенной дивы:

– Вращается ли наше «Динамо», ответьте, только не томите. Ну прошу... – Он шутит, но я сразу не понял, что он имел в виду спортивный клуб.

– Без перемен, без перемен, без перемен... – заговорила смуглая дама быстро, будто ее включили тумблером. – Меня вот во всех смыслах динамят, динамят и динамят. Но сетовать бесполезно, и так все очень хорошо, а могли бы и попросить. Отрабатываем скромные подачи при свете дня, так как вечерние корты в помещениях на все лето в ремонте. Сборы опять отложены. Конечно, отменены на самом деле. Подозрительный теннис не попадает в приоритеты.

Она немного картавит. Я понял, что В. А в курсе всех ее дел.

– Ах, вы не на каникулах, значит, похвально работающая Юнис... Даже в такую жару? Ветра нет, какие-то мошки кружат и роятся, что юным девам нельзя сказать «ах!» во весь рот.

Юнис не реагирует на игривые реплики.

– Нет-нет-нет, милый друг, да не куражьтесь же, этот легкий жанр совсем не вашего темперамента, – она тараторит и смеется, показывая длинные зубы, – летние секции энтузиастов, ну почти что моя частная лавочка, вы же знаете, – она делает паузу, словно отступает на шаг для подачи, – и зимняя бескормица маячит не так уныло. Вот и Дамирочка у нас делает удивительные успехи. Так, радость моя?

Дева застенчиво покачивает ридикюлем, другой рукой ныряет в ладонь старшей товарки.

Они вместе посмотрели на меня. Одна – прямо и не мигая, сухо, как ящерица, замершая перед новым движением, другая – таинственно, совершив невидимый глубокий оборот внутри себя, с томностью и тайной.

Я и так понял, только увидев их, что это для меня совершенно безопасное знакомство. Во всех смыслах.

– А вы, а вы, а вы? Пожалуйте к нам как-нибудь? Вы, как кажется мне, играете... Да-да, вы должны играть.

– Мне уже не успеть – я на чемоданах.

Я подумал, что вот как случается иной раз – человек, лишь говоря, почти не двигаясь, обращает другим серию метафизических толчков – как на теннисном корте. И сам готов в любой миг отбить невидимые подачи. И ее поза и манера говорить будто насыщены энергией внезапного отражения, подразумеваемого ежесекундно. Это просто гипнотическое ящеришье свойство.

И подтверждая мое наблюдение, она быстро заговорила в ритме убеждения, будто затикал быстрый гипнотический метроном, которому грузик по стрелке сдвинули почти что вниз:

– Я вот все предлагаю моей Дамирочке постричься фасоном, как она захочет, конечно. А она ну ни в какую. Что скажут дома. А дома скажут всегда не то и не так и одно и то же. На то он и дом с домашними. Или же может сделать себе современный перманент, на худой конец.

Она машет перед лицом ладонью, снимает с губы прилипшую мошку и не заметит, как В. А. прыснул на «перманент, на худой конец».

Она темпераментно наступала уже на меня. Будто за билет в дамскую парикмахерскую отвечал именно я, только что столь выразительно подстриженный.

– А как вы, как молодой мужчина, представляете себе Дамирочку с короткой энергичной стрижкой? Прекрасно ведь, правда? Она мне такой просто мерещится!

– Да я косы люблю, они ведь такая редкость теперь. Правда? Все вмиг в сорок первом остриглись, а что за эти годы отросло, посудите? – вступилась сама за себя дева.

– На косах всегда вешались обесчещенные отсталые невольницы в беспросветную эпоху живоглотов, да!

Юнис поняла, что провозгласила что-то не то, и лишь усугубив неловкость, поправилась:

– Троглодитов то есть, простите. Разве я не права, Дамирочка?

– Тимуридов, – дева знала историю.

– Но это все равно не играет тут никакой положительной роли. Они все равно все совершенные дикари и женщин не ставили ни во что, только эксплуатировали нещадно.

В. А. смягчал политический спор:

– А вот леди Годива скрыла свою наготу плащом распущенных кудрей и не была обесчещена перед вульгарными хамами-горожанами. Правда, общество было уже не дикарским, а классовым. Без троглодитов, но с живоглотами.

Юнис уверенно парировала:

– У нашем государстве, к счастью, уже тридцать лет все леди выведены как класс подчистую.

– Нет, тридцать лет будет через три с половиной месяца. Так что пока косы можно и разрешить. Распускайте, милая Дамира, на здоровье свой черный шелковый плащ.

Он не сдавался.

Крыть точного В. А. было нечем, но Юнис передразнила:

– Распустила Дуня косы, а за нею все матросы. Только еще передник гимназический накрахмалить не хватало. Тьфу, одним словом!

Но победа была за образованным В. А.:

– Нет, Юнис, «тьфу» – прозрачная субстанция из первого круга пищеварения, разлагающая крахмал девичьих передников, кстати.

– Вы знаете, конечно, вашего Юрия Юльевича, знаменитого гадалея? Разве что не очень хорошо в этом качестве? Да ну? Так он же в нашей опере художник главный. Нет? Не очень хорошо как гадалея? Ну неважно. А он вот от вас без ума совершенно. Ваш ум, говорит, проницательность. Он удивительный гадалец. Уж поверьте. Его шелковый голос сводит нас с ума, да и кого угодно. Так вот что он объявил Дамирочке недавно, послушайте. Это не просто карты сальные раскинул – и тьфу, это таро. Таро. Старина настоящая. Одним словом, запомнила дословно: «В светлом будущем вы, дева, будете прекрасно жить: там, где солнце и вечные цветы и преобладающая голубая печь-голландка». Каково?! Мы все думаем с утра до вечера: зачем же голубая печь вечным цветам и солнцу? Что сказал мне? Зайду и расскажу как на духу. Кстати, у меня голландка не голубая. У Юрия Юльевича, кстати, шлафрок старинный красоты неопишуемой розового бархата, ну уж не с войны, конечно, трофей какой-то там, а чисто дворянской рукодельной старины. Затканый бархат лилиями, коронами и кушак с золотыми кистями. Женщины памятьливы на детали. Не то что эти самонадеянные мужчины, правда, моя чудесная Дамирочка...

Дева как-то услужливо рассыпала пригоршню мелкого смеха, словно бусы. Звук не сопрягался с ее томным очерком. Я понял степени зависимости, связывающие их.

В. А. через несколько шагов, когда они скрылись, тихо сказал:

– Как-то «детальки» меня насторожили. Шустрая наша Юнис, но возле нее всегда бьют какие-то холодные ключи, думаю – из-за ее странного костюма, ведь как-то «мимо пола», не правда ли... И еще эта парфюмерия – вы почувствовали? Скипидар с розовой водой. Смесь не для слабонервных. Но ее можно понять – все какие-то жилы растягивает на своей спортивной ниве. А можно ли, как вам кажется, сказать: растянул на противной ниве? Неплохо? А вообще, она совсем не хочет быть женщиной, вы заметили. Но судя по всему – чрезвычайно любит кукол, вроде этой темной во всех смыслах лесбосской Годивы. И еще мои давние наблюдения, с ними связанные, поделиться не с кем, простите великодушно.

Так вот. Юнис пергаментная, не правда ли? Будто кислый хлеб коркой закоричневел? Ведь точно, что скажете?

Я согласился.

– А вот эта Дамира – сдоба, из-за которой случился великий раскол на втором Вселенском соборе. Ну и хорошо, что хоть чего-то вы не знаете!

В. А. обрадовался:

– Я когда смотрю на нее в этих оборках, сверху килограмма три прекрасных волос, на такую белую, то понимаю, что самое главное – это еда. Вообще, ну для христианства хотя бы. Всё же случилось, ну я о главном расколе в Европе, – из-за опресноков и ржаных лепех – чем причащаться людям. Так вот, сдобную Дамиру на вкус представить можно, а вот Юнис – ни за что. Хотя, знаете, я задумывался, секс с Юнис – вполне представить можно.

В. А. то ли смеялся, то ли был серьезен. У него этот стык хорошо получался:

– Ну, по закону Гука, учили ведь, это когда резинка растягивается, растягивается, растягивается. Ну и срочно назад. Вот так, что-то в этом роде. Согласны? И все это в драпировках трофейного шлафрока. Кисти в ноздре.

Еще долго мне будет мерещиться эта особа.

Когда я буду разглядывать печатные и нарисованные плакаты, фризы и барельефы новой архитектуры, пытаюсь уразуметь настоящие темпы времени, набравшего силу, где друг из друга выдвигаются поджарые фигуры, как неутомимый ход нового ритма, поработавшего все.

Когда меня будут наступать боевитые гимны безлюбого гона новых энтузиастов – пловцов, стайеров, спринтеров, молотобойцев, сталеваров, пахарей и стрелков.

Марионеточные жесты их каменеющих тел скрадывают орнаменты угроз и назидания... Замершие навсегда, они кажутся холоднокровными, которые только одни и могут замирать по-настоящему.

Уже в доме В. А., беря меня за руку, негромко сказал в мое ухо, будто с сожалением:

– Вот насколько женщинам ведь легче выказывать свои чувства. Я-то свою влюбленность не скрывал только на фронте. Есть такая книжка изумительная – «Народ на войне» называется. Якобы сборник солдатских речений, подслушанных дамой на Первой мировой, и знаете, сколько там нежности. Я думал, что это все ее выдумки, а теперь вот подтверждаю. Сам со своим кудрявым только за руку и держался, не отпуская. Спал по блиндажам рядом, рот в рот. А что? Каждый день – день последний.

Он стал перебирать записную книжку. Нашел страничку.

– Вот извольте, запись этой самой сестры милосердия Федорченко. Это солдаты разговаривают: «Очень интересно по вечерам было, до сна. Еще говорили промеж себя до запрету. Чего-чего не переберем – с бога начнешь, а бабой кончишь... А дома не с кем слова перемолвить. Нароботался, лег – и на тот свет. Не с женой же рассуждать».

Он победно захлопнул книжку.

– Но о главном теперь. Женщинам вообще многое позволено, ведь всегда кажется, что они всё не по-настоящему, вроде играют. Мне, кстати,

Юнис один раз провозгласила, – и он бодро передразнил ее решительное кокетство, чуть картавя, высоко поднимая брови и подергивая плечами: «Вы знаете, В. А., наше коренное отличие?» Я: «Вполне себе догадываюсь, если вы коренные корни подразумеваете». А она: «А вот и нет, бросьте хоть раз свои скабрёзности, и не догадываетесь». – «Скажите-ка на милость?» И она: «Вы вот что зеркалу говорите, когда бреетесь, кроме слов сожаления, что юность ваша и легкость тью-тью и т. д.? А я всегда одно и то же провозглашаю как заведенная: „Я живая женщина, живая женщина, живая женщина“. Будто в свою кожу обратно вхожу. Ведь кто есть женщина, с которой сошла оболочка?» Знаете, что она провозгласила? – «Стэрва».

В. А. с удовольствием рассказывал о «наших бытовинах», о «горючей отрыжке земли», пришедшей по трубам в комнатные печи и кухонные плиты...

Иногда мне казалось, что эти тексты уже давно написаны им, и он хранит рукописи где-то в тайном месте. Такая познавательная новелла о газопроводе, о новых плитах; их несколько лет назад установили на кухнях (хотя конфорок оказалось на три меньше, чем хозяек, и это порождало необыкновенной силы распри) и по законам военного времени запретили готовить в комнатах на керосинках, керогазах и прочих примусах. Расклеивали рескрипт с карами, как завоеватели. Повсеместную торговлю керосином свели на нет. Теперь его можно прикупить лишь на окраинах.

Сначала повешали объявленья, дали сроку десять дней, а потом – насквозь с обходами, врываются в жилища с милицией и сами составляли акты, штрафовали, реквизировали огнепорождающую утварь. Выдающаяся, знаете ли, была кампания. В тачках вывозили с дворов, сбрасывали в гурты на улице. Бутыли, бидоны, канистры керосина отдельно. Такие костры без огня. Очень выразительное зрелище! Милиция свезенное охраняла почему-то только днем, а ночью все растаскивалось и пряталось народонаселением.

Но прежняя простая жизнь как-то стала лишаться с таким трудом устроенной уединенности. Что ж, теперь только кофе на спиртовке... Необходимо выходить непременно на общую кухню – с чайником, кастрюлей, ничтожной плошкой.

А что дает готовка на газовой плите – примитивные продукты, сало-жир, дурость-бедность, никаких тебе разносолов. Только стало все делаться публично, скандально. Да потом почти никто готовить-то и не умеет, утратили навыки за долгой ненадобностью.

Но вот что делать с дементными, давно утратившими счет дням некоторыми жильцами, пытающимися распалить новую конфорку горячей щепой через несколько минут после того как отворили вентиль. Чем покарать, что делать с устроившими в газовом устье конфорки безумное гнездовье из лоскутов сала и перьев горючей ветоши.

Плиты принесли с собой и новые страсти в устоявшуюся коммунальную жизнь. Жильцы стали беспробудно следить друг за другом, опа-

саясь пожара, взрыва, отравления прозрачной непахнувшей субстанцией, которая даже не шипит, повсеместно истекая.

Живут принохиваясь, как байбаки на кочках, с нескрываемым сладким удовольствием говорил В. А. о своих соседях. Многие были просто не в состоянии даже обучиться правильно разжигать конфорки в плитах и форсунки в печах. Просили соседей. Дурдом.

Газовые счетчики, как барабаны тревожного размера в змеевиках новых труб, вознесенные под самый потолок, возвещали экзекуции. По городу прошли волны смертей от угара, быстрого пожара, чудовищного взрыва, когда выбивает куски фасадов с окнами и выблевывает крышу и пр. и пр.

Сокращение «пр.». В. А. сухо выбивал губами, как будто приманивал небольшого зверька.

Ну и, конечно, нескончаемые слухи и достоверные, неведомые никому подробности о неисчислимых жертвах. Цивилизация всегда несет в себе «обоюдную опасность». Это его слова. Он мог отменно выразаться.

Как говорится в добротных рассказах, судьба свела меня с нею, когда новая профессия газовой контролерши позволила ей переменить и возвысить свой «социальный» профиль. Иногда по рабочим дням она может теперь остаться дома, так как стала служить «на газе»; о! расчудесная волнующая сердце новина – ходить вечером по адресам, осматривать с фонариком трубы, проверять винтили, светить в утробы духовок, списывать цифирь со счетчиков.

Можно легко представить, как ей нравится сверять квитанции расчетных книжек, наблюдать за порядком убогого людского вещества, представлять неожиданно перед должниками во всей мстительной красе.

В. А. говорил, раньше она торговала хлебом неподалеку в выносной будке на ножках, то ли Баба-яга, то ли обычная крыса, принимающая людской облик, но там что-то у нее не сложилось – то ли учет был слишком сложен, то ли угрызла слишком много мелочевки, одним словом, с хлебного места согнали.

Был у нее кавалер – военный кладовщик наиничтожного чина, такая же накипь. Корявый и сухой татарин. Если их в казенное нарядить с одного склада, то было бы и при свете дня не различить. Она с десятков раз приплод травила – ничего ее утробу не берет.

Но она «ждет серьезного» и чтоб «на руках носил». И В. А. ядовито прибавлял, что «двуруких носильщиков поубавилось». Но самое главное – чтобы, конечно, «все-все прощал из-за чистой любви ко мне». Он издевательски крутил пальцем у виска.

И я вспоминал, как, забывшись, эта особа голосила в своем углу подурному какую-то бессловесную чепуху, вторя граммофону, впадая в невыносимые вокализы. Из-за многих перегородок звуки приходили ко мне совершенно овечьими. Она, между прочим, была на овцу похожа и развивающимся коротким перманентом – будто вышла из-под струй кромешного ливня, и понурой посадкой своей кучерявой головы. Копеечные медные

сережки, темнящие вокруг проколов кожу, рдели в длинных мочках красными болячками... «Каждый дурак красному рад», – это тоже сказал В. А.

Я подумал, что ее легко нарисовать – несколько жестких пародийных линий-обводок в духе плакатов Лотрека, и дело готово. Только у Лотрека модели – женственные гризетки, кокетливо посохшие, как насекомые перед мировой зимой, здесь же тотальная жесткость облегчила бы задачу любому мало-мальски умелому художнику. Ведь она как объект натюрморта – вещь или тряпичная складка, была извлечена из времени, и мне не верилось, что она может меняться в своей отвлеченности.

Встречаясь со мной то в сумерках кривого коридора, как на средневековой тесной улице, изогнутой для того, чтобы не дать разгуляться вражьим лучникам, то у кухонного умывальника, как на пьестете старого квартала, она все пыталась заговорить. Будто у нее были какие-то неведомые мне отношения с классической драматургией. Хотя мне это казалось, конечно. Ведь при всей спланированной уединенности нашей с В. А. жизни пересечений с другими насельниками квартиры было не избежать. И, собравшись легко и мило поздороваться и непринужденно заговорить, она утрированно отрепетированно кивала, и умиление получалось сверхвыразительным, будто она беспрестанно гримировала себя милой женщиной и репетировала этот приветственный выпад в мою сторону. Я внимал ей, как привязанный к мачте Одиссей, сирене. Невидимые служители быстро катили бутафорский корабль со мной в сторону кулис.

Утробная жесткость жестов и напряжение тела мешали ей артикулировать мину любезности, также она не могла выбрать приветливое слово из всего великого словаря, вдруг открывшегося ей. Он тупо пасовала. Кивнув, я успевал ретироваться.

Сюжет ее туманной жизни был вообще-то неясен, поэтому в ней была опасность. И это было ее главное качество, которым она буквально светила округ, как головня ночью.

В. А., улыбаясь, рассказывал, как ко всем своим простым прелестям «эта идиотка» по воскресеньям (ну дождаться этого святого дня не может) в городском парке со специальной вышки свержается вниз – на парашюте. «Будто я прям камень». Цитата! И длится это увлечение несколько месяцев, как только снег сошел и вышку соорудили. Стиль отдыха такой теперь – очередища на полдня, чтоб рухнуть с верхотуры. Опуститься под таким зонтом гигантским на тросах. Значкисты ГТО, конечно, без очереди, но не больше двух раз. Это в парке культуры и отдыха происходит, на прудках.

О ней даже в местном досаафовском листке написали – с фото, как приземлилась, и описанием последнего газового извива женской карьеры. Она соседям раздавала листок и рыдала от гордости и счастья. Все бормотала, как попервости только и думала, чтоб подол зажать, когда летела бультыжем. Слезы в три ручья, вой утробный, не знали, как утешить. Ну просто

припадок с рвотой взхлеб. Кто бы мог подумать, что вот о ней, самой обыкновенной-разобыкновенной, и такое – и в настоящей газете. Ну не пересказать. Поняла, что она героиня теперь. Ходила в редакцию, в типографию, выпросила стопку. Несколько штук сама к забору приклеила, наблюдатели рассказали. Отчаянно хочет, чтобы еще о ней хоть что-то написали. Вы на нее посмотрите...

– Да уж посмотрел, она под дверь без вас эту поэму подсовывала.

– Ну, прости, Господи, чад своих неразумных. Но вы ее остерегайтесь, она из прятких. Вы еще учтите, что она, как бы это сказать, – развилась из еще более сферического яйца, чем мы.

– ?

В. А. не мог не прочитать мне занимательную лекцию из истории человеческих каверз.

– Это я вслед Аристотелю трактую происхождение существа мужского пола из более скругленного яйца, извините, не сказал сразу. Имеются в виду, конечно, куры и петухи, но можно и о ней так же умозаключить. Мужчины, как считали древние разумники, проявляются из правильных сфер, как имеющие отношение к более совершенным формам. А я ее в мужском весьма подозреваю. Стоит непременно учесть мое замечание. Усердна, но воровата, расчетлива, но непоследовательна, сметлива, но слишком алчна. Сложный комплекс противоречий! Если вообразить символ ее либидо, то это, скорее всего, пончик, а он – тороид без конца и начала. Мощный объект. Да еще такой, который сам себя жарит. Я, кстати, это проверял, довелось, и говорю теперь истинную правду. В ней, нашей пациентке, что-то есть такое – древнее из Галена и Аристотеля, когда философы полагали, что мужское женскому не противоположно, а продолжено, развито. Идея сводится к следующему: то, что у женщин внутри – у мужчин снаружи. Всего-навсего. Будто носок вывернули наизнанку. Без всякой борьбы противоположностей, которые, между прочим, возникли, когда была изобретена истерия. Меньше века назад! Но в ее случае сведение мужского с женским получилось очень уж угрожающим.

Да, открою небольшой секрет, да какой секрет, впрочем. Она способна пережить настоящее наслаждение, только сходясь сзади. Исходит только в том месте, ну, понимаете меня. И если в один прекрасный момент оказаться в ее нетях – не выпустит. Физически не выпустит. Удивительное дело. *Pardone moua*, как на собачьей свадьбе, когда кобелю с сучкой не расщепиться. Ну что-то вроде.

Да она еще и с Юнис дружит, не удивляйтесь, та ходит в гости иногда, на чай, так сказать, хотя они, как кажется мне, не кроссворды там отгадывают. Еще повидаете их тесную компанию, может статься. А что?

И я вправду восстановил потом одну историю.

Старый дом, не предназначенный для многосемейного уклада, для людских звуков был почти прозрачен, как ветхое рядом, и я мог подсчитать, сколько сейчас народа пребывает в квартире, так как пешеходов, прошествовавших по коридору мимо наших дверей, спутать по ортопеди-

ческим особенностям было невозможно. Однажды к нашей беспримечательной газовщице-парашютистке среди бела дня, когда люди уже давным-давно разошлись и в доме практически никого не оставалось, прибыл посетитель – не различить в звуковых сумерках жилища летящие в невидимую мишень оперенные пригоршни острых смешков было невозможно. Это бы и не привлекло никакого моего внимания, если бы вдруг не возникла какая-то глухая тишина, будто мишень унесли, будто сдвинули акустические шторы, будто все в один миг отелеснилось, став восковым и опасливым. Потом меня настиг стук такого настойчивого ритма, темп которого ни с чем спутать невозможно. Стук быстро стал бесшабашным и тяжелым, дощатым, будто рывкам задвигали что-то из домашнего обихода, готовясь к срочному переезду, – очень тяжкое и большое – раздвижной обеденный стол, дубовый комод, дощатый шатучий шифоньер, у которого запрыгали и согласно застучали распахнувшиеся дверцы. Туда-сюда, туда-сюда.

Пять минут обрывки нестерпимого звукового бедлама заполняли все.

С каким-то вскрипом, произведенным человеческой очень сухой утробой, похожим на рвоту пустотой, все прервалось. Потом шаги, и кто-то невидимый ушел.

Я бы не запомнил этот рядовой плотский эпизод, если бы не наткнулся буквально чрез четверть часа в коридоре на эту соседскую особь. Она, стоя ко мне спиной, прикрывала дверь своего закута, чтобы пройти на кухню с какой-то плошкой в руке, но потом развернулась, почуввав, что я смотрю. Над верхней губой у нее были нарисованы аккуратно завитые черные усы. Неважно чем – жженой винной пробкой, погасшим угольком из поддувала или специальным тайным карандашом для рисования женских усов, в которых насущная нужда...

Поняла ли она что-то по моей физиономии, не имеет никакого значения.

И еще в коридоре не выветрился легкий дух ледяного скипидара, смешанного в безумном коблере с розовой водой, коктейль, вкус которого, попробовав однажды, позабыть невозможно.

20 июля воскресенье

восх. 4.12

зах. 20.59

Луна

новолуние

18 июля

восх. 5.42

зах. 22.40

1926 – Умер Ф. Э. Дзержинский, виднейший деятель большевистской партии и Советского государства. Родился в 1877 г.

Всесоюзный день физкультурника.

Картинка с веселой голорукой молодежью. Девы вскинули красные шлепки букетов, молодец шествует с древком знамени, заливающего картинку красным парусом.

Так радостен день этот,
Светел, желанен!
Так ласковы
Летнего солнца лучи!
Идут ленинградцы,
Идут киевляне,
Тбилисцы, минчане
И москвичи.
Все – бронзовотелы,
Бесстрашны и юны,
Народа-героя
Родные сыны.
Сердца и глаза
К легендарным трибунам,
К великому Сталину обращены.
Весь мир восхищает
Их слава и сила.
Проверила их в испытаньях война.
И молодость эту
И силу растила
Лелеяла долгие годы страна!
И вот он – зеленый
Простор стадиона,
И мрамор бассейнов
И вёсел размах,
И кажется —
Это не мяч, озаренный,
А солнце
Несет физкультурник в руках!
М. Рудерман, советский поэт

ГОЛЫЙ В ГОРОДЕ

На утренней улице, как только я закрыл за собой просевшую дверь, с трудом легшую на стесанный порог, повернул в скважине бородатый ключ и уже сделал пару шагов, сердце мое ухнуло в ответ на зычную речь непонятно откуда взявшейся соседки-газовщицы, обращенную ко мне:

– А добрый вам денек!

– Добрый...

– А вы кем же, извините, конечно, В. А. будете?

– Племянник буду.

– Да, вижу, на вас и бобочка также его. Хорошая. Не покупная. Отдыхаете у нас, значит. Ну и хорошо очень. Тепло. Лето ведь. Дождей мало.

Что на это можно было ответить?

Я попятился, улыбаясь.

Еще полчаса я не мог отделаться от мысли, что все встречные смотрят на меня как на племянника В. А. Вообще-то надо точно сказать, что прохожие на меня все-таки посматривали, и я снова чувствовал себя диверсантом в глубоком тылу этого спокойного дня. Но к этому чувству мне было не привыкать. Я ведь скрывал очень важные для себя вещи и, как правило, довольно успешно, разработав стройную систему тыла, где вообще-то и пребывал. Мои предпочтения во многих сферах не одобрялись, но на одобрение мне было наплевать, лишь бы оставили в живых.

Город, по которому я брел, – в каком-то смысле как голый путник, – с ничтожной бумажкой в кармане, без поклажи, со свободными руками, стараясь держаться толчеи стихийных торговых рядов, где внимания на меня обращали меньше. Ведь должен был я учиться жить в этом государстве: ходить, смотреть по сторонам, не оборачиваться по пустякам. Следующий уровень, который я должен был достичь, – магазины, транспорт, кино, библиотеки. О, сколько занятий меня ждет.

Улицы с выщербленным старым асфальтом, стоптанные тротуары, убогие витрины с совершенно условными, в высшей степени символическими предметами для лета – валенками, ведрами двух видов – коническими и цилиндрическими, почему-то бухтами мелкозвенных цепей, рядами жестяных воронок.

Иногда я думал, что вот-вот-вот упрусь в дом инквизиторов, где эти предметы успешно применяются. Но наткнулся я в основном на запертые днем тире, они открывались к вечеру, голые читальные залы, гостеприимно распахнутые пункты утильсырья, куда никто не спешил. В несколько

книжных магазинов я зайти не решился. На витринах рядом с бюстами лежали распахнутые политические страшные книги. Будто эти гипсовые мертвецы их и написали минувшей ночью.

Люди в основном озабоченно куда-то следуют, все что-то несут – сумки, свертки, портфели, будто у всех есть цель*.

Через дорогу, почти задев меня, прямо из-под моих ног метнулся обрубок человека. Это был инвалид, отталкивающийся от земли деревянными утюгами, подбитыми резиной. Обрубки его ног были запакованы в постамент. Он словно удрал из скульптурной мастерской, вырвав себя из монолита обездвиженности, стал подвижным шарниром, обретя небывалый способ прямохождения плотными толчками. Во рту его был зажат погасший окурок. Он неукротимо двигался, подтягиваясь стремительными бросками с такой отчаянной силой, будто это был последний возможный маршрут его жизни. И я просто не мог не увидеть рассыпающихся за ним снопов дерзости и бесшабашия. От взмокшей гимнастерки буквально шел дым неукротимой силы, обуревающей этого человека.

Это воистину была античная картина, будто еще живы титаны, уничтожить которых может только огонь.

– Бедненький, бедненький, – сказала про это видение немолодая женщина.

Сцена длилась одно стремительное мгновение, которое развернулось спиралью из пустоты, попирая мои представления о времени. Так же в пустоту все и пропало.

Фланеры будто бы совсем исчезли, словно их не бывало в природе. А вот ротозеи и зеваки, к счастью, не перевелись. И я заметил несколько человек у огромной зеркальной витрины. Все время кто-то подходил к витрине и на какое-то время там задерживался. Я тоже подошел. Высокий вход в помещение с улицы был заколочен железным листом, и резные облупленные полуколонны обрамляли проржавленную плоскость. Но через гигантскую витрину отлично просматривалось ободранное помещение, судя по всему, колониального магазина когда-то – под потолком бежала галерея в стиле «махараджа» с пропилами, забранными цветными стекляшками. Прямо под перекрестьем потолочных балок, откуда когда-то свисала люстра, стоял огромный печатный станок. Насупившийся механизм производил впечатление большого животного, забредшего в вольер. На вершине устройства был насажен конек с жирно замазанным титулом

* До меня дошло, что людная улица впитывает и усиливает каким-то образом волну городского шума; и было очевидно, что это шумит самое время, бурлит сам способ жизни, не разумеющий ни дня, ни ночи, так как чудесная плотность, густота не имеют протяжения, а абсолютизируют каждый момент, который никогда не сменится другим, меняясь в своей сути ежемоментно.

Это волшебный парадокс, который говорит, что эта политическая жизнь, повсеместное насилие, унылость души ничего не значат по сравнению с волной невидимого шума, вдруг захлестнувшего меня.

По меньшей мере потому, что у меня есть сердце.

«HEIDELBERG»), но готическая надпись была выпуклой, на свету она взблескивала, и ее было не скрыть никакой краской. Несколько теток-печатниц сновало вокруг. Они старательно не замечали глазающих на них, но иногда устало взглядывали сквозь витрину, и было件нятно, что нам они видны гораздо лучше, чем мы им. Кто-то умозаключил:

– Что вот мужиков-то не поставили.

Но тема не получила развития.

– Легкотрудницы. Все бабы. Нормы-то чай низкие. Машина сама листы толкат, а им наряд поназакрывают, и слюни себе у кассы.

Мне было хорошо заметно, как по блестящим полозьям сами сползают оттиснутые листы, и решетчатая лапа смахивает их пластичным дирижерским жестом в растущую кипу лыбящихся во весь рот физиономий.

«В стопе они, наверное, будут смотреть четко в затылок друг друга, как в строю», – подумал я.

– Кофием-то еще как-то пахнет. Ах, мокко-мокко-мокко – и не выветрится. Золотой мой мокко... – проговорился старичок, уткнувшийся в витрину, тот самый вычурный старичок, что завивался в парикмахерской, где и я был острижен под «чемпиона». Я его опознал, конечно.

Он постучал по зеркальному стеклу, будто попробовал оживить для всех столпившихся какую-то древнюю гамму. На его указательном персте был насажен перстень с крупной геммой. Этот тип нес на себе приметы артистизма, как штандарт, словно он заблудившейся знаменосец, на многие версты опередивший полк адептов прекрасного. Завитые седые кудри, поднятые надо лбом и начесанные на виски, как у героев войны 1812 года. Выглядел он странно и вдохновенно, одна мягкая синяя куртка и шейный платок вокруг сухонькой ящеричьей шеи чего стоили. Ему отвечивал такой же завитой господин, с которым в зеркальном стекле они на миг идиллически воссоединились перстами. Над ними вдруг просияла глазурь небес с кондитерскими кружевами облачной кудели. Среди стеклянной россыпи ротозеев на фоне истовой голубизны я с удивлением разглядел и себя. Но этот мир давно забыл про умиление.

– Ах ты нюхач, гнида ты, недобиток! – процедили про завитого седого господина прямо в мое ухо, но без агрессии, для остратки.

Он тоже расслышал эту любезность и торопливо ретировался, зашепшил-заспешил, чертя тротуар лаковой белой тросточкой.

Меня он узнать, кажется, не успел.

– Блядь, ведь какао, – с сожалением выдохнуло это же похмельное тело, напугавшее старичка.

Несколько раз я втянул воздух, но никакого призрака кофия или какао не услышал. От людей шел дух в лучшем случае паршивого черного собачьего мыла.

Еще я заметил двух простецкого вида пареньков, исполненных какой-то чувственности и ласки; как ангелы, слетевшие посмотреть на дела людей. Они держались рядом, будто боялись потеряться. Одеты они были

бедно, но чрезвычайно опрятно и как-то сверхчисто, будто только что вышли из небесной бани, переменяв хитоны на людское платье. Один все время простодушно усмехался, подталкивая плечом спутника, подбородком указывая на стальную блестящую лапу, подхватывающую и прихлопывающую очередной отпечатанный яркий лист. Я тоже перевел глаза на агрегат за стеклом и не смог сдержать счастливой улыбки. С оттиска всем улыбалась счастливая физиономия, и напечатанные русые кудри взметались надо лбом вдохновенной волной.

– Ну это... прям это как... у нас.

Что «это как» он не договаривал – то ли ему не хватало людских слов, то ли мешал подступающий нежнейший смех. Но я понял, что и такое зрелище может развлечь тех, кто не видел вообще ничего или же знает все. Ну какой кофий? Какой мокко?

Два ангела из глухого небесного селенья, снизошедшие в уездный Содом и счастливо забывшие наказ, с которым их посылали в путь. Если бы не эти два несмышлениша, зрелище было бы совсем печальным. Но они, очень молодые и свежие, воплотились в новую ангелическую доминанту, застили собой отвратительную логику труда, прибыли и растраты какой-то там стоимости. Случалось так, что лицо, на которое можно было всего лишь навести фокус своего зрения, увидеть за ним человеческую суть, ломало всю бесчувственную драматургию этой жизни.

22 июля вторник

восх. 4.15

зах. 20.56

Луна

восх. 9.51

зах. 23.04

За чтением газеты в одном из колхозов Узбекистана.

Среди плодородных угодий шестеро мудрецов бородатых, украшенных чалмами, пьют чай и сосредоточенно внимают чтению одного, более младого, в тюбетейке, гладко бритого, разумеющего грамоте.

Допрос

– Итак, мальчик, – сказала немка, – мы тебя будем спрашивать, а ты нам отвечай. Не так ли? Кто тебя научил делать топографические схемы, где они находятся, эти люди, как их найти?

– Я не знаю, про что вы меня спрашиваете, – сказал Ваня.

Мальчик стоял вплотную к столу. Он изо всех сил кусал губы. Его голова была упрямо опущена. С ресниц, как горошины, сыпались слезы, падая на схему, нарисованную на пробеле страницы между черной картинкой, изображающей топор, воткнутый в бревно, и красивой прописью в сетке косых линий: «Рабы не мы. Мы не рабы...».

Оглушительная пощечина отбросила мальчика к стене. Ваня стукнулся затылком о бревно, но упасть не успел. Его тотчас, одним рывком, бросили обратно к столу, и он получил вторую пощечину, такую страшную, как и первая. И снова ему не дали упасть...

– Не скажу, – еле двигая губами, прошептал мальчик.

Новый удар отбросил его к стене, и больше уже ничего Ваня не помнил.

(В. Катаев. Сын полка)

25 июля пятница

восх 4.20

зах. 20.52

Луна

перв. четв.

восх. 13.53

зах. 23.38

1930 – Постановление ЦК ВКП(б) о всеобщем обязательном начальном образовании.

1826 – Казнь декабристов.

Уютный пейзажик – в крупитчатой манере умильный домик М. Ю. Лермонтова в Тарханах (Пензенская область). Ничтожное барское крыльцо, чтобы выносить и выплескивать в дикий палисад помои, и вблизи кряжистый дуб в широченном ошейнике больше на пять размеров, чем надо.

Кто сорвал розу свободы,
тот не обронит ее лепестков.

(мудрость)

31 июля четверг
восх. 4.31
зах 20.41
Луна
первая четв.
зах. 1.54
восх. 20.33

Картинка – выкройка пальто для девочки 6 лет.

Оборот

Грудному ребенку необходим свежий воздух.

Свежий воздух так же необходим ребенку, как хорошее питание. Летом ребенка можно начать выносить на воздух через неделю после рождения, весной и осенью с двухнедельного возраста, если температура наружного воздуха не менее 10 градусов тепла. Длительность первой прогулки 15 мин. С каждым днем прогулку удлиняют. Зимой прогулки начинают, когда ребенку исполнится 3 недели, если на воздухе не больше 10 гр. мороза и при этом нет ветра. Зимой перед тем, как вынести ребенка, смазывают ему лицо вазелином или каким-нибудь чистым жиром, так как ребенок может отморозить лицо даже при 2–3 гр. мороза. Ребенка надо завернуть в одеяло, один конец его слегка свесить над головой, чтобы защитить ребенка от ветра. Длительность прогулки, когда ребенок привыкает к холодному воздуху, 1,5–2 часа. Выносить ребенка на воздух надо во всякую погоду, и только при сильном дожде, резком ветре и большом морозе (ниже 15 градусов) отменить прогулку. В такие дни надо одеть ребенка как для прогулки, уложить его и открыть форточку.

Проф. Г. Сперанский

САЙГАК И Ю. Ю.

Я мучительно думал о своем минувшем и понимал, что все больше и больше прошлый мир становится убогой поверхностью разрозненных эпизодов, которые я почему-то помню; ну, как кино...

Что разожжет во мне костер, чей огонь я различу вдалеке – на том берегу, сквозь частокол леса, потом – вблизи, на расстоянии вытянутой руки?

Ничто.

Зрелище моих близких, моего чувства к ним, их примет, прежде так волновавших меня, мишуры и легкости, – делалось таким же стертым и неустойчивым, как слова, которые прежде волновали меня, – десятки названий запахов, таящих в себе оторопь и волнение: саше, базилик, пачули, шафран, тмин – что это?

Это ушло безвозвратно – шелковый трикотаж, кудрявые оторочки, потайные пуговицы – я не почувствую это теперь, если возьму в руки.

Словно все это увяло, как и слова, равные им, тому, что так волновало меня.

Я уже никогда не услышу своим зрением – все уравнилось и стало паноптикумом, сооруженным из слов, вялых, не волнующих, выношенных другими людьми.

В. А. прервал мои грустные размышления, заявив с самого порога, держа тяжелый портфель на весу перед собой:

– Убоина, извольте. Сегодня меня настигла плата за изустные услуги. Я брезгую подношений, но тут такой случай, да и ради вас. Да и потом мы на витке эволюции еще не одолели сегмент натурального обмена.

В. А. очень внимательно оглядел темный кусок:

– Вот – не свинья и не теленок – это по цвету, тем более не говяда, для мериноса ломоть крупноват, не барсук и подавно. Значит, быть по-вашему, как всегда, – сайгак, газель степей.

Я не говорил, пока он священнодействовал, понятное дело, ничего.

– Нужен маринад. Смелая добыча. Тварь долго бегала от полуторки.

Маринад был изготовлен из уксуса и лука, порезанное и отбитое темное мясо недолго в нем вылеживалось и зажаренное в комнате, на керосинке, было нами съедено без комментариев. Только вот тоска, пока я жевал жесткие волокна, не покидала меня, ведь все и вправду было завалом, нагромождением, который я никогда не разберу.

В. А. ткнул ногтем в газету, в которую был завернут этот кусок.

– Давайте это на два голоса, как речитатив из «Дон Жуана». Помните, где Лепорелло и Дон Жуан на камандорьем кладбище? В первом действии.

– Ну попробуем, если что – не взъщитесь, – решаюсь я.

И мы начали:

Письма читателей

Я. Отпуск довелось провести

ОН. на Северном Кавказе

в Серноводскееее.

Отдыхали в санатоооории.

Я. Свободное от лечения время

мы проводили в горах кхх...х

ОН. И наблюдалишии

за фонтаанами нефти

и нарзана,

свободно выбивааааающимися

изззз землишии.

Я. Какккк красивааааа

родная природа.

ОН. Неисчислимы ее богаааатства!

МЫ ВМЕСТЕ. Теперь еще с большей энергией

как примемся за работу.*

ОН. (кланаясь) Д. Осмолко, паровозное депо номер два.

– Вы полагаете, которого пола это Д. Осмолко?

–

– У него пола нет! Я знаю!

В. А. иногда готовил, оставаясь в сугубо мужской зоне. Мне было понятно, что приготовление еды затевалось им ради меня. Кулинария его очеловечивала, ведь он опасался одинокой маниакальной готовки со всей ее мрачностью, пародийностью и бредом.

Это был процесс сродни охоте, часть ловитвы, некропотливый, как последний меткий выстрел, бросок дротика или копья. Требовалось только быть точным, чтобы быстро и правильно сделать все по заветам отцов.

Вот раков как-то принес, по случаю купленных.

Он их сварил в забурлившей пузырями кастрюле.

Еще укроп, какая-то неизвестная мне зелень.

Я был удивлен одной особенностью их приготовления. Мужская готовка в отличие от женской всегда бывает исчисленной, упорядоченной, расписанной по пунктам, невдохновенной. Как это сказывалось на вкусе – мне было неясно.

Но о раках. Оказывается, непременно надо было окунать каждого головой в кипяток, чтобы гибель была мгновенной и неосознанной, чтобы едкий гормон ужаса смерти не испортил нежную сладость рачьего мяса. Так

* Это чудесное «как» с удовольствием вставил В. А.

и сделали. Они топорщили клешни, шарили над кипящим раствором усами, поджимали и распрямляли свои шейки. Все-таки они чуяли, что их ждет. Невзирая на ритуал, получились совершенно обыкновенными, белые с оранжевыми проводками внутри, со сладковатым тревожным привкусом распада, с медленным утопленническим духом тины, невзирая на то, что сварены были со стороны головы и в месиве доступных пряностей.

В. А. заговорил о художнике, заметив, как я вглядываюсь в маленький награвированный сухой иглой пейзаж, картинку в рамке, висящую меж окнами:

– Это фигура, я вас заверяю. Только он о летних дождях может провозгласить, да! провозгласить: «Наша местность именита своим атмосферическим бредом» или «Вчитывайтесь в косые прописи ливней». Да! Матерый человечище! С придурами, но матерый. Главный художник нашей оперы с балетом, достопримечательность. Его тут арестовывали светлым утром пару дён назад, такой конфуз. За что? Да за то, что вздумал в альбоме рисовать на улице прямо, где трамваи вдоль Волги идут, якобы объекты сверхважные, баржи какие-то секретные к берегу пристали, груженные артиллерией, на виду всего города, заметьте. И после часа художеств его арестовали, свезли в отделение, допрашивали, грозились посадить за шпионство, рисунки реквизируют... Слава богу, один молодец знакомый в строгой системе рядом оказался, помог бедняге, а то заморили бы. Нельзя без спецразрешения в городе изображать перспективы, ну и горизонты, конечно. Подумайте только!

И он тут же и появился, будто слышал, что беседа шла о нем. Буквально материализовался.

Позвал В. А. с улицы, увидав отворенные окна.

Он вошел не здороваясь. Невзирая на недавние приключения, был при параде – в светлых льняных одеждах, осененный каким-то мускусом. В венке седых кудрей, в толстовке, с большой папкой под мышкой, трость решительно воткнул в кольцо под вешалкой.

– Я не могу оценить, В. А. насколько верны мои воспоминания, но разве дело в этом... Любые воспоминания о каком-либо месте делаются образом дома только потому, что увидел и назвал их словами именно я. Неплохая стройная мысль, как вы полагаете?

– Изящно излагаете, изящно, – говорил, улыбаясь, В. А.

Тот продолжал, расхаживая, подковки, попадая на доски пола, стучали нервным метрономом:

– Невзирая на то что в жаркие дни нужно бриться дважды, так как все под южным солнцем растет быстрее, но я все равно делаюсь блаженным, все время нарождаюсь, приобретаю новые и новые черты, с какого-то момента понимаю, что подобрал в себя множество людей, которые тоже видели это хотя бы посредством меня. Будто для моей памяти нужно оправданье...

Чем больше я об этом думаю, тем больше понимаю, что вся моя жизнь – греза, и я был всегда, не имел ни начала, ни завершения.

Его вдохновенно несло.

Было неясно, паясничает он или вещает серьезно.

Меня он будто и не замечал.

– Вот вам, В. А., еще подробности моего пленения. Испугался, кстати, по-настоящему, примерно как тогда, ну, Вы помните. Собрание, меня заклеямили лучшие из лучших, сопрано из сопран. Ну, думаю, конец, конец! Ну так вот недавние подробности. Я волен их вам передать, так как никаких обещаний не изволил давать, ни устных, ни письменных. Никому! Вот и рассказываю теперь уж преподробно. Это у кондитерской, что на Мануфактурном взвозе, ну, знаете, бывшей, конечно, кондитерской. Там сейчас керосин отпускают.

Но вдохновение душило его:

– Там, где Волга таким веером прекрасным расходится к островам. Едва дует утренник, так что не вода – зеркало розовое без оправы. А тут непонятно откуда взялись – несколько барж с очень низкой осадкой, как летние льдины в воде, просто с какими-то предметами зачехленными огромными. Как насекомые гигантские, замерли. Ну, прекрасно все! Распахнул я альбом и рисую себе, рисую. Время мое самое разлюбимое, едва-едва все началось, никакой тебе шантрапы, даже радио спит, «жизнь без эпохи» я это называю, вода видно, как чудно стекленеет, сейчас-сейчас вроде и потечет себе, небеса едва-едва по нижней кромке самой дальней заволочены, как кулису сейчас на колосники вознесут. Но чувствую я каким-то особенным глазом... – Он сделал театральную паузу, расхаживая по комнате в тряпичных штиблетах на зычной подметке, поднял вверх указательный палец с перстнем, – ...что на меня с баржи шалун словно зеркальце наводит. Не то чтобы зайчики пускает сверк-сверк, нет, солнце-то еще не занялось как следует, свет очень низкий, будто туман, но бесплотный, который линии может держать, моей самой любимой плотности. Это я позже догадался, что меня через прицел артиллерийский наблюдают из рубки. В общем – словно прицелились в меня. Ну и пусть себе, думаю. Какая я птица им, чтобы стрелять. А тут вот как я перед вами – подъезжает милицейская машина. И меня в кабину без лишних слов запихали вместе с аксессуарами. В ближайший департамент мгновенно доставили. Почему военную тайную технику столь тщательно срисовываю, почему привязки делаю топографические, а там действительно – триангуляционная вышка, почему перспективу даю, да еще тысяча почему. «Я реалист, хочу заметить», – говорю ему, а он протокол сплошными ошибками пишет. Ну, стал я читать этот лист после заполнения, аж за сердце схватился, да не из-за ошибок. Нет! Что там ошибки, впрочем, я об этом уже повествовал вам, но завершу еще раз свою сагу. Очень это меня взволновало, В. А.

Он отдышался, обмахиваясь, от него шли пряные флюиды.

– Младой человек, вас велите как величать, простите, не полюбопытствовал сразу? – совершенно иным тоном спросил он, уставившись светлыми глазами на меня, будто перескочил регистр.

Он промокнул лоб, хотя не вспотел.

Он поворачивался ко мне совсем по-птичь, по-воробьиному – то одной стороной, то другой. Не различить в нем «артиста во всех смыслах» было невозможно. Один тяжеленный перстень с геммой чего стоил! А белые с легкой синькой кудри, начесанные на виски и лоб а-ля Титус!

История требовала завершения:

– А что я, мол, разведку своим вредоносным рисованием производил! Господи, пропал я, одним словом, пропал! Ну, тут наш Гера, добрый наш молодец, появился, к счастью, ему надо было что-то совершить там с самого утра. А тут мой допрос. Идите, говорит мне, Ю. Ю. глубокоуважаемый, своей реалистической безупречной дорогой искусств на русские пленэры, на далекую от людской жизни природу, без фортеций и триангуляций, и бумаженцию у того дурака отобрал и порвал. Нет-нет, при мне не рвал.

В. А. довольно безразлично слушал его, только в конце не удержался:

– Простите, Ю. Ю., вы правильно тут Геру процитировали с триангуляциями и фортециями? Дословно?

Ю. Ю. не ответил, но заметил с укором, хотя кого он укорял, было не ясно. В его речи присутствовали разнообразные интонации, не имеющие к сути разговора никакого отношения:

– Держу котомку, а в котомке – бельце, мыльце, сухарик, сапогиносочки-самовязы, «Путешествие в Арзрум» настоящего гения. Разве вы, В. А., не держите такой запасец? Что, уже нет? Напрасно, напрасно. Со мной-то, думал, второго такого случая не будет. Это когда я весь в светлом-пресветлом нанял грязную гулянку у Бахметьевского взвоза после того собрания, где меня проклинали. Домой не заходя. И лодочник-мужик понятливый попался, и за водкой слетал мигом, и за помидорами, и за воблой, хотя насчет воблы... Через трое суток я вернулся*. И ничего больше со мной не случилось! Ничего вообще! А почему? А вот нет уже в сером доме этого Агранова с Футинышем, кому я был столь интересен. Всех их самих, жрецов верховных, в нашем НКВД тогда пересажали. Сами они за эти три дня пропали, сгнули там, где я и не побывал, слава тебе, Господи всемогущий.

Он погрозил в потолок, где прелестные путти завивали хоровец, кружа розетку:

* В. А. вспоминал, как Ю. Ю. провел тот давний «уикенд» на островке. Думал, что мужик-перевозчик на него донесет, и все ждал с минуты на минуту катер с энкавэдэшниками за своей персоной. Лодка Харона такая из утреннего тумана... Так вот, Ю. Ю. выдрал из земли вёх покрупнее, он в здешних землях сорняк, собачьим дягилем еще прозывается, оторвал корневище и не выпускал из рук все трое суток. Вёх по-латыни – цикута, *cicuta virosa*, стоит пожевать корень как следует – и всё, паралич дыхания через десять минут. Корову, во всяком случае, элементарным образом валит.

«Смертью Сократа паду у них на глазах». Жевать бы корешок долго пришлось... – В. А. улыбался.

Ада Стефановна, энергичная великомученица, вывезла муженька, сама разыскала.

– Вот так, Яков Саулович, товарищ Агранов! Не вышло-с у вас. Вот так. Значит, понял я, надо бегать. Ведь в тот день за мной приходили, а через три дня уже не приходили. Никогда не надо ждать своей горькой участи. Она сама настигнет. А что хуже, В. А., – участь или рок?

Ему было приятно вспоминать свою неуязвимость:

– А как на собрании выступали-то. Да с развернутыми доносами – наша гордость и краса. Гуманистка! Прямо из-за корсажа речь достала Карменсита заглавная. А потом, когда меня даже не пожурили ни в какой инстанции, все сияла мне в очи: «Ю. Ю. любезный, какой вы душка сегодня, какой вы все-таки дусик!» Ну вы подумайте. Провозглашала ведь про меня: «наймит, прихвостень разведок». Помню по сей день, хоть десять лет минуло. Да, правильно, буквально десять лет и полтора месяца. Тогда ведь был конец мая, божественная пора в смысле погод... Три дня в молодых волжских куцах... Три дня в молодых куцах. И вот он я пред вами живой и здоровый.

В. А. хмуро слушал безудержную болтовню, скатывающуюся к стариковскому бахвальству.

– Да вы присовокупите, что сегодня легко взбегали на александрийский маяк с вязанкой дров, чтобы осветить путь заблудшим недорослям вроде вашего Иоанна.

Ю. Ю. сменил тему:

– А вас, молодой человек, признаю – как вы вместе со мною в колониальную витрину уткнулись, я вас сразу заприметил свежестриженого такого, стрижка «чемпион». Очень вас красит сей фасон! Но я-то быстро ретировался, лишь кофейный дух почуяв. Меня, знаете, видения стали прямо охватывать. Пройдусь мимо, и вот будто кофейную чашечку повертел с гущей на дне. Я вам еще погадаю, погадаю, коли случай выпадет.

Он еще не все сказал:

– Знаете. В. А., у нас в цехах уже пишут всю декорации к «Холопке». Совсем немного осталось. Убранство будет как обычно – сборное – «Онегин» с «Аидой» и с «Лебединым», их драконим, у нас с бутафорией беда. Костюмы рукодельницы дошивают. Ставим к осени, и вас прошу, коли у нас пристанете на подольше, а что... Зрелище исключительнейшей, как говорится теперь, реалистическо-романтической силы. Одним словом, жизнеутверждающе поплачете, если не от музык кривых, так от моих живописных достоверностей, правда, корсеты не на всех сопрано сходятся, а там ведь не хитоны с капюшонами, а корсажные платья, куаферы затейливые. Какой ни на есть, а чистый крестьянскыый (он протянул «ы») стиль жестоковыбийных лихолоееетий. Ах-ах-ах, одним словом. Должны же мы быть с отечественными новинами заодно, так вот вам и Стрельникофф, он же Мезенкампф, может, вы, В. А., его в вашем чудесном прошлом встречали... Ну, это и из совсем нового. Как обычно, все то же у нас – новая супруга и старая любовница главного дирижера пишут доносы друг на друж-

ку, а они – сопрано одинаковой свежести скорбного диапазона, ну что за вкус у Шкаровского, в толк не возьму, и кто будет заглавно голосить на премьере, ну совершенно пока неизвестно.

Он вдруг профальцетил весьма стройно:

*Под дугой звенят-звенят бубенчики,
А мы сидим с тобой, как птеенчикшии.*

Вот такой там дуэт умильный. Иванушке нравится, но пока только в моем изложении. Нет, В. А., этих баб не зашнуровать. Клянусь вам!

Он комично показывал череду громоздящихся овалов этих сопрано в Шкаровском вкусе.

– Место у нас уютное в каком-то смысле в тупейной бригаде освободилось, взяли бы Иоаннушку с удовольствием, да кобенится, вы себе не представляете, как он кобенится, – привык к чаевым, к вольностям. Типов всяких полупьяных бреет по ночам, запершись. У нас бы совсем иной контингент у него появился бы и другие возможности. Боюсь за него, добрая ведь душа все-таки. Смущенья ведь, В. А., понимаете, одни в его учрежденье подвальном. А в театре все-таки я как-никак.

Мне даже показалось, что этот разговор о молодом парикмахере и был целью визита Ю. Ю. Во всяком случае, невзирая на тревожные извивы сюжета, ему было приятно поизносить его имя, упоминать качества, просить совета, выказывать беспомощность перед душевным мотивом, захватившим его так поздно.

Но В. А. раздраженно ответил ему без всякой паузы. Ведь у него со мной не получалось так незатейливо, как у художника с цирюльником. Думаю, у него ни с кем никогда не получалось незатейливо.

– В вашем случае лучше «никак». Рекомендую вам как давно не практикующий клиницист. С этим орденоносным типусом пропишу вам честно, честно пропишу – «никак». Я ведь последний в ряду безошибочный диагност. Он и так бесшабашный, не боится ничего, злой, бахвал, да и меры не знает. И напрасно, вы, Ю. Ю., убедили его вычерниться так злополучно. Он ведь падок на всякую дешевую канитель. Был ведь себе белесым охломоном – просто «Видение альбиносу Варфоломею», хоть что-то человеческое от Вани в нем еще было где-то там на доньшке. А теперь ведь крашенный монстр, согласитесь. Вам, Ю. Ю., уездный театр страстей везде подавай. Цыганы шумною толпой. Сопраньи доносы за каждым корсажем... Поплачетесь вы с этим перевоплощением.

Ю. Ю. сник и закивал, стало понятно, что он стар, невзирая на всю свою бодрую гривуазность.

– Да уже в три ручья. Осушить нечем, все отсырело. Правы вы, правы, как всегда. Дурить стал люто Иоаннушка наш что-то. Ах, как в воду смотрит ваш змеиный глаз медицинский... Одни неприятности у меня на этой ниве с ним. И Гера его еще куда-то в милицию волочет. Нет-нет, в

хорошем смысле, не пугайтесь, еще ничего он не сделал – просто так – зовет по милицейской линии. Ах, увы мне!

Чтобы как-то снизить накал разговора, он по-театральному наипошлейше двусмысленно продекламировал:

О ты, последняя любовь!

Ты и блаженство и безнадежность.

Меня занимали игривые прыжки его речи. Двусмысленные, скабрзные и в той же степени беспомощные и жалкие.

Ю. Ю. тоже чувствовал этический сумбур разговора. Он сделал значительную паузу и добавил, лукаво понизив голос, возвысив театрально руку, будто держал в ней бокал вина:

– Вы и не представляете, где он, к смеху говоря, окрасился еще. Говорит мне: «А что делать, коли развел больше, чем для головы, пропадет же к чертовой матери. Надо все употреблять». Вот ведь фантазер – если что-то делает, то с размахом. В каких местах черноту навел – чистый бес из «Walpurgisnacht». Бесенок мой! Он был влюблен до идиотии, он не чувствовал низкого позора своих признаний.

– Да помируйте, Ю. Ю., какой он бес? Окститесь! «Walpurgisnacht»?!
Да киса ж он!

– Да уж, когда в хорошем расположении, – бедному взъерошенному Ю. Ю. стало совсем грустно.

В. А. безжалостно чеканил, и я понимал, что он готов поменяться с Ю. Ю. местами, только чтобы не быть отверженным.

– Киса Воробьянинов самокрашенный. Читайте наши священные книги. Это средство для почернения не «Титаником», кстати, обозначено? Вы, Ю. Ю., правда не видели упаковки душистого порошка для просмоления локонов? Какой, однако, вы народолобец!

– Да уж ладно, ладно вам злословить, просто простой молодой человек любит по душевной склонности красоту, а это теперь труднодостижимо. О «Холопке», позвольте, вам доскажу. Уже и наблюдатель наш партийно-заглавный все мои эскизы и запрашивал, и макеты поклеенные пристально разглядывал. Без значительных замечаний идем, без значительных, но все-таки. Вот колорит подавай им еще оптимистичней. Да что он в колоритах-то, дальтоник из Торжка, смыслит себе? Да и какие замечания могут быть к «Холопке», обаятельной сказочке про петровское время, посудите? Да плеснем мы им розового с голубым и еще зеленого подбавим! Это же не «Леди Макбет Мценского уезда». Да что там говорить мне. Художества сплошные. Опять «Корсара» вот возобновляем горделиво, не отчихаться – третий будет только на моем веку корсарушка, одна пыль крошечная, прости господи. Кажется, в оркестровой библиотеке партитуры перепутали, а там ведь целая бригада композиторов. Адан, Делиб, Пуни, Дриго... Да, к нам пришла прелестная певица, на-

стоящее колоратурное сопрано, конечно, не очень молодая, Ольга Калинина. Я сделаю для нее Римского! Будет «Золотой петушок».

– Ю. Ю., я вам не верю ни на грош! Вы просто хотите вылезти на сцену и пофальцетить Звездочетом, а Иоанн в партере от любви к искусству изнемогает. Ну, верно я угадал вашу фантазию?

В. А., чтобы как-то прервать поток lamentаций и сплетен, пододвинул Ю. Ю. газетный лист, в который была завернута убоина, он его сохранил. Постучал ногтем по столбцу. Художник пробежал глазами, остро прищурился и очень грустно произнес голосом другого, мудрого и усталого человека:

– Совершенно растленное меню. Как же это можно есть то, чего нет вовсе. Да так и все у нас.

Он прищурился:

– «А прельстительней всего медовушка!!! Чудесно светлеет в голове!!!» Я тоже, кажется, вижу свет!!!

На последней фразе он откинулся и закрыл тыльной стороной ладони глаза.

– Ну, на кого похоже? – лукаво спросил он.

– Артист Л. В. Собинов, опера Массне «Вертер», сцена отчаяния перед самоубийством, карточка рубль штука, – съязвил В. А.

Но оказалось, напуган гость был все-таки не на шутку. И в папке, которую он принес с собою, были его обильные художества. Он попросил В. А. оставить пока у себя оттиски, доски все равно потерялись, так что больше тиражей-то не будет. Просил не отказать, так как мало ли что, да и годы уже. Ю. Ю. легко соскальзывал на банальности, будто в нем было сразу несколько несмешивающихся фракций.

На сем он и ретировался, раскидывая тросточкой неровности и рытвины тротуара под окном В. А.

– Директор романтических декораций реалистического театра, – пошутил в его сторону В. А., но было как-то не смешно*.

* То, что изображал этот Ю. Ю., совершенно не вязалось с его обликом.

Меня поразило, как на оттисках были организованы купы деревьев, формы кустарников, каких-то зарослей, восходящих из речных линий. Будто бы он изобразил их шелест, зависящий не только от геометрии и плотности листа, но и от времени года, насыщающего лиственной молодой отзывчивостью в начале лета и жестяным безразличным, каким-то бессердечным шорохом к его концу. Художник провозглашал несносную молодую тупость и умудренное изнурение временем.

Я перебирал листки и слышал оробелые смыслы различных погод. Мне казалось, что его незаурядное художество произрастало только из ровности слабой желтеющей бумаги, на которой черкотня сухой иглы собиралась в силовые линии из самих волоконцев целлюлозы. Будто бы он просто поворачивал листки в единственно возможном направлении, как электризуемую пыль, щетинящуюся на школьных уроках по свойствам электричества. Это были очень слабые, но столь же неодолимые силы, которые художник прозревал в утробе как веществ, так и видимостей, он их силой своего дара уравнивал с веществами, доступными ему для манипуляций.

В чем прелесть его изображений, спрашивал я себя. В какой-то нутряной органике желания, когда то, что любезно, – можно понюхать или поцеловать, ну, по меньшей мере коснуться своим собственным телом, самым восприимчивым его участком. Оком или подушечкой указательного пальца. И таким образом тело оказывается равным зрению, его апо-

– А он ведь хочет меня женить, – сказал в заключение В. А., – говорит все: для вашего же спокойствия. Моего? Может, на Юнис? А может, на Дамире? А может, на обеих сразу? Нет, лучше вас – на Дамире, и тогда получится настоящий семейный квадрат. Как у классиков литературы. Они ведь практически все были просто хомячками. Но меня голыми руками не возьмешь. Я про себя решил давно – celibat! Пусть Ю. Ю. со своей супругой справляют вместе седьмое ноября. Завидный брак.

Но какая бездна отделяет эту вычурную личность от его искусства. Ведь там нет ничего лишнего и мелкого, без завитушек. Хотя, судя по его карьере, он и в театре мелких глупостей не делает. Просто такой вот артист. Таким и принимайте, подсидеть его еще никому не удавалось. Выдержки наш Ю. Ю. невероятной!*

И милая дачка в лучших местах. Рядом с Корольковскими садами, где разводят тутового шелкопряда и ткут очень узкий шелк.

логетом. В. А., застав меня за разглядыванием оттисков, сказал, что Ю. Ю., когда был бодрее, делал раньше первоначальные наброски с низкого берега, пляжа, с самой воды, сидя в лодке. И вот этот «низ» все время чувствуется, так как противостоит традиционной «картинной» перспективе, привносит в зрелище даже совсем маленького пейзажика что-то очень тревожное. Это потому, заключил В. А., что сам зритель, наблюдающий безмятежный пленэр, подтоплен и может вот-вот погрузиться туда, где зрение его будет схлопнуто. И это свойство «разморенного пляжника» вызывает детские воспоминания об игре с ракурсами, в которых привычное делается не новым, а обновленным, сохраняющим при этом всю прежнюю «теплоту». Вот если посмотреть хотя бы на чашку, стоящую с краю стола, но перевернув голову! Это особое отдохновение, на которое никакая система покуситься не может, такой трезвящий наркотик. Он оставляет в созерцании только чистый субстрат зрелища, уравненного с самим тем, кто смотрит. Будто все смотрит на нас столь же пронизательно и благорасположенно, как и мы, ничего не выделяя в безмерной оболочке – глубокой и уплощенной просто до формулы или знака, до элемента орнамента. Но орнамента в том смысле, что вид получается противоречивым – элементарным, видимым, но не могущим повторяться. Это такой парадокс невозможного в том, что дадено почти даром. Но все дело в этом «почти».

Это не орлиная, а распахнутая перспектива, «рыбья», с боковыми планами, которые не видны, но влияют на зону сосредоточения. Линии, задающие мотив воды, горизонта, планов, подобны вытянутым в горизонталь меандрам, которые хранят память о своей первоначальной попятной форме.

Тектонические усилия и мера Кориолиса – вот слагаемые той гармонии. Будто самая грубая работа давно завершена, а к мелочной отделке еще и не приступали, просто все замерло в ожидании. За которым последует окончательный выбор колеров, прописи древесных пород и, самое главное, воздушные завесы, их ткань – пронцаемое, невесомое, искрящиеся тайными отблесками, как самые дорогие шелка, шифоны, крепы, органза.

И это не теорема, которую надо доказывать, в этом нет необходимости, так как гармонизация произошла давным-давно или только что.

* И я в который раз чувствовал с опаской, что В. А. находится у того лексического края, за которым простирается беспросветный цинизм, но его едкая железа, порождающая юмор, ни разу еще не пронизала эту плевую, которая лопаается как мыльный пузырь, прикоснись к ней однажды. Ведь он был сначала умен, лишь потом циничен. И еще, еще, еще, самое важное – он ждал. Это было самым важным в его тревожном мироощущении. Эта зона вне времени ставила перед ним вопросы, на которые ответа не было. Ветхий мир дышал тяжело и смрадно – он это отлично понимал.

2 августа суббота

восх. 4.35

зах 20.37

Луна полнолуние

зах. 4.07

восх. 21.45

1940 – Образование Молдавской ССР.

1933 – Открытие Беломоро-Балтийского канала имени Сталина.

Завещание колхозника

– Помру скоро, Стёша, – убежденно и грустно сказал Васильич. – Не говорил тебе раньше, говорю теперь, стало-ть час свой чувствую. Хлеб... слышишь? ...хлеб, который у меня и который еще не забратый в амбаре, отдаю на распоряжение колхоза. Как колхоз распорядится, так тому быть. А деньги... слышишь? ...Книжка сберегательная всегда у меня в сундуке... без двух сотен пять тысяч... их, стало-ть, по телеграмме или как... на манер того, как мы тогда на самолет посылали... отслать с сообщением: от помершего, мол, колхозника Кривцова Петра Васильевича по душевной его воле высшему руководителю колхозной жизни товарищу Сталину. А как он там с ними распорядится, на чо приспособит – ему виднее. Та-ак. А всю одежду и что в сундуке и все, что сгодится, – в сиротский дом ребятишкам. Беспременно сиротским ребятишкам. Как женщину, душой тебя прошу, уследи, чтобы беспременно ребятишкам. Еще чего? Изба. Опять же и ее оставляю на волю колхоза: может, на что и сгодится.

Степанида истоиво сказала:

– Может, и меня еще переживешь, но если случится, исполню твою волю, как приказываешь.

Поклонилась. И Васильич низко поклонился ей.

(Из рассказа А. Колосова «Завещание»)

ДОМАШНИЕ НОВЕЛЛЫ

Новая анатомия

У В. А. было несколько прекрасных анатомических увражей, отпечатаны чуть ли не самими Эльзевирами. Они столь велики, что лежат друг на друге плашмя. Восприимчивая нежная бумага одрябла изнутри себя и чуть взлохматилась, но переплеты были крепки, отчетливая печать с награвированных досок прекрасно коричневела, будто к черному добавляли чуть рыжину йода.

– Это ведь бог знает что! Знаете ли – сам Гален! По его мотивам! Здесь воспроизведены все его штудии. Ну, по меньшей мере – то, что было легендарно с ним связано, превратили в такие вот чертежи...

В. А. испытывал, глядя на это произведение, настоящий восторг.

– А знаете, что мужские и женские гениталии, по Галену, называются одинаково. Прорисованы они, само собой, розно, но так хитро, что сходства только кретин не увидит. Да, все-таки видна разительная схожесть... Изумительно. Это еще надо бы проверить, кто из чьего ребра проявился.

Он иногда забывался и начинал говорить о том, о чем не мог, по-видимому, побеседовать в этих краях ни с кем. Я должен был тоже стать преданным адептом его идеологии. Мне кажется, что сама эта мысль уже вдохновляла его.

Один сюжет я запомнил отчетливо. Что, по В. А., цивилизация сейчас снова сделалась на манер древнегреческой.

– Да в другом смысле, в другом, – бросал он в мою сторону. – Вот вы знаете, что в Греции были замечены у человека новые мышцы, которых до этого не было. – Я не знал, конечно. – Они связаны с физическими упражнениями, вот здесь, как пояс у бедер. Они остались и в нашем анатомическом профиле, между прочим. А я вот разглядел новые анатомические проявления в нашем веке, в новом времени – переразвитие плечевого пояса, будто все ходят с коромыслом, утяжелены сверх меры. Но ведь атмосферный столб весит столько же, как и в греческие времена. Что это? «Воротник покорности». Вот как я это назвал! И это уменьшило объем легких. Хоть туберкулеза стало меньше, но умирают от него в десять раз скорее! Мортидофилия!

Есть чудеса на свете, друг Горацио, есть...

В. А. задрал голову, уставился в синий пузырь изысканной люстры, развел руки, будто готовился ее поймать, если бы вдруг она стала падать:

– Энтузиасты! Энтузиасты! Марш энтузиастов! Это же безумное состояние божественного вдохновения! Каково? Вы разумеете, молодой чэлак, понимаете, что это такое – божественно вдохновляться каждый день самим процессом убогого однообразного труда?

Помолчал и тише добавил – его речь вообще имела сложные акустические амплитуды:

– Сегодня застал клочок скандала. Все из-за электричества. Надо не забывать гасить. Но мне захотелось процитировать приговор моему очень хорошему знакомому: он в сорок втором в Ленинграде по рассеянности, спускаясь в подвал – налет был или обстрел, – тоже не погасил свет и не замаскировал окна. Так вот, он пропал. Понимаете меня? А строка ему была такова: «за пособничество врагу». Чувствуете стиль? Каково? Страшная сумма лет и плюс! Плюс поражение в правах! О, какие такие права?

Как и всегда, мне было нечего ответить.

Он начал философему, я это понимал уже по акустическому строю первого слова, произнесенному чрезвычайно ровно, будто в его теле работали не трепетные легкие, а вентилятор:

– Никогда не думалось вам, что знак «плюс» происходит от креста, который, в свою очередь, – конец, прекращение. То есть приумножить что-то можно, только отказавшись от того, что было, даже просто уничтожить то, что было. Ведь когда складываешь – производишь новое, которое и отменяет своим новым, только что возникшим существованием и смыслом то, что было до этого.

– И еще вам вот! Я редко теперь пишу слово «время», но иногда хочу словно бы укрыть его, прописать тайно, и вставляю дефис. Как у евреев имя Бога. С пустой серединой – «вр-мя». А может, это из-за того, что оно со всеми сделало. Как в изгнании, но на прежнем месте.

Клейма на вещах

На всех его вещах, на особенных таких предметах, которыми он пользовался постоянно, словно был медицинский след.

Всегда холодное зеркало, схваченное круглым хромированным обручем. Я подносил его к губам, задерживал дыхание, вообще пытался не дышать, но оно все равно запотевало овалом у рта, будто слало мне туманную морзянку, подтаивало силуэтом измороси – «ты живой, ты живой».

Уютно подписанные мелочью проб, микроскопически клейменные мужские вещи, меченные вензелями на скрупулезных фабриках очечные оправы, стальные перья с микроскопическими барельефами имен изобретателей, чертежные приборы неувядаемого блеска с сегментами выдающихся каллиграфий.

Буквы, буквы были везде, они не оставляли меня в одиночестве, разговор продолжался. Для чего? Чтобы не было страшно? Разве что.

Все белье в доме В. А. с больничными штампами. В сбитом черном прямоугольнике нечитаемые слова и номер отделения. Эти следы не стираются.

– Это не из вашего департамента, любезный В. А.?

– Да что вы, «общие болезни», но может быть, и по дороге к нам... Да не бойтесь, я просто меняю, так как не стану сам же стирать. Есть документ от кастеляна. Показать? С таким же штампом, кстати.

Золингены

Несколько прекрасных «золингенов» в узких футлярах из папье-маше, я раскрывал их оклеенные изнутри блеклой дорогой замшей пеналы. Бритвы легко раскрываются, как веера, в которых нет планок, только острый воздух. В плоское лезвие можно было смотреться, смагивая со своего отражения название прославленной немецкой фирмы.

Кажется, ничто не могло затупить его незримую кромку и ослабить немеркнувший блеск.

В. А. плоско подбрасывал к потолку сложенную газету, она чудом раскрывалась оперным шемаханским шатром и медленно ползла вниз, как с колосников. В. А. успевал не торопясь раскрыть лезвие бритвы, глянуть, как факир, в его сияние и с легким, чересчур узким для бытовых вещей свистом нанести газете непоправимое крестообразное ранение.

– Можно даже муху на лету располовинить, – серьезно говорит он, сдерживая удовольствие, будто в этом была какая-то доблесть.

– Это память о настоящей атаке, – заключал он и бесстрашно лизал лезвие, – на «золингене» не оставить следов. Ни пара от дыхания, ни слюны с его языка, ни крови... Не смачивается, только режет, режет, учтите. Вообще-то, им можно бриться всухую. Такой фронтовой стиль. У фитиля в блиндаже. Кажется, что это огонь тебя лижет, а не бритва. Знаете, такие маньеристские зловещие картины, ну Караваджо, скажем, когда по углам тьма и только всполохи огня. Сцены в блиндаже между боями... А когда бреешься так, то треск стоит наждачный. Мой один прекрасный друг этот звук ненавидел. Выходил невзирая ни на что. Как Лёв Николаевич. Считать ядра и картечь. А ему не стоило этого делать, он был, в отличие от классика, не графского рода. Все кончилось очень плохо.

Я попробовал в его отсутствие побриться насухо, но кровь выступила капелью, кажется, еще до того, как я прикоснулся к скуле.

В. А. знал много мужских бессмысленностей, которые культивируются в недрах закрытых корпораций. В гимназиях, на кораблях, в казармах. Я ничего подобного почему-то из своего мужского прошлого не запомнил – не прилипло. Только, может быть, шутить с непроницаемым лицом и

переходить с обычной речи на анекдоты, чтобы перемену никто сразу не заметил. В. А. оценил мое уменье!

Он смотрел сквозь мундштук, как сквозь прицел, и переводил его плавно с люстры на меня.

– Не волнуйтесь! Пуля для вас не отлита.

Надо признаться, что я часто терял нить дня, может быть, так влияла на меня хотя бы временная безопасность в стенах В. А.

Время вообще, я замечал это, не попадая в его амплитуду своим внутренним маятником, как-то необъяснимо преуменьшалось, темп его слабел, и иногда я с удивлением замечал полосы света на том же месте, хотя ждал уже наступления вечерней поры, оно словно немело, становилось качеством, которое ответственно за воспоминания, оно словно сдвигалось в языковую темень, оборачивалось сновидением, которое видят, но не помнят. Мое внутреннее время убыстрялось настолько, что реальное в недоумении останавливалось, не шло. Ко мне вплотную подходили живыми те, кого я успел полюбить и потерять. Живые и безупречные, невредимые и живые...

Ко мне подходил сзади Тадеуш, он клал мне руки на плечи, чтобы качнуть, – чтобы я на миг потерял свою вертикаль и чтоб через мгновение я вернулся к потерянному отвесу – он вообще любил меня испытывать, проверять мои вещественные свойства.

Несколько раз я переживал то далекое колебание, и незаметно вошедший в помещение В. А. тоже подходил ко мне со спины и клал руки на плечи.

Первый раз я не понял, что это: реальность или мое видение, и поцеловал в тыльную сторону ладони – как в эполет на моем плече.

Он выдохнул тогда тихо и горько, поняв, что это не ему: «Ооо...».

В моей сердечной памяти остались только сложные следы.

Как Тадеуш сидел за столом, когда мы ели, почти что не помню.

Шленцы

Это вообще-то немцы в Польше так прозываются.

Целый день у дверей его ждали татарские вышитые кожаные тапочки.

– Юфть – последние остатки барства; жаль, я не курю чубук и не имею хорезмского халата, хотя мог бы. Вполне. – Он засовывал свои сухие желтые стопы в эти восточные узорочья.

Он прибеднялся – в его доме были только отменные предметы, в которых он понимал как никто.

– Уеду в зарасайский край, открою провизорскую торговлю пивяками. Но это шутки, неуместные... Торговли нет, есть распределение и отчуждение.

Он поднимал палец и улыбался мне.

Из репродуктора продолжало литься слащавое сусло, доказывающее, что мы должны быть счастливы, и В. А., стоящий передо мной с тра-

гическими темными глазами, – и в этом контрасте восставал чудовищный и неодолимый смысл новой жизни, в которой мы никогда не станем самими собой, – пребывая под сенью наказания.

– Да, – один раз сказал строго он, – нашу с тобой книгу не прочесть, только посмотреть на двоих. Вот, знаешь ли, горелый целлулоид, – чрезмерно звякнув ложкой в своем стакане в вычурном литературном подстаканнике; чайники взбесились.

Иногда он говорил, что теперь ему некого ждать. Друг убит. Думал провести с ним жизнь – уехать, амбулаторию, например, организовать среди хуторов. Незаметно жить.

Сегодня он, против обычного, рассказывал мне о работе, было видно, что он должен высказаться. Он как-то снизу подбирался взором, словно чертил линию по лекалу к черной амбразуре репродуктора, который я переставал выключать, так как как-то незаметно привык слушать, не слыша. Сейчас из него поползли скрипучие, как корабельная пенька, парадные песни с открытым бабьим ором на фоне мужской далекой сдержанности; мелодия словно взбиралась на приступку и спускалась назад. Визгливые, открытые сопрано словно палили подлесок, и рыжие косы пламени выбивались над темными кронами басовитой основы.

В. А. сказал сухо:

– Вот Афанасий Фет, обученный музыкам с малолетства, когда его угораздило стать землевладельцем, именовал русское пение «ором», а седины умудренных старцев – «зелеными». Кстати, бездельник богач Тургенев, его, трудягу, и ославил. «Фет-помещик!» – а тогда уже поместий не было. Наши вот когда начнут по соседству, хванив всякой еунды самопальной, то так же голосят – на разрыв брыжейки, до паховой грыжи себя доводят. Не дай бог вам услышать сие акустическое орудие в действии, извините за едкость.

Со мной наедине он говорил откровенно, но я легко представлял сдержанный яд его речи в других составах...

«Мил-человек Аристарх» просил по-соседски взаимьи.

«Безупречная особа» вместо него, не бескорыстно, конечно, убирала «коллективное», как говорил он; в клинике вместе с ним трудились «проницательные знатоки пациентов» и т. д. и т. д. В основном его главной и трудной задачей было – сдерживаться.

Я, – когда он читал, вознеся книгу к лицу, сосредоточенно ел, орудуя помеченными чужими вензелями фундаментальными приборами, вовсе не обусловленными аскетизмом нашей трапезы, держал на отлете подстаканник, наблюдая кружение чайнок, или бездельничал, – часто думал, разглядывая его руки, как они связаны с глаголами. «Трогать», «брать», «ласкать», «давать», «резать», «жать» и так далее, именно с краткими, как удар или толчок, действительными глаголами.

Они кратки в любых языках.

И он, отвечая моему взгляду, собирал средний, большой указательный в щепоть, словно собирался взять точный режущий инструмент, острый,

как часовая стрелка из тех самых прекрасных часов, что точны и невозмутимы, даже когда опережают время.

В. А. редко говорит о своей службе, чаще ерничает, ухмыляется, просит звать его «младым Базаровым, естествопытателем». Говорит, что не верит в смерть от трупного яда. И вообще, Б. – совершенно выдуманная личность, скопец, живодед, «жабогуб».

– О, богатая фантазия у Тургенева... Ублюдочное именище в низине чахлого ландшафта замастырил, где кроме дреколя ничего и расти-то не смеет. И где же он это видел? Тут, в Заволжье, где самые настоящие степи сайгачьи, а зимой – волчьи, так колонисты разводили сады в одночасье, до сих пор – пруды, яблочные ряды брошенные, мукомольни колоссальные, элеваторы, как челюсти, догнивают. И фамилия его – фамилия! Парозэк-тор-парашу-парасчения-э-Басарофф! Чушь собачья!

– Вот вам мой тургеневский сон. Целый день вспоминаю. Извольте. Приснился мне отец в старинном доме, еще в прежней квартире. Потолки где-то в поднебесье. Туман в углах. И он был очень недоволен мной. Все звал меня: «Василий, вы...» – тихо, но с расстановкой сердился, а он, когда сердился, начинал передвигать вещи, стулья зачем-то, пресс-папье на столе, костяной нож для разрезания страниц, требовал от меня распорядка, и я сказал: «Папа, подождите, послушайте и меня, давайте я вам вот что скажу... разведемся (что было бредом, я это понимал), и будете жить как хотите». А он, не глядя на меня, говорит в сторону: «А я вообще ни с кем не хочу». Это все в очень большой комнате, в зале с растениями, целым зимним садом, и отец в тяжелом персидском халате, а я перед ним в низком кресле. Что это означает? И потом, эта его фраза, торжественно провозглашенная прямо-таки: «А я вообще ни с кем не хочу» – и качает пресс-папье. Да потом он еще добавил, и вот это меня по-настоящему озадачило: «Неужели я себя мертвого сам не побрезгую?»

Я зачем-то сказал, что догадываюсь о сути этого сна, но ему не скажу. Почему же так? Потому что он сам думает примерно о том же. Он вскинул брови. Мы помолчали.

– Обратил отчего-то внимание, так, ерунда, но – преинтересный факт! Мужчины всегда предпочитают пломбиру крем-брюле. Отчего же? Как вы полагаете?

– Мнн... В самом деле?

– Не мнн... не мнн... – он нервно меня передразнил, будто поразился моей тупости. – А из-за того что желтое – это желть, желток, внутренность, телесность, сокровенность, знаете ли. Хотя? Наверное?

Иногда его реплики выдавали в нем одичавшего одиночку. Будто они рождались из долгих монологов, которые он скрупулезно вел внутри себя, не записывая, где-то в недостижимой глубине своего прошлого. Там, в грамматическом сумраке, помимо него уж точно никого не было.

Из-за этих сентенций его идеальная дисциплина казалась мне чем-то вроде мундира, на котором забыли застегнуть пуговицу.

**Еще один день. (Вложен закладкой, дата оторвана).
На обороте рассказ**

Шесть сыновей

Многочисленно семейство мастера завода «Запорожсталь» Якова Спиридоновича Котлярова. Но семья эта необычная. Старый мастер усыновил шесть юношей.

Одна судьба свела их вместе, одно горе. Они из тех, кого война лишила дома, родителей, друзей. Сражаясь за Ленинград, Ростов, Одессу, Сталинград, погибли их отцы. Юноши встретились и подружились. Их сблизило большое желание учиться и работать. Услышав о том, что на комбинате «Запорожсталь» идет большая восстановительная работа, они решили поехать туда...

Яков Спиридоныч был первым, кого юноши встретили, приехав в незнакомое место. Старик повел их к себе, расспросил, оставил ночевать. А утром сказал:

– Дети мои, я вас усыновляю.

С тех пор большая семья Котлярова зажила дружной жизнью, скрепленной взаимным уважением и любовью к человеку, заменившему юношам все родное, семью и близких.

Раньше на заводе знали Якова Спиридоныча как опытнейшего, искусного работника. Теперь же он всем явился и как прекрасный, благороднейший человек – человек большого сердца и чуткости.

ПРОНИКНОВЕНИЕ

Несколько раз после ухода В. А. на службу эта особа, та самая бабенка, героиня-парашютистка приникала к запертым дверям нашего жилища. Я, кажется, видел в замочную скважину, как пестрит дурацкий ситец ее ношеного халата, как по-стеклянному не смаргивает в просвет ее глаз. Иногда она решалась и пробежала по дверной филенке костяшками пальцев. Еще раз, чуть громче, еще. Будто электризовала. Отходила в сторону и так стояла. Чего она ждала? Что я выйду? Потом отходила, двигая войлочные шаги, как землемер. Я уже ждал, что когда-нибудь обнаружу какой-нибудь собачий букетик у дверного косяка, слюнявый молочай с репейником или просто пахучую метку, заструившую косяк у самого пола.

При В. А. в доме подобное проникновение было совершенно непредставимо. Она не решалась на диверсии.

Но вот тихий стук, и она стоит в дверях. Я оставил двери приоткрытыми, нельзя же было копить это электричество.

Она была расчетливо наряжена, но как-то травестийно, и не торопилась уйти, так как ей надо было вот именно сегодня вот в «послеобеда», а то и вообще в «поздноту», – и рябая гороховая косынка по-домашнему уютно покрывала бугорчатку папильоток, будто она больна какой-то редкостной головной оспой.

В одной руке она несла на блюде деликатес – как законный пропуск в комнаты В. А., а другой запахивала халат внизу живота с каким-то деланным стеснением, словно полы обязательно должны были своевольно разойтись. Она ставила блюдо с порезанным яблоком, пригоршнею помытых вишен или влажным абрикосом на низкую столешницу, и ее одеяние всегда распахивалось в грудном вырезе до самого лифчика, и бесхитростные полы расходились, показывая сухие лядвеи, – она, убогая, не понимала, что это опереточный трюк, так как никогда не посещала в своей жизни комической оперы. И я оказывался безвозмездно одарен зрелищем плоти в просветах халата какой-то особенной несамочьей плотности. Будто она показывала мне штандарт своей крепкой сути, будто под застиранным халатом фосфоресцировал горячий боевой иероглиф, который именно мне предлагалось разгадать.

Она взглядывала на меня откуда-то с другой стороны моей жизни. Как умершая панночка из-под вороха малоросских страниц; и, не видя, она узнавала меня, хотя я был там, где она ничего не должна была различать...

Еще что-то было в ней от непристойности мужских корпораций, например, от разнузданного, много знающего про меня денщика, навязывающего мне услугу, за которую я должен буду в скором будущем обязательно расплатиться, покрыв какую-то его непристойность, которая обнаружится всенепременно.

– Читаете? А можно мне потом тоже почитать или расскажите, про что.

– Картинки рассматриваете? А можно и я с вами заодно посмотрю?

– Ой, да прямо я в разрезе, – удивлялась радостно она огромным разворотам анатомического атласа, едва уместяющегося на обеденном столе*.

Вот ее грудь, шея, бедра, руки просто говорят языком желаний, алчут, а все вместе – убудочный сор мелких символов. Кухарочья куртуазия.

Будто я барчук-несмышлениш, которого надобно совратить по просьбе дальновидной матери. Это было бы комедийно, если бы не было зловеще.

Она словно невзначай касалась меня. И я чуял ее жесткий состав. Вместо того чтобы по-свойски хлопнуть меня по плечу, она, искусственно стесняясь, склоняла голову, говоря в половицу:

– Ой, да ну что вы!

Но с моей стороны не было реплик.

На расстоянии вытянутой руки можно было уловить, как в ней тлеет какой-то чадный фитилек, как в керосинке, будто она приманивала меня духом копоти. Непостижимое животное во время гона.

Она меня завоевывала и прикармливала, как бродячего пса. Я все ждал, что она свои визиты будет сопровождать «на-на-на» или причмокиванием.

Но что-то в ней таилось еще помимо этой опереточной прыти. Комнату В. А. она успевала оглядеть, как инспектор, не двигая шеей, но неистово крутя головой при этом, что кажется физически невозможным, но я-то видел – шныряющие глаза, как бинокюляры из прорези дзота.

Вот она проникла в волшебные чертоги, как кинооператор. Я тревожно понимал, что она учит расстановку предметов, словно для составления отчета.

– А спите где ж, на чем?

– На полу

– Значит, постель сворачиваете – нехорошо. Давайте-ка как я во дворе развешу, и все мы просушим прямо в момент на жарнице.

Слово «постель» говорилось ею почти без гласных, и я не уверен, писала ли она его как-то иначе в соответствии с правилами.

– Да все сухое.

* Она не говорила, а неразумно лепетала раздельными словами, как глухая, обученная в малолетстве по методике Малиша. Роняла вокруг себя какие-то целлулоидные формулы-фонемы, не догадываясь об их смысле. Мне было очевидно, что она видела куда больше, чем понимала, но при этом была въедливо-приметливой и по-кошачьи хищной, будто готовилась к броску.

– А вы что, со сна-то и не потеете вовсе?

– Не примечал.

– А я вся прям в спарине встаю, – жадно съев «и» в «испарине», она протяжно лгала, словно я уже промокнул ее эпидермис и получил удовольствие от ее парного духа.

Но я-то знал, что кошачьи никогда не потеют. Только носом и анусом.

Хотя, надо сказать, пахло все же от нее неплохо, мне нравилось; не по-женски, не молоком, а сухой сывороткой, будущей простоквашей, тельно, как в раздевалке бассейна, гигиенично и вместе с тем неотразимо скользко*.

Одним словом, мне было понятно, что ее заходы на территорию В. А. – это чересчур, это уже чревато... И еще маленькая тупица зарядила этажом ниже неподдающуюся механическую пьесу.

– Ну, отдыхайте, отдохайте, – сказала наконец она, коснувшись моего плеча, того места, где должны были блистать погоны.

Я понимал, что очутился в какой-то «минус западне», ничего не делая с ней. Я уже попадал под подозрения. Такой цветущий, молодой, здоровый такой, целый как-никак. И она такая же, да еще не намного старше будет. Так чего же?

Я чувствовал это перевернутое равновесие, и оно рушилось.

Меня будто увязывали вервии тупого звука, доходящего через пол, и того, что она тут находилась с той же тупой очевидностью.

Мне становилось невыносимо тесно, будто я очутился в сбесившейся толпе, стремящейся на последний корабль по подвесным мосткам.

Иногда я слушал, как мимо плотно запертых дверей жилища В. А. проносились обрывки чьих-то речей, кажется, я чуял их, как запах, будто это были блюда снеди, прикрытые салфеткой.

* Как от Г., когда мой ласковый возлюбленный взмокал, прильнувши ко мне на какой-то там постели в гостиничном номере в Гродно или в Белостоке, – были такие, которые можно было снять на время, на часы, если нам негде было уединиться... О, вот история, я всегда возвращаюсь к нему, при любых случаях своей жизни.

Никогда не позабыть: конусы света пятнят полы, ведь было уже утро, лучи, прокалывающие плотные портьеры, уже удлинено ползут, толкаются, как рыбы в перегретой воде. Эти светлые пятна одновременно отменяли вещный мир, который освещали, превращая его в зримый шорох, шум, протяжения выдоха. Казалось, что свет только и предназначен для того, чтобы показать бесконечность мира, выложить из бессвязных эпизодов череду и последовательность, меру и конечность, осознав которые можно задохнуться... Если бы я лизнул эту подвижную узкую стрелу в сторону ее роста, то пресный щемящий вкус заполнил бы мое сердце. Я причащался, только наблюдая, глядя. Как с плеча моего Г. узкая шель проливается искрящейся желтью – через ключицу и грудь, он ведь еще спал – в сторону настоящего рая.

Это было совершенно неуместное воспоминание; мне захотелось перекреститься. Но ангелы побежали по лучу, и он сместился согласно их весу, осветив полосы матрачного тика и жгуты и барханы гостиничного, словно сбесившегося за ночь, белья.

«Что ты мне скажешь, что, какие слова?» – спрашивал я его.

«Это не потому, что ты замуж не хочешь, а у тебя – не сло-жи-лось. Не сло-жи-лось, да и в голову не бери! Вот пава-то какая себе...»

Что это означало, понять было невозможно.

Или еще звуковая экспозиция: вдруг раскаты особенного женского смеха повисали в пустоте зримой сигмой, продолжающей анатомическую линию невидимого горла, дыхательных путей, трахеи. По регистру этого смеха я понимал, что смеющиеся – где-то в утробе жилья женщины-вакханки, и они могут быть неистовыми. В этих забившихся судорожных звуках было все – речь, обращаемая к отсутствующему самцу, акт самодемонстрации, убогая жалоба лона, резонанс нелюбого пустого тела. Будто роняли порожнюю кухонную утварь, в которой давно не было никаких съедобных ингредиентов.

Это был новый мотив, который я прежде не слышал.

Косность этой жизни была выразительна своим акустическим регистром – фрикативные гз, появляющиеся там, где их не должно быть, – царапали о воздух грубыми колками, оставляли в кратких смыслах какие-то продолговатые занозы. Чересчур задорные смешки молодых говорили о том, что они готовы к удовольствиям и за ценой не постоят, потому что после войны они победили – не только врага, но и вообще всех, – и теперь они не говорят, а одергивают, так как все, кроме них, зарвались и находятся пока под подозрением.

Когда квартира утихала, я выбирался в уборную, на тяжелой бухающей двери которой изнутри была наклеена унизительная листовка-рецепт гороховой кулинарии*.

Я догадывался, кто это сделал.

* Суп. На один стакан гороха: 2 луковицы, по одной столовой ложке масла и муки. Лучший горох промыть, залить холодной водой и варить до мягкости, после чего протереть через сито вместе с отваром. Муку, поджаренную с маслом, развести гороховым отваром, добавить к протертому гороху и довести до кипения. Полученный суп посолить, положить в него поджаренный на масле лук и снова дать прокипеть. Отдельно подать гренки из белого или черного хлеба.

Чья-то злая рука сцарапала крупно по диагонали «гавно». Сухим ногтем.

7 августа четверг

восх. 4.44

зах. 20.27

Луна полнолуние 2 авг.

зах. 10.36

восх. 22.20

1938 – Умер К. С. Станиславский, выдающийся деятель русского театрального искусства.

1932 – Декрет ЦИК и Совнаркома СССР об охране общественной социалистической собственности.

Общественная собственности священна и неприкосновенна.

Основой нашего строя является общественная собственность, так же, как основой капитализма – собственность частная. Если капиталисты провозгласили частную собственность священной и неприкосновенной, добившись в свое время укрепления капиталистического строя, то мы, коммунисты, тем более должны провозгласить общественную собственность священной и неприкосновенной, чтобы закрепить тем самым новые социалистические формы хозяйства во всех областях производства и торговли. Допускать воровство и хищение общественной собственности, – все равно, идет ли дело о собственности государственной или о собственности кооперативной и колхозной, – и проходить мимо подобных контрреволюционных безобразий, – значит содействовать подрыву советского строя, опирающегося на общественную собственность как на свою базу.

(из доклада товарища И. В. Сталина на объединенном Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 7 января 1933 г.)

Планеты в июле

В начале месяца в лучах вечерней зари можно видеть Сатурн, который во второй половине месяца скрывается в лучах Солнца.

ПЕРЕМЕНЫ ИСТОРИИ

Я смог из разных оговорок восстановить картину его прошлого.

До начала 30-х он жил в Ленинграде, у него была семья, супруга, детей «Бог не дал».

Если все свести к одной формуле, – он попался: жена легко выследила его с любовником, что было совсем не трудно, так как В. А. вел себя весьма выразительно. Он стал откупаться, естественно, требования номинальной к тому времени жены росли, а тут и общая историческая концепция ужесточилась безмерно.

Можно было легко себе представить, под каким гнетом он оказался, как он наблюдал за особой остротой этой ситуации, когда он оказался во власти женщины, любовь к которой давно сводилась в зону физиологии. И эта новая власть над ним предстала исключительно ее заслугой, добытой в тяжком бою.

История была похожа на притчу, но притчей не была из-за паскудных последствий. Ведь из скандалов, измен, мелкого торжества и продуманной мести притчи не произрастают.

В. А. излагал подробности этих перемен, но кроме того, что, как следовало из статьи Горького, фашизм равен гомосексуализму, и если уничтожить одно, так исчезнет и другое, я усвоить ничего не смог.

Он сказал, приблизив свое выразительное лицо: «Но и спасен я был по той же причине, что и арестован, – я хорошо знал следователя, очень хорошо его во многих смыслах знал, и был всего лишь выслан в немецкое Заволжье, а это вам не Колымская Ривьера... И юридическая обстановка моей высылки была весьма щадящей. Спасибо М., но он сам не уцелел».

В. А. говорил о какой-то досаде, которая его не оставляет:

– Когда я выходил обычно из дома, уже в дверях, – на службу, в библиотеку, по делам всяким – она всегда начинала что-то такое важное мне говорить уже в раскрытые створки, на лестничный пролет – это требовало подробных и длительных обсуждений. Мной вообще в отношении к ней двигало раскаяние, Я-то ведь был виноват, и эта вина такой тягостной была из-за повторяемости. Она всегда что-то говорила на грани, требующей от меня признания, но я не должен был показывать вида, что она меня подозревает. И разговор перед уходом всегда, это было всегда нечто, что должно было поменять весь наш быт. Я осознавал эти притяза-

ния как жернова, прикованные к щиколоткам, чтобы я не сдвинулся с места, как кладбищенский командор. Она просто каменила меня, чтобы пользоваться мной от члена до носа. Правда, эту ее каменную манию осознал, когда мы уже расстались. Тогда кроме азарта сопротивления я ничего не чувствовал. «Ну опять, опять в дверях...» Мне до сих пор снится, как она елозит по мне. Такой ком скользотного белья по стиральной доске. Ох, простить себе не могу своего великодушия. Тоже мне, нашел применение этому душевному свойству...

Все значения моей нелюбви стали абсолютно буквальными...

И такое чувство, когда я уходил из дома, а меня не пускали, и я понимал, что если останусь, то не переживу пустоту, которая меня сейчас толкала к двери. С этим нельзя ничего поделать – и я всегда торопился, чтобы вернуться через какое-то время – пьяным, трезвым, пустым, с неостывшими следами поцелуев или просто никаким. Ведь как ни странно, чем больше было между нами отчуждение, тем сильнее я чувствовал, что между мной и ею на самом деле расстояния никакого нет. Я тогда жутко, до чрезвычайности устал и тупо ждал разрешения своей семейной истории. Но в чем была моя вина? В том, что я это я?

– Или вот еще эпизод, – говорил дальше он, – из того же регистра. Сидит напротив меня через стол. Расслабленно сидит, хотя я понимаю – какой в ней стержень распрямлен. Но по виду – будто мы во что-то поиграем сейчас. Загадочна. Я всегда чувствовал, что должен ее опережать в своих догадках, не знаю почему, будто хотел сохранить этот уклад с ней где-то в неземном отдаленье. Я ей говорю, за обе руки взяв. (Он показал на мне.) Так к столу прижал ладони. «Да или нет? Еще раз – да или нет?» А она смотрит очень ясно, через миллион улыбок, но понимаю, что видит меня сквозь такой туман безразличный, что это уже и не я, а кто-то там еще, какой-то... Да и я к той поре уже устал ее стесняться, рефлексы во мне переставали действовать. Я от этой своей раздвоенности страдал.

Ведь когда другой мужчина у женщины появляется, это так заметно сразу – вроде ничего не изменилось, а все – другое уже. Будто у меня с ней разные календари, и ее на полтора дня отстает, вот поэтому такое чувство, что никогда не догнать, не пробиться мне в ее дату. Да в какую дату, уже мой вечер ее утро перехлестывал.

Не то что смотрит она иначе, а вот тень другую отбрасывает – острее или мягче, – это все едино, но сам силуэт стал другим. Я-то знал, что свою вину перед ней пытался вытеснить самообманом.

Я потом понял, на что это похоже, – будто она потанцевала и вернулась, не запыхавшись, но пот пахнет по-другому, вроде пот стал высыхать трижды быстрее, ибо она вообще – торопится. Разные темпы. И в постели все иначе стало – и сжимается там у нее не так, как прежде, и стонет, когда исходит, другим совсем голосом.

Знаешь (он обратился ко мне на ты, что делал не всегда), мне стало страшно, что меня вот-вот позовет другим именем.

Во время блокады, представляю себе, как она металась, чтобы выехать на «Большую землю» и оставить при этом за собой квартиру, имущество, но во фронтовом городе неорганизованно выезжающих лишали прописки, делали как бы высланными – в паспорте перечеркивали штамп, где адрес, квартира, прошлая жизнь... И куда она делась вместе с прошлой жизнью, я не знаю, а впрочем, и знать не хочу.

Он спокойно добавил:

– Благодаря ей я здесь, хотя как знать – в блокаду, может, и погиб бы, так что, сама того не желая, спасла. Это пассивные статьи, доказательства собрать трудно, если не подставляют специально, но иногда... Не знаю – жива ли...

Я понял, что в уме В. А. стояло несколько эпизодов, потрясающих его своей безмерностью, – они были кратки, но велики – случайны, но решающие, они были мелки, но чувственны, он пересмотрел из-за них свою концепцию времени, лишая ее предметности, превратил в логику промысла.

– Она мне как-то высказала, так мечтательно проговорила: «Ты никогда не умел обнимать меня». – «Да как же это так...» – «Ну, как маленькую девочку, когда больше сказки на ночь ничегошеньки не надо. Так, чтобы моя чувственность к тебе была чистой». – «Насколько же чистой?» – «Это чтобы я тебя ни в чем не подозревала». – «Даже в желании иметь тебя?» – «Даже в этом».

В. А. помолчал-помолчал, как в сказке, и говорит уже мне напрямую:

– В этом была такая ясность понимания моей жизни, моей несправившей неудачи с ней.

Он добавил очень важное:

– Вот вам не понять – как это можно сразу двум обниматься. Ну, чтобы вы меня и я вас и чтобы это было равенством. Чтобы теряемая близость каждый миг воскресала.

В руки мне попала мелкая бумажка с самым бессмысленным текстом в мире, с едкой химической притчей, когда я читал, не вчитываясь в эти слова, рот мой наполнялся кислотой:

Удаление пятен ржавчины

Чтобы удалить ржавчину на белье, пятно следует основательно смочить водным раствором цинкового купороса (серно-кислый цинк, белые прозрачные кристаллы) и старательно промыть чистой водой. После этого белье некоторое время парят.

Цинковый купорос можно достать во всех москательных лавках.

Потом он уже в другой день свободно излагал свои теории о том, что в литературе женщины как-то странно всегда получают, и он ловит эти, существовавшие только в его сознании, несоответствия.

– Вот вспоминаю свою жену по этому поводу, что она была куда сложнее, слоистая такая, но общего вкуса понять нельзя никак. Вроде – добрая душа, мухи не обидит, а тут вдруг такое сотворила – многоходовую комбинацию. Все, конечно, отчасти, отчасти из-за моего отцовского неуплотненного жилища, старинных вещей, совершенно бессмысленных при тех обстоятельствах. Но она вила гнездо, как ласточка, просто, правда, извините, те – лепят. Так вот – она была как фабрика по производству этой клеящей субстанции. Являла какой-то невероятный талант обменных операций. Туфли стоптанные на траченный отрез, отрез на часы уже с боем, их на новый патефон, патефон на пять премьер в Мариинском и т. д., и т. д. И все с прибылью, получаемая ею вещь каждый раз была если не лучше, то значительнее, в итоге дороже, нарушая закон сохранения энергии.

Хотя объяснение было этой прыти: отсутствие у нас глубоких признаков семьи, например детей, а она внутренне была настроена на родовой цикл, и отсутствие в этом деле прибýtка надо было чем-то покрывать. Вот вам и растрата яйцеклеток и суета несусветная, мышья. Будто она что-то по-настоящему изменяла в мировой жизни.

Но когда поняла, что меня можно безнаказанно сгноить и на мое место... Тут-то и случился самый неистовый разворот.

На самом-то деле каждый прошлый миг жизни с ней зависел от того, что происходило со мной в моей потаенной жизни без нее. Будто я сам, строя свой роман, – а он казался мне великим – все семейное свое рушил.

Я потом ее как социальный феномен обдумывал с точки зрения классовой экономики. Это для самооправдания, чтобы не слишком саднило. Удобный метод! Рекомендую! Но, правда, погряз в простоте метода. А она-то почитала себя марксисткой, при таких способностях к мене, конечно. Все мне цитировала то ли Маркса, то ли еще какого-то адепта: «Идешь на рынок и меняешь мешок зерна на одну овцу. Овца дает потомство – вот и первая прибыль. Марксисты не дураки!»

Ходила в политические кружки, это как боны для карьеры. Больше кружков – выше по лестнице. Но что интересно, она во все это верила отчаянно. Глаза горят, о, вспомнил, вспомнил цвет радужки – швейцарский шоколад с зеленым орешком. Она однажды выменяла целую коробку. А как верила еще в перевоспитание, но со мной не вышло. Но вот Иоаннушку перевоспитала бы точно, женила б в момент. Все раздумывала о коллективной собственности; я ей: да что ж это с едой такой затор? А она: потому что не все верят, как я, и не так активны. Но была все же мила, что-то было в ней от всадника, это меня и влекло к ней вообще-то. Я потом раздумывал: ну чем для меня мужчина телом лучше? Можно ведь что с ней, что с ним, практически одно и то же. Но с мужчиной может быть еще и дружба, да и корысти я, пожалуй, не встречал. Коль корысть, то все пропадает вмиг!

Он добавил, глянув мне в глаза:

– Правда?

Я не должен был отвечать.

– Одним словом, ей чего-то не хватало – тотально. Вещей, времени, власти. Все на «вэ». И вот пока я ее удовлетворял, то в ней открывалась бездна этого недостатка, и его было не восполнить ничем, никакой самоотдачей. Так что обмена не получалось. Еще ее крошечная страсть все воспитывать – моих старых родственников, комнатные растения, кошку, про себя не говорю. И самое парадоксальное – пароксизм доброты при этом. Так и не понял, как это в одном теле может совместиться.

Еще все вспоминаю, как у нее были после зимы чирьи, никак было не унять этот процесс – то тут, то там выскочат. Никакие мази не помогали, только одежду пачкали. Так одна ее подруга предложила обратиться к знахарке, чтобы заговорить. Она не поверила как материалистка, конечно, но подруга ей говорит, а попробуй родинку удалить красной ниточкой. Обвяжешь – и утром не будет, только завязать должна та самая знахарка. Так и вышло – никаких следов от родинки, только красная ниточка на простыне лежала утром. Одним словом, из противницы-материалистки она превратилась в оголтелую, так тогда говорили, хороший эпитет, кстати, оголтелую адептку простонародного метода. Между прочим, дала остроумное объяснение этому эффекту – глубинное возбуждение древней классовой памяти, именно классовой, ведь алый цвет нити – выплеск глубокой древней ненависти к угнетателям. Значит, родинка и бородавка ее угнетали, так надо понимать.

Говорила, что надо этот метод пропагандировать повсеместно трудящимся массам, сделать поликлинические «народные кабинеты», белые халаты там, оклад приличный, лапти каучуковые, но это уж мое изобретение. Даже дружбу завела с одной «специалисткой», пока та ее культурно не обчистила во время сеанса.

Ну какое чувство можно при таких условиях сохранить?

А может, оно просто вышло? Как спички, соль и сахар?

В. А. все время прибавлял вариации одинаковой реплики, будто извинялся: «У меня такое чувство, что это я недавно прочитанный роман переказываю, кем-то написанный. Совершенно мне нынче не стыдно...»

Легко было представить сухой остаток его семейных отношений: ободрение всех сторон бытовых отношений, от этого крошечные ссоры или сдержанный гнев без разрядки, что одно и то же. Неутихающий анализ своего ошибочного выбора. Но поразительно, В. А. в этом признался, что весь хаос невозможного концентрировался в безудержно чувственной линзе. Ведь им оставалась одна «физиология», как он выражался. Она становилась зверской, опять-таки, по его словам, детализированной, как холодное ругательство, сказанное не в сердцах, а для оскорбления – «на хер иди», и все реально – и хер, совсем не буква, и как идешь на него, по половикам липким шлепая.

Он вспоминал балетный театр, который часто посещал в то время, видимо, была какая-то личная причина, «закулисная», что ли. Какие были в ту пору балетные дивы! Как они внезапно расцвели мрачным жестяным

цветом, исподлобья. Жесткие, натренированные, очень техничные, просто станки, и при этом действовали прямолинейно и гипнотично: замечал, как публика ручки кресел сжимает так сильно, что кисти белеют. Будто потом отправятся эти баядерки в другие сумрачные кабинеты выведывать подноготную у тех, кто тайного за душой и в помине ничего не держал, кроме денег дурацких на любовниц. Вообще, был интересный эффект той театральной жизни – общей: экстаза и скованности, такого мазохистического ожидания и отчаяния, самоотдачи, обостренного страшного эротизма.

И еще одно важное замечание о конечном характере жизни в то время – он, живя, будто бы писал трактат, в котором не было места подробностям, его тогда интересовали только механизмы и мотивы, на все остальное не было сил отвлекаться.

Он бы много еще мог рассказать, но я замечал, как эти смешные несмешные воспоминания буквально обездвигивали его. В. А. обычно легкой жестикуляцией добавлял артикли к своим словам. Здесь тоже едкая речь требовала артистических выпадов, сегодня же он сидел предо мной как забинтованный. Было понятно, что жестикуляция уже была многожды разыграна им наедине с самим собой, теперь же он делился сухим остатком, высыпая из себя горку вещества, как из расколотых в самом тонком месте песочных часов. Будто страницу о происшествии напечатали готическим шрифтом, каждая литера которого – источник нешуточных медитаций. И предо мной предстала зловещая пародийность его рассказа.

Вдруг на улице собака запричитала, как чайка, будто полетела.

– Живодеды, живоеды, – констатировал В. А.

Моя подруга, оставшаяся в прошлом, вызывала во мне нелепое и щемящее чувство: я видел, как она в полуобороте стоит ко мне, мне не увидеть ее лица, как я ни стараюсь окликнуть ее, называю ласковым, обращенным только к ней прозвищем, но ничего, кроме ее уха, пряди за ним, мелкой александритовой сережки, не вижу.

Может, я сам боюсь сложности того, что думает она обо мне, что мне не говорит, но подразумевает.

Распахнутая створка платяного шкафа, куда она смотрит, словно зримое противоречие, эксцесс, который я одолевал, живя с ней и любя ее глабоко и как-то, как казалось только мне, согласно.

В шкафу на полках – моя одежда – стопка, в ней разные рубашки с отстегнутыми воротничками, воротнички висят на шлейке, будто это капитуляция, еще – светлый парусиновый плащ, синее ратиновое пальто, роскошное по всем временам, такие памятники прошлых погод...

Какой-то мучительный апофеоз подробностей.

Я зову ее: «Ну, дорогая, не надо, посмотри...»

Но она достает из внутреннего кармана моего темно-синего пальто конверт, куда я складывал письма Тадеуша.

Она становится мстительным извятием, пантомимически совершая одно и то же движение. Только в этом эпизоде я могу ее разглядывать, как маску, как видимость, будто тела, то что меня так трогало, у нее уже нет. Одна поверхность.

О, если бы я услышал скользкий звук конверта о шелковую подкладку пальто! Если бы...

В моей памяти еще много эпизодов подобной мизерии, но они связаны одним качеством – они не могут разрядиться, находясь в постоянном становлении, оставаясь укором, началом трагедии, прелюдией заглавного эпизода...

Ей ведь достаточно было прочесть первые строчки, только первые строчки и посмотреть даты. И мне все-таки кажется, что я видел, как она их читает, не воочию, не воочию, но видел так, что обмирал и до сих пор обмираю.

В моей памяти она уже сделалась скульптурной, но обойти, обогнуть ее всю вокруг я не могу, она – часть эпизода, его зримое бессловное воплощение.

Я понимал, что наши отношения с В. А. приобретают эпический уклон; все для меня, еще плохо понимающего генеральные детали этой жизни, делалось сверхзначительным – будто я листал какую-то книгу, читанную прежде и позабытую.

Но истории предательств, ревности, невосполнимых потерь, чудесных избавлений перелистывались каким-то уютным сквозняком, который в любое мгновение мог сдуть и меня самого, как высохшее между оконными рамами насекомое. Может быть, я терял чувство реальности, меня покидало ощущение темпа моей жизни, и я пребывал в какой-то пазухе, которая вообще-то могла схлопнуться в одно мгновение сама собой.

Я отдался интуиции, так как анализировать мое положение было невозможно.

Как ни парадоксально, но происходящее со мной, совершенно ирреального свойства, я воспринимал как запоздалые переживания, я жил, как бы вспоминая. Все-все-все то, что прошлым еще не было. Обстановку этого дома, В. А., его речь, его действия, обращенные ко мне, – во всем был знак, что со мной может случиться все что угодно, но никакого изъяна мне это не несет, ибо я понимал, что я уже и так весь растрочен тем, что произошло со мной. На происходящее в моем настоящем я смотрел как на синдром моего прошлого, как на попытку отменить его безвозвратность. Но оно таким, каким было, – не будет никогда. Я и на В. А. смотрел как на воспоминание, ведь будущего у всей нашей истории точно не было, и каждый новый миг нашего общения был подогрет каким-то обратным огнем того, что я обязательно исчезну.

12 августа
Восх. 4.54
зах. 20.16
Луна
посл. четв. 9 авг.
зах. 17.43
восх. 23.58

1848 – Умер Стефенсон, знаменитый английский изобретатель.
Родился в 1781 г.

1759 – Разгром русскими войсками прусской армии при Кунерсдорфе.

Картинка – молодые колпики в астраханском заповеднике. Глупые-гупые длинноногие птички на вершине холма из ломаных веток. Разве они сами смогли столько наломать? Таинственные баррикады. Тайну знает Куперен. Les Barricades Misterieuses.

В дельте Волги

Небольшой катер бежит по лабиринту рукавов дельты Волги. Навстречу ему все чаще попадаются одиночно и группами диковинные птицы: белые и рыжие цапли, колпики с лопатовидными клювами, карвайки с длинным и тонким изогнутым клювом, красные утки, серые гуси и какие-то странные, похожие на ископаемых, птицы – бакланы. Это Астраханский государственный заповедник. Кругом необозримые, выше человеческого роста непроходимые заросли камыша, тростника, рогоза и ежеголовки, вперемежку с лесками из ветлы, кустами ивы.

В зарослях обитают кабаны, лисицы, утки, каспийские фазаны. Все высокие деревья покрыты гнездами-колониями. Стоит неугомонный гам от криков птиц. Сотни тысяч уток слетаются сюда летом на линьку из областей Союза.

В мае в воды заповедника начинается массовый ход из Каспия для икрометания сельди и красной рыбы – севрюги, белуги, осетра.

Растительность заповедника очень богата, особенно красивы заросли белой кувшинки и лотоса – «священного» растения древних народов Востока.

В. Макаров

Загадка

Есть крылья, а не летает,

Ног нет, а не догонишь.

(Святой дух? Он ведь веет)

ФОТО В. А.

Вот я наконец разглядывал его так, как давно хотел. На фото – обыкновенный день, но такой распахнутый, как замечательная книга – на лучшей странице. Этот снимок полон надежды, он сделан летом сорок пятого года, после окончания боев.

Мой взор наконец-то мог проникать и этот картонный прямоугольник фотографии, и В. А., запечатленного на ней.

Самое главное – именно то, что я безуспешно пытался узнать его по настоящему, вглядываясь в его спокойное вроде бы, открытое лицо и подтянутую фигуру сильнее и сильнее; ведь он наконец-то не мог отвернуться, нахмурить брови, насупиться, вообще уйти в светлую березовую чащу, – это была Германия, я узнавал ее расчесанные на светлый пробор пролески, на древесных стволах кое-где темнели номера, будто здесь бывали друиды.

В. А., стоящий между прямыми стволами, словно в раскрытой раме, отменно позирует; он возведен в недоступную степень отвлеченности, но мне известно, где он ее позаимствовал, – так в начале девятнадцатого века живописцы изображали военных, облаченных в мундиры различных полков, точнее, не военных, а их неотразимые статные мундиры.

Он будто сошел со страницы старинного альбома, где помимо него на следующих разворотах будет еще красоваться бесконечная череда бравых молодцов в похожих позах.

Они будто прислушиваются, чтобы не пропустить такты танцевальной музыки, которая вот-вот заиграет.

Кажется, что и В. А. не один такой, выставляющий на обозрение свою тугую статью, свою сущность, которая и есть обобщенная мужская оболочка.

Ведь их самих в ней быть не должно.

Ему удалось это, и он своим завершенным видом мог вызвать только восхищение.

Подозреваю, что амбициозные женщины, не чувствующие ничего, кроме вычурного дребезга своего переусложненного устройства, не давали ему прохода.

Мужчин, не имеющих касательства к его практике, он должен был тоже смущать своей мужественной полнотой.

Мой взор от него просто отражался.

Ну что еще может быть за этим блеском, что можно там различить кроме самого себя, повторенного чужой поверхностью, не имеющей ни начала, ни завершения.

Так что в смысле своей внешности он оказался безупречным декоратором, ведь при его непрестом положении высланного в недавнем прошлом из Ленинграда, скрытном образе жизни, выразительном одиночестве, случайных встречах и т. д. не было ничего важнее этой безупречной амальгамы, заволакивающей его ровным слоем.

По развороту его бравой фигуры, будто он готовился всю предыдущую жизнь позировать баталистам, по широкому ремню, славно перехватывающему гимнастерку, не скрывающую плоский торс, по португее, будто бы к ней пристегнут невидимый колчан, по линии нагрудных карманов, вторящих рельефу груди, по галантному крою галифе, не скрывающему силу его чресл, и, наконец, по сияющим высоким голенищам можно было изучать законы золотого сечения.

И вот он достиг того, чего хотел, – про этого прекрасного вида человека нельзя было сказать, что он неповторим, что у него есть нечто частное – история, обида, тоска.

Список возникающих аллюзий можно было продолжать еще и еще. Было бы время вглядываться в этот снимок.

Фронтальной фотограф добился, что человек, которого он снял, мог пахнуть только порохом и огнем.

В. А. прекрасно маскировался.

О его лице я сказать ничего не мог, словно это был слепок с В. А.

Все!

Даже его занятия производили одновременно отталкивающее и влекущее впечатление на людей, вдруг о его деятельности прознавших. Ведь дежурящий за воротами смерти должен нести особый отпечаток. Поэтому можно было искать в нем что-то мертвящее – в речах, в жестике, в поведении и во всей внешности. И право: побрит – будто щетина и не растет, а причесан – волосок к волоску с блестящим мускусом, искусно.

Его выбор был своеобразной охраной – ведь вроде бы ничего более страшного, чем то, с чем он связан, с людьми произойти уже не может. И он на самом деле не боялся, так как ему просто нечего было опасаться.

Таким вот образом в нем происходило снятие – и он был самим собой, и все силы направлял на совершенствование своей отвлеченной поверхности. Может быть, это и был чистоган эротизма, ведь от всего другого – карьеры, политики и прочего он был отвлечен; он взшел на такое холодное плато, сойти с которого было нельзя.

Когда В. А. рассказывал что-то из недавнего военного времени, то мне всегда казалось, что это пересказ слышанной им истории, ну, по меньшей мере, нечто, приукрашенное чужой прямой речью, оборотами, чем-то там необязательным еще.

Ну вот, скажем, небольшой армейский скетч об умельцах изображать женщин. Он долго повествовал, как в мужской среде разговоры «о бабах» всегда стекают, невзирая на весьма ограниченный репертуар, в одно русло. Он был чуток и наблюдателен, особенно в этой области, где сам был если не лазутчиком, то следопытом. Так вот дело в том, что в запале всех этих однообразных историй кто-то обязательно начинал изображать женщин – или повторял речевые обороты, кажущиеся сугубо женскими, или передразнивал манеру ходить, подавать руку, оправлять платье, нести тяжелое ведро. Самое выразительное в этом театре была естественность и легкость такого переключения. В. А. сказал о своем главном наблюдении:

– Здесь ничего не надо специального придумывать – только расслабиться и отпустить тормоза такой бравой выправки, и тут же выясняется, что ты вовсе не мужчина, а что-то другое, – а вот это-то другое и есть женщина, которая имеется в преизбытке в каждом homme. Il ya dans chaque homme. Это, знаете, как в зеркало смотреться долго, до тех пор, пока себя узнавать перестаешь.

И он, помолчав, добавил:

– Потом мне понятно стало: мужчинами становятся, а женщинами бывают. Согласитесь: есть ведь разница между становиться и бывать, не правда ли? Я потом такой тезис сформулировал: «Все не только из них, но и от них». И чем проще человек – откуда-то из самой глубокой глуши, не городской, тем ярче в нем это заметно – и пластичнее и нежнее, невзирая на неотесанность и прочее.

САМАЯ ВАЖНАЯ ИСТОРИЯ В. А.

Друг кучерявый

А вот и история, с которой и начался главный для В. А. сюжет. Об одном человеке, его друге, В. А. начал с незначительного:

– Только его, да так, одного хорошего моего знакомого, случай выдаться – все узнаете. Так вот, о нем, любезном моем. Лишь и выдавало его, так это руки, опущенные вниз, – когда шел, ничего не неся, было ясно, что мужчины в нем – ноль! Вот гравитацию чувствовать, завтрашнюю погоду, обстрел за минуту перед началом, фазу луны за облаками... Это было его!

В. А. захотел объяснить поточнее, и сказал, глядя пристально на меня:

– У вас почти так же, будто еще одни хрящи и жилы у вас, которые ох как не скоро иссохнут.

Я понимал, что эта смутно уловимое качество важно для него тем, что он зарифмовывал им свое любовное чувство – и оно, вчерашнее, бывшее с ним, не помутнеет.

Эта мягкость, которую он искал во мне, поминая своего друга, такая вечно молодая гуттаперча – словно незабываемая дивная перспектива, открывающаяся ему в любом повороте дороги, в любой сезон, на любом ландшафте.

В. А., рассуждавший на эти почти эзотерические темы, перебивавший неуловимые тонкости, характеризующие слабость и повсеместность своего возлюбленного, казался мне аскетом и адептом самовоображения, но без этого от него самого ничего не осталось бы, только огромное прошлое время, которое принадлежало уже не ему.

– Иногда мне чудилось, что он мог себе ходить по канату, не растопыривая рук, во всяком случае, по всяческим брустверам, краям окопов он так и пробегал, не падая только из-за поспешности. Куда ж он так спешил?

На столе был выразительно оставлен небольшой блокнот. Наверно, специально для меня. Вот я листаю его.

Простодушные европейские виды, легкие пленэры размером с половину ладошки, выполненные мягким карандашом, иногда какие-то будто простевшие, как талый снег, все в синеватых разводах, так как карандаш

химический. Если разглядеть подробно один, то возникает чувство, что это ветер листает календарь, с которого еще не сорван ни один листок.

Настолько верно схвачен мотив отвлеченного уныния – бесхозные, сколько ни прилагай к ним усилий, расчесанные грифелем поля, спокойный дальний лес курчавится, ясно, что он давным-давно оставлен птицами и зверьем. Странно, то, что обычно служит фоном, представало сутью этого рисования. И именно эта перестановка вносила унылый отрешенный тон во все рисунки. Будто еще звучал мотив, который никогда не уложится в графитный штрих или выемку меж штрихами.

Редкие уцелевшие избушки с трубами, словно петли, прошивающие ползущую скальпом поверхность со скользкой сферы нашего времени. В этом однообразном выборе натуры есть артистизм – и вот издевательская лукавая луна сквозь рябь или вуаль облаков, такая бывает в персидских миниатюрах.

На оборотах пейзажей – с ходу кажется просто закавыки, карандашные упражнения, пробы, но это профили, торсы, крохотные зарисовки размером в монетку мелкую одного и того же человека. Он иногда вырисован как кукла-пупс, как могла бы нарисовать маленькая девочка – грудь с точками сосков, губки завитушкой, цыганский чуб и кудряшки на груди, будто рифма, уравнивающая голову и торс.

Почти на каждом развороте маленькая карандашная фраза, которая, конечно, что-то значит:

- он ест
- получил письмо из Казани
- ну просто граф! Лёв Николаевич. А не стоило переть на рожон
- чуть царапнуло его
- опять выкаблучивался, паразит
- устал вдрызг
- чуть не запорол боев. л.
- на д. р. докторицы пел «Калитку», плясал дурнем

И еще в таком же роде, много-много дней. Потом вместо набросков этого прозрачного, неоплотневающего малыша замаслированный карандашом оборот. И там, где должен быть пейзажик деревушки, очерк пролеска, железнодорожной станции, надпись крупными печатными литерами, будто человек с трудом учится писать: «ничего нет».

Больше зарисовок нет, просто чистые листки.

Будто календарь стал отвесным в прямом и переносном смысле, и все с него стекало.

На обороте картонной обложки интересная заметка, превращающая эту записную книжку в документ.

Мелким злым зерном насыпано наискосок чернилами:

«Просмотрено»

неразборчивая закорючка подписи
и сегмент печати с краю.

Осенний день в Москве

Мне казалось, что эту историю он рассказывал не с начала, а с какого-то отодвинутого в прошлое момента нашей общей жизни, хотя по напряжению сегодняшнего вечернего времени мне было понятно, что он что-то обязательно расскажет, и не чувствовать его внутреннюю речь, буквально переполнявшую его с того самого мига, как он растворил входные двери, отбросил саквояж и надел тапочки, было невозможно.

– ...Что тогда началось, будто сам все это вижу. Время суток знаю, цвет зимнего неба переполняет мое зрение. Такое небо, о цвете которого ничего и сказать нельзя. Размолотый жемчуг, когда блеск исчез сию минуту, и он, этот цвет, не имея названия, холодит уже тем, что слов для него не подобрать, будто небо все слова может поглотить своей вездесущей светозарной пылью, пылевидностью. А оно, кстати, было чистым, так как заводы эвакуировали и машины почти что не ездят. Да и воздух как-то про-светлел от осенних холодов.

Очереди в дамские парикмахерские вдруг появились, на тротуарах дамочки переминаются, каблучками по прохладам ноябрьским топоча...

Легковые авто громят, говорил мне, что сам видел – бревно посреди проезжей части развернуто, машина встанет, и те – прямо на капот, на ветровое стекло бросается вся ватага, на двери, как волки на лошадь, – чемоданы из багажника, шубы с пассажиров, часы, желтые цапки, это он так говорил, – в мгновение ока, будто чиркнули. Вот уже капот раскрытый, в моторе что-то оторвали, а те и остались посреди улицы – хлопают себя по бокам. Какая такая милиция? От них, ограбленных, все шарахались. Этими физиономиями они ведь со всех газет недавно смотрели. Их и признать-то боялись.

Да, вот вспомнил мне это все из-за своего «неграфского» друга. Он из Москвы призывался в ту самую пору, когда еще учреждения работали. Он, мой москвич, был, между прочим, врач выдающийся, невзирая на невеликие свои года. Из семейства знаменитых гомеопатов, но семейное дело не подхватил... Все смеялся: горошинки, капелюшечки...

Эх, нет его, нет! Но ведь не вернуть...*

Он рассказывал, что в том прекрасном собственном доме, где рос его друг, а у них был собственный дом на Щипке, это улица такая московская, все было в белых точках, куда ни нагнешься. Будто кто-то секунды вол-

* В. А. говорил, что его чувство к этому человеку, невзирая на то, что его уже нет, не изменилось нисколько. Он понял, когда его еще не было рядом с ним, он все равно ожидал, да, ожидал – именно его. И вообще-то в этом его состоянии ничего не менялось, когда он находился и на расстоянии вытянутой руки. Ведь абсолютно все, абсолютно все было способом его любить. Кто из нас двоих был слабее? Наверное, я, так как удаляюсь. А ведь это именно так. Я попал в самое ядро страсти, не начиная и не переставая его любить.

шебные рассыпал, которых так на жизнь не хватает. Правда, когда совсем маленьким тот был, то не сорили, а вот уже лет с семи все рассыпали, думали, есть не будет. И надо отметить, что история, связанная с его этим самым другом, будет для меня испещрена рассыпанными подробностями, такими белыми мелкими шариками, которые не даются в руки. Забыть их невозможно, только растоптать в сладкое крошево.

Он заговорил так, будто стоял на сцене, освещаемый огнями рампы, будто вздымал руки и бурно вздыхал. Но ничего этого не было. Хотя патетика проникала в его приглушенную ровную изысканную литературную речь. Будто радио накрыли толстым слоем войлока.

– И видел он, пока властей никаких не было, пока все, кто мог, с чемоданами рыскали с вокзала на вокзал, ища эшелоны, сцены настоящей мести. Какие такие сцены, интересуетесь? Да вот, – и он повел головой в сторону двери, пригнулся ко мне, заговорил тише тихого, что я еле слышал его, точнее, понимал по губам.

– Люди рвали портреты. Он видел это сам. Он мне клялся. И одного, и другого, и третьего. В ключья. Рвали. Сдергивали со стен. Топтали!

Я-то теперь знаю, что они не могли себе простить. Извольте объясню. Не могли простить себе, что какое-то время назад узрели в этой шушере (он сказал это слово тайно, едва шевеля губами, шипя) абсолютного духа, вроде того, что и Гегель в Наполеоне, когда тот гарцевал на белом коне. Такую сияющую вершину пирамиды.

О, язычники мы, язычники...

Он кивнул на кружку-кубок, которую поставил на пол подальше, и показал глазами на потолок, где завивали свой мутный хороводик безразличные к людским страстям путти. И я, конечно, понял – кто эти «один» и «другой».

Сквозь приоткрытую створку с улицы врвался сумбур игры – подростки посреди нашей неширокой неезженной дороги, поросшей сорняками, бились в вечерний футбол, ведь автомобилей, чтобы помешать им, кажется, не было вовсе. Мне иногда казалось, что двигатель внутреннего сгорания для этих территорий еще и не изобретен.

Проезжающая раз в несколько дней машина, как правило, грузовик, была событием, на нее с удивлением оборачивались, хотелось броситься к окну и пялиться на ее треск, а если это была легковая, то машина вообще выглядела миражем – мужики до хрипоты спорили о ее марке и метафизической скорости, которую она выжмет, если помчится по какой-то там идеальной прямой. Они ведь были навоевавшимися детьми.

Мне предстояло слушать эти репризы многократно.

Я также заметил одного из игроков – истерически шустрый мальчик-инвалид; он орудует мячом, отчаянно вскрикивает, помогая себе тощими костылями, невероятно прытко и дерзко прыгая на здоровой но-

ге; кажется, короткая культя только прибавляла ему отчаяния. Я вспоминал дурацкие репризы в шапито – вдруг остановившийся посреди суеты клоун начинал клониться и медленно заваливаться по наклонной линии, попирающей законы гравитации, и потом возвращался как ни в чем не бывало к вертикали.

Среди двуногих мальчик метался ожившей верткой треногой, таким сверхживучим отчаянным насекомым, которому секунду назад оторвали конечность. Ему все время грозили, чтобы он не бил по мячу костылем, как клюшкой.

Над улицей несется, разворачивается боевым знаменем протяженный детский выкрик:

«Камеру прогвоздишь, козел! Ногой пасуй!»

Чехарда пацаньих фальцетов врывается в комнату, будто ворвутся, запылят все и побьют; и из гвалта едва можно разобрать, что и этот гол не засчитывается, так как это опять был костыль, а он всем известно – «чистая рука». Но В. А., придвинувшегося ко мне вплотную, эти звуковые волны будто бы не достигают.

Он приник ко мне, говоря почти что лицо в лицо. Он так близко, что я осязаю сухой запах, припорошивший его вечернюю усталость. Только мне не понять, что же это за завеса, отделяющая его от меня, – гипсовый тальк, алюминиевые опилки, меловая пудра или ржаная мука? Я почти уткнулся лицом в этот сухой букет. Такие мужские соцветия, осыпающиеся прямо на меня, ведь от его сухого духа отмахнуться невозможно.

Футбольные страсти, разыгрывающиеся сейчас под самыми окнами на улице, делают В. А., сросшегося со своей тихой речью, чем-то ирреальным, будто и он сам, и то, что он повествует, – выписка из тайного, недоступного никому циркуляра. Будто этот текст, его тайную страницу уличный шум, как фейерверк, осветил на миг, и сейчас все забудется, уйдет в потемки, толком не проявившись.

В. А. говорящий похож на стальное перо, которое окунают в симпатические чернила. И вот буквы, слова, предложения, высыхая, незаметно исчезают.

Я понимал, что узнаю такое, чего мне лучше было и не знать, хотя бы потому, чтобы это у меня не выпытали; хотя не по своей воле можно наплести что угодно, ведь терпение – самый незначительный ресурс, который можно растратить куда быстрее, чем мы успеваем его оценить.

И еще было заметно, что прорези его ноздрей несколько маловаты для его чуткого носа, очерченного лаконичной линией, как географическая граница устойчивого материка. Я понимал, что это совершенно излишнее наблюдение, ничего не добавляющее к характеру его внешности, но это – именно та черта, которая будет меня привлекать и заслонять от меня многое другое – морщины под его сумрачными глазами, мягкие мгновенные лучи его всегда тоскливой улыбки и прочее.

И я также увидел его крупные ноги, которые он перекрещивал, закидывал одну на другую так, что его сверхопрятная домашняя обувь должна была называться уменьшительно, невзирая на взрослый размер.

А еще мне кажется, что вот – я пришел на исповедь, а оказалось, что исповедоваться должен он.

В. А. говорил сразу многими голосами: во-первых, он излагал запретную историю, о которой сказать не позволено никому под страхом казни. Тем самым он подключал и меня к зоне своего «наказуемого знания», за которое несдобровать. Он распахивал такие политические сокровенности, словно ожидал от меня тоже полного самораскрытия, хотя это было не так. Во-вторых, он использовал этот запретный подтекст для настоящих воспоминаний о своей великой любви, совершенно не язвившей меня. Волновало ли его мое равнодушие к этой истории? Может, он хотел раскатать этими подробностями мое чувство к себе, показать, что принадлежит новой истории со мной также без остатка? В-третьих, и это было существенным, мы с ним это отлично понимали, что в его тихо гудевшей речи была сладость пережитого, того, что не забудется никогда. И именно этот гул, не равный смыслу, выговариваемым им, и был главным в этом разговоре.

В его пристальности также было что-то пугающее, будто онследователь собственной жизни, погруженный в сумбурные перипетии прошлого, вдруг потребовавшего неукоснительной логики.

Я чувствовал, как трудно было В. А., трезво понимающему опасность каждого слова, возвращаться в известное ему с чужих слов прошлое. Будто ему было важно донести до меня бессвязность и выпренность того времени, приоткрыть гвалт беззакония, переполнявший его самого; без этого излияния, я понимал, – он уже не мог жить рядом со мной.

Ему, очевидно, трудно давалась напряженность этого размеренного спокойного стиля, которым он пытался выровнять свой рассказ, но он, невзирая на эти усилия, не складывался в безмятежную речевую ровность, а выглядел зловещим преувеличением, и это свойство нельзя было отменить или переиначить.

Его речь будто простиралась на многие версты округ, как равнина за окном поезда, и пересечь ее нечего было и думать, так как все опустилось в такой слой, который находится гораздо глубже самой истории. Там, где непроясненные беспредельные сумерки, непроницаемые светила да и время – приостановились. Только этого никто не замечает.

В. А. и при тихой речи менял тональности и регистры. Наверное, он множество раз проговаривал этот сюжет про себя, но я уверен теперь, что был первым и единственным его слушателем.

Он всегда, при любых обстоятельствах, был занимательным. Будто он рассказывал историю, которая все-таки сможет из-за того, что это именно он ее пересказывает за своего погибшего друга, извлекая ее из какого-то священного эфира, завершиться умиротворяюще и счастливо. Но я с каждым словом, обращенным ко мне, чувствовал лишь беспощадную тщету всей его новой жизни. И это было не парадоксом, не стечением обстоя-

тельств, а промыслом, над которым он был не властен. На счастье, на его крохи, кажется, он не смел и надеяться.

– Что все думали? Еще войну не осознали как всеобщее изничтожение, все сквозь зубы, ведь пацифизм-то в крови: что-то вроде тезиса, что люди искони не хотят сами по себе друг с другом воевать, тем более пролетарий с пролетарием, так вот война и затухнет сама собой. Но не тут-то было. Немцы – вот-вот тут уже, столицу не сегодня завтра сдадут. А что вы полагаете? Само устройство города об этом говорило. Там не улицы, а магистрали такой ширины, что их неробкому человеку не перейти! Вы не видели такого нигде! Широоченные лучи собираются в центре, как в линзе. Это знаете зачем сотворили? А чтобы не было уличных боев. С кем с кем? Да подумайте сами. Кто это у нас баррикады из подручного хлама мастерит? Пролетариат, вместитель идей! А вот тут – порванные документы под ногами с отколупанными фотографиями, листки всякие учетные рваные по улицам, как листва, отделы кадров самоликвидируются, корочки, формулярики, другая дребедень. Все цену потеряло. И мужики какие-то опасные стоят, кажется, сто лет на одном месте, курят гадкие папиросы, сплевывают полдня под ноги, будто из себя пряжу пускают.

Я стал замечать, что В. А., повторяясь, словно бы настаивает на деталях, будто без них я не смогу поверить ему.

– Тут же магазины стали громить.

Эта речь была протоколом мрачного вдохновения. Такой особенный пафос, вывернутый и обращенный в себя. Будто он сам побывал в том столичном многоярусном вдохновенном аду и удивился, что удивляться совершенно нечему*.

А может быть, действительно ад и должен соответствовать описанию его друга москвича.

Холодеющий предзимний город, столица столиц, улицы – как протяженные футбольные поля, красавицы в нимбе свежего перманента, выходящегося из-под накинутых на голову легких шалей.

Розовые капли маникюра, пока не натянули перчатки, ручкой зажимают ворот пальто.

За первым поворотом – шайки неуловимой шантрапы.

И ожидание завоевателей, ставшее атмосферой, нависшей над столицей мира, которая неудержимо опускается в новую нечеловеческую кромешность.

Через сутки пощады не будет никому.

Ни красота, ни деньги, ни жестокая сила не стоят ничего.

Самое ничтожное в этом списке – вещество единичной жизни.

* Мне и без его речей было понятно, что он хочет на самом деле поведать небывалую любовную историю, развивавшуюся меж ним и его другом на фронте, на глазах у всех. Он хотел сказать, но не находил прямых слов, что война была только подмогой их чувству, защитой ему, так как сделала все их короткое время новой истиной, любовной непреложностью, которую ему в мирное время больше не пережить.

Поэтому все частности его рассказа мне показались клеймами, нечего не прибавляющими к главному сюжету. Так, меты пустоты грядущего времени и кошмара неопределенности этой пустоты.

– Только брызги стекла бздинь! и трах! тарарах! То там, то тут.

В паузах его речи таились настоящие драматургические пружины. И он был доволен тем, что его речь была переполнена зримыми приметам.

В. А. продолжал пересказ, что-то особо занимало его, не давало покоя:

– Он еще вот что говорил, и это самое интересное было, пожалуй. Очереди в дамские парикмахерские! Да! Очереди! Хвосты! Странная при таком обороте толкотня. На улицу вываливались хвостами! Представьте себе! Они-то готовились! Приводили себя в порядок. Может, я это говорил, но все равно. Подруженьки наши разлюбезные. И как пахло от этих очередей, он поведал, – В. А. втянул наш комнатный, пахнущий совсем другими ферментами воздух – какими-то запахами, я ох как хорошо запомнил, как он их назвал – «припрятанными», говорил, запахами, ему никогда неведомыми. Будто такой сад волшебный. А вокруг бог знает что уже сгущается*.

Ну так вот, помните, я говорил, как на черный лимузин прямо с тротуаров бросились, разграбили вчистую. Знаете, как вестерн такой. Как муравьи на жука. И его самого, кстати, несколько раз в тот день раздевали. Усердно-последовательно. Сначала портфель просто вырвали, потом шапку сбили, потом кашне и заодно пальто... Он смеялся, что, слава богу, не мороз-ломонос еще был! Грабили как-то плотно – через квартал. Это пока он до Щипка своего не добрался. Это улица такая неблизкая – и его несколько раз разоблачали, довели прямо-таки до исподнего состояния.

В. А. тут перевел глаза в только ему приоткрывшуюся даль. Улыбнулся.

– Чуть он не замерз, бедняга, аж побежал. Но страшно, говорил, совсем не было.

– Мы с ним как-то обсуждали, ну не серьезно, конечно, – что может помешать этому фашизму с таким безумным, привлекательным для обывателя порядком. Таким предельно ясным. Свои – чужие. Ведь нет вопросов. Это когда уже наступали вовсю и видели вблизи их машинерию восхитительную всяческую. Я вот не знал, а он говорил, что только цыгане, евреи да славяне какой-то своей частью, но не все, не все, конечно, а те, кто еще взбаламучен. То есть те народы, кто никогда, вообще никогда-никогда никакой-никакой порядок не примут, если он – не особенный, что-то вроде первичного хаоса, мирового завитка, ну, что-то вроде причины жизни! Подумайте! Вот вам и мера! Цыгане обязательно уйдут в тьмутаракань, непременно просочатся. Евреи – одноартельщики от рождения, их не перековать. А остальные – забубенные, жизнь ни во что ни ставят, бедолаги. Но этим и спасутся. Он потом к этому списку прибавил еще этих, ну сами понимаете кого.

Я не сразу понял его.

* Он углублялся в этот эпизод, так как там было спрятано его отдохновение, затаившееся в слове «припрятанными», как насекомое в глубоком бледном ложе цветка.

– А они оттого в его список попали, что поняли на собственном опыте, что ни мужского, ни женского нет, а в сущности – все едино, то есть вообще нет никакого порядка кроме любовного чувства. Вот вам и ответ!

Он подробно все мне рассказывал, обожал порассуждать, был такой балагур кудрявый. Эх жаль-жаль-жаль, из-за собственной глупости пропал*. Говорил мне – мы на вы были сначала, но это вроде куража, а не в честь его невеликих лет: «Я, Вася, знаете ли, вам замечу, так бояться, видимо, и не приучусь». Да, забубенное славянское свойство. Я, знаете, о чем сейчас мечтаю, если можно таким образом выразиться? Чтобы какие-то его свойства настоящие вспомнить, так, по-людски вспомнить, не по-медицински. Без слабых мест, без умиления. Но вряд ли это возможно теперь через такое время, не так ли?

Моего ответа не подразумевалось.

Память, словно катапульта, выносила его на такие высоты, откуда других с их реальностью было уже не видно.

Тут В. А. опять не сдержал надмирной улыбки, и я понял, какой был замечательный тот малый, прозывавший В. А. Васей.

А он, этот брюнет кудрявый, был не только хорош собой, но и умен. Он иллюзий никаких не питал. Он говорил, что понимает теперь – время мирное с каким-то просто биологическим растлением его настолько ошеломляло, что он его даже не пытался аналитически понимать, только ужасался, буквально ждал своей очереди на уничтожение (из-за чего? Да из-за нерабочего происхождения, учебы у репрессированных учителей, из-за явных склонностей, из-за дружб опасных), а вот время войны, напротив того, – прояснилось совершенно, как простой механизм, как стремительная бесконечность, когда даже смерти не становятся вехами. («Вот меня или вас убьет, ну какая ж это веха, так, чирк-чирк какой-то».) А на самом деле – просто лошадь мельничный круг вращает. Это ведь не время террора. Не успеешь свежие носки из платяного ящика достать, как уже вокруг палат, ближе и точнее час от часу. И не уклонишься. Так как есть последовательности. Вот и он все думал перед войной – ну давайте, давайте вашу гребаную лотерею, пора ведь и мне, тут я весь. Ну что там? Что? А там – ни-че-го. Ведь если души нет, а есть только мензурка в голове с химреактивами, то тогда ничего не стоит всю эту трихомудию растлить, обречь уничтоженью.

Он еще рассказывал, когда мы вместе с ним были, ну, понимаете, были, он мне рассказывал губы в губы, как выспрашивал намеками у разных

* В. А. все грозился мне поведать историю его нелепой гибели, казус Ахилла, как он сокрушался всегда. Да так и не решился. Глаза его влажнели только, будто он еще чувствовал его теплую уязвимую пятю в своей ладони. Они ведь были с ним, с этим кудрявым прекрасным, древними доблестными людьми, ратными мужами, не знавшими греха. Настоящими мужчинами, переживавшими самое высокое из возможных напряжений. Коллапс военного времени, неискоренимый дух победы.

людей без свидетелей: ну что для них, для тех людей, пик этого времени, их единственного времени. Так все отвечали, может быть, истину отвечали, что сам вождь. Словно выдавали тайную пасху, которую открыто не празднуют, а все равно все знают, когда она, – из-за погоды, солнечного света и прочего, о чем только одна душа их знает.

Вот такое крошево из этих людей сделали, а они не пикнули. Вот так!

Я понял: В. А. думает, в том его романе, что на всю жизнь ему достался, наипервейшую роль сыграла кровавая война, ее непреложная последовательность, когда каждый стремится к своему последнему пределу, когда из жизни просто изъято то, что мешает осуществиться. Этот закон сработал для всех. И для него с его другом. И когда индивидуализм был окончательно растоптан, в физическом смысле, оказалось, что кроме единичной ценности человеческого тела с мензуркой души ничего нет. Это парадокс, но не иллюзия.

Дружество

Он рассказал мне историю их дружества, и пусть она будет вставной новеллой. Он так и сказал: «вставная новелла предумышленной любви».

Вот она.

Естественно, недалеко от фронта, который мы постоянно настигаем. Обычное дело – ставим палатки для тяжелых раненых, которые должны поступить с передовой. Местность причесанная, какие-то позиции немецкие, может, пару дней как отбили. И там у немцев – инженерия, оснастка, все настоящие, как в учебниках фортификации.

И вот мы с ним спустились в заглубленное укрытие, может быть, штаб. Все оставлено впопыхах, выпивки прекрасной даже немного, бутылки три непечатых, коробка с сигарами, но очень уж душно что-то в подполье этом.

Я почему-то тогда и сказал, никогда не позабуду:

– А вам известно, как коробка сигар называется?

Он так на меня посмотрел, что я осекся. Ну зачем я так сказал, будто вошь ногтем прилюдно придавил.

Но запустили наши мастера на все руки генератор. Закрутились где-то лопасти. Пошел мягкий воздух. Прекрасно просто. Но, видимо, где-то ротор перекосило, и звук такой, знаете, – бывает, вслушиваешься и ловишь короткие слова. Вот и я про себя все твержу вслед за мотором, до сих пор эти числа помню: «сорок пять, сорок шесть» и снова «сорок пять, сорок шесть» – и никак мне не остановиться, будто завели.

И вдруг слышу – тихий голос отсчитывает: «ноль пять, ноль шесть; ноль пять, ноль шесть». Тут я на него словно впервые посмотрел, знаете, бывает так, будто бы всю жизнь знал и ничего такого, кроме... А тут одной засечки хватило, и в лицо ему от счастья рассмеялся. И он тотчас чрез мгновение мне в ответ.

Потом говорил все время, что мы вместе были до его этой дурусти самоубийственной.

– А я на вас, Вася, смотрел-смотрел, ну, думаю, что за хлыщ такой набриолиненный, все ногти очиняет пятью приборами. Пробор меж лаковых волосьев.

Тут я вздрогнул и ему в ответ говорю:

– А я вас прозвал субъектом, у которого никогда не будет пробора. Кавалером умученных Жизелей.

И тут он мне сказал, пристально на меня посмотрев, очень важную вещь:

– Да, кавалер не меньше вашего, хоть вы, В. А., и с пробором.

Стихи, как вы понимаете, нас и свели, это известное дело – твердить одни и те же слова и запятые. А твердить – это делать твердым. Вот интересно, вроде должно истереться, а оно – твердеет. Кажется, я прав, не так ли?

Он кудрявым был, я вам, кажется, заметил это его наиважнейшее свойство. В голове, надо сказать, у него точно так же все клубилось в соответствии с шевелюрой, просто металось. И он попадал всегда сам в свои собственные завихренья. Уверен, что и погиб он, переживая вместо страха восторг. Так много путалось у него. Он и действовал против собственной жизнеспособности, хотел своим бесстрашием восторгаться, сам с собой лукавил, но не догадывался.

Вообще, мне вам хочется его описать, не знаю, может ли это пригодиться кому-то, не знаю...

Так вот, он был не очень высок, но имел одно свойство, которое его возвышало. Жестикуляция у него была необъятная; нет, руками не махал, но когда говорил со мной, то казалось, что еще и поет он при этом, как в опере наипервейшей; такой гул, что ли, стоял за ним, будто большой оркестр в ближнем лесу спрятан.

Представляете, война, а тут такое.

Охотничьи рожки гудят каким-то Моцартом.

Он вообще мог показать свое счастье совершенно беспричинное, свободу, что ли, ну просто салют; было ощущение, что он поет все время. А уж если вы причиной его счастья оказывались, то тогда...

Я таких больше не видел.

На вторую минуту в него влюблялись, ну, про сестер и докториц и не говорю. Ревновали, делили. А он был в расцвете.

Я думал потом, может, у каждого так случается, только в безлюдных местах, где не видит никто, но потом удостоверился, что он, друг мой незабвенный, – редкость, дар особый; чудесное такое слово есть в русском языке «ниспосланный».

Все, знаете, еще что вспоминаю?

(В. А. не ждал от меня вопроса, я ведь молчал все время.)

– Он бывал иногда невероятно надменным. Если вдруг поднимал брови, то делался не просто надменным, а прямо одутловатым каким-то, очень неприятным, будто вот-вот сплюнет в вашу сторону.

Он потом мне объяснил, что это у него есть такая физиологическая черта – мгновенно поднимается артериальное давление, он даже якобы замерял. Но это просто болтовня, я ему не верил.

В. А. выдержал паузу, и я понял, что сейчас он скажет главное:

– Знаете, был у нас значительнейший разговор с ним о святобожественном, как одна наша гражданка говорит. Это уже просто сцена из русского романа, дежавю.

И потому сейчас я уже вообще все-все-все вам объясню, и про Бога, само собой. Смешно...

Ведь что Бог?

Ну, тут проблемы большие, да не улыбайтесь же.

Я на войне много чего передумал.

От полного отрицания до крошечной всепоглощающей веры, все пропустил через себя.

Но все-таки теперь знаю, кажется.

Зло ведь абсолютно, и оно – во всем; с этим ничего нельзя сделать.

Раньше так не бывало, это – новость двадцатого века, понимаете, – первостатейная новость. Передовица каждого дня.

Так вот, сейчас главное скажу. Слушайте теперь!

...

Он глубоко вдохнул и первую фразу сказал в себя:

– Бог – это способ.

Да, не удивляетесь.

Способ, которым мир себя обслуживает.

И я вот не знаю – что это за формула.

Осуждения или спасения.

...

В. А. написал это горящими буквами, по меньшей мере я таким представил воистину каллиграфический оборот его построений.

Он продолжил о своем, он уже не мог говорить о чем-то ином:

– А я, кстати, знал, почему в него все влюблялись. Потому что это было не постыдно, а необходимо, и других вариантов не было; а в этом деле выбора нет. Какие такие варианты. Как у меня с вами или у вас со мной. Как у моего любимого поэта: «здесь места нет стыду». Но я вам скажу, что стыду нет места и там.

И он показал пальцем в потолок, будто в центр хоровода, который вели тучные маленькие путти, кокетливо изображенные в таком развороте, что причинные места их были не видны, только коротенькие ножки, кудряшки и заплывшие от стократной побелки личики.

Я понимал, он не мог остановиться, так как во мне нашел единственного слушателя для своей речи, которая наполняла его, и он был готов из-

лагать мне всю свою бесконечную историю еще и еще – слитно, по эпизодам, в любом наклонении, как угодно, только не безмолвствовать.

В. А. рассказал, как парадоксально излагал своему любопытному товарищу сюжет одной тощей книжки (Der Tod in Venedig), читанной им по-немецки, высмотренной в конце 20-х на витрине Госкниги на Невском и купленной там за огромные деньги. Тогда, в 20-е, исторические завороты только подозревались как далекие нелепые проекты. А оказалась, и он много думал об этом на фронте, что это совершенно военного времени новая книга. Там ведь юный прекрасный славянин, полячок-несмышленищ, губит неисправимо талантливого знаменитого баварца Ашенбаха, заманивает в смертные дебри своей бессмысленной бесконечной красотой. Как партизаны целые армии в болота.

В. А. словно предвидел, как в ближайшей истории получалось вообще-то наоборот.

Сначала исчезнет кичливая родина Тадзю, а потом следом и та самая Бавария-Германия Ашенбаха.

По В. А. получалась жертва наоборот.

Ведь Тадзю в лице Ашенбаха искусил Германию, так же как его родина своим мелосом, оборками, суетой и болтливой демократией всю близлежащую Европу.

Да-да! Это (распалялся В. А.) к тому, что искушение телом самое сильное, неукоснительное.

Вот и весь Бетховен, Брамс и Шуберт замешаны на польском мелосе!

Но этот выпад казался даже мне перебором.

Позже я догадался, что их на самом деле свело помимо телесной тяги. Равнодушие к жизни на фоне военных бедствий. У В. А. философско-циническое, а у того – азартное, артистическое.

Сблизились навсегда из-за бедствий, окруживших их, ставших каждодневной бытийной нормой.

– Я эту историю решил поведать, потому что, когда он мне это все, что я вот вам сейчас пересказывал, распаляясь, повествовал, сильно нервничал, а ведь было отчего распалиться. Но вот по ходу его нервного рассказа про московские события, когда столица-то от власти опустела, – подслушал нас один тип, гад такой был у нас один непроглядный. Исключительный демон. Он вообще, как бы это сказать помягче, – наблюдал по специальной части за всем нашим непутевым персоналом, словно какие-то все бумаги потом заполнять должен наиподробным образом. Типаж доносчика. Устойчивый в этом ареале. Собирал с аппетитом всяческие сюжеты. Но вот на фронте не так все с этим просто было – либо он на нас успеет, либо мы, сами понимаете что... его успеем.

За пологом палатки, где мы хирургию свою только начали монтировать, тихохонько себе стоял, стоял не шелохнувшись, как в Гамлете, пом-

ните сцену с Полонием в портьерах? Но я по запаху его узнал – мы-то с другом почти что не курили, так, попыхивали иногда, редчайший случай на войне, между прочим. А тот как табачная лавка. Да какой там, лавка, кисет гнилой. От одежды несет, от рук, это ж не спрятать никуда. Когда я этот запах почуял, во мне все похолодало. Просто побелел, чувствую. Не знал ведь, сколь долго он слушал наши разговоры. Но и минуты хватило бы. Я громко и говорю, помню, что весело сказал, со смешком:

«У нас тут кто-то курит тухляк, но не мы».

Мой друг-то аж за рот схватился, да поздно. Никогда не забуду – сразу двумя ладонями закрыл, будто хотелось ему все сказанные слова обратно запихать. А потом сразу за пистолет, все при оружии, фронт близко. Решительный он все-таки был, невзирая все причуды.

«...Пойдем-пойдем, товарищ милый-дорогой, – говорит, – у нас к тебе дело-дело-дело очень важное-разважное-преважное» – рука на кобуре, и плечом меня так толкает. Ну, мне и без этого все ясно. И быстро, буднично все и завершилось, знаете ли. Он дуло ему под нижнюю челюсть вмиг завел, чтоб брызг поменьше. Вот и все, собственно, сразу. Медлить нам нельзя было совершенно. А можно ли сказать «немедлить» одним словом, слитно? Как вы полагаете? Надо посмотреть...

В. А. стал говорить медленнее, будто досматривал эпизод со стороны, с высоких ярусов старинного театра. Сменил тон:

– И он, мой дурашка такой, стрельнул и в дуло свистнул, чуть губу не опалил. Пистолет отбросил, как дама. А знаете, как эта часть по-латыни? – В. А. коснулся моей нижней челюсти сквозь плоть подбородка. – Мандибула. Да, мандибула.

Он продолжал:

– ...У меня это перед глазами так и стоит. И он его так по-театральному пристрелил, будто бы специально для меня. Не то что с пафосом, размахом, как возмездие за будущий донос, а так просто, – но все равно несколько букетов мог и заработать, к ногам прямо. Я только вот не нарвал за поспешностью случая. Не поспел, не поспел.

Мы в этот день в какой-то дикой бане оказались, уже ночью крошечной при фитилях. Баня в блиндаже.

Голос В. А. оставался прежним, но как-то потемнел, может, слегка увлажнился, но я не заметил, чтобы он сглатывал.

– Воду сами и таскали из родника и грели. В театральном, знаете ли, свете все происходило. Из гильз гаубичных умельцы-армейцы делают такие светильники, не свет, а потек огня, липкий язык. Это когда тени как у маньеристов, ну, понимаете меня, – то как от фары все пляшет, то темные пятна стоят грозowymi облаками просто, такие крошечные демоны вроде сошлись, боги углов; ну и совершенно понятно нам уже было, что дальше нам друг друга ждать нельзя...

Так вот, знаете, что он мне сразу сказал, когда мы разоблачились, так буднично сказал, будто пересказывал стародавнее свое.

И В. А. протянул в мою сторону раскрытую ладонь, в которой что-то невидимое, но тяжкое покоилось, словно это был символ его потери:

«А как у вас, Вася, там все славно упаковано. По-походному, суворовский несесер просто. Нет, хьюмидор. Хьюмидор! Помните, как про коробку с сигарами вы мне в бункере изволили сообщить? Я чуть не сплюнул в вашу сторону, Вася мой милый».

Он меня еще роденьким тогда назвал. И никакой скабрёзности. Вот все с этого там у нас и началось. Первый настоящий закрут, так сказать. Вот что нас связало. Морали-то нет никакой в любви*.

Вот о чем он меня все спрашивал многократно, я его слова запомнил, а ответить ему не смог, да и теперь самому себе не могу: «Что же, весь этот ужас кромешный, в котором мы по шею пребывали столько лет, себя оправдал этой войной?» – Такое вот пугающее недоумение. Как же в этом-то разобраться?

.....

И вот еще что он мне сказал:

– Вот снится мне, как он на меня откуда-то изнутри сна смотрит, и я перед ним стою оцепенелым. Раннее утро, и свет уже сильный, будто отвесный, только не сверху, а прямо в лицо бьет, как софит. Проснусь прямо сейчас-сейчас. Понимаю – это светит в меня его взгляд, такая могучая атака, сейчас волной все снесет. Быстрый сон, как вспышка – он перед самым пробуждением бывает, запомнить ничего невозможно, но однажды как впечаталось. И я понял, что видел во сне его уже тысячекратно. Странно, он ведь должен меня как бы окликать, но разве такой яркий свет зовет?*

Можно ли это прошедшее время трактовать как хаос и скопище деталей, которые всегда громоздились в его рассказах? Все-таки нет. Вся его речь свидетельствовала о другой памяти, о памяти любви с ее суммарными, невыразимыми в обычных словах ощущениями, которыми он так хотел навязать и мне.

* Словно во мне говорит его голос. О том, как пронзительный холод коснулся затылка и шеи – будто в ветреный сырой мороз на улице сам снял кашне и шапку. Будто попал в ледяную парикмахерскую и друг кудрявый собирает его побрить, но подголовник скользкого кресла сделан изо льда.

Да и потом, когда В. А. обнимал меня, чтобы поцеловать, всегда на своем затылке чувствовал ладони, как подголовник строгого парикмахерского кресла.

** Я понимал, что все его признания позабыть не удастся, и не потому, что это была его самая тайная тайна, а потому, что жесты, которыми он сопровождал свою речь, против его воли очерчивали небольшие, словно сами по себе, усталые предметы, которые он хотел мне передать; весь вечер он делал такие скрупулезно тяжелые подачи, как будто мы играли чугунным ядром, который и удержать-то невозможно – только представить его неукротимую траекторию. И я помню, как его жесты очерчивали мнимые тяжести, вернее, какие-то удельные веса веществ, будто сам он их уже не удерживал; доймовые ядра, крупные мраморные яблоки, которые невозможно подарить.

Представляю себе

Я представлял сырой бескрайний день вне календаря, он раскручивается из тусклой скатки, чтобы никогда не стать вечером; неслышимое клокотанье передовой, которое притягивало взор, так как там бился не невидимый пульс, а подразумеваемый, что на самом деле гораздо заметнее и сильнее. Кто видел то же, что и я, – поймет.

Еще почему-то – огромный обоз под холмом, и там – у пустых повозок распряженные лошади нервно переминаются, прядут ушами, фыркают, тычутся в разбитую почву, на которой и травы-то не осталось, серозеленые шатры уже разбиты, их совсем немного, и они вот-вот перестанут шевелиться под ветром, потому что наволгнут, но это будет к ночи, которой пока никак не загустеть.

Дерн низкого холма в гусеничных и колесных надрезах, как следы поспешного жестокого бритья перед последней экзекуцией.

Речь В. А. навсегда осталась видимой, ведь он говорил не только со мной, но одновременно с множеством своих собственных смыслов, явных и потаенных.

И поэтому тот выстрел мне привиделся не так, как рассказал В. А. Он ведь уже вошел в зону пощады, где подробности покрываются патиной, вид их смягчает, так как они слишком долго пребывали внутри говорившего.

Еще мои подозрения.

Стрелял-то его друг курчавый дважды – в переносицу и сразу в лоб; и лицо мгновенно сплавилось пепельницей, где затушили тысячу окурков. И пистолет он в следующий миг выронил.

И того – вбок на подвернутое бедро завалило, словно он не поспел ни отпихнуться, ни осесть, а побежал, но лежа.

Еще вижу, не знаю почему:

В. А. из конского ведра льет воду, и другой молодой мужчина, согнувшись, ловит горстями широченную полосу воды, рассыпающуюся от ладоней в струи и брызги.

Умывшись, отходит. Отирает форму и брезгливо оглядывает себя, будто что-то могло прилипнуть и со спины.

И дальше он только подтверждал видения, уже засевшие во мне.

– А мы тогда разворачивали госпиталь, точнее, первичный пункт, бои уже недалеко, а тут налет, бомбежка, лошади ржут, все очень быстро пошло. Разрывы, земля ошметками летит, палатки валит, ну, одним словом, – все сразу в кучу какую-то. Так вот, в чем, собственно, сюжет: того и порешили на моих глазах. Да почему на моих глазах, мы же вместе и... собственно говоря. Ну вот – хлопок, и труп. Учета нет. Столкнули в воронку, присыпали. «Ну, – говорил мой наилучший друг, – а что, вы уже выбрали место, разлюбезный мой Василий, где нас с вами запытают и сгноят?» – Я, честно говоря, не хотел этих нагноений. Но и он не хотел, и до светлых дней не дожил.

А я, слушая В. А., все думал – ну из чего же должна быть сделана голова пупса, чтобы окурок легко ее оплавил, загашенный в переносье.

В. А. завершал:

– Подробности будут потом, но, кажется, и так много я вам понарасказал.

Потом он мне еще кое-что прибавил.

Но это уже походило на литературу.

Как в однажды пошли его часы, которые долго глухими лежали в тряпице просто так.

– До лучших времен, до мирного смиренного часовщика, – сказал В. А. – И случилось это на девятый день, как его убило. Это не иллюзия, потому что они пошли, как я перед вами сижу, на моих собственных глазах. Просто снялись с места, затикали сами по себе, как в плохом кино. В тот самый час, когда его разорвало, и сдвинулись.

И так пошло мне стало, что он погиб от молодечества своего.

Будто все это, что вокруг и со мной происходит, – кривлянье мировое, только Эраста Гарина в идиотском лапсердаке не хватает, чтобы не удивиться уже ничему.

И он по-настоящему пожаловался.

Сказал, что не должен был убиваться даже наедине с самим собой по поводу его гибели даже в той мере, как ему хотелось. Рыдать там, валяться. Но он именно так – рыдал и валялся.

– Но случилось вот что – мне стали лица, которые в мой фокус попадали, неприятны до какого-то ошеломления, просто обжигали, поубивать хотелось, ничего себе такого не объясняя. Потом они стали расплываться, будто вижу одни обводки цветные, но потом это прошло.

Эти аберрации для хирурга вещи пренеприятнейшие. Будто я все время рыдаю, не могу отереть глаза и вижу все сквозь такую дрожащую линзу. Такие есть стихи у Адриана-императора, про Психею, это когда он умирал уже, прекрасные, прекрасные:

*Душа моя, скиталица
И тела гостья...*

По-латыни лучше:

*Animula, vagula, blandula,
Hospes comesque corporis...*

Но мне стало меньше из-за моих заключений нравиться, ведь слова те же самые и там.

Он покрутил головой, что-то отгоняя от себя:

– Вот, чувствуете, ведь ничего-то она не весит.

Этот эпизод мне все время чудится вершиной горы, на которую я никак не взберусь, и это причина того, что сны превратились в оторопь, в некроз времени суток с тяжкими последствиями.

Иногда я вижу, что там происходит, – четко и ясно, только лишь подняв голову к ее вершине, иногда мою оптику заливает туман. То ли я плачу, то ли просто не могу открыть глаз. Четко вижу себя перед восхождением, опробующим амуницию, но как взбираюсь вверх – не вижу.

20 августа среда
восх 5.10
зах. 19.57
Луна новолуние 16 авг.
восх. 10.14
зах. 21.31

Картинка – Уфа. Улица Ленина. Ничего более унылого представить себе невозможно.

В СССР вольно-американская борьба культивируется всего лишь третий год. В 1945 г. были проведены соревнования по борьбе за первенство СССР. Первым чемпионом по вольно-американской борьбе были Карапетян, Мекокошвили, Илуридзе, Цимакуридзе, Мачкалян, Рыбалко и Ялтарян.

Как мыть дощатые полы

Сильно загрязненные дощатые полы сначала протирают смесью из 3 частей разного песка и 1 части негашеной извести. Мокрой жесткой щеткой или мокрой тряпкой из мешковины набирают эту смесь и тщательно протирают ею пол, а затем смывают водой. Если на полу останутся пятна, нужно наложить сырую белую или серую глину на ночь, а утром удалить ее. Известь, проникая в щели и углы, в гнезда паразитов, уничтожает их.

ПРОСТАЯ СНЕДЬ

В ресторан!

Возвращался тихо В. А. Он приносил в портфеле, в прекрасном кожаном портфеле с оторванной монограммой (ее след напоминал сведенную татуировку), кое-какую снедь: тяжелую буханку темного хлеба, разрезанную вдоль, чтобы не очень распирала бока портфеля, две-три воблы в желтой зажиренной пергаментной газете, может быть, что-то незатейливое еще, простые конфеты в наглых бумажках, бутылку водки, редко – курицу, яблоки...

Скупые щемящие перечисления съестного.

Если я успевал услышать его мягкие шаги в наклонном коридоре лестницы и подходил к высоким белым створкам, то он, помедлив, будто не ждал меня увидеть, вступал в свое жилище, прикрывал дверь и целовал меня, будто снова узнавал, что я жив и никуда от него не делся.

Жесткий и сильный, он всегда, прижимаясь ко мне, делался жалким, но не таким, ищущим жалости и утешения, а скорее противоречивым, словно замершим где-то в отдалении, где была совсем другая жизнь, не требовавшая от него специальных ухищрений, чтобы не терять достоинство, шегольство и доблесть.

Это не было связано с его возрастом, да он и был-то всего на год старше века, а с тем, что время навязало ему новую спасительную пантомимию, и чтобы оставаться самим собой, просто жить, он должен был казаться неодошевленным. И вот взор темных глаз В. А., клонящийся ниц, к самой земле, так контрастировал с его телесной оболочкой; он вроде бы стеснялся – и того, что видел всех почти что насквозь, и своих незаконных пристрастий к мужскому. Он понимал временность нашего житья, и надо отдать должное его мужеству, скрывал, как мог, свою тревогу и не подчеркивал мое зависимое положение.

Этот вечер казался мне отчужденностью, будто бы он специально принес из Заволжья шлейф побитой, посинелой к концу дня пыли. Будто я прочел рассказ о далеком томлении не случившегося в который раз ливня. Будто я подержал в руках пригоршню пересохшего посекавшегося сена, рассыпающегося совсем в щекотную труху. И моей щеки коснулся наждак онемевшего от жара суглинка. И я мог попробовать все географические названия на вкус – пыльная ржа на эмалевых плакетках.

Солнце садится на моих глазах, даря зрелище сумерек. Оно тяжелеет и обмирает. Багровое, но стылое, оно уже не может опалить своим горячим лбом воздух, растерянно зависает над линией горизонта, словно вот-вот навсегда втечет в плавкую щель. Это неостановимо. Назад пути нет. Там потеряется в какой-то миг его нижний сегмент. Оно бесповоротно гипнотизирует в кронах засыпающих воробьев, буквально уминая их звуковую чехарду. Растерявшихся дневных насекомых истирает в сладкий морок сгущающейся южной синьки. Исчезая, оно гонит волны непонятно откуда выползших маленьких бурунов изнеженной сырости. И вот все не смолкавшее в течение дня, бывшее слитным аккомпанементом, предстает разделенным и отчетливо слышимым – будто звучат опрелые тела загаженных закоулков, оттуда доносятся разогретые за день вздохи сараев, спрятавшихся в глубине пересушенных дворов, кислое уханье отхожих мест, и людская ругань стоит надо всем, как цветовой всполох, – не заметить ее роскошное сверканье невозможно, но никто не замечает.

Для того чтобы идти, надо мысленно перебираться через этот сумбурный штакетник, выросший уже по пояс.

В. А. будто понял, о чем я думаю:

– Знаете, здесь мало кто понимает, что края эти уже самый настоящий юг, хотя когда-то в домах старинной постройки дворы замыкали в подобие патио, растили там невысокие акции, жасмины, боярышники, калины, но не простые, а такие рассыпающиеся букетами во все стороны, породы «бульденеж» – они цветут снежными шарами, будто снегопад мокрый прошел и безветрие, культурные сирени. Насадения к вашему появлению, друг любезный, уже выродились просто в зеленую чепухенцию. Уж не взыщите. Теперь тут почти одни переселенцы из Малороссии, а они – по укладу степняка, им не га тени и плеск водометов не потребны. Но это – стилистический перебор, конечно.

И вообще, заметил он, он давно подозревает, что проступает какой-то новый людской силуэт. Вот взять хотя бы – он выразительно посмотрел на компанию куривших на корточках парней и подростков. Было забавно, что они сидели именно так, по-птичьи, а не на большом затертом бревне, лежащем рядом. Иногда ему начинает казаться, что ни одного рода седалища цивилизацией еще не изобретены. Еще сказал, что вот баб или девиц, сидящих на корточках, он как-то не наблюдал. Только если по нужде.

Мы непременно, так решил В. А. (не посредством логических процедур, а инстинктивно, неотменяемо), должны были этим вечером отправиться в ресторан, который он иногда по-холостяцки посещал.

В одинаковых полосатых бобочках, как спортсмены-любители на липком журнальном развороте.

– Раскольничьим швом залатала, дуреха, нечего никогда не умела, удивительно, будто труп вскрытый зашила, – ему что-то вспомнилось, когда он провел пальцами по штопке в районе плеча.

Моя целомудренно застегивалась на хрупкие перламутровые пуговицы, будто погрызенные мышами, а его стягивалась по краю выреза широким шнурком – и он несколько раз менял фасон бантика, то ослабляя шнуровку, то плотно сдвигая разрез до горловины..

– Никогда сразу не выбрать как надо. На манеже братья-акробаты.

Он не удержался, чтобы не поведать мне, что полосы это вообще-то фасон дьявола, так полагали в раннем Средневековье, но потом бывали и рясы полосатыми, как-то пообвыкли. Испуг прошел! И он многозначительно осмотрел себя в зеркале шкафа и нашел рядом с собой мое отражение.

– Безупречноооооо... – сказал он, раскатав последнюю гласную в гимнический вокализ. Я всегда чувствовал, что в нем живут и театр, и оркестр, и пребольшая нотная библиотека.

Дорога по корявым улочкам, сбегаящим вниз, скрипит гравий под подошвами, лужи и ручейки народной канализации, тетки выплескивают к обочинам ведра помоев, мы словно раздвигаем и путаемся в теплой вечерней ткани, развешанной по плотному воздуху. Это свобода. Еще липкий дух тополей, из больших почек скоро выпадут белые космы пуха, и в нем будет укрыта тайна огня.

Старый город перенаселен – вот у тускло светящегося входа в жилище к самой стене вертикально прислонена крышка гроба, она кажется просто выломанной дверью и не выглядит чужеродно. Кто-то из небольшой группы курящих серьезных мужчин здоровается за руку с В. А. Меня он представляет племянником. Несколько ничего не значащих реплик. Без папиросы, к счастью, разговор с нами не завязать, через мгновение он начинает тяготить.

– Пряма все вокруг вас, В. А., не курят. Как по уговору. Да, бросить это дело тяжело, лучше уж не начинать. Да, на фронте курили все. До одного. Вот и Свистунова померла, хоть и не курила. Это кому сколько назначено, как ты ни крути. Накрутить можно самокрутку из газеты с махоркой, козью ножку. Да, сейчас времена другие. Газету только старики скуривают.

Люди, говорящие это, натужно не смеялись, словно попали в серьезную гравитацию.

Эти фразы растворяются в воздухе табачным дымом. Смысла в них никакого нет. Только лишь то, что нервный владетельный глагол «крутить» обращается нищим существительным «самокрутка».

Это глубинная тяга бессмысленного разговора, сполох принужденного словообмена, вербальная мимикрия, – будто камбала, прильнувшая ко дну, тут же переняла пестроту песка и камней, стала чужим внешним узором, так и эти балагуриящие люди, сбитые в группы случаем, льнут к надежным словам, складывающимся якобы в осознанные линии разговора, в символы времени, которое они, говорящие, транжируют вместе.

Я говорю об этом В. А., когда мы отходим от компании.

– Послушайте, ведь не о тайнах же вечности и гроба им тут размышлять вслух, тем более аксессуар, который вы тоже наверняка узрели, черес-

чур выразителен. Не так ли? Они ведь совершенно ничего не транжируют, это их растранижирили.

На этот выпад В. А. я не ответил. У нас был разный смертный опыт... Он понял, что переборщил, и очень тихо, не подчеркивая ритм, проскандировал, глядя мне в глаза, будто у нас с ним было далекое общее проникновенное воспоминание:

*– О тайнах вечности и гроба
Тогда мы рассуждали оба*.*

Может, это дыхание реки навело его на элегический метр, и мы шествовали, спускаясь ниже и ниже, по сокровенным ритмическим уступам стихотворных строчек, оставив далеко компанию куривших, переминающихся у гробовой крышки для умершей Свистуновой, которая не курила никогда...

Но моя эпидерма ловила самые мирные впечатления из всех, которые я только мог пережить.

Вот они:

птичий уютный шорох наворачивался муфтой – теплой, невзирая на то что вечер принес утишающую прохладу;

редкие всполохи рассерженного щебета скатывали пух сквозняков с волосками, выдернутыми из подшерстка сумерек.

Я почему-то побоялся высказать это моему спутнику.

На улочке, втекающей в тоннель сросшихся кронами каких-то растрепанных ясеней, уже чувствовалось, что до речной воды совсем близко, и В. А., широко шагая, отмахивался от тонких веток, подхлестывающих его, будто он никуда не хотел идти, и это я, мой каприз принудил его пуститься в путь, в эту далекую ресторацию.

Мы перебрались через неизвестно откуда взявшиеся железнодорожные пути, фонарь мерцал на столбе, не связанный ни с чем, просто сам по себе, последний поезд по этому чумному разъезду, по этим покоробленным проржавленным рельсам прогрохотал многие годы назад.

– Несколько эпидемий назад, – сказал я сам себе.

И вот мы минули рушащуюся краснокирпичную мукомольню, построенную на берлинский манер, обогнули цилиндрические руины зернохранилища, банально напоминающие обломок клыка, но от давно исчезнувшего зерна все еще тянулся кислый дух, расточаемый пустотой. До нас донеслось, как в их черной утробе взметнулись, набегая одна на другую, волны несмешивающихся птичьих стай, наверное, голубей и воробьев. И мне не могло не показаться, что с колосников гигантского ночного театра пала кулиса прямо сюда, к стопам В. А. и моим, к самым причалам, там на приколе замерли дебаркадеры, едва наполненные желтым мерцанием электричества.

* Когда же было это «тогда», когда он и я могли быть «мы»?

Будто бы я перечитывал сцену какой-то прекрасной умиротворенной новеллы – так много моих слов настигло меня в пароксизме тотального перечисления, словно я лишился способности прожить свою жизнь благотно, автоматически, и был теперь обречен смотреть на все со стороны слов, фиксировать ими неодолимо точно приметы этого нового мира до рези в глазах.

Будто я кому-то, не доверяющему мне, должен все, происходящее со мной, пересказать достоверными словами, чтобы мне поверили.

Но самому дорогому, единственному из всех тех, к кому могла быть обращена моя речь, я ничего сообщить уже не мог.

– Ну, не надо грустить, – сказал В. А.

Он словно знал все, что творилось во мне.

Может быть, сумерки и прохлада от медленно текущей реки гипнотизируют людей.

Гибкие отсветы лампированных проливают воду у бетонного берега.

Их свет лижет податливую темень реки, будто вливается, и, не отражаясь, становится нутряным, мирно загнивает на близкой глубине.

Отражения потухают в непроницаемой воде, будто в расплывшейся нефтяной массе, они безнадежно тонут, не оставляя следов.

Далеко в створе бакены смаргивают цветную зыбкую слезу Больной зверь будто бы лизнул темное стекло воды, и оно засветилось, озаренное в ответ, загнило тоже.

Длинные, как нотный стан широкой тетради, дощатые сходни.

Они восходят от низкого берега к платформе подтопленной баржи, превращенной в причал, к ней пришвартован дебаркадер.

Тугие доски сходен, прогибаясь под тяжестью, скрипят и зачерпывают воду, чавкают, присасываясь к шагам идущего впереди В. А.*

Он торопливо наступает на уступы поперечин, неожиданно прыгает через несколько тактов, залитых водой. Ведь он в холщовых белых туфлях, которые забелил перед выходом зубным порошком, и боится за их колониальную свежесть.

Темный фейерверк брызг достается мне.

Это букет, брошенный поклонниками из невидимого зала.

* Припадочно заколотившиеся под моими шагами наволгшие доски, казалось, могут меня подбросить высоко вверх – и я понял, что это в моей груди забилося сердце, как тогда, когда я понял, что обрел навсегда Г., хоть и заодно со своей волей, но это обретение было сильнее во сто крат меня; и вот я снова с этими колебаниями становлюсь дугой, пучностью и недостатком какого-то мирового плеска.

Ведь все непоправимо задвигалось, так как стало магмой, у которой ничего, кроме частоты колебаний, нет – только воля плеснуть меня в эту непоправимую разреженность уходящего дня.

Я посмотрел на него:
– Где ваше великодушие?

Будочка кассы на берегу, в свету ее фонаря переминаются люди, будто греются.

Дебаркадер оказался немецким, с прекрасной галереей ротонды, огибающей периметр высокого яруса. Он весь светился высокими оконцами.

В арке сквозного проема видны отъезжающие, словно на просвет, они валяются на своих тюках, сидят на чемоданах или просто на корточках, жуют, курят, кемарят, баюкают ребенка.

Будто их в проеме дебаркадера собрал режиссер.

Здесь нет поездного остервенения, словно вода умеряет страсти.

Будто сейчас из ночных кулис выйдут солисты и заведут рулады.

Вот!

Лоэнгрин приплывет в ладь!

Я говорю об этом В. А.

Он саркастически кивает:

– Погодите, вы еще повидаете виды. Без видов у нас никуда.

Все уже успели сплошняком окрасить жирной масляной краской, и выпуклые готические литеры на табличках едва проступали сквозь натеки, словно прорастали древесным смыслом – будто на смену рыцарям пришли друиды. Скрип причальных концов, которые – навсегда, плюхание о жирную воду, совсем загустевшую к ночи, – если прыгнуть в нее, то наверняка убьешься.

Во мне словно хранится каталог исписанных карточек. Только стоит взять их в руки и поднести чехарду мелкой описи к самым глазам. Пока я жив – я буду помнить, меня будут до прожилок волновать детали этого дебаркадера, такого корабля, который никуда не поплывет.

О словно зализанная, словно пахучая бронза табличек в коридорах, бесконечных на просвет.

О залапанная затертая дюраль, ограждающая наилучшие скругленные периметры синеватых зеркал с facetsами, куда я опасливо не смотрелся. Остатки штофов на стенах, куда не дотянулся быстрый нож в изумительных интерьерах, в которых я не побывал.

О монументальный туалет в самой корме, преисполненный облаками и осыпью нестареющей хлорки; ею, сыпучей, не забелить ни перекисшей всенародной урины, ни несмываемой теплоты зверского кала.

На всем, до чего дотянется карандаш, – реликвии скотских чертежей, не принижающие людской чин; стройные боевые порядки преувеличенных херов с богатырскими наверхиями залуп да несколько разорванных дырок с доносами-адресами блядей.

Еще – целые орнаменты зонгов и паролей вафлёров.

Эти следы предстанут драгоценными после помпеянской катастрофы.

Чугунные обода с вывернутыми, обратными кабошонами отзывчивой реки на глубине, ее застойное стремление уносит все.

Даже протяжный взор В. А., покуда моя струя рассыпается о глубокую зычную воду.

Он так смотрит, что член мой тяжелеет.

Застегивая штаны, перехватив его взгляд, я пошутил, чтобы как-то поддержать его:

– Рукоплескание без помощи рук.

Но он как-то совсем уж жалко отвернулся.

Прикоснуться к позеленевшему вентилю умывальника, намылить руки голышом обмылка было невозможно, как и заглянуть в высохшие пузырьки водянки на большом зеркале.

Наверное, за мной в мути амальгамы темнел фигура В. А., будто он – моя тень. Но пока действительность, в отличие от меня, не внимает его сарказмам.

Все предстает как-то целесообразно и внятно, в конечных зримых формах, без насилия и паникерства.

Роскошный интерьер

Поднявшись по изогнутому овалом маршу, мы толкнули высоченные распашные двери.

Метрдотель услужливо придерживал створку, хотя мы уже вошли. В. А. закивал ему: «Ну, здравствуй, любезный, жив-здоров». Ответов не предполагалось.

Мы попали внутрь прекрасной европейской шкатулки, и я почувствовал себя дорогой вещицей. Мне стало понятно настойчивое желание В. А. прийти именно сюда.

Шустрый метрдотель отвел нас в секцию у зеркального окна, огороженную деревянной балюстрадой. В. А. оглядел почти пустой зал.

– Отдельный кабинет, – сказал он.

Невидимые официанты где-то в неведомом пространстве громко двигали стулья.

Буржуазный стиль двусветного зала был утончен и вызывающ. Роскошь, роскошь и роскошь, все в ее ленивых дорогих следах, бронза, полированное дерево, сложные зеркала, сдвоенные колонны, арки...

Ресторан выразительно увядал, будто находился в мстительной зоне, и было понятно, как чувственность делается неопрятной дряхлостью, изнемогая от самой себя.

Уже совсем стемнело, и высокие бифории в венецианском стиле с насекомой расстекловкой начинали синеть, как слюдяные. Их мерцающую гладь хаотично кое-где испещряли фанерные забеленные вставки. Словно рифмуясь с ними, арабески сложного паркета были замараны ржой, зашарканы и затерты.

В водопадах хрустальных люстр желтела болезненным светом дай бог четверть ламп.

Теплое дерево настенных панелей с фестонами маркетри, высокие балюстрады с изогнутыми по лекалу балясинами, разделяющие зал на интимные секции, навевали какое-то чувство умиротворения, которое я точно не имел права испытывать.

Увечья моей недавней жизни не давали мне найти для этого состояния правильные слова. Одни хаотичные литеры бились где-то внутри меня, не давая глубоко вздохнуть, будто я вот-вот заплачу в голос...

Будто я глянул в распотрошенный реликварий и выдул перхоть времени, перетертого в пыль, из пустой дарохранительницы.

Над эстрадой висел гигантский сумасбродный холст.

Обмолот распоясавшимися какими-то самородными механизмами безбрежного сумеречного поля парусил над всем пространством ресторана. Как укор и наставление тем, кто решил потратить в этом заведении свой досуг.

Нельзя было представить, что холст на подрамнике гиганты внесли в зал, он, видимо, тут возрос сам по себе.

Механизмы, выписанные с издевательским тщанием, угрожали составленным в хор пустым стульям у стенки. Несколько сельских персонажей, обрезанные по пояс рамой, вглядывались в теплые сумерки ресторанной залы. Они улыбались, так как на славу поработали. Гурты зерна, холмы соломы, гармонь у самого молодого весело выгибала мехи.

– Будет славная музыка, – В. А. перехватил мой взгляд, – но позже.

До сих пор помню смуглую бронзу пустых консолей, на которых, может быть, когда-то стояли вазы, еще неувядающие цветки волют, они проступали из лакированных поверхностей, как соски гигантских статуй, прислоненных с невидимой стороны и протопивших древесную поверхность, как лед, – своим жаром.

В простенках разворачивались потускневшие картуши со сбитым го- тическим текстом заклинаний.

Я будто бы попробовал лоск латунных профилей, вторящих сложным факетам волшебных окон.

Нельзя было не заметить, как поблизости, прямо рукой подать, какой-то коротко стриженный худощавый брюнет тоже сидит за столом, покрытым белой скатертью.

Вот он провел ладонью по широкому поручню лакированной балюстрады, окинул взором череду зеркал, перевел взгляд прямо на меня, и мы улыбнулись друг другу перед тем как одновременно закинуть голову на прекрасный высокий потолок артесонадо.

Из кессонов свисали перевернутыми рождественскими елками хрустальные полутемные люстры.

Молодой человек насторожил меня – он был застегнут до самого горла, сидел чересчур прямо, напряженно, как проситель в присутствии, слов-

но что-то было скрыто в нем. Хотелось посоветовать ему расстегнуть пару пуговиц, не быть столь напряженным в этот чувственный вечер в этом оборотистом полупустом интерьере.

Он тоже нашел мой взор, и мы приветственно кивнули друг другу.

Могу поклясться, и до сих пор это отчетливо помню – он ответил мне не в тот же миг, а с задержкой, будто одумался.

И еще помню, как человек, стриженный, как В. А., в такой же, как у В. А., полосатой тенниске, тронул его руку.

Я опешил.

Холодная волна захлестнула меня, окатила от самого живота, и я почувствовал там холод, будто какой-то незримый мороз закоробил мою одежду.

Мне показалось, что волосы мои шевельнулись...

Это было наваждение.

В. А. сделал заказ:

– Как всегда. Только, разлюбезный, для двух персон.

Он брезгливо отодвинул меню на листе папиросной бумаги, расфокусированное красной копиркой. В помутившихся литерках вились исправления химическим карандашом и закорючки подписей над фиолетовой печатью. Шумно закрыл торжественную папку с аполитичным вензелем трофейного ресторана.

Меня не переставали удивлять детали новой жизни, в них соединялись безалаберность, никчемность и зловещность. Как щелочь с содой. Будто вот-вот пеной взойдет шипение.

В. А. явно не хотел меня ни во что вмешивать, даже в чтение меню.

– Да, и выпить, выпить. «Нарзан» и другое.

Официант осклабился на «другое». Галантно кивнул – очень выразительно, но заметно едва-едва, как премьер знаменитого театра, которому выпало отчего-то играть официанта.

Он вообще походил на изнуренный музыкальный инструмент, который помнил, что на нем когда-то изумительно играли. Что-то вроде сцены из Пруста, где Сен-Лу на глазах у всех оказывает услугу своему другу, легко проходя через весь зал по скользкой балюстраде, с которой все остальные непременно бы сверзились.

Из низкого буфета он торжественно достал сервировку, грациозно принес, точно расставил все с требуемым автоматизмом и важно удалился за ширмы в сторону кухни, как офицер в дворцовую кордегардию. Корпус он держал слишком прямо.

Когда я поглядел, мне показалось, что его лицо сейчас особенно надменно.

Следовало бы посмотреть на клейма тонких тарелок, судя по цветочному бордюру, майсенских, но В. А. перехватил мой жест и накрыл мою кисть своей. Я смотрел на рисунок его жил, будто хотел что-то вычитать, понять их иероглиф. Но сухая раковина его ладони передавала мне только его желание.

Непонятно откуда взявшаяся, тускло посеребренная муха сонно выползла из-под широкого края тарелки. Она отерла лапки и замерла, будто

бы удивилась нам. Такая совершенно ненужная деталь моих наблюдений, как мимолетное видение...

Я обратил внимание, как мимо нас официантка пронесла на подносе лафитничек водки, словно многократную чуткую линзу, которая вот-вот осклеенеет.

Вытянув шею, вскинув голову, выставив мягкий подбородок, она походила на «Шоколадницу» Жана Этьена Лиотара, будто столь долго смотрела на эту картину, что все свое существо пропитала искусством – и лобастый невозмутимый профиль, и вырисованные черным карнизы бровей, и преувеличенно спокойный взор, который она держала поверх мениска алкоголя, будто оберегала его от колебаний, и высокий валик груди. Только все в, отличие от Лиотаровой «Шоколадницы», было в преувеличенно мягком размере.

Она невозмутимо плыла меж столиками, будто вовсе не перебирала ногами, – наверное, по скрытым в полу металлическим направляющим – от буфетной к выбранной точке в лабиринте зала – она была марионеткой старинного механического театра, и вид ее был пародийно уютен.

Мне подумалось, что так аллегорические невозмутимые фигуры в средневековых городских часах, замершие в ступоре, совершают зловещий оборот вместе с невидимым диском на огромной высоте; и чтобы их различить, надо заирать голову и шуриться.

Когда я следил ее театрализованный выход, будто где-то пробили куранты, и мне почудилось, что и я подвожу в себе тугой завод. Эти часы имели отношение к моей смерти, но не к здешнему суетному людскому времени.

Белая опрятная блуза, оборки широкого передника с карманом, высокий вал прически, спущенный на лоб, топорщащийся апофеоз кружевной накладки в каких-то твердых буклях...

Ее нельзя было представить в другом облачении, раздетой, присевшей на раскрытую постель.

И невзирая на эту жесткость, было очевидно, что здесь она для того, чтобы будить простое мужское желание, постоянно манить, быть символом домашнего мирного утешения. Такая фея крахмала, уютящая собою нетрезвое вечерье.

Она не смотрела в мою сторону, но мне почудилось, что и меня накрыл отсвет общего жадного чувства, в фокусе которого она передвигалась, не отражая ничего, кроме своей женской неизменности*.

* Поясок перехватывал ее выровненное плотное тело, будто она белая личинка майского жука, выкопанная из почвы. Она была кругла и бесчувственна, и самое интересное было то, что это зрелище разворачивалось именно во мне, внутри; будто в замкнутой комнате моего сознания раскрылась сама собою круглая жестяная коробочка, в которой хранят части кинофильмов, и вот она раскрылась, и локонам целлулоида не было конца. Будто бы во мне очень много свободного места. Будто часть своей жизни я провел в полной темноте, бесчувствии и одиночестве и теперь торопился опередить свою волю, я чувствовал ее в себе, как напряженную бухту.

Мимо проходит пароход

С нашей стороны к дебаркадеру подполз, плюхая, большой пассажирский пароход. Он вплотную притирался к дебаркадеру, закрипела щепка. Его верхняя палуба должна была встать вровень с ресторанными высокими окнами. Из ближнего окна мне были видны чавкающие о воду лопасти-лопаты огромного ходового колеса – они вхолостую двигались в раскрытых секторах бортовой обшивки.

Крупные, натертые до лоска буквы складывали полукругом дремучее имя парохода – «Герой...», «Михаил...», «Клим...», нет-нет, я сразу понял, что это слово я не запомню.

Быстрая спорая возня команды, и от палубы меня отделяет только периметр дебаркадера, забранный металлической сеткой. Слышно, как с колес парохода стекает темная загустевшая вода, слышно, как собираются что-то сказать друг другу столпившиеся на палубе люди, уставившиеся в распахнутый театр ресторана. Но они ничего не говорят. Палубой ниже с древесным скрипом сталкивают сходни, будто готовятся к залпу.

Ожидание и молчаливое напряжение – вот главные свойства этой жизни, думаю я.

Ее звуковой профиль не меняют ни суета причальной команды, ни толкучка пассажиров с мешками и чемоданами, ни сонные всхлипы детей. Все покрывает патина смятения и испуга. Люди кажутся первыми переселенцами. Я говорю об этом В. А.

По пароходу быстро рассасываются новые пассажиры, они торопятся занять места, расположить поклажу.

Топоча, проносится компания детей, как пурга.

Через забранные жалюзи окна классных кают высокомерно просачивается невидимой частью совсем другая жизнь самых настоящих рассеянных путешественников.

Мне кажется – меня достигает слабая мелкая волна духов, пудры, чистого белья, дорогих чемоданов – там не принято спешить и вообще обнаруживать беспокойство по какому бы то ни было поводу. Будто незримая масса едущих там столь велика, что они могут сопротивляться гравитации времени.

Молодая нервная дама и ее грузный спутник выходят совершить миссию на периметр палубы и почему-то останавливаются перед распахнутыми окнами ресторана.

Я могу разглядеть пеньюар, розовеющий, как утренний свет, он стекает почти до открытых шелковых туфель, показывая яркую череду ногтей, душемутительный очерк белья, перехватывающий протяжение тела.

Альковная одежда в мире, где спутано все, обрела публичный статус. Женщина выше своего кряжистого спутника на полголовы. Ее сумбурная прическа и влажный рот свидетельствуют об их недавних занятиях. «Закусаю-зацарапаю», – автоматически все напевает она, не глядя на мужчину,

будто протягивает ему купюру. Он достает из нагрудного кармана пижамы расческу и проводит по хлипким волосам от лба к самому затылку.

– Танцы... танцевать... хочу. Танцевать, – говорит она, словно спохватывается, внимательно глядя на меня, сидящего в нескольких метрах от нее – у растворенного окна.

Она закидывает руки, ерошит муторную прическу, приоткрывая темные подмышки, от которых мне не отвести взора.

Будто это сеанс магнетизма.

Она произносит эти тихие слова о танцах онемелым от наркоза ртом, едва двигая губами. Слова получаются чересчур глубокими, утробными, будто в них сразу сошелся весь смысл ее тела, всей кожи, всех органов чувств, всех отзывчивых внутренностей.

Женщины иногда могут так говорить, порождая вокруг себя поле неодолимой бессвязности.

Не увязнуть в этом утробном регистре невозможно.

– Остановимся тут, барсик. Ты ведь знаешь. Я ведь хочу танцевать.

– Желание дамы. Хоть галифе, бумажник.

– Можно и так. Пойдем скорее в ресторан.

– Распоряжусь, чтоб ждал.

– Распорядись, барсик, пусть ждет, ожидает, распорядись.

Он ушел.

Женщина осталась.

Она смотрела на меня.

Он буквально через мгновение вернулся, будто скатился под уклон, и сила качения вынесла его обратно.

У отяжелевших людей иногда так получается.

Но он будто боялся оставить ее наедине с неистребимым желанием танцевать, шел к ней по палубе, сказав самому себе вслух нутряным бесцветным голосом по-военному «готов».

Мне показалось, что в нем не было слов.

Думать он должен был какими-то иными средствами.

В руке он зажимал портмоне, как револьвер.

Я разглядел, что он совсем не стар, а приземист, словно придавлен роковым временем, изборожден складками и выстарел гораздо раньше срока.

Но кто может сказать – каков его срок...

На какое-то время я потерял их из виду.

Танцы уже шли по нарастающей, просто запылали.

Оказалось, достаточно одной большой приподнявшейся компании, поместившейся за парой сдвинутых столов, чтобы заполнить все пространство высокого зала по всем зримым, осязаемым и бесплотным, но самым неодолимым координатам.

Мужчины театрально пытались вести себя галантно, но через все проступала плохо сдерживаемое разнуздание, показная бравада их отдавала плебейством, подчеркнутая задорность – наглостью и ухарством.

Женщины, подсвеченные яростным гримом, благодарно молчали, но и их возбуждение искрило – то нутряным вибрато беспричинного смеха, то слишком громкими репликами.

Наверное, какой-то вечерний вентиль в них уже открыли, и горловые спазмы им было уже не сдержать.

Они словно захлебывались своей собственной жестикуляцией, пытались есть при помощи приборов и прихлебывать из стопок сдержанно.

Но что-то они перехватывали руками, отставив вилки, а из стопок делали бравые залпы, занюхивая ребром ладони.

Все это происходило уже в ритме пляса, будто они всю танцевали, не сходя со своих мест, а просто перекачивали в своих телах узелки мышц, разгоняли кольца спазмов, толкали желваки под самой кожей.

Я понимал, что смотреть на их гальванические ужимки жестоко.

Будто бы сквозь их жестикуляцию начинали проступать конвульсии.

Наверное, они давно не были сытыми.

Да и время заодно с ними казалось подверженным эрозии и должно было вот-вот порваться и рассыпаться.

Возле буфета поблескивал лакированный ящик специального салонного патефона. Метрдотель подходил и галантно переставлял пластинки, громко считывал название пьесы с этикетки, опускал на звуковую дорожку тонарм и настраивал громкость. Названия пьес, произносимые им в зал, были лирическими. «Незаметно», «Тебя жду», «Не надо» – в основном шепелявые джазовые пьески, гавайская гитара, щипковые.

Фамилий композиторов я, конечно, не знал.

Фамилии певцов и их государственные титулы мне не говорили ничего, правда, несколько песен я признал – их многократно играло стационарное радио, когда поезд мой стоял на разных станциях, чего-то ожидая.

А вот и настоящее – бархатный приятный тон теноровых песен с редким механическим граммофонным прочиркиванием проливался в высокий зал.

– Это Козин. Вадим Козин. Кумир, – отрекомендовал В. А.

Метрдотель ничего не провозглашал, а просто ставил пластинку.

Высокий голос пел танго слишком чутко и вкрадчиво для этого нелепого ресторана.

И под немного заезженный аккомпанемент, топорщащий интонацию пения, мне привиделся какой-то умиротворенный профиль низкой долины. Там бегут гуськом по недалеким холмам слова любви, топоча и переваливаясь вослед немного пародийному ансамблю, почти не мешающему певцу.

Это была какая-то призрачная проекция любовной встречи в невозможном другом мире, где есть сожаление, желание, безоглядность и что-то еще, что должно хлынуть, как слезы, то, что испытывают все люди.

Первые такты все сидели как вкопанные, замерев, смотря в сторону пустого танцпола. В воздухе висело ожидание. Но уже к разгару мелодии

вышли несколько пар – одни женщины – и начали плавно передвигаться, неплотно сойдясь, едва обнявшись.

Как ни странно, это было проникновенное зрелище.

Начало было положено.

Дамы в следующий раз уже выходили с кавалерами.

Некоторые пары, начавшие было чинно двигаться под музыку в обнимку, как и положено, расходились, теряя целесообразный смысл танца, не подчиняясь больше настойчивому ходу танго. Публика как-то быстро начала плясать по-народному – и не имея настоящего интереса к музыке, уже никто не искал партнера. Ведь в пляске самое главное – выказать себя. Разрозненные танцоры, в основном захмелевшие мужчины, напряженно передвигались, не попадая в ритм энергичного танго или пасодобля, будто сомневались в своих ближайших действиях, – в расстегнутых пиджаках или в рубашках с закатанными рукавами замирали, что-то соображая о следующих шагах и коленцах, импровизировали заковыристые выходы, развороты и подскоки. Будто от них могли потребовать доказать сложную теорему. И их пустая моторика все время срабатывала вхолостую – хохот, хлопки ладоней, уханье, внезапные остановки. Так далеко от всепрощаемого желания двигаться заодно. Это был не карнавал, а шабаш, которого не стеснялись хмельные соучастники.

Словно повзрослевшие тупицы пытались совершить математические действия, но едва держали карандаши в своих пальцах. Единственно, на что они были способны по-настоящему, – очинить еще раз карандаш и поскоблить острие графита.

Нетрезвые люди сбивались на сумбурную пляску, будто в них распрямлялась пружина, и вот они отрешенно и отчаянно выкаблучивали. Они являли себя уж точно не друг дружке, а так, вообще, в залитое шумом пространство, просто «являли» себя, предъявляли как знак жизни и живучести; именно последнее и было главным.

Я почему-то чувствовал, что они приносили мстительную жертву, настаивали, что они все-таки, невзирая ни на что, – победители и горды безмерно этим в чужом европейском жертвенном зале. Они будто пытались унижить его дроботом каблуков с подковками и набойками, ходя ходуном, оспаривали его невиданные пропорции и разлагали дикостью своих движений гармонии веществ, из которых зал был столь искусно изготовлен.

Мужик, видно, уже принявший сверх меры, как-то криво выскакивал из присядки, пока его не шатнуло неукротимое вращение земли, и, качнувшись вбок и пойдя по какой-то проложенной только ему асимптоте, он завалился мешком на сверкающую балюстраду вблизи от нас.

Это было не смешно.

Я заметил, как расходятся в плясе пары, будто делящиеся ядра в клетке из учебника естествознания.

Как они вступают в зону обособления, как серьезнеет их мимика, будто у них у всех появляется новый невидимый партнер.

Танцы сползали в радение.

Сердце мое стучало; будто в такт каждому удару я спрашивал себя: «где я ее видел?», «где я ее видел?», «где я ее видел?» – загоняя узел этого вопрошения уже под самый кадык, я мог захлебнуться колотьем этих слов, хотя ответ на этот вопрос не требовался. Мне казалось, что застрекотало кино наоборот, я очутился в самом узле, в какой-то дымной от слез нервной наивной мелодраме. Я сидел спиной к ним и в зеркало столь отчетливо видел их, будто они присели к нашему с В. А. столику. Вот они делают вид, что осматривают великолепный зал, будто должны точно сосчитать выемки кессонов по всему потолку. Мужчина важно переговаривается с официантом, и тот подобострастно кивает, клоня ниже и ниже свою гладко причесанную голову.

Через какое-то время к нашему столику подошел ее спутник. В этом не было ничего неожиданного. Кивнул В. А., присел. Сразу обратился ко мне:

– Ты извини, сынок, я не танцевал лет десять, а она так хочет. Ты не выпивший, вижу. Пригласи, окажи любезность такую, просто по дружбе. Желание дамы, ну и так дальше...

Он не закончил.

Я кивнул.

Этот сюжет снова брал меня за горло, чтобы я помнил, как тут оказался.

...Отчетливо помню только несколько ее фраз, сказанных шепотом, без движения губ, куда-то вниз, она танцевала, склонив голову и опустив глаза, как Грета Гарбо в прекрасном далеком фильме.

Память о словах так и осталась обрывками телеграммы, которые я почему-то поднял:

– Уезжайте дальше, почему вы остались?

Эту фразу она произнесла несколько раз на каком-то такте, когда надо было выворачиваться из оборота.

Еще ее запах, больше никогда не оставивший меня. Теплой рыбки, вынутой из аквариума в доме Гремяков, которую мы, то вздрагивающую, то обмирающую, поочередно подносили к самому лицу. Еще плотный ток ее тела под скользким шелком, который было нельзя обнять, так как руки мои соскальзывали, и мне чудилось – я перебираюсь сквозь немногие па танго с текучим куском шелка, накинутым на выемку. Ведь ее точно не было в гораздо большей степени, чем она была, впрочем, и меня тоже.

– Вот так, вот так, вот так, – так же тихо, не выдыхая, едва дышала она, будто задавала угрюмый темп скрипучему трофейному танго, упреждая вопросы, которые я не задавал.

Я потом вспоминал, как узнал ее раньше, чем увидел, будто там, где она была, во мне открылась выемка, моментально ставшая живой.

Она тоже меня увидела, и это было какое-то чересчур точное тождество; вот мы живы, но какова цена, разве можно за это свойство столько платить. Мы все поняли, и я увидел, каким она увидела меня. Подняв глаза, я посмотрел в зеркало, что было очень легко, ведь они, множась, окружали меня со всех сторон, как в плохой символистской литературе, мне

труднее было в них не смотреть. И я увидел себя на просвет – будто был прозрачным, не удерживающим ничего – ни порока, ни счастья, ни жизни. Вроде бы должен был испариться, пропустить сквозь себя свет. Словно ему мешал светить.

Когда мы танцевали, я слышал, как мое сердце покрупнело еще больше и перекрывает ударами оплотневший музыкальный такт, как тяжелеют внизу живота мой член и мошонка. Стараясь не глядеть в сторону нашего стола, я все равно чувствовал взор В. А. И не видя его, был убежден, что он весь темнеет, будто пробыл на солнце слишком долго, будто заразился какой-то мгновенной болезнью, и моего одного неверного жеста хватило бы, чтобы ожечься о него. Я чувствовал, как он сидит, выпрямившись, не касаясь высокой спинки стула. Напряженный и горячий, как выдвинутая из коробка спичка. Он может собой поджечь все вокруг. Я глубоко внутри себя знал, что боюсь его.

Я словно увидел свой сон, который мне никогда не снился – во многих зеркалах, которые тянулись, отставая на такт от тягучего трофейного танго, множилось его лицо в разных ракурсах, как в каком-то замкнутом волшебном ларце, и я не удивился бы, если бы они стали огромными. Его темная тоска достигала меня обратным нутряным светом, которым он был всегда переполнен.

Было очевидно, что даже умение танцевать мне надо было скрывать.

И я жестко наступал на подол этой музыки, понимая, что никто никогда не составит мне пару. Будто мне надо было попроситься и с единственной доверчивой зоной, куда я больше не войду...

Я касался жестких пуговиц ее бюстгалтера под скользкой тканью, будто что-то хотел сказать ей на языке Морзе, но я его не знал, как и азбуку Брайля. Но также мне было ясно, что в этом прикосновении был переизбыток смысла.

«Заслоните меня. Держитесь крепче. Я не отдам вас».

Эта драма, состоявшая из клише, могла продолжаться всю жизнь, так как не имела временной составляющей. Я понял, что мы танцуем уже без музыки – не больше пяти тактов. Но тем выразительнее было это опустевшее движение двух человек на совершенно пустой территории, где больше никого не было.

Официантка, похожая на шоколадницу Лиотара, хихикнула в наступившей тишине. В меня уперся мириад других звуков, меня окатили волны – сначала горячая и влажная, а потом сухая, бобочка моя промокла, и я почувствовал капли пота на кончике своего носа. Я непростительно взмок.

Мне почудилось, что пол подо мной зашатался и мне надо как-то приспособиться, чтобы не потерять равновесие.

Слишком долго.

Слишком долго.

Будто я выпал из поля, где разворачивали свои ритмы обычные людские хронометры, ходики, будильники, метрономы, где мерно раскачивались маятники, текли клепсидры и длинили вслед за солнцем тень гномоны.

Я поцеловал тыльную сторону ее кисти и вдруг понял, как она вся остыла.

Не помню, поклонился ли я на прощание, когда к ним подошел капитан и они проследовали за ним.

Она не посмотрела на меня, но это было и не нужно – во всех зеркалах вокруг было ее отражение, и я только ее и видел.

Я подумал, что женский взгляд совсем другой, так как женщина не доминантна, она легко, словно боевой газ, повсеместно распылена в «утеху», в отличие от мужского фокуса желания, «охоты», сконцентрированного хотения...*

– Ну, начинается отсчет, – процедил В. А., и я не понял, что он имеет в виду.

Пароход с нею уже отошел в самую глубину ночного времени.

И тут только я заметил, что В. А., подымая брови, кивает на человека, сидящего от нас через несколько столов. Тот как-то судорожно нагнулся к полу, быстро снял ботинок и поднес его к самому своему лицу, преувеличенно деликатно держа его, как какую-то небывалую чашу, как трофей, и начал в него блевать, как будто именно так принято проделывать в подобных случаях. Вдруг от подскочил, метнулся, минув нас, через распахнутое высокое окно к балюстраде галереи и, перегнувшись дугой, стал с желудочным тягучим гулом хрипеть в реку в сторону недавно отчалившего парохода.

– Как он перегнулся, похож на ручку утюга, вот утюжит... – разговор не получался.

Я потом много раз обдумывал ту нашу встречу в ресторане на дебаркадере, ее трофейное будуарное облачение шелкового трикотажа такого сонного цвета, его прикосновение осталось на моих ладонях.

Но все, к сожалению или к счастью, оказалось выутюжено той пьяной сценой, завершившей вечер.

Я не мог эту историю – похожую на кино, эпизод плохого романа, сегмент неправдоподобного разговора – расслоить и избавиться от подробностей тошноты, так мешающей мне.

Честно говоря, я уже тогда смотрел на нее, на эту чудесную женщину, как на свое воспоминание о ней.

Даже если бы жизнь свела нас еще один раз, даже если бы мы смогли в мгновенной быстроте исчезнуть отсюда для новой счастливой жизни, – то все равно она осталась бы воспоминанием о том, чего не было, –

* В. А. не удержался потом и сказал, что ее одежда была такого же цвета, как рубашка убиенного Иваном Грозным царевича. Да и у вас, т. е. у меня было совершенно помертвелое лицо, будто я танцевал с собственной смертью. А вообще этот цвет – компиляция, он у всех итальянцев, рисовавших портреты чьих-то любовниц, просто не цвет, а изнанка спальни, и чего-то тоже изнанка, что в спальне.

до безвременного припадка нашей встречи, которая была значительна настолько, что пребывала во мне в какой-то ауре подозрения, чья протяженность состоит из повторяемости, из отсутствия меня в ней – столь она велика сама по себе.

Ее голос приходит ко мне – она произносит им самые простые слова: «то-то же», «это ты».

Без укора и вопрошания – будто эти литеры отлиты из невесомого сияющего гарта.

И я понимаю, что ее нет не только со мной, но и вообще.

Монументально ли то, что неназываемо и интимно?

Если это – главные свойства протяженного исчезновения, то – да!

Слишком много глаголов потребно мне, чтобы пережить снова то, что случилось по своеволию, вдруг, выстрелив весь запал моей жизни совсем в другую мишень.

И я, право, плохо помнил ее – так как слов мне для нее со всей очевидностью не хватало.

Будто я не мог распрямить ее согласный ракурс в другой символ – своеволия, произвола, выигрыша. Хотя, клянусь, узнаю из вороха миллионов плохих фотографий – только лишь по чертам аффекта, который будет наступать меня в глубине бестолкового, бессловного перебора.

Я ведь мог вспоминать ее только с планом перевоплощения, вдруг открывшимся мне в нашей мгновенной встрече.

Все ее немногие памятные мне движения означали связные пункты того плана, осуществив который я делался физическим телом, свободным веществом и мог протечь сквозь сито того невероятного дня.

Она ведь тоже, рассыпающаяся в детали, была подчинена простой цели – она делалась в постоянно мельчающих подробностях абсолютной причиной моей жизни.

Я сам себе обещаю кино – апофеоз связности, смысл моей истории, а вижу чехарду спутанных кадров, мигание мгновений, которые могут стать лишь еще более подробными в своей бессвязной единичности.

Вот брови, рот, ноздри – все делается объектами для внешних усилий – парикмахера, гримера, соглядатая. Но, может быть, это и есть любовь? – я спрашиваю не себя, а те слова, из которых состоит эта фраза.

Как ни парадоксально, но даже осязая ее, я не в силах в своих воспоминаниях ее к себе приблизить, она никогда в моем воображении не становилась моим продолжением, не наделялась смыслом, и я понимал, недоумевая, что думать о ней бесполезно.

Но слышал я ее, напротив, легко; ловил ее профиль во многих звуковых, сопутствующих моей дальнейшей жизни, – вагонном лязганье, шорохе легкой ткани, шепоте, шелесте, что там у нас еще есть на «ша»?

Она будто бы там оживала во многих вещах и веществах, способных каким-то образом коснуться меня через мой слух, – будто она была заключена своей звуковой ипостасью в другой стороне веществ и предме-

тов.. Для тех, кто смотрел на нас, когда мы танцевали, наше молчание было, наверное, аффектом; такой отчаянной сценой из немого кино, которую одинаково понимает весь зрительный зал. Или из театра теней, где любая щель между темными силуэтами приобретает вопиющий смысл. Я понимал это своим телом, от пота оно делалось совсем скользким, и свет его едва удерживал..

Мы возвращаемся назад, мне кажется, что мы сбежали, хотя это показалось только мне, я хотел как можно скорее завершить молчаливую трапезу, когда все время ловил на себе взор В. А., будто глотал его взгляд, ставший съедобным, долгим и проникающим в меня со всех сторон.

Хорошо, что танцы пошли в разнос, музыка визжала, вскрикивали танцующие, перешедшие на оголтелый пляс.

Мы сидели за своим столиком, словно на берегу океана.

Его брызги уже достигали нас.

Какая-то задорная баба смахнула с нашего стола салфетку и, подпрыгивая, семеня и плетя ногами, стала вить белой тряпкой вокруг себя зигзаги, как сигнальщица, подзывая корабли, взбивать пену чумного воздуха над пляшущими, манерно отмахиваться от жара, будто одолевшего ее, поптичьи подманивать кавалера, смущать еще одного, строить мне выразительные гримасы, чтобы и я плясал с нею тоже, и т. д.

В этом была реальная угроза.

Чувствовалось, что пары уже были назначены и время, клонящее людей к пьяному угару, уже ничего нового им не сулит.

Может быть, нужен был эксцесс, смута, побоище?

Я понимал, что участвовать в этом не должен.

Рвота в ботинок была самым умиротворяющим ингредиентом этого варева. Нас уже не видел никто или видели все, что одно и то же, и нога В. А. прижималась под столом к моей, я не смел шелохнуться.

Это было пиршество захвативших город, меры и удержу в этом разгуле не было.

Старательного вкуса еды и скользоту водки оценить я уже не мог.

Я взглядывал на бледного человека в вымокшей подмышками тенниске, лоб его был белым и в бисеринках пота, и глаза, как почерневшие монеты. Он тоже смотрел на меня безотрывно. «Похож на взмокший манекен», – пронеслось в моей голове. От этих зеркал можно было рехнуться.

В. А., подойдя к официанту, быстро расплатился.

Парусящее сразу всеми куполами высокое небо, невидаль восходящих молодых звезд и старой оловянной луны, оправленной жерлом мрачно розовеющего воспаления. Дорога назад была совершенно незначительна, только лишь протяженный вскрик невидимого парохода, с какой-то нечеловеческой истовостью расширивший мне зрачки, куда втекла ночь, ставшая еще темней.

Я бы уже давно порешил В. А., и дело было не в отсутствии боевого оружия, из которого это можно было сделать не совсем уж зверски, не то что ножом бритвой и пр. Нет, дело было в моей зависимости от него. Не думаю, что я испытывал благодарность... Хотя он, благородный бедняга, дарил мне лучшее, на что был способен. Например жизнь. Но так поступали многие со мной, и я тоже пытался по возможности не делать совсем уж наоборот. Требовало ли это усилий? Думаю, что человеческая душа темна и дна ее не видно никому.

Г., тот как-то сказал мне, что боится меня, сам не знает почему, но вот так... и он должен непременно об этом сказать мне, так как меня этим не обидит. Я отвечал на эти слова односложно: «Хорошо». – «Что хорошо?» – «Хорошо, что сказал».

Может, он тогда почувствовал меру испытаний, которые достанутся мне уже без него. Есть вообще-то чего испугаться, он и сам был для меня искушением, испытанием и расплатой за то, что я остался в живых.

И это – животный выбор, так давно овладевший мной. А он, Г., давно свой человеческий осуществил, и невзирая ни на что, ему – проще. Сложнее мне – ведь выбирать и выбираться делается все труднее.

На небе – совершенно созревшая, будто выгоревшая луна, южная, вызывающе светлая для времени ночи, почти слепящая. Она так ярка и чиста, что пятна на ней выглядят потравой, и редкие светильники кажутся при ее свете лишними. Мы с В. А. идем другим путем, минуем огромный, как корабль, стильный конструктивистский дом, обезображенный перуплотненным тараканником жильцов. Из открытых окон все время что-то слетает – окурки с огоньками, дуги помоев, объедки, планируют клочья бумаги, будто это корабль и вода все смоем.

– Нет слов, – говорит В. А.

Но дорога, на которой уже давно нет следов тротуара, серебрится потеками, отражающими лунный свет, словно дорогая театральная ткань или разбросанные темные ризы для неясного обряда...

Темная тень делается совсем черной, но почему-то ярче предмета, который ее отбрасывает.

– Как слова, – говорю я В. А. о луне, ее тенях и каком-то обратном сиянии.

– Какие слова? – не понимает он. – А вы ведь узнали эту женщину. В ресторане.

– Ведь узнал.

– Это она передела вас в волшебный камзол невидимки.

– Но вы же меня все-таки разглядели.

– Я не в счет.

Очень тихо, это особенная ночная лунная тишь. Все звуки только усугубляют эту пронзительность – переругивание, младенческий плач, плеск помоев. Ручей из них, став серебряным, будто бы журчит.

– В. А., вы перепачкали туфли.

– Плевать.

И он плюет на далекое расстояние, я навсегда это запомню.

– Хочу вам сказать кое-что. Так, не более, кое-что. Я тоже хорошо ее знаю. Это жена, бывшая жена NN, а может, и вдова... Он попал сами понимаете куда недели за три перед вашим явлением. Она успела каким-то образом уже оформить развод. Я NN, скажу вам, ооочень хорошо знал.

Он растянул «о».

– Это ее рук дело. Вы понимаете меня? Я ясно выражаюсь?*

Разговор наш совершенно переменялся, так как я ответить ему ничего не мог.

* Он ни с того ни с сего заговорил о Чайковском, о «Евгении Онегине». Будто перескочил на другой регистр. Он сказал, что только Чайковский правильно понял этого холодного одинокого человека, – и его петь надо сухо, без всхлипываний – на такой специальной ноте «прохлады». Он, Онегин, ведь ничего не хочет, даже покоя – он ленится хотеть. А так не может никто! Никто!

21 августа четверг

восх. 5.12

зах. 19.54

Луна

новолуние 16 авг.

восх. 11.38

зах. 21.41

В часы отдыха в одном из колхозов Узбекской ССР, картинка.

В тени чинара дева разводит руки, будто сдается, прочие подруги понуро сидят, будто уже приняли свою участь. Мужчина в халате держит некий музыкальный инструмент, словно сопло огнемета.

Ядовитые грибы

Необходимо уметь отличать ядовитые грибы от съедобных. Мухоморы трудно спутать со съедобными грибами. Бледную же поганку или ложный шампиньон можно принять в молодом возрасте за настоящий шампиньон.

Отличие между ними заключается в том, что у поганки шляпка и ножка нередко бывают покрыты белыми лоскуточками, остатками наволочки, а пластинки белого цвета, в то время как у шампиньона пластинки розовые и нет каких бы то ни было следов наволочки.

Желчный гриб является двойником белого гриба, но белое мясо желчного гриба при изломе принимает розоватый цвет, тогда как у белого гриба оно остается без изменения. Ножка гриба в верхней части как бы покрыта черноватой сеткой (у белого гриба эта сетка беловатая), мясо его горько и жгуче на вкус. Некоторые грибы теряют свои ядовитые свойства при умелом приготовлении. Чтобы предотвратить случаи отравления грибами, необходимо предварительно обварить грибы кипятком или вымочить в воде с уксусом. Уксус растворяет ядовитые вещества многих грибов.

Т. Астапова, советский ученый.

СПАЗМЫ

Произошло это к вечеру следующего дня, ко времени, смолкающему после дневного сумбура.

Тихо полился сквозняк, он опережал не наступившие еще далекие сумерки, но его дыхание чуть мутило желто-зеленый настой комнатного воздуха, и едва начинали шевелиться занавески на раскрытых окнах, будто там замер, сдерживая дыхание, персонаж Шекспира, которого принц непременно проткнет клинком.

Наша с ней встреча произошла, разминуться и уклоняться далее было невозможно, она ведь долго меня поджидала.

В ущелье между шкафами в коридорчике, ведущем на кухню, просто перегородила дорогу и сказала, придыхая, что-то совершенно обыденное и очень нутряное, порожденное ее нагрублыми органами:

– Хоть щупку мне сделай-то.

Повторила еще раз, будто я не расслышал:

– Щупку, ну, сделай мне, мужик ты ведь.

И еще луковый душок, выдвинувшийся из нее, тоже кратко уткнулся в меня своими несъедобными перьями. Что это за луковое слово? Я ничего не знал об этом семействе растений.

– Начни сама.

И я тут понял, что это слово происходит от самого простого глагола «щупать», ах ты господи...

Словно я отгадал первую загадку Сфинкса. Даже возрадовался, что не чужд этому словарю.

– Давай-ка сюда лучше.

Будто пошел какой-то новый особый отсчет.

Она втолкула меня в свой закуток.

Маленький, захламленный, узкий и тесный – эти однородные эпитеты не помешали друг другу*.

* Тишина ее комнаты липла к меченым вещам, будто удостоверяться в том, что они есть, – еще не сгнили, не распались, не посекелись. Где-то – очень близко что-то выкрикнули соседи, словно бросили ком мокрой тряпки о палубу или ударили тело по самой мягкой беззащитной зоне. Такие звуки никогда не порождают эха.

Будто я в порту – Валетты, Триеста – зыбкой воды у причала не видно, она покрыта одеялом ворочающегося, замешанного на нефтяной чернухе гнилья, которое едва тужится дохнуть грудиной вечно снулого животного.

Вот какой эпиграф положен этой сцене: ватная засаленная Солоха, напыленная набекрень на чайник, лоскутное авангардистское одеяло, которое мы изомнем, – я положу его на пол перед зеркалом, вделанным в створку высоко-го шифоньера, омерзительный чайный гриб в стеклянном сосуде, как анатомический препарат самого заунывного обескровленного цвета.

С каким удовольствием она туго задвинула щеколду, которой, верно, не пользовалась несколько лет, и мне показалось, как с железным скрипом на порог ее каморки просыпалась ржа, и она еще, еще и еще раз сдвинула уже и так сомкнутый ситцевый захватанный полог, будто за нами могли следить насекомые, подлетающие к окнам второго этажа.

Я потом обдумывал эту свою историю. Она, в сущности, историей не была, передо мной предстала таблица ячеек, которые все сразу открыты, ну что-то вроде наборной кассы в старинной типографии. Можно перепрыгивать из одной в другую, как насекомому.

И мне вдруг почудилось, что мое ничтожное время, пока принадлежавшее только мне, взметнулось рыжей белкой по сосновому стволу ввысь, вскинулось, как стяг какого-то далекого государства, – прямо по флагштоку, убегающему в синее небо, – а мне осталось только наблюдать со стороны, как юркнул вверх прыткий зверок и взволнованно взвивается легкая ткань полотнища.

Я только успел подумать – господи, что это за страна?

Если бы у меня были наручные часы, то их стрелки заискрились б, чиркая по ободу с выпуклой цифирью.

Даже на фронте, когда я попадал под обстрел или бомбежку, когда меня несколько раз настигал и валил отвердевший воздух совсем близкого разрыва, переуплотненный взбитой с обрывками дерна почвой, и я опрокидывался навзничь, не успев испугаться своей близкой смерти, – ведь время шествовало сквозь меня по своему банальному кольцу, – часы где-то тикали, будто была кухня, метроном покачивался по-прежнему, словно шел урок. Даже оглохнув, я узнавал эту мерную, какую-то домашнюю поступь. «Тик-тик, тик-так». Разве я слышал в себе эти фонемы? Я просто считывал их прерывистые имена, принимал на веру, трогал, как буквы Брайля.

Для меня они всегда были символом того, что я жив, по меньшей мере того, что моя смерть – это я сам, и она пока еще со мной.

Тело под веселым халатом показалось мне католическими мощами, укрытыми в специальном домике, где мало света, пыльно и не убирают. Какая-то святость предательства тлела в ее желтоватом навощенном существе. Во всяком случае, мне было понятно, что мертвые тела через короткое время начинают пахнуть таким особым духом, который поначалу только виден.

Широкие бретельки лифчика скручивались и впивались в ее прямые плечи, как постромки, оставляя следы.

Этот лифчик не поддерживал грудь, а был просто очень туго надет, как положенная по уставу сбруя, для порядка*.

Вещи в женском закуте.

Заткнутые за рамки постыдных картинок букетики из крашенных ядом утиных перьев – зеленые, розовые, синие. Будто на них плевали.

Сковорода с размазанным слоем того, что называют шулём.

К тусклой массе приклеилась ложка.

За занавеской, наверно, было сложено особенное дефективное белье со штоккой, которую я чуял специальной слепой железой, ответственной за жалость и соболезнавание. Но на этот раз не жалел, так как брезговал.

Я понял, что вот и попался, и нет у меня вариантов побега. Очнулся в сучьей норке. И разросшееся время, ставшее моей плотью, лишило меня простой возможности попятиться. Будто передо мной впереди загорелась череда табличек: «вперед», «вперед», «вперед».

Останься я с нею или каким-то непостижимым образом уклонись – исход для меня будет только один.

Она ведь все уже поняла. Я-то знал, как устроен ее хищный ум – несколько простых прогалин, так – мелкие выемки хищного инстинкта. И в тесной обидной выгородке с задернутыми тряпицами на половине окна (кому принадлежала другая половина?) я должен был проступить перед ней фотоотпечатком в мелкой кювете своего ничтожного, но желанного тела, которым, по ее разумению, уже не имел никакого права владеть.

Она, а я судил по ее серьезности, уже и не сомневалась, откуда я взялся.

Она лишь хотела удовлетворить банальное любопытство – как там у меня все, из чего же я состою.

Я увидел, как мое отражение проступило в глазури ее светлых очей, как будто бы ее керамическую голову только что достали из печи для обжига.

Может, она вознамерилась со мной наиграться власть, ведь деваться мне от нее было совершенно некуда (и это – чистая правда). А может быть, лишь способ полного овладения мною ее занимал.

Я, как ни странно, всегда в плотском голоде, просвечивающем сквозь ее жестикуляцию и речь, чуял какое-то вывернутое пресыщение, тошноту, которая может быть не только от чего-то, но и на что-то.

Ей, конечно, не приходило на ум, она, конечно, не догадывалась, что именно меня ей и стоит бояться. Ее тупой тактильный опыт, ничтожный словарь ее убогого языка, провидение вечно несытой воровки, многоопытность ее сволочной жизни внушали ей совсем другое – что все, и я, безусловно, и я тоже – в ее руках и т. д.

* Когда я знал, что вот скоро, через какое-то незначительное время буду любить Тадеуша, то какой-то особенный, ну почти что неслышный дух заполнял мои ноздри, и порой его волны поднимались так высоко, что казалось – вот-вот захлестнут и сойдутся надо мной, и я никогда до него, до моего Тадеуша уже не дойду. Вот и теперь этот гребень заколебался во мне, но идти было уже некуда.

От нее несло моллюском – по-морскому и как-то проникновенно, задевая меня плотно и невыносимо близко, плотнее не бывает, будто я сам попал под устричную створку ее океанического тела.

Притягательная сила этого задыхающегося в самом себе запаха была безмерной. Я сглатывал большой солоноватый ком своего желания, будто у меня выросли жабры. Вместе с запахом мутный свет ее невидимого мне жилища сочился «по-водяному».

Она строит теперь свою жизнь, понимает, что надо торопиться во всех смыслах – в карьерном (залопотала о себе, о перспективных курсах, о желании стать партийкой – без этого никуда, что нет нормальных мужиков, так как всех нормальных перебили, те, что остались незанятые, – дефективные или же самые распоследние хитрованы).

Венерин холм этой сабинянки оказался просто-таки Гримпенской трясиной, в смысле, весь поросший по плотной мякоти. Там могла пропасть собака Баскервилей, но я ей этого не сказал, мы читали (если она вообще читала) совершенно разные книги.

– Без света! – она дернула уже и так сдвинутые собачьи занавески.

Они всколыхнулись.

Во мне все помутилось, и я узнал тон помертвелости.

Я запустил руку в ее низины.

Вот уж диковина – у нее даже намек на клитор не было, сколько я ни искал, а посмотреть близко она не давала, зажимаясь.

– А где твоя пуговка, маковка, такой бугорок, горошинка, фасолинка, зернышко, ну похотник, жёсанж, пава моя? – шептал я.

– А это еще чего тебе зачем? – недовольно ответствовала она. – Ты свое дело знаешь? Ну так и знай! Не мужик, что ли?

У нее не было даже намек на «еще чего».

Как же мне завести ее?

Она ведь была простой пологой солдаткой.

Меня эти речи завели, я стал танцевать перед ней под пластинку, которую поставил, не читая этикетку. Она обомлела.

– Ну ты, ну ты... прям самый.

Кто «самый» я так и не узнаю – этот был эпизод настоящего разнудания – я вел себя так, будто она должна была меня поиметь – извивался, как знак интеграла, змеил руками, прищелкивал над головой, высовывал язык, лизал себе подмышку, запахшую так сладко, словно в последний раз в жизни.

Она дурела – под звуки шлепков моего раскачивающегося члена она смотрела на меня, как кобра. Я подходил к ней вплотную, оборачивался и разводил ягодицы, ероша вокруг ануса жесткую растительность.

Не дав ей очнуться, я провел своей вывернутой головкой по ее ноздрям.

Я пропел в ритме фальшивого китайского танго, раскручивающегося на пластинке:

– Как это называется, гражданка?

- Что это?
- Смегма.
- Что, танец такой?
- Да. Такой.

Она сидела, омертвев, как степное изваяние. И как апофеоз – я оттянул и зажал между бедрами свою мужественность, распахнув ей объятия. И что меня подвигло на это? Может быть, китайская фальшивая утонченная песня, пластинку которой я нашел в коробке. «Трофей китайский». Я был не собой, и это доставляло мне удовольствие, ведь ее после всех ее рассказов нельзя было унижить.

- У тебя хер вялый.
- А ты пососи.
- Данивжизть.

Она то ли поперхнулась, то ли хохотнула.

Почему-то мне казалось, что помимо нас есть еще зрители. Хотя уже знал почему.

Она была калейдоскопом из звуков и оптических силуэтов, которые должна была являть женщина, принимающая ухаживание. Но так как ухаживания не было, а было разнуздание, то общее впечатление грубой нелепицы моментально заполнило всю ее комнату. До нее тоже что-то доходило. Вообще, в ней были какие-то мужские приколы. Не воевавшая солдатка.

- Ты почему на фронт не пошла, коза?
- Здесь нужнее, – сказала высокомерно она.

Я гнулся, как африканская статуэтка, выпячивая губы и оттягивая мошонку.

Я хотел перед ней сделать такое, что доставило бы удовольствие В. А., именно ему.

Он бы оценил извивы змеи...

И я выделялся перед своим отражением в зеркале краденого шифоньера, принадлежащего когда-то хорошим людям, слишком большого для этого закута, и я видел себя в миллион раз больше, чем ее, когда вспоминал свою юношескую и детскую травестию, когда хотел быть прекрасной принцессой, восточной дивой.

Закатывал глаза, возводил руки, хватался за сердце, выводил магические кольца вокруг пупа и свастику на животе – я видел, как она стекленела и глаза ее светлели.

Крутил свои соски, закатываясь в утрированном раже.

Был марсианином в ее безвоздушной камере.

Щедро показал ей багдадский беззвучный крик страсти из «Тысячи и одной ночи».

Просто придумал на ходу.

Ведь я был только с зеркалом, в котором отражалась моя похоть; я, честно, уже не считал ее за человека – так, какое-то теплое мясное место передо мной.

Этот шабаш есть в каждом мужчине, когда он среди себе подобных и возвращаться легко к женской пластичности, из которой вообще-то и сделан.

Мне не позабыть сцену давних сатурналий, когда полуголые кадеты ставили себе мушки горелой спичкой и танцевали под ла-та-та и шелк пальцев. Это был танец семи покрывал, будто потом можно попросить смотревших о чем угодно, и они не посмеют отказать.

Она водила из стороны в сторону моим затвердевшим членом – «десять минут первого...» – «без десяти двенадцать, гы...»

Так любил играть со мной Г., ведь мы спали, как «фальшивый валет» – (никогда этих его слов не позабуду).

Я понимал ее как нелепый предмет, с которым оказался в одном помещении, как забубнивший плотский автомат от выброшенной в щелку монетки, и еще мне все время казалось, что я просто читаю таким образом книжную страницу, написанную в стиле порнографического протокола, кем-то раскрытую у самого моего носа.

Но все же она увлеклась и громко проглотила мое семя; она получала странное злое удовольствие и от своих дурных слов, которые процедила сквозь усмешку, как через соломинку в притихшей, будто прислушивающейся комнатке. Я запомнил ее слова как угрожающую телеграмму, которую нашел на полу, просунутую в щель под дверью:

– А у ты на вкус, как яйцо сырое, вся свежая малофья, аж запеть в высоких нотах возможно. Жалко, что не могу от тебя понести. Ничего-то ведь про тебя я не знаю.

– Да что тебе знать. Вот просто человек как человек. Мужчина один такой.

– Это как сказать. Мужчина. А вот товарищ Ворошилов – за женщин. Свидетелей привезть – ходил? Значит, ходил – значит, от тебя дитё, и плати-ка, гад, помесечно пока в кровь вспотеешь до свершеньелетия*.

Она извергала клочья каких-то злобных бесчеловечных дискуссий, давно бурлящих в ее недрах.

– Да хоть куда, но чтоб спустил, а потом все одно родим – да не слотнем-помажем-размажем там где прямо надо, и не сделаешь ничего, и через девять родим. Коли захочим, и ничего ты мне не сделаешь.

Она была избыточна, как бробдинггеская фрейлина у Джонатана Свифта, посадившая себе в подмышку корабельного хирурга, безупречно награвированная Гранвилем.

* Ее ошибки, зловещие вообще-то, завораживали – с ней все людское, обычное, воплощалось в настоящие извращения, даже совсем простое – она кашляла со стоящим членом во рту, и от этого даже труп кончил бы. Она ни разу не прикоснулась ко мне руками, будто исполняла какой-то глубокий зарок. Такая заводная кукла, настоящих ключей от которой у меня не было.

Она отождествляла себя с великим доблестным государством, наверное, и звала саму себя «мы», и именно это позволило мне с нею совокупиться в спартанском стиле, по-мужски.

О, она была тверда и неуступчива. Да! Настоящий боец. Передовая!

Ее шепот облеплял меня каким-то влажным плащом:

– Да как это туда? Куда прям пристроился? Я же ведь не чистая там.

– А в других местах ты чистая? Ты уверена?

– Не совсем я уверенная.

– Тогда не лопочи, а то не совпадем.

Дискуссировать с ее речевым кавардаком было глупо.

Меня ни на миг не оставляло чувство, что я совершаю роковую ошибку, за которую мне не расплатиться, – она не была Цирцеей, а я не был Одиссеем. А вот Протеем, протолкнувшись сквозь ее стиснутое сухое устье, я почувствовал себя по-настоящему.

Жадным спазмом ее задышавшая полость мгновенно взвилась по всей длине моего члена, будто вобрала меня, и стала взвиваться по мне в недостижимую верхотуру, как ребенок, нанизывающий пирамидку тесных колечек на деревянный штырек; и если бы я осмелился протечь хотя бы одной каплей, то она занялась бы всем веществом моего тела, вдруг ставшего горючим.

Меня настигает ее отдышка, будто она говорит затылком:

– А могут у инвалида быть нормальные дети?

Мне вроде послышался произнесенный скандальным тоном резкий вопрос; он, как шрапнель, отрывал у сперматозоидов хвостик.

И я когда задергался, кончая в ее нижний совсем неромантичный низ, и она заухала, как филин, вослед сползшему по моему члену браслету сфинктера своей крепкой утробы, то я понял, что на меня надвигалась настоящая страшная невидимая ночь.

Отдышавшись, она заговорила, оправдываясь перед кем-то, что это у нее в первый раз и другому она так бы вот ни за что и никогда не дала.

– Ни в жисть, ни в жисть. Только тебе.

– Даже В. А.?

– Вот разве что, он-то врач, чё его стыдиться...

В утешение себе я пропел, промурлыкал по-немецки песенку о форе-рели, только маленький куплетик, который так любил Тадзю, и осекся...

Это ведь песенка о тлене, так мне всегда казалось, о смертном мельничном колесе, бурлении безумной черной воды, где девки и тетки топят приплод.

И по особому тяжелому молчанию – она как-то замолчала по-особенному, вдохнув вовнутрь, в самую себя, будто что-то сочла – деньги, предметы, и страшный арифмометр внутри ее головы наконец провернулся, – я понял, что легко предал сам себя, так как в комнату вошел чудовищ-

ный баланс ее подсчетов. Будто маятник качнулся. По сумеречному ее невыспавшемуся лицу кромешной тупицы я понял, куда она собралась донести. Она тоже сообразила, что и я ее понял насквозь, как легко она делает карьеру – одной бумажкой, которую крупно испишет лиловыми словами, скрипнув поганым перышком во вставочке.

Она почему-то завела нытье о своей покойной тетке, за которой (уже больной, помирающей совсем) она взялась ухаживать – из человеческой жалости, а не «из-за норы с манатками гнилыми».

Она обвела рукой свой комнатный хлам.

И в этой истории от тяжелого смысла было не отмахнуться. Ведь когда она предложила тетке на ночь снять зубные протезы, то тетка, находясь вообще-то при смерти (я думаю, она написала бы это слово слитно, в чем была вообще-то права), прохрипела ей, «еще своими жру».

– Пока что... – ухмыльнулась рассказчица, и я, холодея, увидел у нее во рту блеснувшую в дневной зашторенной мути ровный черепаший зубной обод. Такую костяную скобу.

И еще мне был поведан микроэпизод, закавыка: тетка перед тем как совсем уж помереть, увидела во сне большого леща. За час буквально. И об этом было мне обстоятельно рассказано. Зачем?

Когда она начинала что-то говорить или вдруг умолкала, – было почти слышно, как открывались или закрывались сухие скобки, будто она и смыслы может схлопнуть своим телом, как несколько минут назад меня.

– А ты хочешь настоящего леща?

Я не успел это произнести, как она метнулась, как ошпаренная псина, хотя в ее выгородке едва хватало места двоим, вздумавшим улечься на полу.

«А она будет мстить», – думал я, увидев, как шевельнулась занавеска, будто театральная кулиса, – и я мгновенно проткнул шпиона за ней невидимой шпагой. всего в один единственный выпад.

– Я тоже привидений опасюсь в этой теснотище, – пожаловалась она, будто прочла смысл моего жеста.

Ее рот, говорящий детскую жалобу, складывался в жесткую формулу доноса, может быть, из-за побледневших покусанных губ, ведь ей надо было сдерживать акустику своего тела.

Я вдруг заметил, что она съела свою вульгарную помаду, и теперь сам бледный рот стал приглушенным сумраком, будто никогда не бывал страстного цвета. Но все равно ее рот оставался самым выразительным пятном интерьера и самым кромешным отверстием ее тела, таким средоточием, границей, будто бы она вся – бублик, тороид.

Жесткая символика того, что она непременно совершит со мной в самое ближайшее время, была нестираема. Я с тоской видел, что все предметы ее обихода имеют грубые тюремные клейма; я представил, как она метит их гадкой половой краской, – бок чайника коричневым инициалом, дно

граненого стакана жирным кружком, как и черенки съеденных зажелтевших ложек; даже не касаясь этих блестящих выпуклостей, я понимал, что жизнь омерзительна и конечна.

Калечество этой жизни проступало во всем, и песня, вдруг ни с того ни с сего полившаяся из черной от чего-то очнувшейся радио-тарелки, запахла съедобной дрянью, засмердела, как старческий рот.

– Зачем тебе, это ведь не твое, – спрашиваю я, держа в руках майорский китель с одним погоном и отпоротым рукавом*.

Я не мог отвести взгляда от В. А.

«Василий, Василий – добей ее!» – Я позвал его только по имени и на ты – за это, я знал, он сделает все, даже сможет бесследно, как порочный химик Алан Кэмпбел растворить ее. Ведь Бэзил Холлуорд исчез бесследно.

И мне все хочется воссоздать, как он выскакивал, обдав меня волной затвердевшего воздуха, – будто атака.

* Мне было легко представить, как я ее убью. Ничего сложного, да!

Чтобы она меня не съела – из этого дома живым я не выйду, а если и выйду, то в другую сторону бытия, которым управлять никогда не смогу.

Поэтому то, что случилось, произошло в том же темпе, как и все предшествовавшее, и было ничуть не похоже на оперный апофеоз или на быстрый бросок игральные костей случая, фронтовой смерти от прицельной стрельбы или не приметной мины.

Я прильнул к ней плотно-плотно, и ножницы, которые я заметил в распахнутой коробке, полной всякого швейного мусора, почернелые и шаткие, чуть пониже уха, в такую теплую выемку, ей с нажимом вставил.

Она захрипела, попыталась мне что-то сказать в губы, но третья нота людской октавы ей уже не далась, она едва выхрипела из себя густой пеной: «ты... фишист... фишист».

Я не перепачкался.

Я представил, как влетел в объятия В. А.:

– Вася, ее надо докончить, она все поняла и выдаст, и всем конец.

Он выскочил из комнаты быстрее, чем...

Не знаю – быстрее не бывает ни-ко-гда.

Думаю, это сказочное кино, увиденное мной, каким-то образом посмотрела внутри своей растрепанной башки и она. Я чмокнул ее и вышел, не закрыв плотно дверь, так как у меня еще оставалось время воплотить это кино.

ПОЙДЕМ В ОПЕРУ, ЧТО ЛИ

В. А. знал одного поэта, неизвестного мне, из первых уст, в самую его позднюю пору, когда смерть – когда-то объект элегических притязаний и подозрений – стала занимать почти все его сознание своим абсолютным практицизмом. Эта черта, может быть, была тогда, точнее, с тех самых пор главенствующей. Он не хотел уходить, так как главное не было сделано, вернее, не распределено. В папках хранились записи – стопки в четвертинку листа, что-то перебелили друзья и что-то он оставил им на сохранение, как дубликат ключа от жилья одинокого бессемейного человека. Именно таким, невзирая на человеческую чехарду вокруг него, он и предстал В. А. в 193... году, уже совершенно обособленным своим даром понимания истории, людских свойств, любви и собственного одиночества.

– Ведь есть, есть такие поэты, с ними не понять предательской фальши остальных невозможно. Прочие – ерунда, городские птицы, мусорщики, все до одного.

– Уста смолкли, пройдет сто лет, прежде чем кто-то запомнит снова те стихи, – говорил он, чуть улыбаясь, но смотрел горько.

Он продолжил простым тоном, не скандируя, будто говорит это сам:

*Такой, как он, едва ли один из ста,
теней и света обреченный знахарь
и провозвестник окрыленных воль.*

– Это про меня написано, я ведь Колька. Колька – это я.

Он ведь, который все это сочинил, ну совершенным дураком был, Горькому рукописи посылал. Горькому! Такой чудак – менял комнаты и проживал разницу. Может быть, потом у него стала не комната, а носовой платок? Но и он пропал.

При чем тут Колька, я не понимал.

– Ты б их видел! Ты б их видел! – будто сожаление и скорбь полнили его, и он смахивал что-то рукой, не донеся ладонь до глаз.

Это вообще был его частый жест, будто он стряхивал крохотный термометр... Мерить температуру окружающей его лихорадке было безнадежно. Он ловил другую беглую мелодию, замешанную на вычурном марше.

– А? Ну что это... Домаршировались... А ведь это Прокофьев – «Любовь к трем апельсинам». Тут его иногда играют, – он показывал тарелку, –

не по-ве-ришь. Он ведь вернулся еще в тридцать шестом. Лауреат-орденоносец. Но не по-ве-ришь.

Последний глагол он произносил по слогам. Мне было нечего сказать, так как, кроме этой кривляющейся мелодии, я тогда ничего прокофьевского не слышал.

– Это не Цезарь... Франк, само собой.

Я уже несколько минут, слушая его игру и комментарии, представлял, как, уменьшившись до дитяти, сижу на его коленях, ерошу плотного ежа его шевелюры, провожу по щекам и подбородку и затылку, закидываю его лицо, целую в сухие губы. Он ведь всегда гипнотизировал меня, и реальность находилась в потерянной неизвестной зоне. Я уже действительно сидел на его коленях, и он моим пальцем щелкал «чижика» только по черным клавишам, – получался китайский «Чи-жь-ик».

Кстати, радио было переполнено лопотаньями и сюсюканьем китайских хором – к которым ремарки дикторов на русском языке, как говорил об этой речи В. А. – «мхатовского профиля, московский говор побеждает», – казались ушатами холодной воды. «Вековая дружба», «Партизаны на привале», «Переправа через полноводную Хуанхэ».

Китайский хор всегда забирался так опасно высоко, что я начинал воображать, как шипит сбежавшее на плиту молоко.

– У нас тут по двору хаживает одна особа, – говорил В. А., – вернулась с КВЖД (он покрутил пальцем у виска). Кстати, повествует, как китайцы рваные юани клеят зубным налетом. Многообещающая дружба, замечу. Удивительно эта женщина стряпала, она вообще-то у наших небедных соотечественников была кухаркой, бежала с ними из Владивостока в Маньчжурию и все такое. Рассказывала, как штурмом брали корабль в порту – то ли затопчут, то ли над толпой вознесут, как плавучее бревно, так и ее внесло на пароход, а женщина была крупная. Но вот, собственно, о еде. Она готовила пищу сегментарно – ничего не надо было резать, помещалось сразу в рот, даже пирожки с народной начинкой. Ее соседки очень осуждали, требовали однообразия. А тут тебе, к примеру, карп (весьма костистый фрукт) – а она его так изготовит, что и резать не надо, и костей нет. Возится долго, а у плиты, собственно, с ложкой не дежурила. Буквально – раз и все! Отчего русская кухня такая долгая? Полагаю, оттого, что топливо почти даром – жги себе сколько угодно. А в Азии все наоборот, а все наше, что готовится быстро, – заимствования, кулинарные компиляты. Пельмени, говорите? Так это же Китай. А мы – щи. У плиты полдня. Правда, есть тут местное скоростное блюдо, позор и срамота. Зовется «шулём». Картошка, лук, морковь, – все варится непроглотными кусками до полного размягчения. Если есть тушенка, то туда же вываливается. Но можно и без последнего ингредиента. Есть нужно с закрытыми глазами.

Он внезапно взял другой смысловой регистр, будто на самом-то деле мы говорили не о еде, а именно об этом:

– А мы ходим с вами в местную оперу! Обязательно в оперу. На «шерш де перл» по-русски – с заслужёнными артистами! Орденоносцами и орденосицами! Только не говорите, что вы ее где-то уже слушали, я догадываюсь.

Он затаил стойким эстетским фальцетом, подвывая смешно, арию Надира. Он подсаживался к пианино, пробегал, чуть касаясь клавиш, будто стряхивал со звуков пыль.

– Я обрастаю этими аксессуарами с ужасающей силой – вот гармошка с колокольчиками подбросили – ах ты мой найденыш! – Он брал пару отдаленных слезливых аккордов под нежные звяки, – это нижеволжский стиль, чем выше по Волге, тем сильнее воют – без гармошек! Ведь знаете – какая история – чем южнее, тем больше ударных, вообще – ритм выражен очень активно. Если на юго-восток, в Азию, к буддистам – там вообще ритма нет, мантры это вам не поэма экстаза – одно нытье. Да и китайцы, когда танцуют, то считают вслух. Я знавал одного, он пытался читать древнегреческие ноты. Пробы оказались очень унылыми – тупые гимны – какие-то колонны без капителей. Макароны. Странно, что Платон мог это слышать... Но вообще их жизнь была грубой, почти вся на улице, я этого не понимаю.

Но вот его внутренняя жизнь так походила на его жилище – он старался себя гармонизировать, сделать речь ясной и незатрудненной, и эта «музыка» именно потому. Но цельности не получалось, и он как бы все время подступал к невероятной фразе, которую должен был взять с искренностью и блеском свободы. Но это было невозможно, так как сама история, ее буруны и омуты не позволяли ему быть самим собою.

До нас в подтверждение рассуждений В. А. донеслось сладкое какое-то детское нытье.

Оказалось, что тут на улице через пару домиков есть ведомственный прият, общежитие, где обитают китайцы, целая бригада, совершенствуются в какой-то необходимой профессии.

И действительно, можно было понять, что они так поют сладкоголосо, будто специально не попадая в тон, – как жженный сахар, который пригорел, но горек, оттого что погорел на пламени. Слишком утончен для европейского слуха их язык, сотканный из тысячи вибраций, которые мы различаем как неумелость, фальшь, хотя они и есть зона особой выразительности, недоступной нам.

Поют, фальшивя, мутируя, советскую мелодию – видимо, они слышат то, чего не донесется никогда до нас из-за бруствера настойчивого ритма. Неверное, лживое голосоведение (для нас) искупается богатством интонировки, новыми смыслами, заключенными в пульсирующей фонетике. Может, жалоба и просьба могут быть фальшивыми – раскрытыми и дрожащими – умиляя.

Уменьшая себя, делаясь меньше, жальче.

Вечереет.

Город изнемогает от того, что день прошел дымным и розовым, будто впал в младенчество.

Обрывки фраз В. А., ключья его мозаик заключений незабываемы:

– Это не время – это катакомбы, иссечение света; нет, один тленный дух, все пропахло. Только твое тело и светит мне, – лучше любые выделения, чем мертвечина.

Он прибавил, смягчая:

– У Пруста есть лесбийская сцена, она опутана музыкой Венетейля, я-то думаю, это Цезарь Франк на самом деле.

Он мог попадать своей речью в низкие звуковые волны: это, надо отдать должное его вкусу и образованию, получалось ладно и как-то по-юному. Он, звучащий, мне нравился, так как куда-то скрывалась его язвительность и знание циклического времени, будто он мог еще позволить себе полюбить. Когда я смотрел на его прямую посадку на вертком табурете, то мне открывался алфавит, слова, которые я так любил, которые иногда складывались в прекрасные стихи, которые он тоже знал, и особенно такие, которых я никогда не слышал.

Еще раз, повторяя взмахами какую-то увертюру, он что-то пропел на неясный мотив. Вокализ.

В. А. бережет пустые флаконы из-за выразительных надписей на этикетках. Мне попадались:

РУССКАЯ ВОДА

Для плавания, мытья, питья и промывания

ТУАЛЕТНЫЙ УКСУС

ВЕЖЕТАЛЬ

Аптекарский, 5, завод врачебных заготовок

Вот несколько маленьких вырезок, приклеенных у косяка высокой прекрасной двери в комнату, будто с их помощью засекали уровень чьего-то неумолимого роста:

*Затхлым воздухом жизнь режем,
товарищи, отдыхайте на воздухе свежем*

*Лишних вещей не держи в жилище,
станет сразу просторней и чище*

*Убирайте комнату, чтоб она блестела,
в чистой комнате чистое тело*

*Хозяйка, помни о правиле важном:
мести жилище способом влажным**

Он рассказывал о легендарных наручных часах с подзаводом, часах неистовой точности. Которые, если их положить на тумбочку и не трогать несколько дней, не заводить, начинают опережать время на полминуты в сутки. И это тоже было маниакально, что именно на полминуты.

Это одна из множества инженерных историй В. А. Эта, в частности, доказывала, что чудес нет, как нет счастливых стечений обстоятельств. И все уже прописано ясным почерком. Блеск этой истины был нестерпим!

Вообще, многие его истории были связаны со временем, с точностью, были просто апологией часов. На мой взгляд, это было связано с тем, что он свою жизнь переживал как связность со временем, будто не было таких промежутков, из которых время было бы изъято. Может быть, он никогда не был счастлив?

Еще мне казалось, что его плотское желание взламывало его внутренний механизм, – он переставал ощущать темп. Впадал в амок. Делался доисторическим человеком, которого могло сморить не календарное время, а усталость от страсти, в которую он впадал, не переживая ее.

Его тело было кожухом – непроницаемым и крепким, в нем он носил свою жалобу, которую нельзя было выказать никому. Я это чувствовал, как запах, который вдруг обнаруживал себя, будто он, В. А., подвергал себя изнурительным упражнениям, обуздывая себя и загоняя в темп незаметной жизни, вводил в кромешность. Видимо, главная его цель была – сделать так, чтобы насилие и изнурение превратилось в потворство и страдание самому себе.

Но вряд ли в его случае это было возможно. Ведь территория откровенности, соблезнования и компромисса в его жизни отсутствовала напроць.

* В этой этикетке «хозяйка» исправлено на «хозяин».

МУХИ И КАРТИНЫ

Некоторые из самых крупных проносились, будто их пускали туземцы зарядом духового ружья, казалось, что они не только рассекают воздух, но и тянут за собой воланы сквозняков на невидимых стропах, как парашютисты. Некоторые блистали, как внутренняя поверхность духового ружья, которым они были порождены, и помимо скорости оно наделило их еще и блеском от трения о свою блестящую цилиндрическую протяженность. Ими, летуньями, очень точно прицеливались – они всегда попадали в одни и те же места: на левый нижний угол рамки фотографии, где молодой В. А. сидит в декорациях ателье в кресле нога на ногу – роскошное ружье на подставке, чучело фазана и зайца у его блестящих штиблет. Молодой глуповатый господин стоит боком за ним, выразительно позируя, положив руку в перчатке на его плечо. На В. А. и его визави – тирольские тужурки, расшитые поблескивающим шнуром. За ними – альпийская декорация. Понизу, как пародия, – золотой вензель старательно тихвинского фотографа.

На этом альпийском пленере мухи отдыхали – распростертый слюдяной витраж крыльев, умиротворенная обездвиженность, может быть, сон, если бы глаза их закрывались. Я понимал, что, наблюдая за ними, сам делался такой же мухой – на стекле, ограничивающем фотографию времени, в которое попал, и прихлопнуть меня могут в любую минуту, когда я этого совсем не жду. Так вот – по этой причине я ждал этого ежесекундно.

Время было вытянуто и укрощено. Координаты его пропадали. Собственно, их у меня уже не было, кроме одной – исчезнуть, сохранив себе жизнь.

Я все время твердил, прокатывал сквозь валы голоса божественную замогильную пьесу Лермонтова: ну, ту, где «хочу забыться»... Я понимал, что, повторив ее еще раз, я сделаю ее неподъемной, затвержу окончательно, превращу в однокоренную неодолимую твердыню.

Меня настигает воспоминание, может, одно из самых лучших, что у меня остались.

Я еду мимо этих исключительных мест в поезде (бегущая даль всегда притягательна и прекрасна хотя бы тем, что лишена деталей, а увиденные сцены не в счет), я слышу грозу, но не смотрю в окно. У пейзажистов, писавших волжские виды, иногда случается мотив ливня, грозовых фронтов,

вдруг разворачивающихся над поверхностью вод. Барочная пышность, забирающая самоё время в свои складки, не оставляет зрению простора для маневрирования.

Это атмосферическое явление по своему пластическому статусу напоминает супрематическое задание на выявление новых безъязыких обусловленностей напряженного света и сгустившегося воздуха, времени сизого разряда и простого счисления в примитивном двузначном коде. Как ни странно – я никогда не видел, чтобы была изображена сама гроза как совокупность иссиня-белых разрывов на сизом или черном пергаменте небес. Это странная задача – словно надо изобразить точку как метафизический апофеоз – скопление ангелов, как место, где безусловное напряжение (бубнение или лепет) преобразуется во внешний упоительный смысл. Я всегда любил пейзаж в силу его моментального устройства – он ведь имеет особые невидимые воронкообразные искривленные координаты, суть которых – показать безвременно эстетического экстаза и безмерное протяжение восторга – с его томлением, боязнью, топтанием на подступах... Обморок небесный, сказано об этом. Это верно, ведь обморок – это мор, даденный не навсегда. Так и грозы и сопутствующие им ливни – обмороки тверди, небес, чтобы мы знали о том, что у зримой сияющей поверхности есть сумрачная и слезящаяся изнанка.

Я точно знал: это то, что нельзя обобществить, пейзаж никогда не станет коллективным зрением, что, в сущности, объясняет его взволнованный подспудный или угрюмый, предгрозовой эротизм.

Этот элегический облачный сюжет не подходил мне, он стал в этом доме миллионнооким, осел на дно собственного времени, как спрут.

Крупная муха заштриховывает бездну времени, могущего поместиться между двух стен самого невинного помещения.

Я знал, что скажет В. А., когда вернется: «Опять этих мух напустили? Помните, как в «Бесах» Никифор поступил с мухоедством? Ну, мы поступим иначе»*. И он распахивал занавески, открывал широко створки, отходил в центр комнаты, вынимал из портфеля газету, пару раз шлепал ею больше для шума – мухи чудесным образом исчезали. Так что я мог не беспокоиться. Я даже придумал себе занятие – разглядывать предмет столько времени, пока на него не вернется муха той же породы, что приколопила мой взор. Это был такой мушиный галлюциноз. Детский опыт, когда смотря, не отрываясь, на картину давней знакомой В. А., которая, как говорил он, совсем пропадает в первопрестольной.

Морской пейзаж, увиденный из окна, – истомлено мягкий, как склоняющийся к полудню день и одновременно неврастеничный, как неудавшееся свиданье. На подоконнике выстроился в ранжир хрестоматийный рядок фруктов – скромные груша, яблоко, абрикос, их не давит гравита-

* Почему именно «этих», он каждый раз говорил про мух именно «этих».

ция, свидетельствовали ли они чему-то, отражалось в их восприимчивой коже что-то, произошедшее в комнате... Я проводил кистью своего взора по раскованной белой обводке пляжного прибора – там было совершенно безлюдно, тем сильнее почти слышались сигналы, передаваемые предметами друг другу. Удивительно, но мухи любили именно эту картину и замирали на ее простом деревянном канте, крашенном белилами. И надо признаться, что больше никогда созерцание живописи не приносило мне такого истового наслаждения, доводившего меня до спазм, – я почти что плакал, разглядывая глухую, чуточку пастозную поверхность, вопиюще не равную изображенному виду, но во сто крат проникновеннее и светозарнее.

Это был пейзаж, удивлявший своей частной, прямо-таки экзотической свободой, болезненно равнодушный, словно неисправимо больной на фоне этого времени. Он словно возражал абсолютной власти иллюзии своей кромешной, пронзительной, наивной правдой. В нем была не визионерская точность, а сокровенная власть другой стороны зрения. Он также не соперничал с фото, он ясно отменял почти на ощупь, как подлинная купюра, настоящие деньги. Может быть, это я вспоминал В. А., который сказал, указав на картину:

– Сейчас, знаете, не пейзажи пишут, а ассигнации пейзажей. И вообще, возьмите-ка это яблоко. Звучит банально – но их надо есть – они смягчают на третий день после съема. Так что это – деликатес, сама мимолетность. Мальтовый анис. По-здешнему, мальт.

Он еще пояснил мне свою любовь к этой картине.

Он говорил, что это редчайший случай, когда оптическая перспектива при всей классичности построения не главенствует, а приносится в «мягкую» жертву (именно «мягкую», слышите?) живописности. Вроде кроме зрения, его правдивой памяти, ничего нет. Ведь, знаете (ему хотелось, чтобы и я это понял так же, как и он), в настоящем пейзаже не может быть идеологии. Да, только в настоящем...

Прекрасное, сразу потекшее соком яблоко, розовое, как девичья плоть на холстах Буше.

– Да, вот вам еще, как говорится, тезис. Здесь и девицы как мальт – через полгода замужества и не вспомнишь, что такого в них было – уже неисправимые тетки. Как размоченный горох. Да и парни – матеруют вмиг.

Потом убедился в его правоте и объяснил ее атмосферическим детерминизмом: зори этих небес будто подчеркивали, выпячивали драгоценное свойство перехода из припухлости в отечность, какую-то тучность, из отзывчивой гибкости в заматерелость, из аромата в духовище, из нежнейшей дымности в смазанность и пустотность. Я словно силой своего взгляда раскатывал маленький ковер глуховатых мазков, дарующих мне счастье, равное тому времени, покуда я могу на это смотреть, равное ничем не скованной свободе.

Про себя я молил мух посидеть там еще, ну еще немного. Это море не походило на дрожащие звуки арфы, которыми изображают волны. Оно само было регистром, категорией и могло не звучать, просто быть литерой, в которой есть победительная манящая сила, которая всем сжимает бедра, ибо счастье разливалось во мне из горячей точки простаты, и так позже не бывало никогда со мной. В этой идиллической марине была тревога, и я понял, из-за чего, – из-за пошлости этой синей плоскости, попирающей логику тонов, – и в этом была вопиющая тленность, конечность, напряженное удовольствие – оттого, что становление смысла, не выразимого словами, одолено без их помощи, но не менее глубоко и верно.

Мне очень нравилось, как он висит на стене, под небольшим углом, выше уровня моей зрительной оси, если я стоял перед ним. Он словно настаивал на том, чтобы смотрящий поднял на него глаза, чтобы его уплощенная оптическая магма могла нагреть лучи зрительного взгляда. В этом откровенном желании увидеть не было пафоса, который так свойствен картинам с орлиной перспективой. Но одновременно это зрелище существовало в зоне безразличия, так как не сходилось на мне, как икона, например; вообще, в нем не было какой-то предпочтительной точки, ну, может быть, только план, планы, даль, парадоксально увиденная вблизи. И я понимал с радостью, что это мое, именно мое, такого-то числа и часа открытие, и я никогда не разделю его ни с каким коллективом, ну, может быть, лишь с В. А., когда он вернется со службы. Но, возвращаясь к картине, я понимал, что мое занятие лишено временных координат, и дожидаться, медитируя, мне на самом деле некого.

И я чувствовал, что у меня с этими вещами в комнатах В. А. завязывались любовные отношения – с тоской, отрадой, желанием и отвращением. Я смотрел на них так, как вообще-то должен был смотреть на него, спасшего и полюбившего меня со всей силой своего сердца. Он приносил мне жертву, а я просто жил, я не мог совершить в себе метаморфозу, которой он чаял, но я к нему ведь привязался.

Я потом понял, почему полюбил тот морской пейзаж, хотя видел и талантливее и милее. В чем была особенная обобщенная маска морского вдохновенного вида, хранящая безразличие к тому, кто счастливо касался ее своим напряженным созерцанием. В невозмутимом безразличии заключался безмерный дар, могущий поменять многое – волю, темп разговора, оттенок радужки, в конце концов, анонимную силу, удерживающую меня тут.

Иногда мне мнится почти невидимый дальний берег мой жизни как обшлаг темно-синего, почти черного камзола, обшитый блестками. Мне он виден, невзирая на то, что до моря надо ехать трое суток на поезде. Прекрасный длинный шнур береговых огней. Прозрачная слизистая змейка, проглотившая мириад светящихся бусин.

КЕНАРЬ

Я видел в этой марине символ того, что мне тоже надо будет покинуть это спокойное побережье, и линии моих дней, простые, как дикарская графика, тревожили своей невозмутимостью меня все больше и больше.

Детализированный декор комнат В. А., крашенные высокие двустворчатые двери с какой-то ленивой вычурной филенкой, которую было никак не обвести взором, латунные шпингалеты на первых оконных рамах, которые он не выставлял в теплое время, напоминали о слишком покойных обстоятельствах, о тех территориях, где под стеклянной сферой легкие ненадежные пирожные, где пробиваются уроки упорного сольфеджио, и еще многое, о чем мне нельзя было думать.

Но бруствер, который я возвел от внезапных атак своего прошлого, оказалось, можно было перепрыгнуть с крохотной приступочки чернильного обсидианового прибора, где пара сфинксов поддерживает каменную точеную вставку у мелкого пересохшего бассейна с канцелярской мелочью.

Мое прошлое, моя исчезнувшая жизнь, исчезнувшие люди буквально начинали барабанить в стекло, которым я отгородился. И мне не удалось покрыть его изморозью отчуждения, нет, оно делалось только прозрачней.

Я встречал такие варианты в старом искусстве, где отчаянные события, поворачивающие мировой ход, – вроде избияния младенцев в Вифлееме, мученичество Святого Себастьяна, – происходят на территориях, насыщенных прекрасными, незабываемыми предметами, равными своим обаянием завиткам кудрей бесстрастного Себастьяна, видящего только небеса, или отблеску клинка в руках Иродова воина-детоубийцы.

Над дверьми, отделяющими комнаты В. А. от остального бедлама, «шантрапени», – как аттестовал он прочих насельников комнат, закоулков и закутков барской квартиры, висели часы Павла Буре в деревянном восьмиугольном корпусе, они шли изумительно ровно, но не били, так как что-то все-таки в их буйном нутре стряслось.

Но я не смотрел на циферблат, так как иногда вставлял вилку с черным шнуром от тарелки в радиорозетку и ловил объявления времени – они вклинивались в неудержимое бахвальство, которому нельзя было верить хотя бы из-за старомосковской хвастливой акающей дикции.

Думаю, не только я воспринимал эту речь как лексические кульбиты хорошо обученных иностранцев. «Московское время...» – говорили голо-

са, будто другого времени никому в мире не положено. Но это меня нисколько не раздражало, просто ряд замечаний, обращенных ни к кому.

Иногда вслед радиоголосам вспыхивал кроткими руладами и кенарь, живущий в меленькой самодельной клетке, стоящей под окном. Он был обморочно розов, будто обсыпан грациозной кокетливой пудрой. Может быть, потому что дремал на груди жеманных прелестниц?

Словно слетел с какой-то галантной картины, – думал я.

Но при мне без радио и без В. А., проснувшись лишь оттого, что я стягивал с клетки тонкий лоскут парашютного шелка, он никогда не пел. Из-за этой ткани В. А. тихо звал его «диверсантом».

Может, он принимал звуки радио за голос В. А.?

Его какой-то чересчур культурный мальчишеский присвист выдавал музыкальные пристрастия хозяина. Мишура обрывков барочных фраз смывалась птичьей забалтывающейся физиологией.

На мои посвисты он не отзывался.

Пташка, как вещичка, была неприкосновенна, и только В. А. занимался ею и владел полнокровно. В этом было что-то одновременно детское и жестокое.

Но вот с В. А. он заливался.

И сегодня, забывшись, он сблизил все, что только можно, – светлое время дня, теплый комнатный воздух, мое ожидание, расставленные по своим местам немногие вещи, которые при этом бесконечном звуке делались особенными, не имеющими отношения к своим именам, а может быть, именно ими и становились.

Маленькая бело-розовая птичка катит перед собой цветную ландринку видимого звука, словно бы извлеченную из уютной музыкальной шкапулки, которые, наверное, бывали у всех нормальных детей или о них мечтали все нормальные дети.

Звук катится совсем не так, как в сквозном светлом лесу, где сумасшедшие птичьи звуковые обода, острые колкие спицы и сияющие сети, не смешиваясь и не перекрещиваясь, свободно проникают друг друга.

Милый кенарь, задирающий свою дурную головушку, вторящий радиоточке, он словно зашивает прореху во времени, куда я попал не по своей воле. Под его высокий свист я чувствую время словно на ощупь, как оно, это время, делается ворсистым, задевает меня, наличествует.

«КУРИЦА» РАМО

У Рамо есть изумительная пьеса «La Poule», курица, передающая в грустном, ошеломляюще проникновенном регистре напрасную суету этой птицы; В. А. ловко и грустно играл ее – так вот, я на следующий день казался себе курицей, склевывающей кроме оставленной мне еды еще и зрелище его дома. Никаких семейных и дружеских фотографий, будто в прошлом совсем не осталось людей, чья оболочка была бы ему дорога. Правда, было несколько акварельных рисунков, подаренных до войны ему, где были какие-то румяные молодые лица.

В. А. так играл «Курицу», что казалось – в конце, клюнув прекрасную россыпь звучащих точек, она умирает. Он говорил, что в этой сюите есть еще одна пьеса, называется «Sauvages», то есть «Дикари».

– Вы бы очень удивились этим дикарям. Прежде чем совершить дикость, они многократно галантно извиняются, в музыкальном смысле, конечно.

День без него растягивался в неодолимую длительность. Я в буквальном смысле считал мух, одолевших редут зыбких занавесок. К окнам я не подходил, чтобы не привлекать напрасного внимания. Мухи, кстати, разнились породами, резвостью и живучестью. Были зеленые, синие и обычные черные. Зеленые неутомимо кружили вокруг темной синевы люстры, будто нашли себе планету, не садясь ни на что, буквально пилили воздух, делающийся их трудами шумным и зримым. Синие тоже подчинялись особому космическому уставу – они по диагонали перерезали континуум компаса и, кажется, отражались от той плоскости, о которую ушиблись, под тем углом – как лучи о зеркало.

В. А. соседствовал с двумя, как он торжественно провозглашал, благородными дамами. Это были не простые дамы, а еще в том веке обрусевшие венские консерваторки, столь старые, что ошеломительно скорая метеоритная высылка в первые месяцы войны их не коснулась, невзирая на вопиюще немецкие фамилии, да и сын одной был военачальником и командовал где-то доблестно чуть ли не корпусом.

Еще В. А. говорил, что консерваторки они не простые, были приняты в дому Малера, а уж Шёнберга видывали запросто, как я вас, так как состоят с ним в сродстве.

Иногда из-под пола комнаты восходили приглушенные учебные звуки фортепиано – дамы давали уроки детям. Настойчивые, словно написанные с нажимом, пьески старшего Скарлатти, домашние искры менуэтов Моцарта, самые легкие инвенции Баха. Я признавал их еще до того, как они набирали

корявую силу, растопыривались и всюду кислели ошибками. Звуки этих упражнений гнали меня в мое детство – куда путь был заказан раз и навсегда.

Бывало, что невидимая учительница и переигрывала целиком урок, словно в укор какой-то нерадивице (я всегда мог почему-то определить пол музицирующего существа), и в моем слухе, невзирая на толщу этажа, половиц и ковра вдруг шумело легкой травяной порослью туше, будто звуки мягко втерли в воспаленную точку моего перекрученного прошлого, как целебную мазь. И я как-то со всей очевидностью понимал, что есть вещества, родственные дурману, способные унять тоску. Мне казалось, что мне дарили наркоз, от которого я легко проснусь излеченным без следов недуга.

Я вспоминал далекий пейзаж, который был виден из моего дома. Лениво провисшая мембрана вздувалась к самому горизонту припухлостью холма, как бы специально созданного для того, чтобы с него съезжать зимой на буковых юных саночках, тонких, как иероглиф, вообразив себя пловцом снежного заплыва, поддерживая скорость лягушачьими движениями рук, примерно такими же, как при этой вот дебиловато усердной утренней репетиции пьески Скарлатти, которая доносится сейчас до моего слуха, проигрываемая где-то в подполье уже в десятый раз одной из юниц, пришедшей к репетитору.

...И эти непроходимые жаркие небеса, муторно голубые, стоящие высокой массой летучего отфильтрованного спирта, готового вспыхнуть от металлического удара, или от взвившегося в галоп мотоциклета, или от первого же громко сказанного в такую жару слова и выгореть до белой пустоты; небеса, зудящие одну насекомую ноту каким-то высоко поднятым камертоном, гудящие далеким неслышным пламенем газовой скважины, наполняющие окрестности шумом тишины, которая состоит из погромыхания мельчайших камешков в лабиринте слуха, в свисте форсунок тоненьких кровотоков синей, как небеса, височной жилки, в прикорневом осязаемом шелесте загорелого пушка на тыльной стороне ладони моего милого Тадеуша, который при желании можно сравнить разве что с уже выжелтевшей и едва отвечающей на движение воздушного фронта перестоявшейся сухой пшеницей...

Как они играют сами, без учеников, – я не слышал. Инструмент трогали только во время уроков и редко вмешивались в этот процесс. В мире осипшего радио, визгливых патефонов, надсадных рыданий, приплясываний, производимых гармошками и баянами, даже неумелое детское треньканье было воистину выпадом, так как казалось заявлением права на человеческое существование.

В. А. сказал о них, что когда их изредка встречает – как-то высохших, дряхлых, но опрятных и элегантных, с чудными украшениями, то они из-за кромешной седины напоминают ему личинок, живущих без света. Где-то под тяжелым камнем – и даже кровь, наверно, у них тоже седая, словно в их завалы Божий свет уже не проникает.

МОИ ДОКУМЕНТЫ

– Счастливым ваш несчастный случай! – как-то в себя тихо сказал В. А.

Он плотно, подчеркнуто закрыл двери и сдвинул портьеры.

Я почувствовал, что случилось что-то очень важное, будто за сценой заиграл охотничий рожок. Но он ничего не прибавил к сказанному. Мало ли что он мог сказать.

Мы поужинали, как обычно все эти дни, – крошка и несколько картофелин в мундире. В. А. пододвинул розетку с вареньем, оно, очень старое, почти что чернело на темно-синем стекле, как антрацитовая линза. Он сказал, что мне все-таки придется уехать, он этого не хочет, но чувствует определенно, вот и подтверждение его прогноза: он рассказал мне сухо и без обычных едких оборотов, было видно, что он и обрадован и расстроен, и грусть, которой он столько времени принадлежал, снова надвигается на него.

– Жаль, что антураж весьма невеселый. В двух словах сюжет. Доставили труп, едва светало, через приемный покой, у нас ведь закрыто по ночам, без милиции почему-то, и оттого со всей, так сказать, амуницией – в одежде с карманами невывернутыми, вещевым узлом и так дальше. Придавило и проволокло изрядно беднягу, но это уже никого не касается, а по бумагам – административно высланный, уже отбывший срок, уже с характеристикой и, конечно, с «минусами». «Минусы» – это когда в крупных пунктах обретаться вам нельзя. Он даже и по году рождения почти что ваш сопластик.

Всадник без головы к нам прискакал...

Знаете, вообще-то такого не бывает, но вот – случилось-таки. Я его заактировал, извините, как без роду-племени. К нам добирался он из степей далеких, конечно, инкогнито... Ведь вполне может быть так, думаю? Да что там думаю, знаю! Но мы его с вами помянем. Большой такой. Крупный экземпляр, вас поболее ростом будет, хотя полеглые все кажутся длиннее...

На буфере небось сидел и заснул там. Укачало-укачало-укачало человека, устал держаться.

В. А. словно проговорился, одарил меня чудесной трагической оговоркой: «устал держаться».

– А как же так, говорите? А вот мы и не будем его учитывать почившим. Ни единого слова из его бумаг не впишем в формуляры. Ведь и на

самом деле он появился у нас без слов. Это никому не помешает и ему в первую голову.

Я рассмотрел несколько бумажек. Бланки мутной машинописи и мелкий, какой-то пристальный с наклоном влево изысканный почерк. Будто пишет гебраист. Вот, значит, моя библия – теперь у меня и в самом деле «в начале было слово».

Когда мы пили чай, он ни о чем не спрашивал меня, хотя сегодня был мой «первый выход», вдруг сказал:

– Как вы полагаете, – можно ли с одного раза сложить слово «вечность» из букв А, Ж, П и О?

Он не смотрел мне в глаза, он шевелил отставленные приборы, будто пытался оживить и их.

Вдруг В. А. подобрался как-то, вперил в меня темный очень взгляд и выпалил:

– Быстро! Быстро! Быстро! От одного до девяти! Число угадайте! Ну? Число!

– Шесть, – увидел в себе эту цифру, будто ее обвели тысячекратно быстрой лучиной в полной тьме.

– Правильно! Ненавижу эту цифирь...

Я вижу, как В. А. смотрит на себя в мутное зеркало, даже в сероватой старой амальгаме его отражение ужасающе равно ему, и именно это не оставляет надежды на решение загадки ни о вечности, ни о пределе наших отношений.

Он заговорил тихо:

– Ты думаешь без тебя – это дни?

Это метки, засечки, линии отрыва – как в календаре.

Не видя тебя, сердце бунтует так, что мне остается только пустота.

Одна пустота – это больше, чем две.

«Одна»... это от слова «дно».

Вот и дна нет, как и дня.

– Извините, все нижайше извините, извините покорно. Все меня, надеюсь, извинили? – спокойно заключил он округлым жестом, будто оборотился к публике.

Я прочел листок из старого календаря, В. А. его не выбросил, а вложил как закладку в новый.:

Оторвана верхушка листка с датой

Я люблю свою страну, желаю ей славы, умею ценить высокие качества моего народа; но верно и то, что патриотическое чувство, одушевляющее меня, не совсем похоже на то, чьи крики нарушили мое спокойное существование и снова выбросили в океан людских треволнений мою ладью, приставшую было у подножья креста. Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы прежде всего обязаны родине истиной.

Чаадаев

НА УЛИЦЕ

1

СТАРУХА С ПСИНОЙ

Из окна видно, как по противоположной стороне улицы грузная старуха едва передвигает ноги, волочит за собою еще более медлительную хромую болонку, старую настолько, что та едва идет, приседая и шаркая в такт хозяйке, загребая лапами в грязных колтунах. Собака останавливается беспричинно, ни к чему не принюхиваясь и не помечая территорию, просто чтобы постоять, пока не натянется длинное вервие; не откликается на свою пародийную кличку «Белка, ступай».

На отвороте старухино халата прикреплена какая-то бледная награда.

У собаки во всю спину – розовая проплешина, будто от седла для какого-то более мелкого животного, с которым они составляют пирамиду.

Кошка, дежурящая у слухового отверстия в самом низу фундамента, делает вид, что не замечает влачащееся мимо животное.

2

ПТИЧКИ, КАК НА ФРОНТЕ

Со стороны улицы устья вентиляционных каналов под самым карнизом заткнуты пучками сухой травы – это гнездовья каких-то невеликих птичек. Для воробьев они слишком музыкальны, для ласточек, пожалуй, поздновато уже, да они и не гнездятся так. Но как только я подумал об этом, присевший на карниз воробей – слишком нарядный для своего презираемого племени – завел коротенькую руладу. Почти невероятно. Он повторил ее еще раз и еще. Как какой-то камешек, сорвавшийся с кручи, он совлек откуда-то мои уже уплотнившиеся, давно усталые сами от себя воспоминания. Но именно так мне виделись мелкие птицы на войне – они все время пели, щебетали, дразнили уставшее время и щедро давали себя рассматривать. Буквально подставлялись, чистили перья, встряхивались, взблескивали точками глаз. Более пронзительного птичьего гомона и нарядного карнавала я не наблюдал никогда.

И воробей словно окунулся в собственный щебет, и можно было читать маленькие цветные гаммы, как апофеоз просветления перед смертью, которой было расшито тогда все: и видимый теплый заclubившийся воз-

дух, восходящий от порванного шмата дерна на краю окопа к совершенно вертикальному плоскому небу, кулиса которого не сдерживала взора, избежавшего отвесно вверх.

Обольстительная пестрядь птичьего облачения – будто тонкая холстина заткана шелковой гладью, которую мне столь счастливо удалось разглядеть, невзирая на кошмары моей жизни.

Дурная розовая канарейка, выпорхнувшая откуда-то из глубины свежих руин, сидела на щепке в разбитом ящике, будто вернулась в свою клетку. Птичка высвистывала короткую фразу, будто западала в звуковую канавку на сияющем антрацитовом блюде грампластинки, уцелевшей чудесным образом. Музыка для лилипутов.

И мне не показалось, что это безобразно, так как значило лишь одно – «Я жив. Я по-прежнему хочу жить». Не больше и не меньше, так как я ее слушал.

С неба не сходил узкий, прозрачный, как учебный препарат, месяц и бесцветная ненастоящая дневная звезда, привставшая над молочным взбитым фронтом прекрасного облачного пара.

«Воробьиные воспоминания», – сказал я сам себе.

3

КОНЬ-ТЯЖЕЛОВОЗ

Иногда в приоткрытые створки входит мерный, какой-то очень основательный топот, тяжелая театральная поступь, будто побитую землю трамбуют торцом большого полена. Это тяжкий и уплощенный звук копыт коня-тяжеловоза – он тянул слишком легкую для себя повозку старьевщика. На повозке – будка, откуда старьевщик доставал бессмысленную, но вожделенную для детей мелочевку для обмена на ворохи тряпья, какие-то предметы утиля, стопы бумаги. Возница предпочитал тряпье.

Я как-то быстро усвоил расписание его объезда улицы, словно он был неотъемлемым обстоятельством моего бессмысленного календаря, в котором не было выходных.

При его появлении у ворот видимого мне дома наискосок, через улицу, всегда повторялась одна и та же заезженная сцена.

Какой-то взрослый дурачок, одетый нелепо по-детски, пытался обменять на соловьиную свистульку, такую чудную, с водяным соловушкой внутри, преогромный, едва умещающийся в его объятьях ком домашней, видимо, годной для многих осеней, зим и весен одежды. Из вороха выбивается тяжелый дамский рукав с меховой оторочкой, волочится подол, змеится по земле шлейка. На дорогу слетала чернобурка с ушастой глазастой головой, с нежными лапами и хвостом, обмакнутым в белила. Старьевщик благородно всегда гнал дурашку домой. «Снеси мамаше, снеси мамаше, снеси мамаше», – этим заклинанием он его просто гипнотизировал, и тот, постояв с прекрасной ветошью, отступал, почти что пятился.

Из подворотни баба по-сорочьи бросалась на шкурку, позабытую на земле, оглашая окрестность радостным:

– Ну Сонькина-га! Ах ты, ну прямо, слышь-ты, Сонькина-то лисонька! Чернявочка! Бурочка ты моя!

Я понимал, что лисоньку вряд ли вернут Соньке*.

Конь очень громко пофыркивает, звук такой, словно в его утробе есть еще кто-то, – простуженный Иона; тяжело переступает по щебенке, шумит сбруей. Дети егозят вокруг и щекочут добрую морду пучками травы. Конь кажет зубы.

Я думаю, что если появляется конь, то обязательно указывается его масть – но этот был пожелтым, и масть его уже пропала, став совершенно неважной.

Вот возница утирает коню чистой тряпицей глаза, будто бы тот, умилившись детям, всплакнул, замахивается на мушиную круговерть, вьющую нимб, поправляет белую панаму, обшитую красным кантом, с прорезями для мохнатых ушей, жалеет:

– Не стареет тягловая сила!

Объясняет детям:

– У нас рацион. Сено луговое. А вот это хорошо, он акацию любит.

Под окрик «Касатиийк!» он трогает чересчур легкую повозку, встряхивает вожжами, чмокает. Но кажется, тяжкий мохноногий конь и так все знает наперед без него. Слово это уютный русский роман без конца и края о правильной жизни с речами, обращенными к коню: «Не косись, да не косись, пшеел». Какая-то вегетарианская чепуха. Сейчас выйдет граф и раздаст детям столь мелкие деньги, что ничего на них купить невозможно...

Но каким-то образом эта сцена лишала последнего смысла начинающийся день. Вроде бы уже все произошло. Только в прошлый раз вместо лисы на дороге какое-то время пролежала зеленая фетровая шляпа. Значит, и этот день должен раскрутиться простой лентой.

4

ПЬЯНЫЙ ОГОЛЕЦ

– Да ты глянь! Глянь! Это ж верхних! – крик развернулся пружиной, я вглядывался в щель меж легких занавесок.

Будто визгливый бабий голос, не имеющий возраста, а только неистовую силу, привлек меня тоже посмотреть на что-то такое небывалое еще в этом мире. Картина была выразительна и напоминала неторопливое кино, если не бабий крик.

Лохматый, раздетый по пояс парень обнимал и встряхивал ствол под окном В. А., будто пытался оторвать его от почвы. По молодому пирами-

* Бабы речь была испещрена частицами, как шаманская куклянка бубенцами. Будто только они и оправдывают ее голошение в воздухе улицы. Речь, перевязанная частицами, не могла без них существовать, но в той же степени обесмысливалась такой связностью.

дальному тополю, вытянутому в струну, пробегали краткие толчки и волны. В этих краях тополя набирают роста столь стремительно, что стволы их остаются долгое время вызывающе молодыми и гладкими, они стоят вдоль бульваров и улиц прозрачными колоннадами, почти сверкают, словно голенища; будто корни и ствол дерева насилу поспевают за вертикальным всплеском одуревших веток, штурмующих небеса. Будто это такой водомет, которому только-только подали струю под напором, и весь султан незадеревеневшего, невесомого всплеска еще не успел опасть.

Парень в одних замаранных портах, которые косо висели драпировкой на его бедрах, будто он академический натурщик; в его ногах валялись пиджак и рубаха; он прижимался к стволу физиономией, бодал, встряхивал и раскачивал его, будто пытался вывернуть с корнем, елозил по гладкой зеленоватой коре разбитым в кровь ртом, пускал длинную красную струю слюней и, стихая, весь съезжал книзу, не разжимая объятий. Словно из него выходил воздух и он впадал в сон.

«Какая бусина... Сейчас покатится», – думал я.

На крики теток он уже не мог обратить никакого внимания.

Прекрасный безразличный день, смутный и посинелый от жары (на русском юге так случается), столбенел поодаль этого зрелища, и мне показалось, что вообще некоторые картины, невзирая на то что они обречены скорому исчезновению, если их не запечатлеет великий художник, изымают из времени, в котором они разворачиваются, малейшие надежды на то, чтобы стать календарной приметой.

Такое тотальное минус зрелище, которого нет во много крат больше, чем оно есть*.

И парень, замедленно упавший по чуть погнутому нетолстому стволу, отдавался на волю гравитации с таким пассивным вдохновением, что было очевидно – свались он хоть с какого-то самого поднебесного этажа – никогда не разобьется: столь любезны сейчас с ним самые неодолимые грубые силы этого мира.

Картина походила на предумышленное кощунство над Святым Себастьяном, так как пьяным телом с размазанными потеками крови он был прекрасен – как-то язвительно вырисован, выпрэнне сух и отточен, и еще в кольца слипшаяся шевелюра на башке, клонящаяся ниже и ниже.

* Я видел такое на великих картинах, где фон, оттененный дальними просветлевшими лесами, реками, тонущими в самих себе, набухающий молодыми, незаметно вырастающими холмами, в молчании пасущихся безразличных животных, только подчеркивал скоротечность и выпрэнность происходящего, что и было вообще-то целью художника, объектом его прекрасной ловитвы.

Будто бы художник разрешал сложное уравнение, в котором неизвестных кратно больше, чем условий, их описывающих.

Зачем все это надо было запечатлевать? Ведь никакого происшествия нет вообще, невзирая на подробности, которые, увиденные, уже не ужасают, не язвят и не мучат.

Будто чудесным образом извлечены стрелы, только что поддерживавшие строгую вертикаль его тела.

Такая вот русская надсадная мистерия...

Жертвы не получилось.

И вот его пластическая амплитуда, как это часто случается с пьяными, приобрела женственный завершённый очерк, будто он счастливо выскальзывал из мира мужского напряжения и обязательств.

Он на моих глазах обретал свою очевидную языческую бесполоую первооснову, оказался там, где должен пребывать, там, где восходит теплом материнская почва, где траву колеблет только сила роста, и нет таких законов, которые смогут выкрутить водяную струю жгутом.

Но в этой композиции главным был вызов равновесию, будто он должен вот-вот поплыть. В какую-то невероятную сторону – вспять, в самого себя.

До меня вдруг дошло – я столь пристально приглядываюсь к этому бесчеловечно пьяному парню, потому что он каким-то внутренним неразличимым узором напомнил мне Г. Не гладким безупречным корпусом, такой античной кирасой, загаженной покоричневевшей дурной кровью, не пятнами темных сосков, будто озаренных вспышкой золотистой поросли, а сияющим за версту ореолом любовной самоотдачи.

Он ведь действительно горел этим самым неотразимым из всех сумбурных и бессмысленных качеств, вдруг исходящих из глубины человека.

Ведь именно это я всегда искал и, чудится, находил в моем Г.; ведь он, невзирая на показную выправку, весь свой мелкий гонор, неискоренимые дерзкие выкрутасы, обидные для меня капризы, смешную спесивость, несмотря на то что был, по большому счету, глумливым и циничным и т. д. – список бесконечен, – когда раздевался – не просто так, ради уставно порядка: в умывальной нашей казармы, перед докторским комитетом, у поблескивающих гимнастических снарядов, – а только для меня, меня, меня одного, не просто казался мне призраком бумажной мишени, которую обязательно приспособят на каких-то мировых стрельбищах, а обворачивал свое тело в мое зрение, голя себя еще сильнее, так, что кроме сплошной метафизической раны ничего я в нем не мог различить.

И вовсе не из-за пятен своих темных сосков, которые делались жесткими маленькими орденами от самого робкого касания.

Он ведь своим телом был и остался для меня таким – чуть желтеющим в глубине моей памяти и в той же степени чересчур белым, как целлюлоза, когда он вдруг настигал меня, будто мог в любой миг вспыхнуть и поплыть.

Все-таки горячей поверхности в нем было куда больше, чем его самого.

И смертное, пронизываемое и смертное в нем было мне видно, будто это именно я должен прицелиться, помочь ему, моему другу, наконец-то одолеть то небытие, которое я всегда выглядывал и вычитывал в нем.

...По прямой до молодого пропойцы, уже свернувшегося на земле сладким завитком эмбриона, было метров десять.

На эту немую сцену опускался полог слов, которые не значили ничего:

– Ну вот скот, волочь ведь теперь, не бросить же... Волочь ведь тебя, тварь, волоком. Улежся... И цел! И руки-ноги! И на тебе... Степан-то лучше б и не вертался, а то сам не в силе, чтоб придушить...

Дальше я не подсматривал.

Все эти поденные экстазы, которые я наблюдал, не возвращали мне того чувства, о котором я мечтал – чувства реально идущего времени, связанного со мной.

Вот и дворник, вышедший на дорогу, сметал к обочине через ямы, заваленные гравием, какие-то клочья, которые он так же мел и вчера, только в другую сторону. Когда я видел этого человека, отправляющего эту функцию, то мне становилось ясно, что времени нет вообще, оно выродилось во что-то другое, в то, что мне предстояло разгадать.

В. А. откликнулся на эту развернутую сцену весьма едким комментарием.

Младому человеку якобы тюкнуло четырнадцать с половиной лет, как отец вернулся, по контузии, естественно, сошелся с нестарой вполне вдовой – учительницей математики. У которой свой пострел только пошел в школу, с начальной школой не справился еще. Баба оказалась во всех смыслах хорошей – и контуженного дикаря претерпевала, и парнишку его, неуча, поднимала и наставляла в науках. Наставляла его, наставляла да и сошлась по-бабьи с ним, младым и свежим. Может, пожалела сироту, это бывает все же из-за жалости. Ну, тут отец контуженный – просто ураган. Поубиваю всех! А она ему – а кто ты мне, кляп ты контуженный, полтора года промурьжил женщину, хоть бы расписаться предложил. Глухомань! Тот орет, ничего не слышит, маузер ищет.

Но ничего, все зарубцевалось, заключил В. А.

Они ведь таким образом парня как бы вместе еще раз родили, такой инцест не по крови воплотили.

Только молодой человек, как говорится, закладывать стал.

Кстати, вместе с папашей.

И вот В. А. озадачен, как в этой семейной конструкции каждый из мужчин должен прозываться.

ЕГО ПОЧЕРКОМ

Я вспоминал его слова, ясные, как прописи:

– Ты думаешь – если ты уйдешь, я отравлюсь? Нет, ведь ты должен уйти.

Но иногда нажим его речи перехлестывало:

– Ты минусник теперь – тебе почти что нигде нельзя жить, кроме маленьких-маленьких городов, городишечек! В тупичках будешь жить!

Он буквально давился этими тихими восклицаниями*.

– Я столько о тебе думаю, что все тактильное стало теорией. Мне порой кажется, что в нормальную жизнь мне уже не вернуться. Я и не знаю, что я люблю больше, – тебя или то, что я могу думать о тебе все время, что мне будет отпущено. Любая деталь, сама простая, срывается в неразрешимый парадокс, в апорию, и я этим счастлив.

Я чувствовал, что ты появишься, вот-вот должен появиться, уже различал, как водяной знак, поэтому выносил невыносимое. И с тобой я делаюсь немым, так как моя речь в том, что я вижу и осезаю. Это чувство тебя стало рефлексом.

Он погладил меня по щеке, и по мне пробежал горячий шелест, я сглотнул пустой теплый ком, как от стыда.

– Мой вечный недостаток, это ненасыщаемо. Нехватка – это суть твоего появления здесь. Тебя всегда не хватает, даже сейчас, когда вы куда не бежите.

Когда он волновался, он перескакивал с «ты» на «вы», будто уже сдавал позиции.

Мне иногда было трудно его понимать, не в том смысле, что его речь до меня не доходила, а совсем иначе... Почему так?

Потому что между нами всегда стояла его речь, будто бы сказанное им оплотнело. И я не мог это тяжелое вещество разбавить своими репликами. И я чувствовал, что главное основание нашего союза – его тотальная трудность. Каждый новый миг моей жизни давался мне с напря-

* Это как приключение Гулливера.

Я так это во сне себе представлял – отправился я в плавание, потерпел крушение, обязательно вернусь домой, но моего дома не было – он стал прорехой – в том месте в XX веке кроили слишком часто.

Кому сейчас отошел тот клочок?

Какому сумеречному государству с неистово суровым уставом?

жением, будто я все время трудился, проталкиваясь во времени, в котором должен был занять место в совершенно новой плотности, где опять не было никакого разряжения.

Будто завтрашнего дня не было в ненаступивших сезонах, и помыслить о чем-то еще было невозможно.

Еще его отрывистая, какая-то вспыхивающая жестикуляция, будто он пользуется двойным синтаксисом. Это были не просто жесты, усиливающие артикуляцию, в его случае они упреждали смыслы, но совсем не те, которые он высказывал в разговорах со мной, а те, которые он не проявлял, но те самые, помимо которых между нами не было ничего вообще.

Я иногда думал, что он похож на мифическую пряжу. Если волшебница порвет нить, то все падет в Тартар уже навсегда.

Но он в этом чувстве не виноват нисколько. Предчувствие обрушения было заложено во всех проявлениях этой жизни, даже самых малых и милых.

Помню его сухой жесткий почерк, в ровных литерях только крохотное «о» гораздо ниже всех остальных. Беспросветное «о», буквально сходящее в чернильный узелок, показывало, что он умеет плакать. Оно будто одно не повзрослело из всех букв и осталось старательным. Я понимал, что он специально задерживался на этой литере, ибо в скорописи «о», превращаясь в точку, почти исчезало, обращая многие русские слова в невнятную неразбериху. А он все-таки хотел, чтобы это было жесткое звено, которое может быть накинуто на самый незначительный штырек.

Чтобы смысл оставался.

Я нашел на полу маленькую карточку, которая откуда-то выпала, потом еще и еще. Он писал их, когда мы были на вы.

*Гать
Заводь,
отмель
не отразят то
что я в тебе вижу
любимый*

На обороте были отрывки из канцелярского перечня, описывающего процедуру осмотра тела, доставленного в морг, и какие-то тезисы вскрытия. Форма стандартов, заполненная его рукой. «В левом легком... – скоплен.»... «Своды череп.»...

И далее в том же невозмутимо достоверном роде.

На чистых оборотах, где были маленькие лирические заметки, он не ставил знаков препинания. Почему? Потому что это – «препинания», он их со мной не хотел.

На карточке было число, так что ошибки не могло быть, адресат – известен.

Потом я нашел еще.

*Никто его не преуменьшит
Его ведь больше с каждым вздохом
Становится во мне
Во времени моем сердечном*

*Вычитал имя твое
Череда блеснок
У Гесперид под мышкой
В крошечной тьме
Моей жизни...**

*Того что мало
Пребудет недостатком
Не угрожая избытком
Тому чего нет вовсе*

*Лучший пролегомен
На подступах к тебе
Любимый
Мой*

Он исписывал этими странными фрагментами обороты учетных карточек, разорванных по сгибам.

Такие четвертины не гнущихся почти картонных листов.

И когда я нашел их целую россыпь – лиловыми чернилами по грубой казенной бумажной шерсти, из которой торчала мелкая щепка плохой целлюлозы, – я ужаснулся мере его любовного отчаяния, оборотной стороне (в буквальном смысле) его чувства, которое было только сильнее от моего незнания о нем.

Я почувствовал, что попал под гигантскую присоску, и воздуха под ней не было.

Я думаю теперь, что эти письма оказались последней каплей моей жизни с ним.

Все, все, все принимало угрожающий оборот.

*Любимый нежный
Как подбородок
Ручного козленка
Что по небу скачет
И рожки растущие чешет
Об облако жизни моей*

* Это было, когда он «сладил» мне документы с новым именем, которые...

*Отчего прикосновенье
Горит огнем попятным
В какую скважину затянет*

*Твои глаза бездонные
Вбирают свет*

*Ведь не умрет ничто
Ни день и ни минута
Что нас увидели вдвоем...*

Лишь последнее было жирно написано поперек календарного листка с какой-то сталинской мутью на обороте.

И я забрал его себе.
Не скопировав.

Я собрал все карточки с записками. Может, что-то есть еще у В. А. на службе... Но служба недостижима. Итак, учить их наизусть было бессмысленно, так как самое важное в них были не привычные поэтические аксессуары: уж точно не ритм, не эпитеты и метафоры, способные удивить, а сложный ломаный рисунок строчек, громоздящихся друг над другом. Они часто ритмически не соответствовали друг другу. Мне это было понятно: он строил не лестницу, чтобы добраться до меня (я даже усмехнулся, когда подумал так), а просто распускал вокруг себя разлетающиеся светящиеся сферы, как огонь маяка, он просто обозначал себя во тьме.

Одним словом, я задумал их переписать. Это оказалось непросто – в доме не было подходящей бумаги. Вырывать из какой-то книги форзац или нахзац – я не мог решиться на это варварство. Писать на газетах? Их тоже не было в доме – В. А. моментально изводил макулатуру. Журналы с полураздетыми спортсменами – мне не хотелось рушить его возлюбленную домашнюю глиптотеку. Ведь я и сам рассматривал эти тела, может быть, и не существующие уже: борцы, бегуны, пловцы, гимнасты, просто марширующие физкультурники. Писать любовные стихи на телах тех, кому они не были обращены, – мне это казалось кощунством. Визионерские объекты существуют не для любви, а для мастурбации*.

Мне оставался только телеграф, бесплатные бланки, чернильницы и вставочки с паршивыми перьями, тянущими сплошную ровную линию без нажимов и волосяных.

* Кстати, молодые люди, отдававшиеся спорту, производили совершенно особенное впечатление – будто у них электризовались мышцы с каким-то потенциалом одоления, будто им прививали не блистательную силу «выстрела», и они сами стремились не к апофеозу мгновенного достижения, а лишь проявляли раз за разом тягловую выносливость, чтобы на тысячном витке наконец настичь и обойти задохнувшихся.

Мне казалось, что они не могли быть изнурены вообще чем-либо. Даже приступом и припадком любви, так как сами по себе уже были сплошным жестоковыйным спазмом.

Собрав и упаковав невеликую стопочку карточек, я и отправился на телеграф; он был в здании почтамта, у рынка, в самом центре; я заранее расспросил В. А., и заблудиться было невозможно. Рассчитав всю эту простую топографию, я не учел только одного – буквально через несколько невеликих кварталов от дома вдруг сгустился свет, как-то неожиданно стемнело, будто на небо, как на птичью клетку, набросили шаль, и в меня немедленно ударил пяток крупных продолговатых капель, будто заплакала сова в кроне дерева, под которым я оказался, потом уже десяток, пригоршня, капли удлинились до размера спиц, – и я перебежал под более плотную крону, надеясь переждать краткий ливень. Тем более я опасался за вынесенные из дома карточки – чернила могли расплыться по мокрой бумаге, и тогда переписывать мне будет нечего. Так что мне оставалось только стремглав бежать.

Но дождь случился такой силы, что казалось – река пустила еще один рукав прямо в город таким внезапным мощным побегом от своего текущего ствола. И я, поспешая что было сил, казался себе попавшим в густой лес, в котором все было водяным – стволы, вдруг неодолимо преграждавшие путь, упругие липкие ветки, бьющие по щекам, мелкая листва, норовящая застить зрение.

Пропущенные колена порушенных дождевых труб стекленели, упавая в залитые тротуары столбами. Если бы нашлись настоящие фланеры, которые не боятся ливней, то они смогли бы наблюдать новые хрустальные пропилены, упирающиеся в мелкую рябь, захлестнувшую улицы.

Это походило на волшебный Версаль, если бы Ленотр сдвинул свои водометы на небольшое поле для игры в мяч и переменял там закон гравитации.

Откуда-то сверху, из-под карниза, вместе с вымокшим гнездом вывалилась мокрым комком небольшая птичка, и грязная кошка, не убоившись ливня, бестией метнулась к ней. Будто поджидала.

Я переживал экстаз, так как такого библейского дождя никогда в своей жизни не видел.

Улицы исчезали в мутном наступающем потоке; почвы, асфальта, газонов уже не было.

Мне чудилось, что хляби никогда не сверзнутся.

Никто не успел построить ковчег.

В одно мгновение стало так холодно, что изо рта вот-вот должны были вырваться завитки пара.

Парадное крыльцо высоченного старого здания было уже по верхнюю площадку в воде. Как причал для гондол.

В вестибюле набились вымокшие под дождем либо не успевшие выйти; они, не говоря друг с другом, как-то все шумели, словно сопели и отряхивались, причем если начинал оправлять одежду один, то от него пробегал плотный ток подражания, и нельзя было не заметить, что и другие, даже стоя к нему спиной, тоже начинали оправляться, тесня ближних, пока

еще неподвижных; будто все находившиеся здесь впадали в неизреченное согласие, покорялись бессмысленному телесному порыву, охватывающему всех; за запотевшими до слез стеклянными дверьми стоял непрозрачный ливень, и акустика высокого помещения тоже делалась волглой и сквозящей, будто должна была омыть и приумножить любое слово, вырвись оно наружу. Но так как заговорить всем вместе было немыслимо, то люди трепетно и согласно вслушивались в безъязыкое месиво гула, обступившее их, будто ожидали каких-то новых признаков своего времени – эротики и близости, облегчения и оправдания, свободы друг от друга. Они не подозревали о своем желании, но это не меняло их жизненной сути, так как, сгрудившиеся, они были способны трепетать – и не только от ужаса...

Кажется, я вслух позвал Божью мать по-польски, и ко мне стали неодобрительно приглядываться. Я ретировался сквозь высокие распашные двери. Прекрасная до нелепости картина открылась мне. Зал-ападана, где к прорастающим в сумеречные своды колоннам были прилажены попитры для письма, был, невзирая ни на что, прекрасен. Все происходящее в нем казалось ничтожным издевательством над торжественной архитектурной идеей, словно бы восходящей вверх по стволам колонн, выкрашенных выше людского роста краской гадкого цвета.

Мелочные толкучки у окошек, вспыхивающее то тут то там переругивание, завывающиеся шаркающие хвосты опасливых очередей, берегущихся карманников, озирающиеся люди, зашедшие внутрь от непогоды; и в сумерках под потолком потонувшие лозунги с выпренными цитатами, и тускневшие огромные полотна с нелюдями во френчах.

Новые орнаменты с атрибутами сельского труда, знаков и звезд были настырно втиснуты в самых неподходящих местах, но зал был столь монументален, что переиначить его богослужбное предназначение было невозможно.

Дежурная в синей гимнастерке, перепоясанная ремешком, блуждая в корабельных колоннадах, вскрикивает автоматически фальцетом, боясь войти в резонанс, будто подводит скрипучую звуковую черту, которую не одолеть людскому бедламу:

– Граждане не отпавляющие, покиньте помещение!

Будто корабль беженцев отчалит или вот-вот начнется месса для посвященных. Я ждал, что пение с хоров польется в восприимчивую чистоту.

Листки, исписанные В. А., к счастью, не пострадали от потопа. (Ведь при первых подступах ливня я зажал сверточек с ними под мышкой и теперь достал, как термометр.)

И я стал тщательно отправлять невероятно длинную телеграмму. Самому себе.

Мне открывалась другая сторона этого мира: ливень слезил узкие высоченные окна, дежурная специальным шестом пыталась закрыть фрамуги, на каменных подоконниках собирались большие мениски. Уборщица в пропотевшем черно-сером халате, переругиваясь с дежурной, яростно бу-

хала в лужи тряпье и со звоном отжимала мокреть над ведром. Будто это именно дежурная злоумыслила потоп...

Это же «Титаник», радостно сообразил я.

Но в зале за высокими попитрами, устроенными вокруг колонн, словно манжеты, разложив бумажный мусор пред собой, некоторые странные люди, так же, как и я, скрупулезно писали – и совсем не телеграммы. Они зажимали скарб, если он у них был, на полу ногами. Они всовывали заржавелые до зелени, как хитин майских жуков, перья в маленькие оконца чернилниц и вытягивали оттуда неопрятные нити, они выразительно ждали, чтобы кисельная нитка истончилась и оборвалась без клякс. Это был утробный процесс, как насморк, и я потратил немало сил и изворотливости, чтобы мелко-мелко перебелить на двух грязно-серых оборотах телеграфных бланков любовные эпиграммы, обращенные ко мне. Иногда мне казалось, что это я сам сочиняю трюстии, как Овидий в изгнании, заливаемый потопом.

Приличные люди писали свои настоящие телеграммы. Быстрые слова «доехал», «встречай», «вышли» не требовали раздумий и усердия. Телеграммы в инстанции приносили сюда уже написанными, оставалось только отстоять очередь к оконцам, выпиленным в зеркальном стекле.

Но я заметил самых настоящих сочинителей, вдруг замирающих над прямоугольниками перевернутых бланков, словно они увидели в этой бумаге свое отражение и не удивились ему.

Я увидел людей, уставившихся в скважину чернилницы очами, углядевшими наконец хоть что-то за много-много верст перед собой.

Истинные сочинители противоречили своим видом слову «вдохновение». Ровная маниакальная трезвость роднила их.

У одних было разложено что-то вроде рукописных истрепавшихся, как они сами, корректур, и они чиркали еще и еще по лиловым зарослям слов, сосредоточенно передвигаясь по писанине от страницы к странице.

Строгий мужчина в тяжелых окулярах на резинке сверхизмельченно строчил, не отнимая от бланка своего собственного карандаша, и замирал, только чтобы бережливо очинить грифель специальным ножиком.

Обтрепанный парень в глубочайшем недоумении деревенел над листом, не решаясь что-то приписать к сплошной черкотне. Он как-то странно замедленно вдыхал, кругля губы, будто должен был нырнуть на глубину. Делал он это довольно шумно. К неудовольствию опрятной особы, писавшей поодаль самую настоящую телеграмму.

Мне они все виделись сверху, будто я над ними завис, как люстра.

Было такое чувство, что люди тут и жили, просачиваясь к ночи в скважины чернилниц, или заваливались в гурты порванных и смятых телеграфных бланков.

«Мать Божья, как легко здесь потеряться, – чуть не воскликнул счастливо я, – среди колоннад и каких-то букв».

Было совершенно неважно, что они обдумывали и что писали – жалобы в инстанции, письма несуществующим родственникам, шлифовали ро-

ман, балладу, просто бредили. Главное было другое – они были заняты – им ни до кого не было дела, а заняты они были всегда.

Два исписанных телеграфных оборота, сложенных вчетверо, обернутых пергаментной бумажкой, будут в течение долгого времени отвечать на каждый мой шаг, так как будут спрятаны под стельками моих всепогодных ботинок. Я не должен только ходить по глубоким лужам, а от пота я пользуюсь тальком.

Когда я собрался уходить, то почувствовал, что на меня неотрывно смотрит парень, ничего так и не записавший в исчерканном листе. Уже на улице, когда я обходил ствол поваленного пирамидального тополя, похожего на одеревеневшую молнию (когда он валился с треском, задевая листвой высокие окна почты, я подумал – вот дерево наконец-то стало и громом и молнией сразу), парень буквально настиг меня, как охотник добычу.

Деваться мне было некуда – это был самый настоящий безумный поэт. Я сразу понял, что жил он, если так можно выразиться, нигде, и ему от жизни ничего было не надо, кроме стихов, которые в свою очередь никому, кроме него, были не нужны. Но вот он сегодня отгадал настоящую, совершенно непостижимую тайну вдохновения, и он сейчас мне об этом поведаст. Он понимает, что я не расскажу об этом встречному-поперечному. Мне надо об этом тоже узнать! От него!

Его ноги были обуты по-разному, и между расшнурованными ботинками и обшлагами штанин не по росту сверкала тугая кожа голеней. Именно это и сделало его в моих глазах человеком. Я вспомнил, как Святой Франциск, кляня свою гадливость, преодолевая омерзение, все пробовал заглянуть под капюшон прокаженному, чтобы по-братски облобызаться с ним. Кто просиял ему на этот порыв – известно.

Заговоривший поэт не мог уже остановиться. И я будто бы выпрашивал его, не говоря на самом деле ни слова.

Как же иначе? Ну так в чем твоя тайна? Пропади ты пропадом.

Он не давал мне проходу и требовал:

– А ты попробуй вдохни в себя, вдохни! Ну! А? Вдохни говорят, твмть!!!

Я вдохнул, будто потянул на себя спертый дух, идущий от него, как конскую попону. Повеяло окопом, где между боями на изрытой осколками земле копошатся юродивые.

Он точно был блаженным.

Едва замигала слабая белесая звезда где-то в миллионе верст над его растрепанной головой. Едва-едва ворочаясь, дневными белесыми лучами она пронизала его. В ближнем палисаде словно запустили невидимый животный метроном – это внезапно затикали лягушки. Они, наверное, тоже углядели в вышине первую звезду, как и я. В доме, у которого он преградил мне путь, совсем рядом с нами грубо сбросили засов, и из скошенной створки двери дуга воды остекленела буквально в метре от нас.

– Ах, простите-извините. Крыша ну вся протекла у нас, – в высшем регистре тренькнул девичий голос.

Поэт не заметил ничего, он еще вдыхал.

– Чуешь, как захолонуло-то? Прямо в тебя внутрь холод пошел? Как осень! Вот! Наступила!

И я увидел, как в него входили крупные сегменты воздуха, как оледенелый пожарный рукав.

«Ну и что с того, что осень? Да хоть и зима!» – должен был бы сказать я, но мои слова не требовались.

– Осень – вдохновение! Пушкин только осенью и сочинял. Этой! Как, твмть, ее?! Болдинской! А почему? Потому как в себя холодного воздуха вберешь, так и кровь по жилам быстрее потечет – прямо помчится. Так вот, когда в себя, то все холодает внутри. А почему говорят «вдох»?

И он, как чрево вещатель, проговорил в себя, будто переключил тумблер насоса на обратный ход:

– Потому что в-до-х-но-ве-ни-е!

Он магически вобрал в недра своего тела сегменты этого заклинания, стягивая воздух, словно гигантский баян, расправляясь и откидываясь к финалу этого слова уже на сугроб холода, которым он стал сам. Я ждал, что он хотя бы поежится.

Это было почти что жутко*.

Я почувствовал по его взгляду, упершемуся сквозь, прямо в меня (а это было именно так – как спица), что он меня не видит совершенно. Ведь он был занят поисками вдохновения. Сейчас произойдет самое главное!

Он сунул мне под нос исписанный мятый листик.

Быстро забрал его и начал камлать.

Вся моя сострадательность к нему улетучилась; он был все-таки совершенным упырем, это неукоснительно следовало из первых же дремучих строчек о врагах, произрастало из его зверской скандовки, поперло на меня духом упревшей в его утробе пищи.

Все увенчалось дьяволической здравицей, и он обдал меня смрадным фейерверком.

Но тут же продолжил дальше и еще страшнее. Следующее. Как диагноз. Не отшатнуться было невозможно. И он внезапно забубнил, что он тренирует теперь свою эту самую технику, ему так сказали, технику, да! давай! а по

* Я потом думал об этом... Может быть, действительно таковым вычурным образом вызванная свежесть моментно бодрит и вдохновляет. Ведь если вдыхать усердно и полной грудью, то можно на какое-то время побороть и голод, и страх, и даже лучше разглядеть далекие горизонты, для чего обычно надо шуриться или прикладывать к глазу ладонь с повернутыми в узкую щель пальцами (такая игра в детскую подзорную трубу). Значит, какие-то гормоны холода будят высокие сферы сознания. А потом, действительно, «вдыхать» – «вдохновение» – «дух»... А дух... Это который там, где хочет. Только вот интересно – почему слова, которыми можно спокойно повествовать об этом самом вдохновении, мы произносим на выдохе; а вызываем его, вдыхая в себя, – просто шумный бессмысленный воздух нашего возбуждения, без каких бы то ни было букв, слов и смыслов. Но, впрочем, разве усилию нужны слова. Любопытно, что «поныл», «внял» – тоже близки этому, так как символизируют «вдох», движение в себя, открытие.

смыслу-то и вдохновенью все у него в полном порядке, наилучшее, и все вот-вот подойдет, – он провел рукой горизонтальную черту, будто мы стояли в воде по грудь, – но техника сейчас – это все! Да! Упор! Упор на технику, он шлифует, вот давай поэму зачту «Про проклятые матерей».

– Про матерей. Давай-давай про них, родимых, товарищ. Только пойдем уже наконец. На ходу читай, так все поэты настоящие делают. Великие техники. Шагают и читают...

Когда я свернул в первый же проулок, он легко отвязался. Будто мог двигаться только по прямой директории, возглавляя неповоротливые отряды своих строф. И исчез так же, как и возник.

Навстречу мне спешила молодая женщина, она перескакивала через лужи, стараясь не испачкать легкие туфли, она не попала под ливень, может быть, только что вышла из дому, она шла против низкого вечернего света, который будто толкал ее, не давая прохода, заигрывал с ней, высвечивал цветочную материю ее платья, и она шурилась, чуть улыбаясь как-то в себя, будто уже увидела того, к которому сквозь этот вечерний сноп пробиралась.

Я заметил с каким-то сожалением, что рдеющий к этому часу свет не пощадил ее, а как-то изнутри высветил, предъявил ее несуществующие изъяны всем идущим навстречу; и сквозь мимику улыбки беспощадно проступил будущий контур ее дряблости, которая ее непременно одолеет.

Она была – невзирая на это яркое «затемнение», такой рентген наоборот – очень хороша – и этой своей светлой суверенностью, и самоотдачей предстоящим событиям своей жизни. И я понял, отчего она так привлекательна – она была каким-то чудесным образом гармонизирована со счастливым временем, которое ей еще только предстояло.

Шагая, перепрыгивая грязные пятна, она будто входила в резонанс со своим ощущением счастья. Не почувствовать этого я не мог. Приближаясь ко мне, она перехватила мой взор, и я увидел, что ей стало неловко. Она вспыхнула, но не расточая эмоцию, а как-то в себя – замкнулась, но пролито ею было уже столько, что воздух вокруг продолжал счастливо клубиться. Я дернул соцветие золотого шара, перевалившееся через ограду палисадника, чтобы подарить ей, но соцветие выскользнуло из моих рук обратно, обдав меня с головы до ног веером брызг.

Женщина ускорила шаг и уже не смотрела на меня, даже насквозь. Не прикоснувшись, я пережил легкость мануфактур ее юбки, тонкой рубашки, я увидел, как ее недлинные волосы могут рассыпаться на пробор, когда из валика, сооруженного надо лбом, она торопливо вытащит шпильки. Я ведь точно знал, каковы на ощупь бывают светлые вьющиеся волосы – только видя их цвет.

Я замешкался, и через мой башмак перескочила крыса, бросившись в лужу, – она пробивалась в воде среди сбитых ливнем листьев, веток и мусора, как маленький неукротимый буксир, одинокий глиссер.

– Ну вот... – кажется, сказал я вслух.

ОПЯТЬ СНИТСЯ ТАДЕУШ

Покосившиеся к строгой горизонтали оконные рамы наделяют дом странной мимикой, он будто удивляется, что до сих пор не повалился. От точно перерос и превозмог такое, что может не скрывать свои чувства. Из щелей между рамами и стеной торчит темная пакля, будто только что прошел Новый год углекопов. Окна запачканы так, что стали непрозрачными... Одна и та же баба все выставляет в окно огромную закопченную кастрюлю, которая кажется мне каменной. У края потемок мечется облако мелких птичек. Они хотят занять лучшие места в плотной кленовой кроне. Кажется, начини я считать, они угомонятся на десять, будто примкнут к магниту. Так и выходит.

Время, проведенное с В. А., – пауза, где не было координат, где все приостановилось в нерешительности. Именно тогда я понял, как похищают капризных любовников, замыкают их в темницах блестящих даров, обездвигивают затейливое время вокруг них, чтобы они никогда-никогда не постарели: кто это совершает? – матери и сыновья, дочери и отцы, любовники и любовницы. Мне казалось, что если я покину В. А., то стану беспомощным, как личинка, выбравшаяся из уютной почвы, мне даже казалось, что тело мое белеет, может быть, я лишился возраста и жизнь моя незаметно потекла вспять. Как в чудесном романе – я погружался в морок воспоминаний, и ничего не тревожило меня и не бередило.

Мне все время снился Гремык, будто он живой и невредимый, кивает мне, но проходит мимо – я зову его, но тщетно – он уходит. Я понимал, что сны – это чистый морок. Так, в них ничего не происходит, и они обидно равны моим дням, сделавшимся старческими. Я смотрел на свои бицепсы, и они казались мне дряблыми – в доме В. А. не было перекладины, чтобы подтянуться, а дверные карнизы были слишком высоки. Отжиматься от пола мне не хотелось, я думал, что если лягу на ковер, то непременно засну. Тишина вдруг делалась пронзительной. Сам с собою говорить я не мог, как престарелая семейная пара. Ведь между ними все уже переговорено. Может, начать вышивать по канве? И я доставал несессер В. А. – в замшевой коробке лежали маникюрные принадлежности – ножницы для стрижки ногтей и заусениц, еще – замшевые подушечки для полировки, какие-то лопаточки – острые и тупые. Словно далекая мирная жизнь колебала легкие дневные занавеси в моем доме, которого нет. Но любая вещь, которая могла бы в нем быть, вызывала во мне волнение, будто бы я жалел об их утрате, как мальчик потерянную игрушку, любимую безмерно – коняшку там, солдатика в амуниции, искусный крошечный аэроплан, выточенный из душистого дерева.

Я понимал парадокс своего положения: вот я свободен безмерно, моя жизнь принадлежит только мне, но еще никогда не было, чтобы я смог распорядиться не только собой, но и любым своим поползновением. Я был в невидимых путях – и любое движение, даже мысль о нем грозила мне удушением, пережатием артерий, отрывом тромбов и параличом дыхания. Я был пленен еще сильнее, нежели когда был под стражей. Ведь сейчас, по сути, только я один хранил себя.

Прекрасные бело-розовые яблоки мальтового аниса (так называемый мальт), умирающие на второй день после съема с ветки. Их оставил мне В. А. Настоящие «мимолетности» – смутное впечатление, не имеющее под собой почти что никаких оснований. Словно погибающие на лету насекомые, не оставляющие мусора за собой. Девичьи, отцветшие через полгода после замужества, преображающиеся в матерых теток. Это свойство южной местности, делающей драгоценными странные вещи: границу перехода из припухлости в тучность, от отзывчивой гибкости вечера в заматерелость ночи, от аромата тревожного воздуха городских садов в духовище окраин.

Эти мысли настигли меня, когда я увидел высокую банку с яблочным вареньем, и сквозь тревожное стекло я вдруг увидел розовость яблочной кожуры и припомнил название сорта «мальтовый анис», «мальт», и кряжистое дерево за окном, которое, наверно, и породило эти яблоки. И еще колбу, в которой зарождаются гомункулы в литературе. Банка Калигари, полная варенья. Я чувствовал себя немного как в кино, будто я про самого себя снимаю фильм.

Луна, пробившись в высокое окно сквозь ветки, прибитые ночным дождем, запятнала пол в комнате. Вот аккуратный и легкий В. А. прошел, вступая в ее темные следы словно специально. Хоть эти пятна и были следом лунного света, но были почему-то темны. Места, куда он наступал, делались зыбкими, будто вот-вот всплывут и сдвинутся по поверхности остальной темноты. Пятна лунного лишайника сухо и кисло скрипнули под его босыми стопами.

Успел подумать, что никогда не видел, чтобы к серпу молодого месяца, как к мочке, без зазора прилипала Полярная звезда. Только на стилизованных рисунках.

– Только звери не боятся мять друг друга, – сказал В. А., тесно обнимая меня, – голова все усложняет – одни сомнения и тревоги. Вот вы меня – одурманиваете, и мне проще подступиться к вам! Мне нравится эта ваша сокровенность – он заговорил на вы и прикрыл ладонью мой пол, как знак препинания. – Это дает вашему телу смысл, а моему желанию – культурное оправдание. Словно я хочу читать и быть уверенным, что буквы не рассыплются из наборной кассы и я смогу понять все ваши обороты: частные, дееспричастные и те, что вообще без слов, любые.

На ночном свету я разглядывал его спящее лицо.

Опущенные веки поблескивают лишь у тех, кто спит по-настоящему, – словно пропускают настоящий блеск наружу за подлинными сновидениями, в которых будут пророчества. Тогда глаза наливаются истинными снами, и они переливаются через остекленевшую преграду, оставляя на ней следы своего лоска...

Глава четвертая

АНДРЕЙ, ГЕРАСИМ И КРАЖА

ФОНТАНЧИК В «ЛИПКАХ»

Через выломанные штакетины в изгороди я шагнул в густые заросли сада, мне он казался пылким, и я заволновался, напрямик сквозь кустарники акации я выбрался на маленькую площадку. Там есть фонтан.

Когда порыв ветра срывает дуги прерывистых из-за непостоянного напора струй, смешивает их в тяжелые, на миг замершие сегменты, преодолевающие силу тяготения, мне начинает казаться, что этот звук дерзкий и происходит что-то неправильное, что следует непременно исправить*.

Вот и некий молодой человек какой-то неумной красоты и одновременно лукавой кротости из-за головного убора, завершающего его чело солнечной террасой, будто нахлобученным нимбом, так же приостановился, как и я, уставившись на эту водяную мишуру.

Он стоял, взяв в руку тонюсенький ствол саженца, он на него вроде бы мнимо оперся, скрестив ноги в широких штанах. Он взялся за это ничтожное деревце, чтобы принять эту позу отменной вычурной выразительности. Побывать какое-то время скульптурой в мягких одеждах. Я даже придумал название этому исключительному изваянию – «Молодой мужчина на открытом воздухе». Мне показалось, что он может, оставаясь недвижимым, совершить оборот вокруг ствола саженца, как флюгер, потому что не было такой силы, которая могла бы сравниться с моим зрением, охватывающим его со всех сторон. Я хотел подойти и спросить: «А где же ваши крылатые штиблеты?»

Что он тут позабыл? Откуда он тут взялся? Просто гуляет, поджидает деву, твердит любовное стихотворенье...

Низкая тулья «приоткрывала» обратным образом его великолепный лоб, чудесную линию волос, крутой затылок, крепкую высокую шею. Вся голова его в этом светлом уборе изысканного, чуть желтоватого тона в моем восприятии была чудесной. Где ж он отыскивал эту чудную соломенную шляпу? В какой Европе?

Мне показалось, что и тело его должно быть безупречным и желанным. Будто его самого, как эмульсию, смыла жара с целлулоида, и какое-то многажды виденное мною прекрасное кино еще не прошло.

* Это осталось во мне с далекого детства, когда я, неотрывно следя за струей, исходящей остекленевшей дугой из шланга, буквально прилипал зрением к этому скорому скользкому лёту. Ведь если взором следовать восходящему бегу воды, то в первый миг, пока поспеваешь уследить какой-то сегмент, начинает казаться, что изгиб струи стоит на месте, а в газон или в землю уперся погнутый по лекалу стеклянный столб... Такая остекленевшая скоба воды.

Но самое чудесное – он был – сам ожидание. В этом состояло чудо его зрелища, будто он должен был этим головным убором сдерживать факел неистовой красоты, могущей ослепить всех, кто на него бросит взор. Он как-то смиренно и протяженно поглядел в мою сторону. Замер.

Шляпа, глубоко и лихо надвинутая по самые брови, вестернизировала его и одновременно давала ему шанс стать еще чудеснее тогда, когда он ее снимет, – положит рядом с собой на лавочку или просто возьмет в руку, чтобы обмахнуться.

Меня словно обожгло.

Я понял, что это – Г.

Это?! Этот?!

Я ведь помнил темнеющий ободок в его шевелюре и белый след на лбу, как от испарившегося нимба, оставленный конфедераткой в жаркий день перед самым началом войны...

Я должен был его окликнуть.

Когда я снова посмотрел в ту сторону, где он только что стоял, его уже не было.

Все уравнины невозвратностью – все в прошлом...

К этому пересыхающему фонтану посреди парковой площадки, позабытой садовниками, к пустой, заваленной всякой нечестью заболоченной фонтанной чаше подкатывают компании низкими речными волнами, чтобы сняться у фотографа, дежурящего здесь. Вот фотограф суетится и строит композиции – сплачивает дуэты, сводит трио, громоздит маленькие хоры со вторыми голосами на бревне. Люди серьезно фотографируются на фоне пустого места, где нет монументов, лозунгов и звуков, кроме их собственных голосов. Исчезающая, то снова нарождающаяся струя согласно вздорному напору не в счет. Желающие запечатлеть себя вне группы стоят поодаль, теснят друг друга, будто это – незримый алтарь, сакральный узел времени, особая зона, которую чувствуют все...

– Чтобы жмуриться и не моргать, надо вести устный счет по взмаху моей руки. С одного до пяти. Нет, вслух не надо, а то получится вместо моргания зевок.

И он галантно взмахнул, будто стал дирижером:

– И раз...

Вот приземистая девушка стоит посреди площадки, как оплавленный сталактит. Будто выросла в это место, ничуть не переменяясь.

Бывают такие, которые, невзирая на облачение, всегда предстают как слова, обозначающие низкость, короткость, вальковатость. Она не собирается фотографироваться.

Вид ее презрителен, жалок и заносчив – сложная сумма, показывающая, что ей все-таки трудно находиться во временной точке.

Когда глядишь на нее, делается ясно, что есть гравитация, что на людские плечи возложены атмосферные столбы и всем нелегко, да и размер ее

стопы преувеличен, будто она расплющена, но, может быть, это чужая обувь ей великовата...

В деве была тоска, потому что было видно – настоящую пару себе она не подберет, и мне уже становилось ее жаль, но тут к ней из-за кустов буквально выкатился маленький парень – задорный крепыш, его плешь покрывал щуплый газон редющей шевелюры.

Как-то сразу стало видно, что он напряженно за девой «ухаживает», а она – подчеркнуто независима, но только для вида, ведь верткий плешивец может дать деру. Но что-то их связывало серьезное и лишало комедийности.

Она протянула ему лишь одну фразу, как повялый цветок, которую услышал и я:

– Тетка воротилась, брюхо прихватило.

– На сутки, значит.

Он все быстро счел.

Лузга слетала с его губы мелкими хлопьями, он почти что чадил.

По-моему, они всегда должны были молчать, во всяком случае, было очевидно, что слова им не нужны; они, слова, были бы такой же нелепицей, как вычурная одежда, свежая дорогая обувь, броская бижутерия, парфюмерия и т. д.

Речь для них тоже была аксессуаром, требующим чрезмерных затрат. И они просто держались за руки, даже не глядя друг на друга.

Такая жесткая модель.

Парень был гораздо милее своей тяжело нахлобученной одутловатой подруги.

Их личные качества рассеивались – я понимал, что никогда не признаю эти лица, если встречу. Так – формулы зеленой тяжести, угол угрюмого русалочьего сна.

Эти люди выросли при безбожной власти, под ее гнетом, как островки плесени под серым камнем, – и я почувал, что я тоже, как и они, в погребе, где бы я ни находился.

Я успел только перехватить жест руки с подсолнечником и ожечься о взгляд овечьих светлых очей кавалера. Светлые-светлые глаза, казалось, были раскалены внутренним гнетом, как и густые ресницы, – будто вырывались из его недр.

Дева ритуально поправила:

– Хва лузгать.

– А чтоб на тебя не дымить.

– Дымить-сорить, все одно.

– Едрить...

– Да ну тебя.

Она ослабилась.

На лузгу под их ногами слетелись воробьи – приземистые и верткие. Птицы только недоуменно приглядывались к пустой шелуху, не клевали.

Мне показалось, что те места, которые принимали касания этих людей, пот и жар ладоней, – стволы деревьев, поручни скамеек, мелкие монеты должны были лосниться.

Я понял, почему они молчали, – просто совладали с желанием.

И он ни о чем никак ее не просил, потому что отказ не подразумевался. Будто сам материал оболщения, ухаживания и умыкания в этом мире еще не зародился.

И я перебрался в гущу сада, подальше от этого мистического места, и предо мной предстала пестрая лужайка, и ее зрелище почудилось мне комплексом настоящего отвлеченья. И я застал себя за тем, что больше не могу думать о своих несчастьях. Будто мое прошлое – отсечено. Словно и меня одолел этот безоружный цветочный мусор бессмысленного пестрого бунта.

«Мирное время, мирное время, мирное время», – заговорил я про себя.

Это в шевелюре зеленой травы одновременно дневным фейерверком вспыхнули приуменьшенные, словно игрушечные, маки, васильки, гвоздики, левкой, ромашки, фуксии и колокольчики. Я заметил их сразу – будто в самих фонамах их имен были оттиснуты формы совсем невеликих цветков.

Колокольчик-колокольчик-колокольчик.

Мелюзга люпинов, каких-то крошечных безымянных лиловых шариков и белых столбиков кашки.

Мне казалось, когда я называл их имена, что видел их по-особенному резко, как маленькие цветные взрывы. Будто над каждым трепыхал мотылек этикетки, чтобы обознаться было невозможно.

Цветки были настолько мелки, что составить из них букет по силам только гномам, набредшим, как и я, на этот округлый мавританский газон. Его низкую линзу может сморгнуть кайма зубчатой оправы из колотого красного кирпича. А может, это выросший в землю периметр крепости по самые навершия сторожевых башен.

Будто я попал в другую страну, никогда не знавшую тирании.

«Ну так что еще?» – спрашиваю я сам себя.

Цветочная пестрядь кажется нездешним покровом, драгоценной шпалерой, спущенной с небесных колосников.

Не хватает только дамы, поддерживающей нежнейший подбородок изнеженного белого единорога.

Мне показалось, что если я отвернусь на миг, то все это свернется в рулон само собою.

Исчезнет. Исчезнет.

Как в цирке, где невидимые служители сворачивают ковер, только что покрывавший арену. Будто поднимают циклопическое веко.

Посередине газона были вкопаны жердины, соединенные жестяным транспарантом с призывом «НАРОДУ СЛАВА». Но я не стал обходить газон, чтобы прочесть еще и оборот.

Мне почудилось, что это над демонстрацией сошлась волнами земля.

Наверное, этот редкостный газон высевали, раскидывая жмени семян, спугивали слетевшихся птиц, лили воду.

Слов, необходимых, чтобы понять избыток, преувеличение и роскошь этого зрелища, порожденного капризом или чрезмерностью, почти что нет. Но брачные зовущие пигменты будто специально добавлены в кровоток скорых приуменьшенных растений, чтобы помешать выстроиться словам. Это выглядит как вызов запредельному смыслу, выведенному печатными литерами на транспаранте. Рядом с этими словами даже самая невинная желть молочая кажется непростительной шалостью, опасной фальшивкой, провокацией, разрушающей постыдный строй, в который собраны невиноватые буквы.

Вот оно – мирное время; попробуй точно сказать о желтом. Даже прекрасный цветной кавардак кажется мне провокацией, на которую нельзя попадаться.

– Товарищи дети, – провозглашала дама-воспитательница сухим звонким голоском, – товарищи дети, все-все-все-все друженько подбежали ко мне. Как бегут птички, когда их кличет птичница, чтобы угостить пшеном? Как они хлопают крылышками?

Немолодая особа в круглых очках, подстриженная в скобку, стояла перед стайкой аккуратных воспитанных детей. Она стала показывать им нетрудные упражнения. Мне показалось, что они репетируют выход в пасторальном балете. Воспитательница обращалась к ним на вы и просила, чтобы они изображали птичек, и сама увлеченно ходила перед ними, отставив назад руки, как фалды веселого балетного фрака. Она неожиданно замирала на одной ноге, будто стекленела в каком-то птичьем аттитюде. Дети самозабвенно копировали ее на свой лад.

На гравии россыпь еще не посохших бело-розовых с золотыми усиками клипс, слетевших с отцветающих ленивых каштанов. Этот сор топчут со стеснением. В этом дереве есть, как ни странно, лукавство: жирные тяжелые колючие плоды и невесомая, будто обведенная по краям бледная цветочная дребедень. Сытость и обещание юного чувства; такое незаметное любовное противоречие.

Бульвар в моем родном городе на какой-то час покрылся похожей скользкой чехардой, смывтой внезапным ливнем. Ливни словно спускались на короткое время с высоты, будто водяную плеву разматывали из скатки, как экран в зрительном зале. Но я всегда знал, что цветочная путаница не успеет скиснуть и превратиться в несвежее месиво, так как мгновенное жаркое солнце обратит и черемуховые обморочные кружевца, и зернистую пену сиреней – белых, лиловых и йодисто-красных, и тускло-зеленые двойчатки, спланировавшие пропеллерами с ясеней, в неуязвимый повсеместный летний войлок, который не надо перешагивать.

В тишину могла вот-вот ворваться дерзкая музыка. Мужчина и женщина обнимались, стоя в сени каштана, у самого ствола, они не стеснялись посторонних взглядов, так как были самозабвенны.

Он сжимал ее, припав к покореженному стволу старого дерева.

Она – крепкая, много повидавшая молодка (я плохо понимал их возраст из-за бедной одежды, непромытых кудрей, финтифлюшек, лишенных и признака щегольства и веселья) – и мужичок, сам похожий на короткий древесный ствол, у которого ураганом снесло крону.

В этих объятиях был переизбыток не то что вечернего заслуженного веселья и чувственности, а матерого, какого-то фронтового всепогодного желания, которое обжигало на расстоянии, из-за линии разрывов.

Он совсем по-животному обвивал, пристроившись сзади нее, шарил по груди и животу, давил своим подбородком ее плечо, впивался и мусолил мочку уха и шею, будто обыскивал беглянку в последний раз, перед тем как пристрелить.

Это происходило как-то совсем не по-людски, согласно и примиренно, а будто бы – выследил и в три прыжка настиг. Обычно на умильных почтовых карточках кавалер, скромно пристроившись сзади, что-то нашептывает игриво рдеющей пани на ушко, но этот, наверное, мог только хрипеть...

Главное и мрачное, что следовало из их плотных животных поз, было то, что никакая речь о согласии или отказе не то что еще не шла, а ее не было никогда, как и вообще каких бы то ни было людских слов. Он сжимал ее грудь, и она запрокидывала кудрявую голову на его плечо, будто уже стала трофеем, наградой, от которой немислимо отказываться. Иногда она выпрастывала руку с перекинутой яркой сумочкой, как семафор, чтобы оттянуть вниз задиравшуюся тесную юбку. Было видно, как она топырит и вжимает в тулово мужика свои ягодицы.

В этом была какая-то утробная анальная мотивация – прекрасное откровенное бесстыдство, сырое и грязное, как почва в приствольном кругу, которую они утаптывали вокруг старого каштана.

Еще она напоминала дриаду, которая должна вот-вот отделиться от ствола, породившего ее, или наоборот – вернуться, чтобы уплотниться навсегда в его корявых недрах.

А он не отпускал ее, словно знал о зиянии, что ему угрожало.

Заухала где-то музыка, будто слетелись совы, и все встало на свои тупые упрощенные места.

Он обхватывал ее, как ярмарочный дурень скользкий столб, готовясь вознестись на самую верхотуру за совершенно ненужным, но столь вожделенным призом – валенками среди лета, связкой березовых веников, тупым серпом в промасленной бумаге и т. д.

ИЗ ОКНА

Я вышел через какой-то пролом в ограде на совершенно неизвестную улицу и зашагал по ней, приземистой и тенистой, – внутри сросшихся кронами патлатых ясеней, будто в муфте. Земной скат показывал, что я иду верно – к реке.

Вот дом, стоящий отдельно, не сразу можно понять, что он переделан из церкви, с которой снесли купол. Фасад утыкан мелкими оконцами, из которых торчат трубы самодельных печек, из некоторых идет дым, и мне начинает казаться, что я попал в Лхасу, где беспрерывно курятся жертвенники, пахнет горелой парфюмерией. Трапезная, примыкающая к храму, теперь заселена колонией диких пчел. В главные несуразно пробитые двери кто-то все время входит и выходит, будто луга медоносов совсем поблизости. Из окон свешиваются постиранные пожитки, как стяги вымышленных государств. Вдруг из дверей вываливается тело с какой-то огромной нечеловеческой скоростью, будто слетело из-под самого купола, и падает замертво за папертью тяжким мешком. Простоволосая баба выбегает следом и бросает в сторону тела ботинок. Какому богу они молятся? Тому, что оставил их в живых. Но что он такое – непостижимо. Видно, как на лежащего слетаются мухи широким щедрым роем, подбегает маленькая собачка и, подняв к небесам лапку, струит мелкий пунктир с улыбкой.

Кажется, я успеваю пройти еще квартал.

Меня окликнули.

Со второго «счастливого» этажа деревянного жаркого домика, из распахнутого окна, навалившись на подушку, свешивалась старая красавица, будто поджидала сказочного жениха. Но мимо проходили одни увечные или давным-давно накрепко занятые другими.

Мы встретились с нею взглядами, и я сразу все узнал про нее, будто заглянул в оптическую трубу, которая отворила мне ее всю – от очей до сокровенностей, пронизаемых особенной женской жаждой. Стены стали стеклянными, и я увидел незатейливый уклад жаркого жилища за ее спиной.

Мгновенность этого стереоскопического представления вспыхнула во мне, как озарение, будто я понял теорему. Я даже приостановился. Она тихо спросила сверху хрипловатым дамским голосом, как в пьесе:

– Огнем не богаты будете, товарищ молодой человек?

Я даже в первое мгновение не понял, о чем она просит, так как ее желание, открывшееся мне, заслоняло все смыслы ее речи.

Домик был такой низкий, что я мог бы легко дотянуться до нее, если бы она свесила из окна свою руку с зажатой между пальцами сухой папиросой, и вся она стекла бы вниз такой разомлевшей лианой, теплой безвольной ветошью и все такое. Она, видимо, когда не прикуривала у редких прохожих, лузгала семечки, и несколько черных клякс прилипло к подушке.

Когда она подзывала меня, показывая незажженную папиросу, которую я мог бы ей грациозно раскурить, то в глубоких проймах я разглядел завитки ее подмышек. И они вдруг показались мне символом моего желания, не имеющего к ней никакого отношения.

Будто я просто нашел нужную мне шпаргалку, которую кто-то, дорогой мне безмерно, обронил. В листке с первых слов без околичностей говорилось о данном когда-то мне обещании, о признании своей тогдашней слабости, о внезапной великой формуле благорасположенности, открывшейся нам навсегда.

Мои губы словно бы задел такой подшерсток прозрачного почерка, без нажима, – все буквы из волосяных.

Я никогда не мог смириться с тем, что восхитительные места подмышек насильно лишают растительности, намеков на тайные углубленные смыслы тела. Темно-золотое влажное руно Гремяка, так сладко пахнувшее какой-то маленькой овчинкой, когда на нее только-только брызнули первые капли дождя.

Все, что я видел, каким-то образом сползало к нему, к моей памяти о нем. И он, распадаясь на сегменты внутри моего сознания, отвердевал там. И мне иногда казалось, что моя память – темная комната, по которой я бреду, не надеясь вернуться. Я вдруг понял, что не уходя дальше по этой тенистой улочке, тихо говорю вслух слова, связанные с текучестью и мягкостью, в которых, как казалось мне, была и телесность. Просто топчусь под ее окном.

Женщина исчезла и снова появилась, усадив на подушку подле себя крохотную сявку, я заметил, что тупая собачья мордочка покоричневела от старости и длинный язык сигмовидно свисает чем-то темным. Будто она устала есть. Это слишком утонченный атрибут, чтобы показывать его из окна прохожим. Такая живая пуховка, услада драгоценных дев Фрагонара или Буше.

Я представил, как девы, словно перловицы, разводят свои отполированные выбеленные створки, чтобы промокнуть легчайшей пуховкой в точке сопряжения влажную жемчужину, определяющую весь смысл их игривой молодой жизни.

И вот перед моим внутренним взором распахнулась изумительная порнографическая двойчатка, карточка, сложенная складнем, которую я

нашел в секретном ящичке отцовского бюро, – сквозная черная выпушка с едва различимым сумраком испода, где светилась загадка женского тела. И мой Г. в такой же гривуазной позиции тоже лелеял в том самом месте, где сходились его задранные бедра, месиво лохматой зверушки, горсть усталого мягкого зверька, одомашненного мною четверть часа назад. Но его-то смертный смысл был совсем не там.

Я вдруг увидел, как визионер, всю горницу этой женщины, словно меня озарило моим воспоминанием.

За слюдяной ширмой раскрытая приуготовленная постель, на полу высокий кувшин с теплой водой и мелкий таз, скорее блюдо, чтобы подмыться, присаживаясь над ним враскорячку, еще жгуты полотенец и торопливые слова: «Да-да, так, так, тут, уже вошел, жми, здесь-здесь, ух...»

Они схожи на всех языках мира, мне иногда казалось, что это сам я говорил их или слышал, эти торопливые слоги, особенно в военную пору, когда не требуются словари, и так все ясно и надо торопиться...

Навстречу мне вышагивает троица боевых девок в вышитых украинских блузах, будто это обливная форма их девьей армии; идут в ногу, перегордив тротуар; одинаково уложенные темные волосы.

Из-за этой схожести они сплотились и теснятся шепотью, будто вот-вот запляшут в ряд. Чудится, что у общего трехглавого тулова только две руки. Они должны очень плохо петь, их одинаковые прически кажутся бредом, нелепой выдумкой.

Я вдруг замечаю, что рукой в глубоком кармане зажимаю свой вставший член. Идущим навстречу этого нельзя не заметить, и девки, минуя меня, всхлипывают каким-то особым горловым смехом, будто сглатывают скользкие стеклянные браслеты.

«Не на вас, сучки, не на вас, не на вас», – я им этого не говорю.

Подул откуда-то жаркий ветер, и мое лицо будто бы обернул прозрачный ворсистый лист пыли, вынесенный из метафизической типографии. Будто по бульвару пронеслись все газеты мира, которые спешают к завтрашнему утру.

Там написано о войне, что она уже навсегда кончилась. И по домам. Навсегда.

БУЛЬВАР

Но вот бульвар, нестриженные кусты, ставшие зарослями в человеческий рост, обломки старых тополей, павших в грозу, пустые затоптанные бельма давних клумб со стекляшками и битым кирпичом. И лавочки, и тень.

Все немногие мужчины, сидящие на лавочках, курят, вроде собрались на один общий перекур. Короткие папиросы тлеют у самых губ, уже под ноздрями. Сквозняк доносит цвет размоченного табачного крошева. Это военный приземистый дух желтого песьего цвета. Будто расчесали колтун.

У клумбы играют две девочки. Из одной уже пробивается тело, как росток из набухшего бобового зернышка. Она иногда озирается, смотрит мимо игры, перехватывает взоры, и любой заметил бы и трогательное лукавство, и просвечивающую сквозь невыразительное лицо истому, не вызванные ничем, кроме примирения со своим растущим телом.

Я уселся.

Напротив беседуют молодые мужики. Они привлекли мое внимание. Кажется, что они уже навеселе. У одного какая-то сумеречная, нездешняя электрическая жестикуляция, будто он сомнамбула из немого фильма, – вот он бьет себя наугад по уху, будто сгоняет крупное насекомое, закидывает ногу на ногу, стряхивает пыль с незапылившихся штанин, механически проводит щепотью пальцев по несуществующей стрелке. Крутит по голой лодыжке пальцами, как браслетом.

Он распространяет вокруг себя тремор опасности, будто вот-вот рванется в атаку, распрямляясь тетивой в полный рост. Говорит преувеличенно тихо, несоразмерно с артикуляцией, на каком-то тайном жаргоне, он мрачно взглядывает по сторонам, но не видит никого, жесты его сегментарны, будто он – часть искусной мизансцены.

Он кладет своему корешу руку на плечо, словно к чему-то его склоняет, но это всего лишь прием жестикуляции навсегда поломанного человека.

Думаю, что драться они будут молча.

Вдруг под самыми моими ногами что-то шевельнулось. Из-под лавочки высунулась собачья морда – у нее были слишком светлые для дворняги глаза, и поэтому казалось, что в ней есть что-то людское. Будто на меня посмотрел сквозь толстое стекло скафандра водолаз, и не различить разумное в этом взгляде было невозможно. «Лапку дай», – сказал я ей шепотом по-польски, и она протянула мне свою шершавую мохнатую стопу. «Вот ведь, – ничего у меня нет», – подумал я. И псина затрусилась как-то боком.

Ко мне бодро подскакивает немой мальчик, он с мычанием протягивает мне деревянных лошадок – в одной руке синяя, в другой красная. Он агрессивно мычит, требуя, чтобы я купил. Он разводит их и соединяет, пародируя галоп. Нелепо и жалко цокает, кладет их мне на колени, я отрицательно кручу головой. Нищий продавец обут в разные ботинки, он строит умоляющую гримасу, жует воздух, тужится что-то сказать.

Мимо проходит женщина с плетеной корзиной, прикрытой тряпицей, где, видимо, целая конюшня этих лошадок. Она тихо говорит: «Хватит, к другому иди». И мальчик спокойно меняет дислокацию и начинает предлагать своих коняшек женщине на соседней лавочке с таким же ужимками.

Две прекрасные, схожие друг с другом совсем молодые беременные (будто и зачавшие тоже от близнецов Кастора и Поллукса) пузырят вечерним сквознячком свои платья; они парные вазы из слабого камня, облитые мягкой драпировкой, сошедшие с симметричных пьедесталов где-то в начале аллеи. Они кажутся мне исключительными, вышедшими из башенного часового механизма какого-то средневекового города аллегорией удвоения, когда вступают в вечер своими проницаемыми оболочками.

Они не слышат этой вечерней прелести, не подчиняются ей – наверное, они заморожены иными звуками и иным светом, восходящим из их утробы и разогревающим их терракотовую замкнутость, которая уравнена с разросшимися деревьями, слезящимся светом, наконец, – временем, вдруг обретшим на моих глазах благодаря им вычурность и отдельность.

Но лучше всех – два совершенно сдуревших молодых остолопа, прошумевших следом. Велосипедист с седоком, стоящим в полный рост на специальных штырях, торчащих из ступицы заднего колеса, держащимся за плечи того, кто рулит и крутит педали, – такой вот кентавр. Стоящему время от времени приходится приседать и пригибаться, чтобы не задеть о низкие ветки сросшихся деревьев. И линия, которую он рисует собой, – восхитительна и подходит к теплomu безвременью и едва доносящемуся городскому шуму. А так ведь – дурни дурнями, налитые пьянящим дурным счастьем по самую завязку.

Еще одна беременная поодаль на лавочке с маленькой девочкой; светлые косицы девочки заплетены по-взрослому, уложены вокруг темени высоким овалом. Мать потратила много времени на прическу дочери.

Я часто замечал, как женщины иногда из маленьких дочерей делают словно бы взрослых подруг, таких «товарок по партии женщин».

Девочка то отбегает, то возвращается к ней, чтобы прижаться к животу ухом. Она не лепечет умильно, а разумно говорит деланно равнодушным тоном, но все-таки лукаво и хитро, как очень маленькая женщина:

– Мамоchка-мамоchка-мамоchка, я хочу, чтобы...

Девочка, принимая преувеличенно наивную личину, как только умеют девочки, прелестно замирала.

– Если будет у меня... будет маленькая сестричка...

И дальше она выпаливала:

– Чтоб ее звали Акулинькой или Феклушенькой.

На что мать очень серьезно отвечала:

– Это чтобы она была у тебя на посылках, как в «Золотой рыбке». Откуда ты извлекла эти имена? Словно дворовые какие-то, просто крепостные, позор для советской девочки какой...

Волосы из взрослой прически рассыпаются светлой паутиной, такой призрачной копной, дышат наэлектризованным шелком.

Отодвинувшись от матери, девочка оборотилась, и я случайно на какой-то миг перехватил безвременный детский взор, умудренный и просветленный, – девочка была погружена в свои непостижимые глубины и ничего вокруг уже не примечала.

Это была сцена, равная своей завершенной выразительностью картинам Шардена, где тоже дети, занятые простыми делами, – домашней молитвой перед тарелкой супа, созерцанием крутящегося волчка, будто бы сучащего из их зрительного волокна нить жизни, или испытанием карточного домика, который не разрушится никогда.

Общий неземной смысл роднил этих детей.

Казалось, они все таковы, и врасплох застать их невозможно.

Ничего аналитического, а такое, данное по непостижимой причине, разверстое знание будущего – безрадостного и конечного.

Будто все – гармоничный, идеально выстроенный натюрморт.

Бульвар испещрен агитационными плакатами, и пара жестяных с потеками ржи прямоугольников на подпорках, вбитых в землю, прямо передо мной. Людская похабщина, процарапанная прямо по изображению, лишает их зловещности.

Портреты детей, нарисованные плохим художником, словно по грязному трафарету, венчают короткий апокриф. Маленькие Голиафы жертвовали собой без раздумий.

Текст незатейлив, каждый может запомнить его наизусть. Но очевидно, его никто кроме меня не читает, а высохший кал, осколки, доносящийся порывом дух отхожего места переводят все эти атрибуты в обычную маету. Да и на передовице газеты, оставленной на лавке, – заретушированный вострозубый мальчишечка, вкалывающий в поле рядом со старшими. Какой-то зловещий культ.

Еще одна простая сцена привлекла мое внимание. Мать беспрестанно шлепала, довольно-таки сильно, со значением, орущего ребенка по руке, она, склоняясь к нему ближе и ближе, назидала:

– Правой рисуй! Где правая рука? Правую покажи! Правой, засра-нец! Сейчас левую отрежу! А ну-ка дайте мне пилу, у дяденьки пилу шас как попрошу!

Она сильно заводилась, встряхивая свежими бараньими кудельками, только что снятыми с бигуди, их блестящие гильзы, рассыпанные по платку, могли от ее зычного голоса начать стрелять сами по себе, если бы были заряжены.

– Будешь у меня уродом на всю жизнь леворуким – ни в армию, ни на завод, никому! А!!! Никому? Только мне все тебя вскармливать?

Это был перебор.

В своем гневе она была прекрасна, как Эриния. Ребенок отбегал от нее, но тут же возвращался, протягивая для наказания левую руку с карандашом. Она не на шутку распалась, и было очевидно, что ей просто не хватает мужчины. Рядом с нею на лавочке еще несколько молодых мамаш заинтересованно смотрели на избиение, назидая своим крохам.

Вообще, эстетика наказания понижала этот мир, словно замерший в ожидании порки жаром наступающего дня.

Я был как Гулливер в опасной крошечной стране, я ничему не соответствовал, я знал только язык.

Мать уже рвала изрисованные бумажки:

– Какой рисовал, ублюдок, а, какой?

Проходящая приостанавливается, она громко говорит:

– Да как можно, гражданка? Ребенка?! Прекратите ради всего святого!

Последние слова, сказанное ею, кажутся мне диверсией.

Оголец заученно протягивал левую лапку с обломком карандаша для наказания. Но мамаша, презрительно не замечая защитницу, обернулась по сторонам, как курица, погладила с нажимом сынка по голове и заспешила к густому кустарнику.

Я понял, что ей необходимо хоть как-то унять изнурение, переполнявшее ее.

Свист струи запенил теплый воздух.

– А мама писиить в кусты пошла! – радостно сообщил всем ребенок. – Писиить, писить, писить, писить!

Он просто упивался этим словом.

– А куда ж еще, деточка? – проворковала смущенная защитница. – В кустики, конечно, мамочка пошла, в кустики.

И я почувствовал, что никогда не пойму, как должны в этом мире завершаться самые элементарные мизансцены.

И мальчик, ожидая мамашу, замер. Он, казалось, бесконечно погрузился в себя, как случается с детьми, которые иногда выглядят ошеломляюще мудро. Он ничего не делал, но в этой совершенной невыраженности все равно проступали ничем не вызванный восторг, пугающая глубина его жизни, будто сейчас полетит абсолютное.

По бульвару очень серьезно поспешает надменная особа, она не то что по-особенному приодета, а просто прибрана согласно особенному, не уличному уставу. Опрятность ее кажется чрезмерной. Блуза белая, юбка темная. Прическа, зализанная к пучку на темени. Дамский невеликий

портфель. «Какая удивительная порода», – подумал я. Видимо, это служащая учреждения, и от нее в этой жизни, может быть, что-то зависит.

На какой-то рытвине, которые и составляют покрытие бульвара, она сильно спотыкается, подворачивает ногу, чуть не падает, роняет свежий портфельчик.

Случилось непоправимое, наверное, то, чего ожидали все прохладяющиеся на бульваре, мимо которых она так важно прошествовала, – каблук непоправимо отломан.

Это происшествие моментально проявляет всю суть ее натуры. Когда она увидела, что произошло, то остервенела в мгновение ока – просто стала собою: злобно обернулась по сторонам в размалеванном грязном гриме озверения, поглядела на всех узкоротой сощурившейся гадиной. Стала слюдяной. Господи, будто бы фамилии переписала, подумал я.

Я бы не запомнил такую цирковую репризу, если бы не тощий мальчик, бегающий вокруг со сломанным фотоаппаратом на шее.

В камере с прорванной гармошкой, без объектива, целым был только, наверное, шнурок, на котором эта коробка висела на животе «фотографа».

Он под смешки «щелкал» сидящих на лавочках, пятась на несколько шагов в клумбу, – парами или вместе с детьми и, приблизившись на расстояние вытянутой руки, – портреты порознь.

Он серьезно пристраивал камеру, закрывал и открывал ладошкой дырку от объектива, он важным тоном сулил позировавшим: «а сейчас вылетит птичка». Он тут же щедро раздавал волшебные карточки, которые все с удовольствием принимали, доставали волшебные невидимые деньги и подробно расплачивались.

Взрослые, подзывая своих отпрысков, уважительно просили его:

– А нас щелкните-ка, пожалуйста, товарищ фотограф!

Мальчик не отказывал никому.

Эта общая искренняя игра был сколь наивна, столь же и ошеломительна. Будто я подглядел что-то сокровенное, что не показывают чужим. Может, это было таинство?

Важная особа, еще переминавшаяся в нерешительности посреди бульвара с поломанной туфлей в руке, вдруг как-то казенно вскрикнула «фотографу», когда он подходил к ней:

– Прекратить фотографирование немедленно!

На что ей нервный мужик, который минуту назад так широко жестикулировал, быстро ответил, так как был отчаянным и уже не умел бояться:

– А какое твое растакое дело, тетя, твою мать? Евойный-то аппарат. И не командирь тут, нашлась. Щелкай, щелкай, пацан, не бойся ты ее злобы. Вот будет он в сам деле-то фотограф, а ты к нему, к примеру, и придешь. То да се. Сделай, мол, в лучшем виде. Он уж тебя так уделает – и не покажешь никому. Как взглянешь, от страха обоссешься.

Он помолчал и добавил с сожалением:

– Негритоска.

Будто она своим глубочайшим туземным невежеством испортила таинство, происходившее тут.

Было видно, что люди настолько заняты недавним прошлым – калечеством, уничтожением, что им, по сути, ни до чего нет дела.

Живы, живы – настаивали они. Рук-ног нет, но все-таки живы! У домов на вынесенных стульях, на табуретках, на маленьких дощатых плотиках с колесиками громоздились молодые обрубки...

Скрипели тележками, выбрасывали при «ходьбе» деревянные рукоятки, как короткие весла, более целые парусили заправленными за ремень пустыми рукавами сорочек. Мне почудилось, что это уменьшение только способствовало витальному напору, который был разлит повсеместно. Люди, претерпевшие калечество, словно шли против течения, как лососи на нерестилище, одолевая силу течения времени своими телами с гудящими гениталиями. Весь этот мир выживших был гальванизирован желанием, и чем больше был ущерб, тем сильнее было это чувство.

Мне начало казаться, что все «целые» под подозрением, и меня подмывало, как в детстве, пойти на прямых негнущихся ногах циркулем*, зажмурить один глаз или вообще выставить руки, как слепец, на худой конец, – повесить безвольную руку на перевязь из бумажной бечевы или грязного вервья.

* Я так однажды напугал пожилую пани, когда, наигравшись таким образом, заспешил обычной своей бодрой иноходью здорового недоросля.

ДОМ ИНВАЛИДОВ

Я шел по старому городу, совершенно не задетому бомбардировками, дальше, дальше, глядя по сторонам, не видя уже ничего такого особенного. Облезлые, населенные многими жильцами высокие особняки ампириной архитектуры, иногда они отступали за красную линию, в глубокие палисады, более опрятные учреждения, косые деревянные заборы цвета протравленной меди. Но вот прямо у моего носа запрыгала коробочка на нитке. Я посмотрел вверх – нитку зубами держал человек, который помотал мне головой. Я все понял – папирос у меня не было, так же как и денег. Я пожал плечами и только развел руками. Голова, не разжимая зубов, внятно выругалась, я был послан известно куда.

От этого дома, стоящего на высоком бугре, там, где улица сбегала к паромной переправе на другую сторону реки, открывался умопомрачительный вид. Он казался еще чудеснее, невзирая на неистребимый дух соллярки, дымный кашель движков, густую чехарду людей. Мне сверху было видно, как они роились вокруг тех, у кого был баян, гармонь с колокольчиками или трофейный аккордеон. Мехи разводились из стороны в сторону, звуки лились, мешая друг другу.

Издали казалось, что играющие пестуют огромных личинок с перламутровыми головами. Зачем столько звуков?

Из окон дома, откуда спустилась ко мне коробочка, свешиваются покалеченные люди – видно, как они страдают от безделья. Они пытаются иногда что-то задорное кричать в пространство, туда, где народ, машины, переправа, – окрик, шутку, призыв, но отзыва не получают, так как в жестком театре новой жизни это не предусмотрено.

От этого дома-матки недалече отходят «ходячие», те, кто могут хоть как-то передвигаться, отталкиваясь от земли, висясь, держа друг друга в зыбком равновесии.

В окнах попеременно славянские и азиатские лица, будто они собрались для того, чтобы создать новую смесь, породить нового гомункулуса, лишь алхимической силой своего желания жить, курить, смотреть в окно, орать что-то, давиться слезами и в голос рыдать.

Меня не оставляет чувство, что смотреть на них невозможно, так как я навсегда для них останусь соглядатаем, даже против своего желания не быть им.

На лавочке преувеличенно безразлично курил одноногий парень, он картинно отводил папиросу ото рта, выпуская узкую струйку дыма, и я по-

чему-то стал молиться Ченстоховской Божьей Матери, подняв глаза к небу. Около него ведь не было костылей, и у него был шанс.

– Господи!

Он выпростал подвернутую ногу!

– Целый! Господи, слава тебе! – перекрестился я.

Меня словно подхлестнул скрипучий голос прохожего:

– А ты, гражданин хороший, им со свой жмени еще налей, да хоть на землю плесни, – а они как хошь, хоть ноздрей, да выпьют. Это ж мастера, на все руки мастера, если руки-то есть, – он почувствовал мое замешательство. – А лучше ты иди-ка отсюда, коли не вафлёр али вафлист, как этот, на которого ты глазел. Тут только они и шастают туда-сюда, туда-сюда, а те, любезные, и рады. Вон кусты густые. Да еще бабы подставляются повсякому, но это, извините, поближе к темнотище.

Передо мной раскрывается воистину картина старонемецкого письма с тщательно, любовно прописанными детальками. Бывает такое упоительное, совершенно заглаженное анонимное письмо, в котором нет места ни омерзению, ни ужасу, – веселые игрушечные заголившиеся психи кормят друг друга с ложки дерьмом – сплошное приятие этого нестрашного ада, не то что у итальянцев.

Почему-то мне все видится каким-то уютным и мелким, не имеющим теневой оборотной стороны, будто это жизнь скоротечных насекомых, перебор бирюлек специальным стеклянным крючком.

Наверное, эти страсти, вдруг представшие так откровенно мне, в обычном людском формате непредставимы.

Я ретируюсь, и прохожий несколько шагов еще идет рядом, делится своей осведомленностью, не обращая никакого внимания на мое молчание. Говорит, что их, живущих в этом интернате, теперь стало поменьше, – кого-то, кто хоть как-то жив-цел, кто что-то делать помимо этого самого дела может, бабы вдовы поразобрали, да и самые отчаянные уже «посигали», слабаки им подсобили, всей палатой, а герои – те посигали.

До меня не сразу доходит, что все это означает.

Вдалеке, невзирая на этот инвалидный дом, да и вообще на все немислимые контрасты обступающего меня мира, скатывался небесным туловом с редкими пятнами облаков гигантский, совершенно непомерный рулон ландшафта, будто бы имеющий «щель» схождения, главную горизонталь, протяженную координату умиротворения, как сказал бы в другой жизни я, разглядывая пейзаж Уистлера, к примеру.

Но здесь главенствовала не эстетика целесообразного исчисленного зрелища гениальной картины, а какой-то грубый и дерзновенный магнетизм мощи, который вряд ли можно было бы отразить искусству.

Я смотрел как замороженный, мне был слишком хорошо ясен избыток моего созерцания, и тем дороже оно, не улетающее бусиной в центр схождения, становилось.

Меня осенило – в этот пейзаж нельзя прицелиться.

Его мир устроен по-другому, в нем нет хитроумия.

За его существование во мне ответит только витальная сила «много-ярусного» пения, поддержанная его неслышимой реверберацией цвета, блеска, проницаемости и протяжения.

Кажется, что такому зрелищу не будет предела и в жестокосердной гармонии уродства и калечества, и в праве непристойности на жизнь, и в способности времени быть протяжным.

«Разве все это незыблемо?» – спрашивал я себя.

Отчего же?

Ведь в этом нет жесткости, хотя, зримое, оно во мне отвердело до степени тверди, если бы я мог ее коснуться.

И я как-то спокойно понял, что мне останется, останься я тут.

И я понял, что со мной в худшем случае произойдет.

Какая мощь меня легко одолеет.

Из каких клейм я сам на себя посмотрю.

Ведь эта видимость так легко зажует поглядевшего в его чрево.

Заставит прозвучать мое сердце силой того звука, которому я еще не могу внимать.

ПИВО НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Тихий гул почти не говорящих друг с другом людей. Они будто только что начали опробовать себя, как оркестранты, собравшиеся в яме, свои инструменты; они складываются в замедленную и целесообразную толкотню у низкого, чуть выше человеческого роста плоского пивного павильона – правильное слово к этому сооружению выбрать затруднительно. Будка? Киоск? Ларек? Просто параллелепипед.

Геометрически завершенное строение стоит на краю небольшого пустыря, прижимаясь к сросшимся кустам боярышника и низким ивам, как к кулисе, в зеленой путанице которой можно укрыться. Прямоугольное, как насмешка над евклидовой геометрией, грубое, как неоспоримый тезис, крепко сбитое, как заранее принятое решение. Кажется, что на этой территории что-то происходило вчера, важное и тревожное, от чего остаются надолго невидимые следы, о них будет всегда спотыкаться зрение, не различая их; в их лакуне, лишь подразумеваемой, будет вязнуть слух.

Кажется, что люди, ждущие своей очереди, угнетены и приуменьшены тем, что случилось на этой вытоптанной помятой луговине.

Там продают пиво в разлив.

В кружки, бидоны, канистры и прочее Что у кого найдется.

Народу преувеличенно много. Никому и в голову не придет, что пиво в оконце этого строения может иссякнуть, ведь абстрактный, нерукотворный вид этой будки вносит убедительность в ожидание, которое должно быть вознаграждено.

Я потом еще много раз встречу подобные алтари, будто сами собой проросшие на задних дворах, поставленные безбожным храмом на пустоши, притиснутые к слепым брандмауэрам, вписанные во фронтальные композиции бескомпромиссных пустырей, попавшие в зону циничных задворков, омываемые железнодорожными разездами и всегда – темными приисшествиями, случившимися поодаль.

Кажется, что и эти люди стремятся туда, чтобы испытать чувство нескрушимой завершенности, ведь если не причаститься простых даров, то им не воплотиться в самих себя, не вместиться в свое собственное тело.

Чего же можно ждать в таких местах, как не покоя?*

* Меня потом часто посещала мысль, что, как бы ничтожно и убого ни было питейное заведение со всей паскудной атрибутикой, оно всегда хранило в себе черты уюта и завершенности, словно материнская матка, где зародыш защищен многократными оболочками, пока колышется в теплых околоплодных водах мерного хмеля. И неслучайно один из видов

Кому повезло и досталась кружка – пьют неторопливо из нее, собравшись кружечной привилегированной компанией, другие, простаки, – просто отхлебывают по кругу из бидона, еще кто-то, совсем пропащие, – из банок в одиночку, передвигаясь от группы к группе. Но их не принимают.

Держится сильный мокрый дух, он восходит от мягкой почвы, под ногами клочья распотрошенных посохлых рыбешек, очистки, головы, хвосты – то, что уже невозможно съесть или обсосать, еще затоптанные клочья газет, на которых устраивают закуску, раздавленные короткие окурки – все это покрывает кислую почву, как перхоть. И все это так целесообразно, как императив, что не производит впечатления грязи. Меня всегда удивляло, отчего же людские скопления отвлеченно прекрасны, как увеличенная архитектурная деталь, какая-то покривившаяся гигантская рустованная колонна, чуть шевельнувшаяся колоссальная драпировка великой декорации.

Бедные люди пытаются как-то ритуализировать эту выпивку, придать ей систему опрятности, встроиться в летний пейзаж, не быть в нем лишними; и вот они застилают ломаные грязные почерневшие ящики светлыми газетами, вольготно присаживаются на бревна, а некоторые, не в силах перебороть привычку, приседают на корточки, и по ним сразу видно, где они проводили крошечное время своей жизни.

Мне много раз приходилось убеждаться – у выпивающего человека вдруг обостряется чувство симметрии, как у кошек, всегда усаживающихся в геометрический центр коврика, тряпицы или светового пятна, просочившегося на половицы. Может, это связано с вестибулярным аппаратом, понижающим пьяного в разряд животных, но наделяющего его особенной чувствительностью гравитации, которая, проницая все, парадоксально за чувство симметрии и ответственна.

Но вот тон общего благодушия буквально колеблется надо всем, как испарения над болотом в жаркий день, они ведь иногда становятся почти видимыми. Вот спокойно делятся небольшими деньгами с теми, кому честно не хватает, но как-то оттесняют тех, кто бессовестно побирается. Кружек не хватает, и беспардонные энтузиасты обходят овальные компании и просят поторопиться.

Почти все курят и пьют одновременно.

Небольшая компания поит человека, от которого остался только торс с головой и ногами, они суетятся вокруг него, будто сейчас приоденут и вернут руки на место, как витринному манекену в магазине одежды. Выпив из кружки, поднесенной к его губам, он что-то просит, ему преувеличенно нежно вставляют в рот папиросу, и он стоит среди компании, вскидывая голову, будто отбрасывает мешающую челку, пуская поверху дым, хитро и радостно щурится, будто первый различает отдаленные раскаты над пре-

национального спорта, который я буду наблюдать повсеместно, – уточняющие тщательные воспоминания о степени опьянения. Слово с восторженных или ужасающих пьяных видений люди хотели снять флер бреда и недостоверности и перевести их в мир целесообразного и конкретного, во всяком случае, превратить их в то, что можно серьезно и обстоятельно обсудить.

красными облаками. Такая скульптура дозорного античного воина, поуродованная вандалами.

Рядом в глухом молчании, без выкриков завязывается драка, вернее, избивание. Побивают какого-то опустившегося типа, будто это естественный поворот драматургии, ход неслышной музыкальной пьесы, которая где-то внутри одинаково играет на невидимых инструментах всеми собравшимися тут. Вряд ли это уличенный карманник, скорее – банальный наглец, не соблюдающий очередь. Он сплевывает в жменю, что-то говорит отчаянное, зажимает лицо. Но почему-то не отходит. К нему быстрыми скачками приближается одноногий мужик на костыле и бьет его просторным театральным размахом. Оба падают – один, приняв удар, запрокидывается, как кегля, другой – с разлетом, очень красиво, потеряв воздушную опору, по глассаде, протаскившись физиономией по земле. Его поднимают, прилаживают костыль, словно стойку шасси, и старательно отряхивают, будто готовят к новому полету. Все происходит без эмоций, механистически, видимо, не в первый раз.

Этот эпизод не привлекает внимания. Как и череда прекрасных облаков, нисходящих с высоты. Облака гигантские, как на героических пейзажах; и вся копошащаяся жизнь пивных людей не кажется совершенно незначительной, а становится частью общего прекрасного мотива.

Я ловлю себя, что давным-давно давно стою как вкопанный и просто глазею.

Вот ко мне подходит немолодой человек с бидоном:

– Чё, не на что, что ли, брат?

– ...

– Контуженный, – прислушивается он к моему молчанию.

Он протягивает к самому моему лицу бидон. У него совершенно потемнелые руки изработавшегося человека. Он одобрительно улыбается:

– На-ка, хлебни пивка.

Я через металлический край утыкаюсь в теплое желтое вещество. Всего пару глотков.

– Ну будет, будет, – он мягко отводит от моих губ край бидона, и я на мгновение делаюсь маленьким мальчиком, которому в жаркий день дали напиток. Может, это Павлик так постарел...

«Ах ты мой родненький».

Как дополнение общей картины, допускающей столько вариаций, немного на отшибе сидит нетрезвое существо, женщина, у нее передние зубы еще сильнее укорачивают верхнюю губу, будто бы она не в силах подавить удивление перед очень простыми вещами: возможностью видеть свет дня, грызть подсолнечник; она сплевывает лужгу, как специальный автомат, бесстыдно глядит на мужиков, которые с ней не шутят, и как-то едва отряхивает свою неопрятную одежду. Рядом с ней оловянная миска с желтой жидкостью, видимо, с пивом, опивками. Вытянутые голые ноги, обутые в растоптанные башмаки, совершенно непристойны, как будто они ее сугу-

бая особенность – и она первая во всем свете показывает людям голени в обильных почернелых синяках и свежих ссадинах. Вот уж точно – цвет ее глаз заметить невозможно.

Она точно не побывала в оккупационной зоне, немцы-прагматики таких в живых не оставляли.

Как воронка, она втягивает в себя все: зрелище толпящихся пьющих мужиков, неодолимый ход часов, температуру воздуха. Одного взгляда было достаточно, чтобы удостовериться – для таких шуток нужен Бог в той же степени, как и его отсутствие. Когда я глядел на нечто подобное ей, то удостоверился, что это зрелище очень много значит, ведь привыкнуть к этому унижению невозможно.

Начинало казаться, что ее одежда – выгоревшая и лоснящаяся, потерянного синего цвета – заражает собой и цветущий кустарник жимолости, рядом с которым она устроилась. Никому не нужная, словно диверсантка исчезнувшего времени, когда еще кому-то до нее было дело.

Ее фигура бурит собою скважину во всем зрелище, простершемся вокруг, стягивает человеческую мишуру, как скатерть во время застолья – стоит только взглянуть на нее – и все дичает.

Я точно так же увидел безголовое тело в нескольких метрах от воронки, куда угодил снаряд, – и отдельно голову в стороне. Рот у головы был разинут, как в учебном рисунке какого-то классика (Делакруа? Давида?), будто она поперхнулась неким самым важным словом.

Эти не сказанные, без смысла и даже без звука и литер, были главные слова о войне. Большого обобщения я не встречал за многие годы, хотя виды были и пострашней. Но такого абсолютного узла, в котором сошлось все неодолимое бесчеловечье, я не встречал.

Вперившись в нее, я ничего не смог с собой поделать. Вот ее рваный не смыкающийся рот, обломки зубов, приоткрытое нутро не давали видеть ничего иного, ни произносить никаких слов: ее облик с неумолимой жестокой силой подчинял себе все. Если бы я мог, то накинул бы на ее голову какую-то ткань.

Я сам был таким же, наверное, спрятавшимся в купе, когда удрал... Какое впечатление я произвел на ту, которая спасла меня? Ответ был, я знаю, не в словах, а в прикосновениях, во взгляде и желании.

Из-за этой увечной мне показалось, что и день загустел, как желатин, стал видимым, сползшим к одной ощерившейся точке, в которую я заглянул*.

* Через некоторое время, когда уже ушел оттуда, понял, что было самое манящее в этой картине, – ее кормилица, у которой унесли младенца, а она, не заметив потери, продолжает баючить и тетешкать пустое место... В этом дневном времени словно была запечатлена пародия на древний сюжет. Но ничего святотатственного в этом не было, так как день с одинаковой силой живописал всех пасынков мира, чей труд взросления не просияет никогда, а сойдется в точку, на которую мы взглянули как на чешую, способную отразить блеск. Чей блеск? Лишь нашего взгляда.

ВОРЬЕ

Я хорошо понимал, что идти мне надо не очень медленно, что якобы имею какую-то цель. И я ее на самом деле имел: покинуть эту местность, где за каждым поворотом мне виделся волчий флажок, где, может быть, шла на меня незримая охота, настоящая или только в моем воображении, роли не играло. С трудом я не поддался популярному спорту – догнать раскачивающийся вагон трамвая, повиснуть на подножке и так же соскочить с нее, шарахнувшись от одной-единственной трещавшей неповоротливой машины. Но пусть это будет завтра, ведь правда, у меня есть завтра? Несомненно!

«Завтра, завтра», – бубнил я, шагая по улице, сбегаящей вниз, про себя, и легко представил, как меня в толчее мгновенно обступает несколько человек, их плотность как-то проворачивает меня вокруг своей оси несколько раз – как бревно в быстрой реке. Я даже приостановился и повернулся вокруг, будто завальсировал, и весело подумал, что у меня только ничтожная мелочь, – и представил – вывороченный карман повис подкладной, как ухо спаниеля.

«Завтра, завтра, завтра», – повторял я. Это ведь – «за воротами». «За» – приставка, «втра» – от «ворота»? Но пусть так будет. Я радостно твердил свое этимологическое открытие. Мне ведь очень надо было попасть туда, миновать первые створки своей новой жизни.

Покатая, поросшая сорняками по проезжей части улица, пересекающая бульвар. По улице кроме повозки старьевщика, кажется, никто вообще не ездит.

Пока я раздумывал, как мне перейти перекресток, нет, не опасаясь движения автомобилей – их мне встретилось за весь день буквально дватри. За ними, медленно прокатывающимися ухабы, бежали стайки детей, как за диковинными зверьми. Я просто стоял, выбирая сторону, куда идти дальше. Ко мне, замешкавшемуся, пристроился парень. Он подошел по-особенному, не останавливаясь, будто должен что-то сделать очень незаметно на расстоянии вытянутой руки – пырнуть, чиркнуть, приобнять поприятельски...

Какой такой парень? Да совершенно никакой парень – через миг не признаю. Глаза черные совершенно, даже если и светлые. Это качество ускользания и было вообще-то главенствующим во многих людях. Парень сделал вид, что тоже замешкался. Он, не глядя в мою сторону, тихо произнес фразу без начала и конца, без интонаций, будто это был сегмент его

заглубленного внутреннего императива, такой пароль посвященным, сказанный в нос, без артикуляций, не двигая губами, но я тут же понял, про что он в повелительном наклонении, гипнотизируя меня, говорит:

– Ложки возьмишь!!! Ты. С золотым черенком все. Возьмишь. Дюжина. Двенадцать, бля, их. С футляром отдаю, понял?. За бесценок по случаю. На похороны не хватает, мать братана храню, на гроб нада... Во дворе приценишься!

И он стал теснить меня в сторону.

На мое «нет, не нужны мне твои ложки» он тихо и зло вцебил, словно ожегся о меня: «А ты это... пожалееешшшшшь, ты, гад».

Его угроза тоже была как увесистый сверток в тряпице.

Будто он что-то знал про меня.

Через квартал трамвайная остановка – ничего особенного, колея в глубокой пыли, несколько человек у обочины – у кого-то свертки под мышкой, жалкая поклажа, разлохмаченная лыковая корзина у тетки с бутылью керосина, мальчик со взрослым, чересчур хорошим портфелем, перевязанным ремешком, и несколько мужиков топырят карманы, курят, видно, давно, папироса у одного сейчас погаснет.

Нельзя не сказать о странном чувстве, вдруг посетившем меня. Мне стало как-то тесно, хотя никто меня не теснил, но было внятное ощущение, что день как-то прищурился, и причиной этой атмосферической гримасы был я сам, соринкой попавший под веко чудесного жаркого полудня, мне казалось, что этот преувеличенно светлый час меня вот-вот сморгнет. Я перехватывал шарящие по мне какие-то очень уж безразличные, но твердые взоры. Чуть задев меня по касательной, они просто отскакивали такими невидимыми шариками из прозрачного каучука. Не почуять их резкой мгновенной подачи было нельзя. Эти мужики точно были компанией, даже стараясь держаться порознь, – их связи буквально прочерчивали воздух, делая эпизод ожидания отрететированной мизансценой.

Я отошел подальше и решил, что сяду в другой вагон.

Вот трамвай с дрызгом сполз с высокой улицы.

В полупустом вагоне – я даже наметил место на длинной желтой скамейке, как любил, недалеко от выхода, подальше от кондуктора, – непостижимым образом оказался перекручен несколько раз вокруг своей оси, как скользкое бревно в стремнине: один мужик преградил проход, перекрыв его широкой грозной спиной, трое других плотно обступили. «Эй, баргузин, пошевеливай вал. Матка Божска. Эх-эх-эх, вот, значит, берут. Вот и попался. Сразу обыск», – пронеслось во мне, я, кажется, хмыкнул своей глупости, но было поздно – меня в этой мужичьей чашобе вращали и обжимали. Будто сейчас последует свальный грех. Повальный осмотр.

Я только засек, на какую глубину ввинтился своим взором в меня один – совершенно выгоревшая радужка, пригвожденная черной шляпкой

зрачка. Он громко дышал носом. Меня обдало жаром его напряжения. Так глаза не выгорают от солнца. Ведь можно обесцветиться и в других местах.

Они исчезли, просто соскочили, будто их и не было.

Меня банально обчистили.

Вытащили все – деньжонки, спасительный документ...

Я почему-то стал все резко замечать: как от старой девушки, сидевшей поодаль, пахло старым сухим шкафом, который стоит в общем коридоре, но соседи в него из-за шепетильности не заглядывают.

Почему-то в этот момент я понимал совершенно посторонние вещи – что этот бесчеловечный запах секретов не заглушить никакими ароматами – ни амброй, ни мускусом, ни цедрой, ни ванилью... Дева делала вид, что ничего не произошло и ее единственная цель в этой жизни не проехать остановку, но пальцы, которыми она сжимала идиотский потрепанный ридикюль, предательски белели и должны были вот-вот хрустнуть.

Когда-то такими же белыми пальцами Г. держал мои запястья, словно я мог куда-то от него деться. Что бы ни произошло. Но причину его жеста я помню так хорошо, что могу увидеть, так как слова, слова находятся там, где уже никого не пугают.

Чертыхаться было поздно. Я вжался в выемку лавки так плотно, что, кажется, и не трясся вместе с ковчегом этого трамвая, я только замечал, как его качало и валило вбок на стыках, как он буквально драл боком разросшийся одуревший кустарник, высаженный по краю улицы, в самую колею.

Вот идиот! Я еще раз провел по пустым карманам, ощупал свои бедра и ягодицы, будто уже собрался стянуть штаны, и громко хмыкнул. Кондукторша, вторя моему жесту, тоже стянула с головы косынку, завязанную чепцом, и стала отирать себя и обмахиваться ею. И я заметил – слой пегих слежавшихся волос, будто глиняные, и то, что она не развязала узла. Это не было условным знаком, хотя она пристально и как-то жалко смотрела на меня, будто ударила и сразу пожалела об этом.

Ну только этого не хватает! Да!

То, что эта деталь показалась мне такой подробной, расстроило меня куда больше, чем кража, – я представил, что скажу В. А. об этой женщине, не потребовавшей с меня денег за проезд.

Смогу ли я хоть как-то совпасть с этой жизнью? Я ведь начинаю внимать (это правильное слово, да – внимать, почти вынимать, но наоборот, ведь можно вынимать в себя) и сочувствовать ей не как отчужденному зрелищу, которому стал случайным свидетелем, а только когда меня пожалели.

Эпизод кражи, отступая от меня, издевательски давал попятный ход. Все закурилось во мне волчком.

Во мне вырос тот, кто минуту назад с безразличием взирал куда-то в сторону трамвайных путей, но выпарапывающий всего меня своим боковым зре-

нием; ведь он умудрялся «не смотреть» на меня таким образом, что я вдруг вспомнил всей шкурой, чуял исподом, – как ему стало видимым во мне все – и чудесно обретенные бумажки-документы, и мятые выцветшие ничтожные деньжонки в глубоком кармане, и закатавшиеся от ходьбы трусы, теснившие жгутом мою промежность и мошонку, и даже перламутровый лоск селезенки, горящий внутри моего тела, будто я уже убит.

Да, он смотрел – нет! это словно не годится, – смотрит и посейчас – мимо, но насквозь. Из меня в меня.

Его взор был рассчитан на то, что никогда не встретится с моим, будто мы вылезли из окопов для того, чтобы друг друга порешить. Я понимал, что стал для него объектом охоты, и вот он меня уже обошел со всех сторон, если это возможно для одного человека.

Но все-таки, все-таки он послужил моделью живописцу.

Иначе как я мог запомнить и его голову на напряженной смуглой шее вполоборота, и слепленные оладьям уши, и нос без выраженной переносицы, сползающий одной широкой полуколонной-хоботом с покатога лба. Еще – общая непроницаемость, будто он глухой.

Как и где он бреется? В норе, окопе, шалаше?

А вот об этом я и не успел тогда подумать... Это я так. Теперь.

И на мне остался их липкий дух – нутра непропеченного ржаного хлеба. Да, да! Такое духовище преувеличенного неутолимого голода, всполох похмелья постоянного риска.

Я не мог отмахнуться от растекшегося несъедобного и жадного запаха, от того, что невещественно, но что навсегда прилипает к сточенному ножу, которым клейковину этого дня пытаются нарезать еще раз, и еще, и еще...

Наискосок сидел совсем маленький юноша. Этакая зверушка из пушкинской сказки, он сучил перед собой перстами сухой маленькой руки, словно крошил несуществующий мякиш, предназначавшийся со всей очевидностью мне, будто мы были чем-то с ним связаны. Он плотно сжимал колени и как-то клонился к ним против воли, будто в нем начинали ходить невидимые поршни, которые он не мог одолеть.

– У тебя все денежки покрали? Дядя! Прямо все покрали? Из кармана? А у дяди, дяденьки денежек нет! Другие дяди покрали! – гундосит он сквозь спазмы.

Я спрыгнул на разбитую мостовую.

Я понял, на кого вообще-то те «другие дяди» походили – на лихорадивших больных. И им большого напряжения требовалось, чтобы придуряться даже самое малое время здоровыми людьми.

И еще.

Один из них что-то по-детски ел, не отнимая руки ото рта – в его заскорузлой жмене темнел жареный пирожок, как губка, которой можно

промокнуть губы; он, слишком долго стоя на остановке в ожидании подходящей добычи, забыл отнять его ото рта.

Я сошел и какое-то время просто стоял у наклеенной на планшет газеты, в которую бессмысленно уткнулся.

Потом до меня дошло, что это был литературный разворот.

Глаз мой прыгал с абзаца на абзац, выхватывал странные повороты фантазии.

Эту самую газету принес домой В. А., в нее был завернут темный шмат сайгачатины:

...создал превосходную ферму мясных голубей, и такое это нужное и богатое дело, что и половину готовых мясопоставок колхоз выполняет голубиными тушками. Идут эти тушки в санатории, больницы, детские учреждения. Там из них готовят вкусные и питательные супы, нежнейшее жаркое и т. д.

...Ворчливо-ласково шумит самовар, множеством янтарных глаз веселит гостей глазунья-яичница, плывет томный запах шампиньонов, поджаренных в коровьем масле, осыпанных укропом, молодым луком... А приметливей всего медовушка, старорусская медовая брага, от которой молодеет сердце, чудесно светлеет в голове...

«Ох, и зачем они едят голубей?»

Молитва сама нашла меня:

«Господи, ну как Ты любишь меня, блудодея?

Персть моя никогда не станет чистой?

Разве это так?

И губы?

Только тень от тени Твоих благодеяний, ниспосланных не мне, прошу я.

И этого будет премного».

– То-то у тебя, сука, посветлело. Диверсант херов, – сказал вроде сам себе мужик, пристроившийся рядом, будто и ему надо было прочесть то же, что и мне.

Ну просто невтерпеж.

Я глянул на него. Даже в такой близости он был не проявлен, будто сейчас засветится, как эмульсия, и исчезнет навсегда и, не сходя со своего места, совсем опрозрачится в моем восприятии, невзирая на свою феерическую телесность – букет запахов, тучное тело, несвежую нелепую одежду.

К реальности меня вернул его жест. Он вынимает из нагрудного кармана рубашки гребешок и расчесывает свои бесцветные волосы – они липко вторят форме его черепа, жирно серея.

Будто он окунулся в бочку.

Последний жест, когда я чуть отошел, – он затыкал пальцем ноздрю и высвистывал из себя последнюю толику смысла на побитую дорогу, чтобы просто реально схлопнуться с этим звуком.

Я потом замечал, как редко пользуются платками люди, сплевывая, харкая, лузгая и соря объедками. Будто люди прозрачны, как гомункулы Парацельса, и, не жалея себя, легко расстаются с тем, что начинает насыщаться цветом в их стекловидном нутре, – вот и звонко летит плотная харкотина, такой малахит, тина, разведенная в молоке.

Но в этом есть и жест человека, лишённого не только социального профиля, корней, но и вообще исторического смысла.

Действительно, понимал я, все прозрачны, так плотны, что уже насквозь поблекли.

В. А. сказал бы:

– А что вы хотите? Война, бескормица, все изнурены, ТБЦ, счастья-то нет, друг любезный мой...

НА ПУСТЫРЕ

Как-то незаметно, словно я стал дождевой водой, я стек к овальному пустырю, который, может, когда-то градоустроителями мыслился выпуклой площадью. Сверху куполом выгибается героическое небо. Как тело у великих классицистов – Пуссена например. Можно в мешанине белых сгустков вычитать кисть руки гиганта, держащую корм у вывороченных губ или откидывающую перистую прядь, развившуюся на ветру, угадать парный след умчавшегося паровика – это все, что осталось после прощания. И голубизна в промоинах, как холод обольщения, когда уйдут, даже не поцеловав.

Как ни странно, это созерцание делается грустным, невзирая на упоение, мощь, внеположность.

Мне всегда представлялось – такое же небо оттискивалось в глазах убитых в яростный день.

Эта безнадежность скрывает столько надежды в себе.

Это удивительно.

В неживых глазницах, в которые мне доводилось заглядывать, на самом деле никаких отсветов не было, первое, что происходит с помертвевшими очами, – пропадает отражение.

В жаркий день небеса перед вечерним временем синеют так, что кажется – они встали на ноги, поднялись в полный рост. Они просто топчут военные дымы, бегущие так низко, что их буквально можно задеть рукой. В стеснительной синьке. В крашеной вате.

Прекрасная скульптура горько-черного, какого-то неистового гранита, шершавого даже на расстоянии, как будто вечно мокрого, не принимающего свет и тепло, не нагревающегося и не остывающего с тех самых пор, как монолит изъяли из распада.

Своей темной массой монумент ощутимо вбирает свет, мелеющий к вечеру.

Невзирая на происшествие, угрожающее всем моим планам, не заглядывая на эту черную фигуру, по какой-то странной прихоти возведенную на городском пустыре, отвернувшуюся от низких домишек, было невозможно. Одиноким ратником, восставшим тружеником, возвышающимся клыкком в опустошенном мире ничтожных выстаревших построек, влек любой взор, так как был узлом будущей урбанистической кристаллизации, прекрасным обещанием, началом идеального города, волшебным

перекрестьем будущего времени, где сойдутся проспекты самозабвения, покоя, умиротворения, уверенности и счастья.

Даже в вечереющей пустоте чувствовалось, что на фигуру глазают, даже не видя ее, – ведь она стала совокупным пределом для всех взоров, когда-то утопших в ней. Мистическим перерождением прозрачных взглядов, которые не смогли отразиться от вознесенной темношершавой грибки, так похожей на человека.

Не видеть нагло чернеющий острый термитник, посягающий на синь небосвода своей спиралью, было невозможно. Он выкручивал пустыр в гигантский завиток, в обратную воронку, в невидимый смерч, и мне показалось, что даже после исчезновения он оставит после себя незаполнимую полость. Поэтому столь органичным он казался, что можно было и не замечать его восходящий зиккурат. Как дерево.

Высокий постамент, плотно составленный из уступов кубистических аллегорий, где сошлись в мистический кристалл ратоборцы, пахари, ремесленники и проповедники, подобострастно взгромождал мужскую полуголую фигуру, которая будто все время взбиралась вверх, опираясь о молот, как об альпеншток, – выше, выше и выше – на самое заоблачное острие истории.

Этот совершенно неизвестный мне скульптор как-то зловеще понимал, с каким материалом он имеет дело. Оболочка трудящегося-мистагога, составленная из незавершенных, словно сдвигающихся друг с друга эпюр его членов – стоп, голеней, таза, корпуса, торса, плеч, рук, шеи, головы и, кажется, чего-то уже невидимого еще выше и выше, была непостижимым образом уравнена черноте угрожающего вещества пористого траурного камня, который, восходя движущимся мужским телом, попирает вся эту тоже восходящую динамику, метафизически ниспадая смертным непроницаемым тленом.

Будто душа атеиста посредством метемпсихоза воплотилась в неподъемный вес, не имеющий уже никаких свойств, кроме массы.

Магия простых инструментов труда сквозила во всем подвижном облике скульптуры – цилиндр, поршень, шарнир, сегмент сферы. Они прорастали из темных недр камня, взаимодействовали, закручивали зрение вокруг себя, рассеивая острый взгляд наблюдателя в вихревое облако.

Будто бы именно этот неизвестный мне скульптор извлек гармонические смыслы Эвклида из непроходимой тьмы камня, заразив сумбурное городское пространство нищеты и убожества высоким и ясным смыслом надежды.

Скульптор будто показал себя дерзновенным первопроходцем, таким же, как и полуголый молотобоец-босьяк, которого он столь пафосно изваял.

По доколю шли уплощенные, словно затертые временем клейма, как затянувшиеся боевые шрамы на окаменевшем тулове, – оказалось, что всего в нескольких стигматах может уложиться новая версия мироздания.

У меня вырвался вздох облегчения:

«Да, порочным типом и обворованным субъектом в этой мировой катавасии быть не стыдно».

И я утешился.

Между разошедшимися плитами постамента пробивались мох и трава – такой живой сладкой непристойностью заголившегося тела. И еще в одном месте у края цоколя было подозрительно много лузги, видимо, тут весь день сидела торговка. И эти обаятельные детали как-то снимали богорческий пафос всего монумента.

Бугорчатая, вся в лужах, косых колеях-разъездах, какая-то разлитая немощная площадь. Периметр брошенных на произвол времени мещанских построек, обиженно ушедших в почву, обросших дурными палисадами.

Я увидел выползших к вечеру безвозрастных теток, уже одетых в бледные халаты, словно для сна, они сидят враскоряку, не забывая стягивать на коленях ветхие подола, на поваленных телеграфных столбах, будто всех вот-вот снесет неминуемый паводок. И нескольких мужиков, курящих, как стервятники, на корточках друг перед другом, в стороне от теток. Будто они только что плясали-выкаблучивали и по команде замерли, присев. В их низкой посадке можно было угадать заразительный опыт долгих осад или беспросветных заключений.

У бесколесого остова грузовика остриженные невеликие верткие дети задевают друг друга, что-то зло друг у друга отбирают. Но и в этом разное видно, что они, невзирая ни на что, заодно – ватага. Как муравьи у останков жука-олени.

Их звонкие голоса словно торопили ночь, надрезая вечерний смысл упокоения угрожающими недетскими фразами: «Я тебя изнасилую», «Ты, Серый, тварь, ты выкидыш, Серый!», «Паффф-паффф!». Во что они играли? Кого пытались известить?

Слова из недетского арсенала показались мне невозвратными и сильными настолько, что могли воздействовать на состояние атмосферы; меня бы не удивило, если бы по этой пустоши вдруг завился столб смерча. Но ничего не случилось, так как некая норма была отменена. И я догадывался – какая.

Детская речь показала мне утробу этого времени, его тайный неслышимый шум, который свидетельствовал о поступательном ходе общего беспредельного кошмара. Эти смыслы потрошения разрослись. С этим уже ничего не поделать. Мираж насилия, его прекрасного победительного смысла. Я услышал его рокот и в детской речи, в глумливых вскриках, перекрывающих друг друга.

Я почувствовал, что не могу смотреть на этого молоха как на изваяние бога; он был для этого слишком плотским, мятежным и одновременно механистичным. И я осознал, что я сам, моя жизнь, речь, все недра моего прошлого, все вместе и есть территория, куда его власть не простирается. Ведь на самом деле он, воздвигнутый из черного камня, чтобы воспеть штурм, желание, алчбу, предстал к нынешней поре недостатком и на моих глазах оборачивался формулой невосполнимого ущерба.

«Я тебя изнасилую, выкидыш!» – воскликнул внутри меня мой детский голос.

И мне уже не казалось, что я попал за алтарь, где бывать не должен. Я лишь понял, что температура этого монумента в любое время года одинакова, невзирая на погоду. Хотя бы потому, что такой густо-черный цвет никогда не отдаст даже один-единственный люмен из всего мирового спектра, пролившегося на него.

Я потом думал, что увидел оплотневшего камнем безразличного бога.

Но также я знал, что он не может пребывать в таком чине слишком долго. Ведь он вообще-то – всё и для всех, а значит, и этому времени положен конец (в этом зримом монументальном воплощении), только не все это видят.

И я не удивился, когда заметил фигуру, с замираниями, каким-то червивым пунктиром подбирающуюся к подножью истукана. Иногда тело с трудом привставало на колени, едва передвигая себя, и снова заваливалось ниц. Но это был не молящий прощения и благодати, а просто совершенно пьяный, путающийся в низком собачьем кустарнике, охватившем постамент по периметру. Мужик отмахивался от мелкого растения, словно невидимки щекотали его ноздри...

Вот он уже перестал бороться с растительностью и земным тяготением и плашмя заваливался в сон. У самых подметок бога.

По этому пустырю не прокатилась ни одна волна триумфа, наверное, здесь не успели посмотреть на казни. А вот прекрасные нечистоты и помои все так же выплескивают длинными блестящими фартуками в сторону монумента, и незаживающие лужи лиловеют, как оплавившиеся фейерверки; и люди с поклажей спрыгивают на повороте из свистящего трамвая, и он кидает им вслед пригоршни звонков и мечет из-под колес и рвет дугами животворные молоки искр, от которых когда-нибудь понесут нимфы этих выселок.

Подумав об этом, я улыбнулся.

Вот, значит, оживаю.

«Поглядим-посмотрим...» – как приговаривает В. А.

Мне надо было уходить отсюда, экскурсия слишком затянулась, и на меня начали показывать.

Узкий горизонт, словно прищурившийся от уходящего дневного жара, вот-вот сморгнет румяный облачный фронт, как ресницу, попавшую под веко предвечернего часа.

И розовые разводы должны были следом пропасть в новом времени.

Движение, не имеющее ни темпа, ни протяжения...

Оно было неостановимо.

Из форточек, подворотен, откуда-то сверху стали раздаваться имена детей, выкликаемые женскими взвизгами. К разным именам прибавлялось «домой!». Таким акустическим завитком. Будто рыбий хвост ударял о воду.

И еще: «А то получишь...».

И еще: «Быстрааа...».

Мне показалось, что всем на свете управляет атмосфера. Даже тем, что меня обчистили.

Это была зримая форма времени с лозунгами, формулами, клятвами – сплошной профиль подозрения.

И повечеревшее небо, еле удерживающее облака на одном месте, было под стать скрытому героизму и отчаянию. Затемненные, они походили на великих бородатых первооткрывателей, мятежных писателей-классиков, картавых бунтарей. И тяжелеющий небесный бетон, в котором были отлиты их рельефы, серел, чернея...

Я подумал – вот путешественников никто не признает ни в профиль, ни на просвет.

И еще этот немеркнувший циферблат свежей Селены...

Будто вот-вот следом проступит и высветится ошеломительный воздушный кремль.

АДРЕЙ-АНДРЕЙ

Я вошел в сквер, скверный сквер с низкими растениями, будто специально насаженными, чтобы никто не спрятался, не замыслил недоброе. Я переходил от клумбы к клумбе, от цветочных часов к поуродованному фонтану.

Окрест, куда ни глянь, были высажены лозунги и здравницы незатейливыми цветами – стиснутыми табаками, распускающимися только к ночи, запыленной геранью, анютиными глазками, чахлой резедой – смотрящая в жаркое небо «Победа», розовая «Слава труду», белый «Вперед», восклицательное число «1945!» и т. д.

Как маленький храм, в перспективе аллеи едко светился туалет, как домик дельфийского оракула, крашенный известкой.

Я присел на лавочку на самом солнцепеке, солнце просто давило на плечи, не давая подняться с этого места. И тут приключилась история, примерно такая же, как может случиться в тенистом сыром Тиргартене в Берлине, в укромно-знаменитом Саду теней в Вене, в выбритом и выстриженном Люксембургском в Париже... Одним словом, рядом со мной, на расстоянии двух жестов «прикурить», уселся совсем молодой мужчина. Это было сразу выразительно, так как свободных лавок было, как в театре за пять часов перед спектаклем. А он сидел в немного напряженной позе, как в зоне ожидания, и сидел так, будто только это и делал всю жизнь, не знаю, как долго... Голубоглазый выгоревший на свету блондин.

Я сразу понял, что в нем есть что-то при всем затрапезном антураже. Может быть, истовость какая-то, чуть горелый, что ли, самоуглубленье, как в Гремке. Тоже, наверное, румяный пьяница. В этом напряженном ожидании он умудрялся показывать скуку, и я, оборотившись на него, заметил, как совсем не скучно едва золотится на скулах и горит на круглом подбородке след светлой щетины.

Я понял, что-то связывало нас, хотя он просто подсел чуть поодаль. Но подняться и уйти просто так он уже не мог.

Он не был красавцем, но «низкий» шарм, блески опыта в нем были. Да ведь он тоже посмотрел на меня особенно – сначала повернув лицо, а потом подняв глаза и едва улынувшись. И я почему-то почувствовал, что он, как и я, изъят из обычного времени, где есть стрелки и циферблат. Я словно узнал в нем изоморфную протяженность – он не должен был постареть. Чувственный темный рот, словно обведенный взорами тех, кто не мог от него отвести глаз.

Но почему-то мне тогда показалось, что я первый, кто делает такое открытие. И я почуял, что меня понесло, словно я забормотал чепуху в чье-то ухо. Цвет светлых очей, в котором действительно тонут, так как не ходят никакого отклика, кроме мягкой податливости. Дурная русская голубизна, смешанная с серым, и от этого еще более пылкая и глубокая.

И он уперся в меня, как в преграду. И когда все-таки отвел свой взор, я понял, что он может оставить след своими очами в духоте дня всего лишь за один миг, когда стал высматривать что-то несуществующее где-то там, где простирается река.

Наверное, он мог бы быть отзывчивым другом, неутомимым любовником. Если бы стал им. Да, не оценить его пластическую породу было невозможно: даже в этой выношенной, но опрятной одежде он был как бы раздет, так как буквально подставлялся мне: коренастый, совсем не костлявый, в общем, никакой. Пасынок окраин. Но разве есть теперь, после войны, окраины, когда все стало ими? Я подумал все это за одно мгновение, и во мне пронеслись немое подпольное кино*.

Мой сосед выразительно молчит, и я ничего не могу вложить в его уста, ведь совершенно неизвестно – какие слова он говорил бы в том или ином случае. Его вообще, как казалось мне, внутри было мало – почему-то это было его главной очевидностью, хотя он был удивительно гармоничен. Что в нем? Я словно славословил его. И может, он это почувствовал. Славянская муть, кажущаяся глубиной и душевностью, болотистая торфяная стертость, какая-то народная доверчивость, наверное, два-три раза внимательно смотрел на каменную бабу в степи. Да, скифы...

Как ни странно, но думать о нем было для меня отдохновением, я хотел улучшить его, и действительно, лишние сантиметры роста перевели бы его в другую людскую тональность, туда, где обретаются красавцы, те, кто такое кино с такими, как он, и потребляют.

Но вряд ли он когда-то там окажется.

Было очевидно и еще одно его свойство – оно всегда сразу в людях обнаруживается: по тому, как они смотрят, за ухом чешут, пуговицы расстегивают, – он откровенно подставлялся, он уже стал неудачником, и будто был специально сделан для долга, которого не сделал. Но так всегда бывает – по долгам те и платят, кто их на самом деле не делает.

Я потом вспоминал, что не понял сразу его роста, когда он сидел, опирая подбородок о длинную руку, лениво вытянутую кисть. Эта медленная жестикуляция ничего не говорила о его стати. Было понятно, что он находится в уплотненной среде и будет пробираться сквозь нее замедленно, разгребая время, которое было слишком банальным для такой

* Я видел в Варшаве примерно такое. В маленьком зальчике: парни смотрят с экрана не мигая, а потом быстро-быстро раздеваются: от тенниски к ремню, брюки стекают с трусами дурацкими или подштанниками, и, нагнувшись, скоро развязывают шнурки на ботинках, – целая история. Но зато – ах! Волосы на лобке, как разряд картечи, и в подмышках – темные тесные колодцы. Ни разу не замечал креста на шее или ладанки, наверное, снимают заранее, да и на мне креста теперь нет.

жестикуляции. Будто он был не только из другого времени, но вообще из совсем иного слоя.

Он поднялся, прошелся до фонтана (фонтан – это громко сказано: низкая, почти пустая чаша, куда из расплющенной трубы веером плюхает скупая вода). Вернулся, и я успел заметить, что его кошачья походка предьявляет его сексуальность. О, если бы не мешковатая одежда...*

– А не угостите закурить, товарищ...

Он стоял передо мной, так что мне пришлось задрать голову.

Он начал с «а», будто разговор шел давно, впрочем, так и было.

Я понял, мы с ним входим вместе в волнующую зону, где подразумеваются куда больше, чем говорится. Я выдал себя, так как хотел ответить безразлично, а начал с того, что громко сглотнул, будто меня мучила жажда:

– А я без, извините... товарищ.

И я похлопал себя по ляжке слишком энергично и гораздо ниже кармана, будто прилагал ему сесть совсем близко, прижаться.

Тут я заметил, как трудно ему давался статус сексуально опрятного джентльмена, – матрацная сетка оттиснулась на ткани брючины. Он поймал мой взгляд. Он расстроился:

– Да уютжить неумоготу, сжечь боюсь...

– ...

Он смолк. Стало неловко, и я решил перехватить инициативу:

– А не вы ли тут вчера в чудесной шляпе фланировали?

– Не... чего?

– Прогуливались без очевидной цели, – я едва сдерживал улыбку.

– Без цели?!

И присев совсем близко, он выпалил:

– А лучше тут не расслаживаться, друг-приятель. Тут без цели не бывает. Коль выбрал, тогда ж веди.

– Мне совершенно некуда вести.

Он поднял брови.

– Тогда... – он кивнул на желтый домик туалета, видневшегося в про свете аллеи.

Реальность всегда ирреальна, как говорил мне Тадеуш. Он всегда во время таких тирад глядел в небеса или на потолок, люстру и т. д., в даль, видимую лишь ему.

* И я сообразил, что он одетый выглядел как голый. Из-за крупной стопы он был монументальным, словно задрапирован, будто собрался позировать и сейчас в один миг мог разоблачиться. Может, это происходило оттого, что он привык следить, как на него смотрят, то есть был одет в эфемерную оболочку внимания, как в слой пудры, в легкий осыпаящийся грим.

Такой ассистент фокусника, сам ни на что не годный – только позировать, ловить на себе взоры, идущие волной из темноты зала. На дневном свете он оказывался раздетым. В этом было что-то от женщины, припозднившейся с вечеринки, – когда смазанный грим становится разоблачительным.

В расчищенном небе, как знак ирреальности происходящего со мной, прополз вслед за своим стрекотом ненастоящий самолетик, будто его запустил прилежный мальчик.

– У нас такие делают, – сказал мой новый знакомец, перехватив мой взор.

– Полагаю, летчикам – посетителям заведения будут любопытны наши занятия.

– Да он с самой довойны как заколочен, – и он вытащил ключ.

Я вступил в зону новых законов и не должен был делать оплошностей.

Да! Уже одно то, что я выдал легко свое волнение...

Я сразу предупредил его:

– Я не только без сигарет (надо было говорить «папирос», «папирос», господи), – он с удивлением посмотрел на меня, – но и без денег.

– Ну, это – на интерес вообще-то у нас, – бросил великодушно он, усмехаясь.

«У нас... он меня отделил, я делаю все не так, как они», – думал с досадой я. А зубы ровные. А сейчас спросит, на каком фронте я воевал, непременно.

– А на каком ты? Я Третий Белорусский.

– Слушай, не знаю, как тебя зовут, давай... – я хотел сказать, что о фронтах – потом.

И он торопливо протянул мне руку:

– Андреем, а вообще не спрашивают. Тпру-тпрурру – ну и разошлись. Ты первый. Андрей я, значит.

– Да очень хорошо, – ответил я.

О моем имени он не спросил.

– А ты мужик-то ничего себе.

– Ты тоже даже очень чего. Парень Андрей.

Он хмыкнул в кулак, в котором был зажат ключ.

– Свистнуть?

– Да свистни, изволь.

Он залился какой-то птахой в ствол черного ключа, будто в горле у него стояла вода.

– Кислая? – не сдержался я, имея в виду латунь, из которой был выточен бородатый ключ.

– Будто птица из-под ног взвилась, – сказал он.

Слова внутри меня были в тысячу раз сложнее представшего мне зрелища, в котором я участвовал.

Улыбнувшись, я вспомнил шутку. «Сложность – враг независимости», – Г. с удовольствием коверкал два языка. Андрей был не похож на убийцу, да я его сразу и предупредил о своем финансовом статусе. В конце концов, неужели я не понимаю людей?

– Парень, я тебя понимаю.

– Да иди ж ты... – и это значит: он тоже понимает меня.

И он, опять улыбнувшись, присвистнул особенно изысканно, с коленцами, как кенарь В. А.

А может быть, он и есть кенарь?

Его волшебное воплощение?

– В. А. знаешь? – проговорился я.

– Уж кто его здесь и не знает-то... – сказал значительно улыбнувшись парень Андрей.

До туалета было идти – до сорока сосчитать не успеешь, но сейчас это превратилось в настоящую эпопею. Он словно слышал мою внутреннюю речь и отвечал по-детски, так, что мне стало спокойно:

– С мамашей живу в одном помещении. Никого мне в закут-то не привезь. Мать рехнется.

Мы шествовали с Андреем по дорожке, когда-то посыпанной перемолотым красным кирпичом, от которого остались только красноватые высолы, мимо длинного газона, и я приотстал, разбирая жидкий лозунг из цветов, и цветы не скрыли кощунства той здравицы, но ничего не сказал, ведь мой спутник и любовник на ближайшие минут двадцать был простодушен.

Но против своего желания я нагнал его сладкий и чуть едкий мужской дух, будто во мне уже был завод, такая пружинка тугая, и через мгновение, когда я обогнал его, ком талого запаха попал мне в лицо, залепил мои ноздри, будто это рыхлый некрепкий снежок, будто его пустила в меня совсем несильная рука; и это совсем не быстро, но я почему-то не смог увернуться.

Перескакнув кислые лужи, подсохший кал с клочьями газет, он легко провернул ключ в глубокой щели. Дверь шаркнула ржавым кровельным листом, исчерканным непристойными словами. Дверь – как кровля, будто в этих краях идут неистовые косые дожди.

Он быстро открыл щель, куда мы протиснулись, и тут же прикрыл, мы очутились в опрятном помещении, захваченном моим новым другом. Я потом часто буду встречать такие полости в теле этого государства, которыми рачительно владеют люди, не имеющие на них никакого права. Тем тщательнее бесправные владельцы будут обставлять эту недвижимую тщетность, которая и есть синоним бесправия, мимолетности и постоянного изъятия.

В Андреевой горнице, где не растаял светлый клин от раскрытой щели проема, было неподобающе чисто – и именно тогда в дневных потемках я увидел первый вызов системе. Такой детский, беспомощный и безнадежный.

– Я сюда не очень-то, вообще-то. Но бывает приходится, как с тобой, – сказал он, водрузив мне руки на плечи.

Тембр его голоса менялся, будто все то, что он говорил, уже совсем не серьезно, так, чепуха. От него шла чуть кислая волна. Ржаного мякиша, будто сейчас будет таинство примирения.

Он взял инициативу в свои руки в прямом смысле.

– Ух ты! Ух ты, – приговаривал он не мне, а сумеркам, ласково растегивая на мне брюки, как на неумелом ребенке, бесплотно трогая и ощущая меня, будто я только что заявился с Луны. Одежда спуталась в ногах, и бежать было уже нельзя. Какой-то глубокий узел во мне откликнулся на его ласку и ослабевал*.

Я притянул к себе его голову.

Он на самом деле не курил, и я не почувствовал на его губах никотина. Он растворил мне отчаянную мягкость, будто сдавался. Дух бедной опрятности, щелок, черное земляное мыло достигали меня теплыми волнами и жалость вместе с ними.

Он обманул мои ожидания, и на ощупь не оказался скользким, как придонный сом, которого держат руками. Он был чересчур теплым. Мог ли он в любой момент дернуться и стать отвердевшей молнией?

– Да ты поцеловал меня... Ты меня поцеловал. Бля... Да тебе, да я тебе с проглотом. Тебе. Да ты. Ты человек. Да!

Он был ошеломлен.

– Хорошо, хорошо, только без откуса.

– Да ты чё, вообще, ебанулся, я тебе что...

В потемках, к которым я уже привык, я видел, как он все качает головой, недоумевая.

Этот сексуальный экзерсис ничего особенного в себе не содержал, кроме интерьера. Для домика оракула я был немногословен, а Андрей говорить не мог, так как был занят. Он был очень ласков и становился по мере своего труда совершенно безобидным, как птичка. Я хотел научить его «кашлю» и еще кое-каким заповедным арабескам, но раздумал. Он и без этого приносил жертву.

В моей утробе, внизу живота, на ладонь пониже пупка, тревожным огнем занималась мягчайшая пряжа, и через какое-то время я мог бы начать тлеть, если бы Андрей не попробовал на прикус ушлое сокровенное волоконце, выступающее из моего устья, и отважно потянул за него.

Еще, еще, еще...

Вот ему удалось прихватить на прикус побольше, и весь горячий клубок подался ему, провернувшись и разматываясь внутри всего моего одуревшего тела.

Я сообразил в последней щели разума, что тянет он слишком скоро и мне почти что больно, и я захотел попросить его чуть ослабить, чтобы ничего не порвалось. Но нить, которую он не выпускал, по своему ходу уплотнялась, делалась жестокой бечевой, и я чувял, как сквозь меня проходят все грубые узлы и скрутки моих прошлых несчастий.

* Еще в детстве мне всегда чудилось, пока меня раздевали, развязывали шнурки и растегивали многочисленные пуговицы на слоях одежды: кальсоны, лифчик, поддерживающий чулки, нательная рубашка, – что меня на самом деле таким вот тайным образом многажды осеняют крестным знаменем. Крестят против моего желания, чтобы я не смог проявить свою богомерзкую строптивость.

Ох!!!

Да чтоб тебя!!!

Мы так не договаривались, Андрюша!

Я ведь могу заплакать в голос.

Колокольчик из скользкого стекла, привязанный к бечеве, раздирая меня, уже летел наружу.

Ударившись об пол каземата, он раскололся с оглушительным звуком.

Задохнувшись от сердечного боя, оглохнув, я прижимал Андрееву усеконовенную башку к своему лобку. Я зашелся.

Сквозь его носоглотку вхолостую заклокотало совсем сыро и темно, будто детали только что работавшей помпы выскользнули из разрушенного кожуха, – будто вот-вот он умрет.

«Помпа, поршень, бадья», – можно было бы сказать о его бесхитростной тактике.

.....

– В гланду прям достал, – зачем-то сказал он, и в темноте было не понять – с досадой или с удовольствием, каким-то внутренним голосом, сам себе.

Больше ни на что он не соглашался, но волнение в нем мои слова вызывали – он тянул: «неа...». Я опять поцеловал его, он, стесняясь, клонил голову, отворачивался, с трудом подался.

– Мой Тристан, – вдохнул я в него.

– Кто? – прошептал он, не отнимая своего рта.

Мы ведь любили друг друга в потемках.

Да, целоваться он не умел.

Но меня осенило, когда я углядел узкую промоину света, сочащуюся из выбитого эпизода кладки: светозарное пятно на оштукатуренной стене с волокнами лыка. Скакнувший солнечный зайчик.

Я потом не раз вспоминал проявление луча в одном из самых жалких мест, где мне довелось бывать. Но свет не выбирает, где ему достойно просиять. Иногда великие искусства ловят и предъявляют эти моменты – в обстоятельных подробностях, в антураже красот и смыслов, – они ведь осеняют любую темень мира.

В моем случае именно так и было, только без красот.

Лобастый парень, чей крутой затылок я только что поддерживал, как гидрию, был даден мне во спасение.

На память мне пришло ренессансное изображение – блаженный Августин пишет «Исповедь». Долгое время я не расставался с репродукцией этой картины, там более, я получил ее по почте от Г. Витторе Карпаччо

поместил престарелого святого в исключительный интерьер. С увражами на подставках, с митрой и пасторским посохом в нише, в зачитанных инкунабулах курчавятся закладки, с гимническими нотами, распахнутыми на миссале, с беспорядком географических атрибутов, которыми только что пользовались, с прекрасным удобным столом, поставленным у окна для уловления света, только что к нему хлынувшего. В отдалении сидит прекрасная курчавая собачка самой благорасположенной породы.

В открытке был подтекст – изображение пишущего человека, точнее, собравшегося что-то невероятно значительное написать, стрелкой на изображении была сделана чернильная пометка, указывающая на оборот, где после ничего не значащей фразы Г. куртуазно рассыпался в верноподданных чувствках ко мне, которые любой заглянувший в это открытое письмо счел бы просто паясничаньем.

Но мне-то было известно, когда, в какое такое время Св. Августин начал писать.

Какими ангелическими безвременными часами оно измерялось.

Я множество раз целовал эту стрелку, стараясь не размыть ее, только сухо касаясь.

Тени на полу в келье были уже длинные, время вечерело и томилось. Августин словно бы удивлен тем, что к нему возвращаются не старые изжитые смыслы его памяти, а нисходят новые ноты, и в скупом мире нет равных им, и они озарят его слова, которые он сложит.

И поэтому все вещи вокруг него и сам свет, падающий видимым потоком из высокого окна, делаются музыкальными инструментами, в искренности которых никто не усомнится.

Свет, его крохотное пятно действительно осенил меня, я понял, что спасусь при помощи своего нового друга, который впаян в эту жизнь, так как сам ею и является, в отличие от пришельца В. А.

Я хотел рассказать Андрею этот сюжет, но потом понял, что это – о его теле, которое в какой-то момент стало для меня грозovým фронтом с воронкой координат, куда я стремился, где собран одновременно и свет и мрак.

Через это зрелище я уразумел и мужское тело вообще как апологию грозového фронта. Оно ведь любой своей точкой живет по логике разряда: накапливающегося, готового просиять и свершающегося.

Ведь все атрибуты, делающие мужчину человеком, могут вызвать лишь страх, но не омерзение, ну совсем как гроза.

Я, честно говоря, совсем не уверен, что надо быть в этом синопсисе подробным...

Когда Андрей налег на дверь, чтобы выбраться прочь, мне на глаза попала шляпа изысканного соломенного плетенья, повешенная на гвоздь, я

не удержался и взял ее в руки, – что было написано на тулье? Я поднес ее близко к глазам.

Польское шляпное заведение, на кожаном ободке оттиснут был адрес главной улицы хорошо знакомого мне города, и мимо этого модного заведения я проходил многократно, рассматривал свое отражение в зеркале витрины с коллекцией шляп, кашне и перчаток.

Андрей буквально вытолкнул меня.

– Твоя?

– Тепереча моя...

Мы выбирались, как шпионы. Он шел впереди, словно натягивая бечеву, связавшую нас. Он вышагивал немного задорно, засунув руки в карманы мешковатых штанов, он знал, что я смотрю на него, и плечи его ширили выгоревшую рубашку, и я слышал, будто он что-то такое выпевал или проговаривал про себя, – словно ему предстояла разведка, где он может погибнуть, будто о нем сочинят героическое стихотворение. «О мой Тристан», – ласково усмехнулся я про себя.

На людной улице мы пошли рядом, он спросил:

– Тебе не кажется, что после, ну, понял, после... там, на улице уже когда, на тебя все смотреть начинают?

– Где начинают?

– Ну везде, хоть взять сейчас.

– Да, ты вот в самом деле разругался и посвежел.

– Да? Вот я и говорю, что видно, – и он почему-то потер себе скулу, будто проверял – чисто ли выбрит.

– Да не морочь себя этой напраслиной.

– Во-во, ты как мать, она тоже все про напраслину. И тут напраслина, и там – напраслина.

– Ты слишком впечатлителен, не философствуй на пустом месте.

– Где ж ты у себя пустое место-то нашел? Ничего себе – пусто... – Он с удовольствием поедал скабрёзности, будто животное.

И я подумал, что скабрёзно то, что поглотить вторично невозможно. Но в его словах был явный подтекст – он словно бы утверждался в том, что случившееся с нами – реальность. Такой лиризм наоборот. Не дерзновенный, а только молящий.

– Мальт сейчас купил бы! – воскликнул он радостно, увидев тетку с ведром нарядных, словно новодельных, каких-то навощенных яблок. Будто они, блескучие, скатились со стен прекрасного барочного театра, где составляли натюрморты с еще более обольстительными атрибутами – полевыми цветами, маленькими музыкальными инструментами, пятками упархивающих малышей.

Но тетка хотела продать именно ведро, на два яблока она не соглашалась, якобы «горки не будет, ведра не возвысится». Но что-то поняла про

нас и чувственное желание моего друга и просто протянула нам пару изумительных бело-розовых яблок.

– А горка-то как? – спросил я.

– Да они не лежат, милок. Вот вчера не продала, так и все повыкидывала. А потом гонют-то продавать.

– И как же?

– Так сразу, как вижу этих, в форме, так за дужку хватить и пошла. Одним словом, прогуливаюсь себе, за делами там или на остановку... Будто иду.

«Будто иду, будто иду, будто иду», – повторял я про себя, целуя яблоко. Историю о них я уже знал.

– А так ты меня назвал-то, повтори? Это не ругательство?

Я закрутил головой, я почувствовал, что он лукавит.

– Это герой.

– Тогда пусть.

Я понял, что могу сейчас сказать ему и о самом важном, случившемся со мной. Ведь он действительно что-то такое гложущее меня чуял и сам. И еще сказал, что мне стоит сказать ему о любых моих проблемах, ведь он мне друг, ну и все такое. И я смягчил всю свою историю, как мог, уложив все происшествие в одну фразу:

– У меня документы, Андрюша любезный, не очень себе, а надо на работу бы устроиться.

– И делов-то ... А я-то уж, как ты заменжевался, подумал, прости, – не дай бог грохнул, что ль, он кого. И мотается теперь. Значит, я – любезный? Да!*

Меня сразу привлекли в нем некоторые его мимические черты: как он вдруг поднимал брови, и одну, кажется, левую, заметно выше. Как прикусывал нижнюю губу, она белела. Эти выражения складывались сами собой, вне зависимости от того, о чем шла речь. Да и какие такие речи? Простые изложения увиденного. Но потому что речь его была словно ослаблена, в ней не было подтекстов, подвохов, едкости – я слушал его как бесхитростный музыкальный инструмент. Он то разворачивал меха, то сводил их. Поддерживать такую беседу было не сложно. Он, как народный виртуоз, быстро перебирал чудесные веселые лады.

Вот он сглотнул зевок, но когда раскрыл рот, чтобы что-то сказать, изпод языка брызнул узкий пунктир. На яблоко, которое он догрызал, чуть клонясь вперед, чтобы сок не капнул на одежду. До меня дошло, что он, наверное, сытым не бывает.

* Я понимал его семейный анамнез; это в нем было вопиюще – несколько раз упомянутая им мать, ее тираническая мстительная любовь к нему, не дающая ему никаких возможностей осуществиться. Он, говоря со мной, скупо излагал заодно еще и многое из своей жизни, не прибегая к прямым словам об этом, как, впрочем, и бывает с простыми людьми, которые пытаются строить свое существование, как кажется им, из некрупных элементов: кубиков, жердочек, уютного пуха.

Город, по которому он меня вел, когда-то был полон церковных построек, призванные к новым нуждам, они теперь стояли обезглавленными, шатры, маковки и шпили были заделаны тупыми кровельными пломбами, как больные зубы. С плохо осмысляемыми вывесками на обшарпанных фасадах. Вот на краснокирпичной кирхе кружевной берлинской кладки я запомнил «Театр кукол», на закругленной уютной церковке a'la gusse с откупоренными маковками «Кустовая бухгалтерия», на католическом в южногерманском роде соборе розетка была перечеркнута слитным фанерным словом с тлеющими, невзирая на день, лампочками «Кинопионертеатр».

Новая жизнь с глумливой натугой скандировала:

«Бога нет, Бога нет, Бога нет».

Но мне было известно, что если этот лозунг повторять многократно, пока он не лишится первосмысла, то проявится новая фонема, которая и разъяснит, что в конце концов получится – сначала: «Магомет», а если продолжать дальше, то можно услышать назидание: «пока нет».

Андрей опять читал мою внутреннюю речь, что, впрочем, немудрено для человека, ведущего такие небезопасные сексуальные игры, могущего попасть в сложную передрагу, находящегося все время в ожидании.

Он и мне, вообще-то, обрадовался, как обретенному воспоминанию, он так пристально пытался что-то, уже бывшее с ним, узнать только по одному моему виду, будто восстанавливал дорогой образ, сдвигал силой своего зрения рассыпанные сегменты мозаики, встряхивал головой, будто перенастраивал труху светозарных осколков в своем внутреннем калейдоскопе.

И он тихо, как соучастник, сказал, перехватив мой взор:

– Всё одно – есть, наверное...

Я много раз перебирал в памяти тот эпизод – во всех смыслах.

Как зрелище человека, сидящего слишком близко, занявшего весь проем моего зрительного поля, как будто больше ничего иного мне не оставалось, как сосредоточиться на нем; это походило на галлюциноз, целью которого было убедить меня, что я уже встречал его когда-то, а сейчас – вот-вот и признаю, и он войдет в близость со мной, отбросив кулису моего стеснения.

Как апофеоз сомнения и утверждения, как их горестная смесь.

Я тоже, наверное, как и он, ловился на приманку, про которую ничего не знал заранее, – просто должен был пойматься на что-то: на зримую черту, особенность речи, тембр, тон, на смысловую фигуру, которую могу сам себе легко навязать.

Главное, чтобы была ловитва, ее незатухающий сезон.

Ведь и та фраза о курении, сказанная им в таком идиотском контексте, взволновала меня, как признание; впрочем, она именно признанием и была: обезоруживающим благорасположением, апофеозом, лучшим воспоминанием.

Ведь для меня, а я прекрасно знал себя, все надо было свести к первичной кальке, «попасть в скважину», как говорил мой Г. в подобных случаях, мой незабвенный. Будто усугубляя эту обнаруженную во мне склонность к нему, он сказал, указывая на облака: «Глянь хоть ты, друг мой дорогой, как ни посмотрю, – всегда что-то из них прет – то коняшки, то кроли, то мужик с бородищей – как сейчас».

И этот детский лепет, безупречный наивной искренностью, поверг меня в смятение.

Я как-то прослезился внутри себя, сглотнул и обмяк на один миг, будто в донце суставчатой игрушки вдавили клавиш, и она перестала быть жеребенком, жирафом, осликом, а стала просто горсткой бессвязных осыпавшихся колечек, едва связанных ниткой. Он это почувствовал, глянув на меня.

У меня вообще-то не было времени принимать его иным, моего Тадеуша. Ведь и на такового, каким он был, времени тоже было слишком мало. Ведь оно само, текущее грозно и неумолимо, не должно было застать меня врасплох.

Гремык, его образ, обитающий во мне то тенью, то плотью, никогда не разрушался, так как и не уплотнялся, пребывая в какой-то хрупкой рассеянной зоне сфумато, будто обрел новое естество. Я ведь видел его как бы через навернувшуюся слезу, которой на самом деле нет; когда я думал о нем, даже глядя на другого человека, сам становился этой оптической зыбью, словно бы стоящей у меня на краю века. Я потом понял, что это было вакансией слез о нем, которых я никогда не проливал. Он ведь, исчезнув, больше не мог пострадать, и привлекательность его не могла уменьшиться – я так уговаривал себя, когда он снова и снова попадал в перекрестье моей памяти, никогда вообще-то не исчезая оттуда.

Город производил впечатление придурковатого ряженого – лозунги, плакаты, транспаранты, картинки зияли повсюду, будто не приукрашали, а заверяли в преданности своим однообразным смыслом. Особенная тавтология здравниц испещряла окна, витрины, фронтоны фасадов – как-то зловредно опустошая язык; и мне казалось, что слова, из которых все это было выложено, больше не могут быть применены в обычной человеческой жизни, будто сила полиграфических машин, усердный нажим трафаретистов выдавили смысл, оставив только опустошенное зрелище разграбленного рассыпанного алфавита*.

Может, в силу этого любые проявления частной жизни выглядели как драгоценность: шелковые ленточки, завязанные бантиками в девичьих косицах, овальные гребни в старушечьих седых волосах, нагоняющие друг друга. Вообще, опрятность, трудная и старательная, встречалась повсе-

* Слабость клетчатки, изъязвление плотской основы этого времени составляли общую зловредную слабость. Богоборческий дух насилия должен был обязательно иссякнуть рано или поздно. Весь вопрос только в величине этого промежутка. Сказать об этом было мне некому.

стно. Особенно в свежекрашенных оконных рамах низких домов, вросших в землю подвальными этажами; очевидно, что все было перенаселено – обилие сушащейся одежды в палисадах и во дворах поражало.

Сколько ж тут обитает народу? Окна, выходящие на красную линию, как правило, были чисты, обведены по контуру деревянной рамы белой известью, как и стволы деревьев, если они еще оставались перед домами. Даже было ощущение, что это такая раскраска печального Пьеро, или весь город гуляет в белых гольфах, как баварцы на пивном празднике. Да ведь действительно – до войны это был немецкий край... И я посмотрел на все-таки низкие брови моего спутника, на его выгоревшую прекрасную шевелюру...

Мы примостились на лавочке бульвара.

Напротив близорукий читал газету, буквально погружая в нее лицо, словно слизывая несгустившуюся типографскую краску.

Мне видно – на его руках недостает пальцев, а из штанины выпростана деревяха в стертом резиновом стакане, будто он какому-то прохожему сделает подножку. Он буквально нисходит в газету, спадая все ниже и ниже, вот-вот просто заснет, перегнувшись пополам.

Я почему-то думаю, что этот мир, будучи насквозь увечным, не приемлет инвалидов. Это тревожное отторжение будто распылено в воздухе.

– Здравствуй, друг Федя, к занятиям готовишься? – через неширокий проход спрашивает преувеличенно медленно и громко Андрей.

Мне кажется, что он знает по имени всех – даже кошек и мелких пернатых.

Федя расслышал его. Он отвечает далеким голосом глухого человека, чрез вату, улыбаясь тому, что может с кем-то говорить:

– В кино пойду. Хочу, чтобы побольше пели-плясали с веселым звуком, – говорил он глухо и в нос, и было неясно, услышал ли он, о чем его спросили, но точно радовался вниманию к себе.

– Тогда – трофейные, Федя! Сам-то как? – заключил громко Андрей.

Ответ не подразумевался, Федя улыбнулся газете.

– И какую ему теперь профессию? – спросил сам себя Андрей, когда мы пошли дальше. И сам себе ответил звонким щелбаном о плотную кромку своих сияющих верхних резцов. Буквально как Г. Я подумал, что только цвет глаз не дает мне их отождествить.

Навстречу нам неторопливо шли два парня, кажется, очень похожие на нас, сначала я подумал о волшебном зеркале, вдруг перегородившем наш путь, но один вдруг начал ни с того ни с сего бить чечетку, будто в нем сорвался победным темпом целый оркестр – прямо из молчания, и музыканты даже не вздохнули, будто звук был в них давно.

Потом много раз мне встречались такие люди, которые были буруемы изнутри, носили в себе заряд бурной пляски, топота и гвалта.

Так как выжили.

Окна давно не открывались, дома дышали только распахнутыми на улицу форточками, и из них часто свешивалась какая-то хозяйская ерунда: свертки, сетки, узелки, просто так, чтобы место не пропадало, наконец, сидели внимательные кошки.

Он опять чувствует, про что я думаю:

– А я новые рамы сделал. У нас все отворяется. Хошь фортку, а хошь створку.

Он понял, что это звучало глупо и хвастливо, чтобы как-то сгладить, он сказал:

– Хорошо... Мы в таком же живем, но на три улицы ниже.

Я понял, что главное в городских координатах в этих местах – верх и низ. Он добавил:

– А у меня выходной, а так – посменно, пока дым не пойдет. Косвенно... – Он завершил этим странным словом.

Его редкие словечки, смысл которых он понимал совсем иначе, чем следовало, словно приоткрывали щель, ведущую в его сумбурный словарь, где главными силами были напряжение и сомнение, мнительность и опаска.

Такие вот значительные разговоры мы вели. Но по его беззащитному тону, сумбурному ненаходчивому синтаксису я понял, что он влюбился и постарался изъять из своей речи едкие шутки и комментарии.

Мне оставались одни вопросы.

И я спросил, как он предполагает мне помочь, если это не было шуткой с его стороны.

Вот тут-то он обиделся – я, знакомый с ним несколько часов, должен был быть уверенным в серьезности этого молодого человека. Мне хватило и мгновенья, чтобы понять по серому тону его только что голубых очей, по смуглой тени, выступившей на его только что румяных скулах, по тому, как он прикусывал губу, – как я серьезно задел его.

– Да прости же меня... – Я положил ему руку на плечо, быстро качнул его к себе на один миг только. И я почувствовал, как в нем перекатилась тяжелая капля, как в немецком боевом ноже, как жестко и упруго буквально ударился о меня сразу всей своей массой, только едва коснувшись.

Это было мощно.

– Не сердчай, не сердчай... У меня правда затруднения... – И я прибавил, заглядывая ему в очи: – Если не сказать большего...

– Да я уж по тебе сразу все понял, что ты оттудова.

Я обмер. Он показал кивком головы в сторону Волги, простиравшейся в створе сбегающей вниз улицы.

Он помолчал и сурово выдохнул, как клятву:

– Да мне плевать. Да плюнуть и растереть хоть сто раз... Да хоть и грохнул ты кого там натурально...

Во мне пронеслось: «Я не готов даже к таким людским пересечениям, я себя все время выдаю».

В этой стране произошло такое, что ни с чем невозможно совпасть, нет следов, в которые я мог бы ступить. Если меня не съедят, то только люди с теми же привязанностями. О, как грустно.

Я попал в это гетто навсегда.

Мой милый друг принял меня за немецкого колониста, тайно вернувшегося поближе к родимым местам. Я спросил его по-немецки, понимает ли он сам немецкую речь. Он осекся, быстро обернулся и ответил на каком-то странном диалекте, чересчур мягком для моего слуха, – чтоб лучше я этот язык забыл навсегда. Я кивнул.

Он был довольно вятен и объяснил, что у него есть хороший знакомый, просто знакомый (не лыбься, знакомый, сказал!), проводником ездит, и у него напарник «уходит» по «обстоятельствам», а тот – знакомый – не хочет абы с кем быть в паре.

Одним словом, все складывалось старинным авантюрным романом, это чувство довольно нелепое, но оно еще долго будет посещать меня, а это лучше: все-таки у будущего, даже ближайшего, появились литературные мотивы, и я что-то смогу понять, и это куда лучше античной трагедии с фатумом и невозможностью чему бы то ни было противоречить.

Значит, мне остается только смотреть, как время листает страницы книги, где каждое слово про меня, про меня, про меня. И следующая чревата понятно чем.

Андрей продолжил сагу моего будущего.

Он уперся указательным пальцем, как дулом, мне в солнечное сплетение, будто хотел, чтобы я осознал, что он говорит именно со мной. Он строго сказал, что я ему – этому просто-знакомому – напарником прекрасно подойду, так как я не... этот (он покрутил пальцем у виска).

Я должен понять, что от таких предложений не отказываются.

– Там и место в общаге ничего себе, из шести то четверо, а то и пятеро всегда в дороге.

– А документ? – спросил я.

– А чё, у тебя нет?

– Ну что-то такое вроде есть, а вроде и нет уже, – соврал я.

– Да и сойдет, там справки работягам охотно выдают, только не ври мне никогда, сразу говори все, как что случится, – заключил он.

Мне уже терять-то было на самом деле нечего, но смешные случаи не выпускали меня из своих щекотных рук. Я вроде бы что-то начинал разуметь, как парашютист, все-таки достигший твердой почвы. Ведь самое опасное, когда спускаешься на виду у всех – ты такая хорошая медленная мишень, только болезный тряской святого Витта не попадет.

Уже потягивало вечером, людей на улицах прибавилось, но Андрей и не думал расходиться со мной. У меня такое уже случалось не раз. Я ведь по китайскому гороскопу собака, и любой чувствует, как я привязчив, а это, вообще-то, мое главное свойство – неразлейвода.

ГЕРАСИМ

И вот мы, как два пса, обходили местность, и я начинал понимать изящную городскую геометрию, наложенную косою сетью на спускающийся к реке берег, так как в одних и тех же местах мы уже оказывались не однажды, я узнавал перекрестки, площади и бульвары.

Мы изготовились помочиться за одним забором по наводке Андрея. Он, скосив глаза, смотрел неотрывно, как из меня бежит струя, да и он был в этой позе вполне хорош.

Со словами:

– Никакого атаса, граждане-товарищи, мне тоже по нужде, – к нам из-за спины пристроился милиционер, как, конечно, оказалось – знакомец Андрея.

– Ну что, граждане-товарищи-боевые, отлить-то есть еще чем? – поинтересовался он.

– Друг мой, – стяхивая капель, отрекомендовал меня Андрей.

– Это хорошо. Когда дружат, это хорошо, как в песне – «дружба навек».

Он был балагур:

– Вот всегда, когда мужики по малой нужде, то ноги расставляют, это ясно почему. А зачем к струе клонятся? Как фотолюбители. Будто еще и на струю опираются, как на штатив. Понятно я выражаюсь, граждане-товарищи-друзья сердечные?

Милиционер Гера шел домой с дежурства. Обряженный как опереточный герой, с какой-то нелепой штабной выправкой, в отлитом по фигуре мундире из синего тусклого воска, он, пьяноватый, пристроился к нам: и он тихо со значением подталкивал меня, действуя без околичностей:

– А как с тобой нам подружиться?

– Так, Гера, мы друзья уже.

– Нет, если только выпили, то покамест не друзья, а так...

– Так что же надо?

Он, пьяноватый, вдруг ни с того ни с сего останавливался посреди тротуара, раскрывал свой планшет, вытаскивал бархатку и, замирая в наклоне, непристойно натягивая галифе, полировал сапоги-бутылки, браво не противореча равновесию.

Появление Геры обострило мое внимание к людям, встречающимся вокруг. Бравые мужские тела, гордые своей молодой выправкой, читались как вызов, такой зримый гимн оставшихся в живых, будто мне слышался скрип их ремней, перепоясывающих стан. Я почувствовал в этом облачении новую кромешность – и тесноты, и очевидности. Мне захотелось

срочно вернуться в комнаты В. А., раздеться, открыть створку шкафа и во внутреннем зеркале рассмотреть и себя со всех сторон – каково еще мое тоже уцелевшее тело*.

Через несколько минут мы оказались в чаду ближайшего пивного павильона, устроенного где-то на задворках центральной улицы.

Это был настоящий мужской клуб, где Гера уже добавлял.

Сюжет моей жизни ясел с каждой минутой! Какая удача! Мы пили пиво, не знаю – хорошее или плохое, но я уже точно был Гулливером в какой-то там стране, а Гулливер всегда уходит. Гера меня неистово клеил, а Андрей мрачнел, как незажженный фитиль, по которому начал восходить темный керосин. Мы ходили с Герой мочиться, и он, толкнув меня плечом, спросил:

– Андрюша в домик ты водил?

Я сказал:

– Тебе положено все знать, так что спрашиваешь?

– Положено-то положено...

Он как-то хитро хмыкнул, улыбнувшись мне.

– Ты, если что, говори, что Геру с четвертого участка ну очень хорошо знаешь. Просто очень. Друг он твой. Совсем близкий. – Он икнул на звонких согласных.

Говоря это, он придвинулся вплотную и неотрывно посмотрел на меня, и если бы не мутный дух алкоголя, то можно было бы подумать, что я вижу его с оборотной стороны специального зеркала с прозрачной амальгамой.

Пока мы стояли у круглого стола, двигая кружки и окуная пальцы в соль, у меня было время его рассмотреть. Ресницы его были столь густы, что можно было подумать, что в его теле есть еще источник волос – звериный и смутный. Было странно видеть в этих краях средиземноморский лик то ли жиголо, то ли контрабандиста с незагорелым влажным лбом – будто он только что снял сырой тяжелый венок. Удивительно еще и другое – что к своей внешности он не имел никакого отношения, не подозревая о своем телесном неотразимом статусе. Он был в каком-то смысле парадоксом, но думаю, только для меня. Никто и не догадывался о его кошачьей тенистой стати – будто он был в родстве с лозой, плющом и повиликой.

* Сухие военные в отглаженной форме, будто вырезанные из чувственного картона, прямые плечи – будто они распяты на вешалах парадов и смотров. В их гордой самоотдаче победителей столько молодого эротизма! Они объективированы лишь своими неотчужденными телами, так как на самом деле больше ничем не владеют. Этот глагол не для них, поэтому время с удивительной легкостью владеет ими и растрчивает их с энтузиазмом визионера с таким упоением. Но они отвечают друг другу. Все взаимно, и этой взаимностью они так увлечены.

Когда я глядел на него, возникало чувство, что он совсем недавно летал, ну по меньшей мере стремительно обегал разогретый периметр гимназия. Его вид был слишком соблазнителен, манок, распахнут, отделен от своей манеры говорить, жестикулировать.

– Пойду на гражданскую, – на что-то возразил он Андрею, и тот не уточнил «куда?» – вариантов, судя по всему, для этой публики было наперечет, и они не требовали уточнений.

Ухватки его тоже были как временная одежда – будто совсем не его, а взятая на время с государственного склада*.

От возбуждения я не пьянел, только как-то двигаться стал медленней – от Геры, если бы он был трезвым, – не убежал бы.

Андрей глотал пиво молча, и когда Гера пошел за новой порцией к разливальнице – он сегодня «проставлялся», – спросил меня сквозь зубы:

– Ты чё, с ним теперь, значит, так. Быстро ж ты, друг, метнулся...

– Что ты, как возможно, я ведь тебя знал столько лет...

Он вскинул брови и едва заметно, удовлетворенно хмыкнул. Я еще увижу, как он может делаться наглым и приторным, как его зрачки будут перехлестывать сетчатку, упираться в ресницы. Дальше могло быть только сопение...

Я понял, что он чересчур элегантен, сам того не желая. Так, значит, я не выделяюсь на его фоне.

Аккуратный гудеж в пивной. Никто не должен куражиться, ходить колесом, вообще колобродить.

Очень основательные полулитровые кружки, они как маленькие бассейны, когда подносишь кружку к губам, то кажется, что в ней можно омыть все лицо.

Короткая сцена, когда быстро звереющего инвалида утихомирили, – что-то шепнув ему на ухо, это, кстати, сделал в один присест Гера, который какими-то социальными сегментами своего существа не пьянел. «При исполнении», – рыгнул он в меня, вернувшись. Он подступал близко ко мне, будто хотел потереться, и я его не отталкивал. В моем положении – либо стрелять, либо на все соглашаться.

* Я думал о том, каков он голый, – как он ляжет на постель, облокотившись о высокую подушку, заснет, раскинувшись, как фавн Барберини, не имея ничего общего со снами, которые ему никогда не снятся.

Он будто осенен неодолимым желанием, которое, даже отсутствующее, – вакансия, еще сильнее испещряет его языческими вопиющими значками – смуглым агатом родинки на щеке, таким плотским кабошоном, изысканным, как мушка, еще – золотым пушком на высоких скулах, слабым муаром щетины. Видно ушную раковину, покрытую золотым пухом. Уши горят на свету, когда с хлопком двери в помещение проникает фартук пыльного света.

Было смешно и нелепо видеть его здесь в потном униженном мире, пропахшем перегаром, пролитым пивом и кислой уриной. Но он, когда он замирал, становился таким гармоничным, что не вызывал соболезнования, как прекрасно законспирированный разведчик, выполняющий задание. Кем же он был сюда заслан? Ватиканом? Да неужели...

Пивная, воспетая и изученная экспрессионистами, ничего мне нового не открывала. Пьют, не закусывая, доливают в пиво водку, иногда что-то непонятное химического цвета из небольших флаконов, народ разный – работяги, студенты, непонятные личности, несколько теток, две кислые физиономии в очках, как лазутчики. У женщины заклеены марлей мочки ушей. Гера объяснил, что это у нее на улице сережки вырвали. Я поежился. Гера ухмыльнулся. У одного очкарика битые звездами стекла в круглой оправе, он слепо пялится в кружку.

Пьют, высаливая край кружки, запах неудивительный, редкая компания разъедает рыбину. Забавное дополнение к интерьеру, где все курят, сорят на косые ходкие половицы, выходят мочиться к какому-то забору, – но производят в итоге опрятный шум, который иногда прерывается короткими акустическими вспышками.

Такое чувство – от общей неразборчивой речи, вдруг порождающей какую-то новую внятность, волну бессловесного удовольствия и понимания, находящегося в противофазе с рядовыми смыслами скотской трезвой жизни, – будто заработал новый двигатель, силой которого всем удастся спастись по-настоящему, а не так – когда-то, кому-то, да и то лишь в перспективе...

Я не сразу заметил большую клетку с вороной на полу возле ручного насоса, которым буфетчица иногда подкачивала бочку, чтобы из крана пиво шло пободрее. Кажется, ворона кашляла. Иногда кто-то из мужиков пытался заговорить с ней, но она гордо молчала, только отступала от собеседника. Буфетчица вдруг громко обратилась к птице по слогам, как автомат:

– Да ска-жи ты им.

На что птица простуженно просипела, разинув клюв.

Звук шел откуда-то из мировых глубин:

– Даскажитыим!!!! Даскажитыим!!! Даскажитыим!!!

Я поежился.

– Все, концерт окончен, – объявила буфетчица, – больше ничегошеньки за сегодня не выскажет.

Так и вышло. Высказывали все остальные. Мне казалось, что я был в этом безопасном месте и вчера, и позавчера, и всю свою жизнь.

Как странно.

– Нормально, а? – спросил Гера, улыбался он не нагло*.

Между столов шныряет убиральщица, ее облачение ужасает, она механически мажет квелой тряпкой по столам, смахивает ладонью под ноги пьющим объедки и очистки, иногда пытается тихо унести недопитую кружку. Ее костерят почем зря, но беззлобно. У нее неестественно высоко, прямо к потолку, запрокинутое лицо, шея ее клонится только вбок, кажет-

* Порочную гармонию его лица нарушал лишь сияющий незагорелый лоб, будто его разбинтовали, только что сняли марлю, омыли кровь... Казалось, что из-за этого с ним надо говорить вкрадчиво, во всем соглашаться. Жалеть как будто. Но румяные розовые губы... Загар их не тронул.

ся, что она все делает наизусть. Кто-то шутит: «Ну чё, все налета ждешь? А у тебя жених небось летчик, едрить, Клавка...» Брейгелевская картина. Бедная Клавка смотрит на шутника боком, как птица, не отвечает.

Гера что-то хочет договорить Андрею:

– Да я ему сто раз уже говорил. Никак дурака не пронять. Пойдем, Ваня, в милицию служить. А он знаешь что?

– Да знаю сто раз! Ты уж говорил мне.

– Все равно. А? Ты прикинь. «Да я уж наслужился! Сам, Гера, своих ублюдков караул по помойкам», – а я ему: «А ты своих ублюдков стриги», – правильно ведь я сказал? А он, ты прикинь, Андрюша: «И буду, – подстриженный и побритый еще сто раз подумает, прежде чем ублюдком стать». И ты знаешь, чё он еще загнул мне прямо дословно: «Вот ты, к примеру, Герик, когда небритый и заросший, – чистый козел и хам». Нет, он не Ваня-орденоносец. Он Иоанн после этого. Херов златоуст паскудный.

На эту тираду Андрей миролюбиво заключил:

– А в парикмахерскую к нему побежишь как миленький. Бриться там с огурцом и компрессом потом. Так ведь, Гера, так?

Гера сокрушенно кивнул, роняя голову в кружку, будто засыпал. Но сон этого крепкого корня был мгновенным.

Еще поблизости особенный человек сам по себе, на нем следы прошлой благопристойности, но совершенно пародийный – зачем в такую жару глупый полосатый галстук, он следил за его симметричным расположением на груди, одергивал и как-то умильно готовился выпить стопку водки. Понятно, что это – апофеоз его дня, лучшая куртуазная сцена в доступном времени, которую он разыграет для самого себя наилучшим образом, не обращая внимания на окружающих. Он ласково перебирал пальцами неслышные никому маленькие гаммы, подкрадываясь к стопке, будто пытался уловить флюиды прекрасной жидкости, то отступая, будто заигрывал с нею, то снова посылая ей магнетические пассы, – обольщал, вождедел, звал с собою, уравнивая тем самым этот ничтожный объект со своим непомерным желанием. Он столь органично все это проделывал, что возникало ощущение, что он драматический актер, разыгрывающий театральный этюд глубокого русского пьянства; и водка эта – конечно, не настоящая, а так, бутафорский стеклянный атрибут, литой прозрачный колпачок, потребный для этюда, повали его набок, гулко покатится. Кажется, вот-вот посыплются охапки аплодисментов на этого господина.

Без этого чувства мнимости, игры, невзаправдошности видеть этого типа было на самом деле невыносимо. Но кроме меня на него никто не обращает внимания.

Перехватив мой взор, Гера негромко говорит:

– А захочешь, ноздрей тебе ее выпьет. Прям. Щас! А? Только мне скажи. Малофеев выпьет тебе, клянусь. В один сморк! Он в настроении

сегодня. Сморком в себя всю стопку! Да прям всю! А может и две – в каждую ноздрю сразу. Видел когда? Малофеев, как живешь? Мать? Брат?

– Если я это увижу, Гера, то сблевану прямо тут!

– Ну, удивииииил, сердечный.

Обошлось.

Обошлось без Малофеева.

– Во, крысу видел? Вот прошла тварь, ничего не боится, их сейчас развелось... А что, они умные. Вот их стали ядом травить, таблетками такими с мясным духом, а одна их наелась, и что-то ей стало не того, так она и заглотила хвост себе в рот, ну, проблеваются чтоб в хлам.

– Ну, врешь ты все, Герасим, – Андрей качает головой.

– Да это Викентьич говорил, а он флотский, там крыс вообще с Африки в Азию только и возят. Туда-сюда, туда-сюда. Он флотский по натуре теперь. Я ему, как себе, верю.

И к нашему столику подстроился Викентьич. При взгляде на него, сразу становилось ясно, что у этого субъекта не стоило выведывать сюжеты о самоспасающихся крысах.

Все поздоровались. Я был ему совершенно безразличен.

Он из последних сил, как герой на передовой, поддерживал опрятность, но все равно состоял из заглаженных швов, принявших блеск подошвы разогретого утюга, и от этого сам казался горячим. Если на него прыснуть, то он точно зашипит. Заштопанные, но все равно махрящиеся обшлага, скупые нитки, разного калибра пуговицы, заворачивающиеся лацканы пиджака. Эти детали поглощали его благородный облик, нивелировали его гордую физиономию, лишали тело смысла, оставляя ему только атрибуты, с которыми неразрывно связана брезгливость, особая ее зона, сразу подающая сигналы запахом, которого я еще не чувствовал.

Но как я был удивлен, когда он показал в улыбке на глупую Герину шутку целые ровные зубы со стальной фиксой на одном резце. Будто отворил шкатулку с сокровищем. Разглядывая его, я будто протирал глаза. В том, что к нему обращались по отчеству без имени, была какая-то странность. Может быть, имя его было слишком величественным, или же он совершил нечто такое, что каждый раз, говоря с ним, стоит обращаться именно к тому, кто приучил его уже в малолетстве к такой безукоризненной опрятности.

Наша компания его совсем не интересовала, на пиво у него были свои. В его слишком умных глазах я прочел тень усталого презрения.

Гера не унимался:

– Викентьич, скажи народу, ты какой, к примеру, сахар любишь?

– В смысле? Какому народу? А где ты взял народ-то, Герасим?

Гера входил в пике, и понять его в этих низинах было невозможно.

Викентьич бросил еще одну странную фразу, совершенно не монтирующуюся с общим разговором:

– По отдельности мы-то разве нормальные люди? Вот так, служивый!

Он куда-то затесался.

Мне казалось, это вообще было моим пунктом, идеей фикс, что в этом уютном клубе уже никто, кроме моих спутников, не обращает на меня никакого внимания, – значит, я вошел сюда не замеченным никем, обычным человеком, и мне становилось хорошо.

Андрей облизал край кружки и просыпал на обод узкую дорожку земляной соли. Она грязным снегом сырела в жестяной плошке, словно корм для мягкогубых животных.

Я беззастенчиво посматривал на него, и он – на меня; и мне нравилась сумма деталей, слагающая его: вот он опирает подбородок на руку, словно фотограф – камеру о штатив, он прогибается к руке, и мне сбоку видно, как штаны обтягивают его зад, его бобочка промокла в проймах подмышек, он развязал шнуровку у горла, и видны его ключицы. Он становится все более бессмысленным, скульптурным, и я улавливаю то, что хотел в нем видеть: обращенную только мне одному его сексуальность с ее опытом самозабвения.

Андрей словно вмонтирован в проем мутного окна этого заведения, и эта частность усиливает его и обостряет – как рама, ограничивающая и удорожающая живописный сюжет.

Тех, кто мне бывал дорог, я всегда вспоминаю в обрамлении, в проемах и створках. Они либо вот-вот появятся, либо исчезнут, возвысив этой возможностью и без того высокую цену своих речей, сказанных мне, действий, направленных на меня, дверных проемов, когда они входили – ко мне, за мной, от меня; разных окон, мимо или сквозь которые они глядели. Я хорошо знал, что если человек попадает в такой контекст, то он для меня делается словно бы помноженным на мир, в котором нахожусь и я. И наши отношения с ним уже именуется связью. Под самозабвение Геры, под стук переставляемых кружек, против молчащего Андрея, в морке табачного дыма...

Я представил, как отправляюсь домой – по любимым тенистым улицам, непременно зайду в два-три магазина, конечно, в книжный и колониальную лавку. Я старался не вызывать в памяти точных примет, не вспоминать названий улиц, не вчитываться в латиницу шрифтов на белых эмалевых табличках, не повторять золоченые имена магазинов на стеклянных вывесках, зачерненных с исподу. Я боялся это делать, мне казалось, что мои грезы могут проступить на мне, обвинить меня изумительной лентой.

Воспоминания имеют свойство раздвигаться, как подозрная труба, из-под одного кольца обязательно выползет другое, и так дальше и дальше, пока все эти образы не станут неукоснительной формулой, смысл которой меня добьет. Но для чего я должен жить? – вопрошал я какое-то опустевшее место в себе и отвечал еще более скудной формулой – «так надо». Я чувствовал себя не запертым, и была возможность, может быть, для меня самого вдруг выйти на свет. И в этом «вдруг» я читал «друг», тот – кто мне поможет жить, стать живым.

Андрей урезонивает Геру:

– Тебе чё, дома культуры мало? Не лезь, стой, дурень, тут, пиво свое пей! Да стой тут, тебе говорят!

– Да я пару проходок. Пусть посмотрят, на что родная милиция годна. А, Андрюшечка...

Гера, как я сразу заметил, странно напивался, будто бы телом он оставался тверез, но что-то мутилось в его глубине... Он сунул фуражку и планшет мне в руки – тулья изнутри была подписана его весело расплывшейся украинской фамилией – и гоголем, театрально обошел наш высокий одноногий стол.

Он как-то вскинулся по-птичьи, будто из обычного воздуха, которым дышим мы все, попал в атмосферу, где только танцуют, воспаряя; он, отойдя на пару шагов всего-то, моментально охлопал себя – по груди, где карманы, по бокам, ляжкам, голенищам, будто искал вдруг вспыхнувшую крошку серы, сорвавшуюся со спички и под одеждой жутко жегшую его, разрядился быстрым дроботом и повернулся вокруг своей оси, будто снова вернулся в злополучную людскую атмосферу. Посмотрел совершенно невозмутимо мне в глаза и повторил всю эскападу еще раз, откинул резким движеньем головы несуществующий чуб и преувеличенно спокойно вернулся на место. Эта жизнь была окружена роскошной бутафорией.

Он выкобенивался передо мной, так как у окружающих его колена удивленья большого не вызвали, видимо, уже видали. Вообще, к его утрированной выразительности, особенно в форме госслужащего, в каком-то смысле чиновника, надо было привыкнуть.

Он будто бы даже один на один со встреченным знакомым оставался регулировщиком несуществующего движения. Нельзя сказать, что это выглядело комичным. Ну, может, утрированным: будто Гере надо было сдерживать свою динамическую судорожность. Но все-таки его хаотическое чувственное тело всегда одерживало верх – ему было слишком трудно подражать богам. И наверное, в танце он был хорош, как выразитель краткого конвульсивного эпизода. Вся его сексуальность находилась на поверхности его тела и была нескрываемой, в отличие от внутренней чувственности Андрея, и в каком-то смысле богохульной, так как Гера знал, что его неудержимость, с таким трудом сдерживаемая, – хула и посягательства, но это и приносило ему удовольствие, формировало аппетит. Может быть, поэтому у него всегда рот был влажным, будто бы Гера уже видит пищу.

Надо сказать, он прекрасно управлялся со своим телом и мог бы в иных городах и странах вполне выступать в несерьезных кабаре, что больше бы ему пошло, чем быть простым милиционером. В нем было какое-то дурное изящество, напрасное обременение, будто в нем жили завершенные арабески, и другого способа разрядить себя от их прелести, внутренне разрывающей его тело, он не имел.

Он будто что-то знал о своей нетривиальной грации и требовательно ждал почитания, бросал вокруг взоры: «Ну как? Каков, а? Каков я-то? Еще и не такое могу, о-го-го».

Он это делал самозабвенно, так как вся его мягкость была именно оболочкой, как иероглиф, такой сложный и бессмысленный сам по себе элемент каллиграфии, который он после тысячи репетиций выписал тут в паре метров передо мной, и зримый смысл вспыхнул его телом, облаченным в тесную форму, ушитую по-щегоольски. Когда нет выбора, то разрастается поле ухищрений, и мелочи приобретают слишком большое значение. Гера даже рассказал, что у него пуговицы на мундире были однажды золотыми, – по случаю песочек достался. Только один зубной техник, что отливал пуговицы по восковкам, знал суть матерьяла, но какой-то гад, когда Гера закутил в общаге, срезал все до одной – даже месяца не проходил... Можно было себе представить этого франта в синей облегающей форме с блистающими тяжеленными пуговицами – принц Дезире, такой изнеженный охотник за дворцовыми привидениями.

Я погружался в мишурный паноптикум новой жизни и мог ее безнаказанно разглядывать, у меня появлялось чувство уверенности, будто я легко справлялся с доказательствами, как в несложных разделах геометрии.

Я просто чуял, что можно разобраться во многом, точнее, легко понять, как надо действовать. Да! Понял! Главное не человек, а ситуация. Именно она и задает человека, всегда одолевает его биологию.

Жизнь сама давала мне алгоритмы – не надо только задирается, не задирается перед этими петухами и голубями. И я начинал себя чувствовать как перед трудным экзаменом, но также я знал, что выдержу его всенепременно, так как пониманию ничего не может угрожать, так как самую сложную дельту я миновал, увидев изменения и перемены таким зрением, которое простиралось внутрь меня, и я вот-вот сделаюсь по-настоящему вооруженным и непобедимым.

Гера хотел еще многое про себя поведать, но мы уже выбирались на улицу, уже стемнело, и Андрей отведет меня, конечно, к дому В. А., но ведь еще не поздно, можно и пройтись. Гера не унимался:

– Слышь, а танец, он четкости требует, как служба, там не смухлюешь – на тебя смотрит во все глаза зал битком.

Он, бедный, захлебывался, предчувствие сцены владело им.

– Вот я из моей проходки сольной показал там, – он махнул за спину. – Ну и как?

– Ты был ошеломителен, моему восхищению не было предела.

– Как-как-как, повтори... предела... Предела, мать твою... Я хочу, вообще-то хочу в ансамбль уйти. Я еще мазуркой могу пройтись, да там места не было, чтоб показать, шаг очень нравится с шурушанием. А я Польшу панскую зачищал.

Он был, очевидно, перегружен этой мечтой, и она была в нем как кристалл, в котором все преломляется. Мне, честно говоря, редко встречались

такие персонажи, которые все вбирали в себя через мускульные дуги, охватывающие лентами тело. И в самом деле – вот он идет, несколько пьяный, а за ним развиваются шелковые серпантины. У него еще отец очень плясать любил (я понял, что отец погиб), а как в городе все семьей оказались – с десяти лет в кружках.

– А служба не мешает?

– Наоборот – то выступление, то еще что. Всегда отпускают.

Кажется, бедному Андрею нечем было таким выдающимся похвалиться. Он обратился к Гере:

– Ты лучше про горох расскажи, ну, помнишь, как мать на Козина ходила. В сарафане гороховом, ну, помнишь?

Оказалось, что мать, беременная Герой, ходила на концерт Козина. Была уже на сносях. Чуть ли не ночью после концерта и родила.

– Так что я его уже вот где слышал.

Он шлепал себя ладонью по плоскому животу, будто сам мог понести.

– И бабочка такая черная!

Он очертил эту бабочку пальцем на своем голом горле, зачем-то прищелкнув свой кадык.

– А у матушки моей платье-горох. Вот такой! Шелк-ткань из торгсина. Она его не выбрасывает. Говорит – в нем я тебя носила, и горох был для веселья, чтобы тебе в темноте утробы было, Герик, веселей. Вот такой горох!

Когда его речь длится больше трех тактов, он сбивается на плясовой ритм. Будет вам, будет настоящий русский пляс. Будто сейчас что-то откаблучит.

Я не мог представить себе, чтобы мать так ему говорила, хотя бог его знает. А он все круглил большой и указательный в какую-то тесную литеру и смотрел сквозь нее на просвет, будто видел Козина на сцене ДК замечательного завода «Комбайн».

– Слышь, Гера, а ты в прошлый раз говорил, что она носила гороховое платье, чтобы девочку родить, ей так знающие бабки сказали. Горох – девочка, клетка – парень. Говорил ведь, говорил? И что горох-то... Все порезала потом платье с досады, как ты вылупился совсем не Дюймовочкой. На ленты порезала, ты сам говорил, что она со зла, так как ты не девочка у нее.

Видно даже в сумерках – Гера багровеет.

Но это они меня делят.

Все понятно.

– Почему все «Комбайн», да «Комбайн», там же – самолеты, – простодушно говорит Андрей, которого никогда в концерты не водили, тем более в утробе.

– Да это для шпиков замана, – сквозь зубы цедит Гера. – А ты почему знаешь про самолеты?

– Да только дурак последний не знает.

– Молчи-ка ты лучше, дядя Андрюша.

– Сам ты дядя! Я вот свои истории с горохом не перекручиваю шиворот-навыворот. По крайней мере.

– Крайней только две вещи бывают, дядя Андрюша. Север и плоть. Усвоил? Повторяй на сон грядущий.

Вдруг я вижу, что Гера в профиль похож на заточку, натертую о кирпич. Очень неожиданно и остро похож. Неостановимо хищный, очень быстрый.

Рассказав подробно – где и как его найти, Гера ретировался куда-то в сторону вечерних кулис. Что он найдет нас сам в самое ближайшее время, я не сомневался.

ПЛЯЖ

Стемнело, и я видел, как заброшенные пустеющие улицы буквально утирались светом редких фонарей, этот свет в буквальном смысле неудержимо тек, словно непроходящий сияющий насморк и постоянно слезящиеся воспаленные глаза.

Все надо мной – просто посиневший мавританский газон. Смятение слюдяных маков и васильков

Мы остались с Андреем, и было бы ложью, если бы я не признался в том, что тот эпизод, с которого и началось наше знакомство, не повторился, – только находчивость Андрея предоставила нам другое место уединения – в этом городе их было более чем достаточно. Этот заваливающийся дом со следами мавританского декора, отвечавший на каждый наш шаг продолговатым скрипом сухого дерева, мягкими вздохами пыли или хрустом мусора, – мы ведь забрались под самую крышу. Этот дом напомнил мне одно любовное стихотворение о запретной страсти, где плоть отверста, и всё парусит жаром краткого срока любви. Какая-то вынесенная на чердак побитая мебель в мутном вечернем свете слухового оконца, кислый дух голубинового помета, и мой друг с мужской головой, но женственным телом, ставший сам символом бедного жилья, его податливой рыхлостью и благорасположенной неприкаянностью. Непристойный в этой страсти, объективированной его не мужским, но и не женским существом, не имеющим ничего общего с глаголом «владеть», – он все-таки и в своем падении был восхитителен и завораживающ.

Мы вышли на улицу сомнамбулами. Заваливающийся фасад дома был так же непристоен, как и наша любовь, как мы.

Понимаешь ли ты, мой бедный, объективированный в этом угнетенном мире только своим живым телом? Ты жив, но предстаешь мне минувшим и утраченным. Ты не отпускал моей руки, и это повторялось снова и снова, будучи единой длительностью, ставшей и для меня неизменной, незабываемой.

Контур покинутого храма – даже с порушенной кровлей и снесенными будто бы ураганом маковками – темнеет, очевидный и абсолютный, как мебель Бога. Будучи тяжелым, он видится невесомым, как тот, для чьей опоры он создан. Рельеф орнамента, куда вплетены ангелы, сохранился на фронтоне и в тусклом свете отчетливо виден, он однообразен, как лозунги.

Будто смешан одновременно сакральный и низменный смыслы, толчки этого орнамента обегают высокий периметр здания.

В этом – очень простой алфавит, могущий вернуть этому времени первосмысл – отверстый и пронзительный, как то, чему мы только что пре-
давались.

Лишь сильная луна, ее матовый лоск показывал, что зрелище и зрение – апофеоз исключительно моего бытия.

Глубокие тени лунного света дарят сумрачные смыслы ночной поре – время делается заповедником, в нем обитают неназываемые звери и вещи, для которых еще нет ни алфавита, ни смысла.

Очевидно, что главная работа еще не завершена, и у нас есть шанс.

Луна. В ее свету все мы утопленники – ее отраженный вторичный свет так искренне все заливает, от него невозможно уйти в тень – там слепота, искренняя и абсолютная, и смертное литье, еще более текучее, чем вода, спирт, эфир, ртуть.

Я понял, уже в полных потемках, что мы дошли, когда почуял жирную и теплую вонь помойки. Запах был столь телесным, что мне почудилось, что я знаю, сколько лет в это место лили забродивший до пузырьков сахарный сироп и гниль почерневшей патоки.

– Чем же смердит так? – спросил я.

– Да сладью сплошной, гниль же сладкая всегда, – сказал мой спутник*.

Андрей, как было обещано, довел меня до дверей В. А., которые были благоразумно не заперты.

Это словно «Тысяча и одна ночь», подумалось мне.

Когда разувшись, чтоб не шуметь, по внутренней крутой лестнице я подымался и чувствовал, как гладкая краска липнет к ступням, как меня обволакивает смородинный дух кошачьих ухажеров, в проеме дверей стоял В. А.

Сразу спросил его:

– Можно мне не извиняться?

– Вы виноваты только в том, что народились столь невовремя...

Я смолчал.

Я не стал рассказывать и не стал пересказывать ему идею своего грядущего трудоустройства на прекрасной, нуждающейся в прятках младых кадрах железной дороге, ведь воодушевление, когда я перехватил его взор, покинуло меня.

– А вы подумайте вот о чем – с годами разница меж нами будет уменьшаться. В процентном выражении. И я скоро буду всего лишь старше «на», а не «в». Поняли?

* Он был пронизателен. Ведь действительно пахло тем, что не гниет, но это вещество гниль повсеместно одолела. На этом запахе, как на разлитой мастике, можно было поскользнуться. И если бы я смог увидеть этот дух, то он бы оказался липкой плесенью прекрасного волглого цвета.

И еще – я ведь мыслю там, где меня обычно нет, где одни слова.

И я понял, что он со мной говорит как голодный, он с трудом вводит самого себя на территорию своего чувства.

В. А. в сердцах назвал Андрея, хорошо известного ему, «этим вафлёрном», и смесь указательного местоимения и кулинарного термина ужалила меня, ведь я-то не увидел себя и Андрея в замочной скважине этих слов так, как нас могли бы различить другие. Именно нас, наш поганый вид, низменную картину, а не суть наших отношений.

Но сказав это, В. А. осекся, поняв, что и ему будет трудно удержаться на расстоянии от этого дикого языка, принадлежащего касте, насельникам гетто.

Под окном, не переставая, все тархтел грузовик. Сосед, видимо, захал к ночи домой что-то перехватить. Но мне показалось, что дурной ропот мотора соскользнул на упоительный шум водяного каскада, будто я попал в парк.

В. А. метнулся к окну, высунулся, тихо и страшно крикнул подошедшему шоферу, почти шепотом, на всю ночь, окружающую нас:

– Ну, может, хватит, может, отчалишь?

Весь следующий день я провел я Андреем. Мы отправились на пляж.

Люди, приехавшие с нами, расходятся от берега широким артиллерийским веером.

Чтобы не убило...

Наверное, не стоит вспоминать некоторые обстоятельства еще одного пасторального дня, доставшегося нам, – ругань, шелуху подсолнечника, кураж компании инвалидов, детский визг на барже, которая ходила на другой берег Волги. Зрелище низкого берега в ивах и ветлах, застилающее мое зрение... О нем можно только сказать «прекрасно», и оно становится апофеозом мимолетности, грусти, невозполнимой утраты. Когда делаешь по пустынному пляжу даже пару десятков шагов и мелкая рябь прозрачной воды чуть щекочет берег, то кажешься себе одетым в звуковую оболочку, легкий шум полощется и оборачивает согретое тело, как стяг. Будто его прижимали к моей наготе, спасая честь мифического полка. Теплый день длит свою барочную работу, не оставляя свободного места, – наваливающийся жар, солнце, духота, плеск, соучастие.

Кладет горячие ладони на плечи.

Далеко от берега – мелкие лодки, словно поденки, живущие один день, – без рта и ануса – замерли по одной поветренной директории. Больше в них, кажется, нет смысла.

Заволжский ландшафт простирался и разворачивался во времени, словно скудный-скудный вокализ. Я понял, что он, видимый в скудости, блеске и изнурении, самим временем и был.

Пляж завивался где-то вдаль узкой косой, высокие тополя, разросшиеся на ней, жестко шелестели. Именно так! Хотя я не слышал никаких звуков, кроме жаркого сквозняка, прижимающегося к песку пляжа. Жесткий астматический шелест, – я подумал, глядя на далекий трепет зелени, что вот оно – дыхание времени, я уловил его болезнь, оно, это время, умер, значит, у меня есть надежда...

Было видно, как крошечка размером с лягушонка, еще вчера бывшего головастиком, далеко-далеко сидела на корточках у береговой линии пляжа, она стала заходить по мелководью – всего несколько шажков, но снова присела на корточки, может быть, стеснялась собственной голизны. Это была очень спокойная река, на которой не было никакого волнения, – сплошная плавкая зелено-синяя магма.

– Она же вот-вот полетит, Андрюша, смотри, примеривается. Наверное, русалка, в глубь нырнет.

– Да-да-да, прямо полетит тебе. Только у русалки твоей хвост по хребту до пизды разорвали.

– Почто так прекрасный пол недолюбливаешь?

– А чё мне они хорошего такого сделали? А? Одно унижение сплошь. Мать меня все зазнакомила. И соседки, и с работы, и с улицы нашей и с не нашей, да почти все, что мимо ходят просто так. Прямо одолела. То Любка, то Райка, то опять Райка. Аж три Райки уже подряд было. Говорю: мать, это райский треугольник, а в середине черт! Да чё и говорить, целуются мокро, не то что ты. Не лежит у меня к ним душа. А ведь хочет ебаться, как медведь бороться. Давай, говорит, прямо каждая так и говорит сразу: сделаю тебе хорошую чекуню. Все одинаково на второй день. Ну чекуню – так чекуню. Чуть не сжевала, вот те крест.

Я подумал с усмешкой: «Не надо, Андрюша, мне твоего креста, давай лучше чекуню».

Вдруг дева встала, будто слышала нас, и ринулась по мелководью, скидывая голениями, – были видны прозрачные веера, разбрасываемые ею. Но она не поплыла, а опять присела.

Андрей вступил, будто я что-то возражал:

– Вот я и говорю, ну чистая жаба с икрой. Небось и какую-то задорную «ква-ква-ква» завела себе во все горло.

– Было бы слышно, по воде звук хорошо идет...

Будто в отместку, она разбежалась и как-то вспрыгнула над линией воды, будто нашла место, где ниже гравитация и можно даже полетать. И она вовсе не поплыла, загребая по-собачьи в сторону от берега, а стала проникать верхний слой воды широкими толчками, брассируя. Была видна ее плавно вынырывающая голова, которая сводила в исключительную ровность всю линейку перегретой за день воды.

– Ведь ни за что, тварь, не потонет, хоть и голая.

– А почему потонет? – спросил я.

– Да голые всегда только и делают, что топятся. Мол, прощай все, ничего мне теперь не надо – и каюк.

– Это как мы с тобой? Но я не собираюсь топиться и тебе не дам, да и мне много еще чего от тебя нужно.

– Да ты жадный до жизни, ты совсем у нас непростой-непростой-непростой. Да! Непростой, хотя и босой, – хохотнул он, сжимая на мне объятия.

Солнце лизало мою кожу жарким языком, будто я телок.

Этот дурень порол любовную чепуху, приблизив свое лицо к моему, и мне казалось, что я съедаю эти слова с его губ, как сахарную вату страшно-го времени, когда все сладостные ферменты мира исчезли. Левулеза, сахарин, фруктоза, глюкоза.

Но нас прервал резкий скрежещущий кашель, будто очень большой больной поперхнулся мокротой во все свое непомерное нутро. Еще раз через несколько секунд. Кажется, где-то сотрясался горизонт.

– Да это земснаряд с той стороны острова запускают, – не размыкая рук на моей шее, пробормотал, путая слова в своем потяжелевшем дыхании, хорошо понимающий толк в механизмах Андрюша. – Обычное ж дело, друг ты мой любимый.

Я чувствовал себя рядом с ним живой деталью, шестернею, карданом.

Он принадлежал к породе людей, которые никогда не получали образования, и обильные подробности в его светлой голове никогда не суммируются в познания. Мой бедный старательный друг ценил мелочевку, осколки и детали, он и меня любил примерно так же, постигая по частям и уподобляя случайному. Мне казалось, что настоящее чувство своей пропащей глубиной его никогда не захлестывало.

Он, как мальчик, наслаждался именами вооружений, марками машин, всей поденной шелухой, объяснимой простыми словами, понимал механическую суть происшествий: что какого веса, куда и на какой скорости завернуло, чтобы такое вотстряслось, а как иначе. И его любовь была похожа на честную рабочую смену в механической мастерской. Я понимал, как он внутри себя комментирует свои действия с азартом ребенка, который не повзрослеет. Ведь мир в его глазах блестел хорошо собранной механической мозаикой.

От его сосредоточенных колебаний, в которых, как казалось ему, была нежность, я затрясся и разрядился сдавленным криком в него, как брошенный оземь колокольчик. Но на самом-то деле лишь оттого, что он просто хорошо знал, куда надо нажать, в каком темпе и сколько раз.

Он сказал самодовольно в установившуюся тишину, подтверждая все то, о чем мне подумалось:

– Ну, не дай-то бог в трубу с песком засосет – чистая погибель.

И было ясно, что этот его бог трубы – нечто вроде заслонки или вентилля. Но есть ли у него, у этого Андрюшиного бога, сачок, чтобы выло-

вить приблизившего к устью засоса, особенно того, кто грешил не так много, – я не ведал.

Думаю, нет.

Но такая наивность очаровывала меня во всяком случае.

Да и в нашей с ним истории – не я его выбирал.

– Ну, как я тебе на вкус, Андрюша? – спросил я его.

Во мне ведь седела беспощадная рекомендация, данная ему вчера вечером В. А.

И он, наивный, задумался, устремив куда-то вдаль свои словно выгорающие на свету глаза.

– Вот моя бабка, не знаем с матерью, жива или нет по сей день, жарила пирожки с «гуськом». Нет, без всякого гуся, само собой. Какие такие гуси, откуда? Так просто звались. С «гуськом» и все тебе. Так вот, клала в них рис, вареные яйца, соленый огурец, ливер еще. И все дело было в том, что соленый огурец был в вершине пирожка. Понимаешь? С самого края. Как у тебя точь-в-точь. Если ты про это самое спросил.

– ?

– Чё не понял-то? Сначала соленый огурец, а ливер с рисом в середине.

Он, мой наивный дурак, отвечал на все вопросы.

Меня словно подмывал какой-то бес.

– Что, и повкуснее, чем у Геры?

Он растерянно, как-то безвольно покрутил пальцем у виска и буквально в следующее мгновение упер жесткие костяшки кулака в мои сжатые губы, и я почувствовал их зубами, он словно не успел еще размахнуться, но уже примеривается. Быстро, как молния. Но он все-таки не ударил меня. В его низком мире, я позабыл об этом, ревность как протяженное культурное чувство не подразумевалась. Там было место только скандалу, побегу, выпаду, эксцессу и мести.

Он захлебывался, так как по-настоящему в три ручья зарыдал. И рот его скривился и съехал вниз, совсем как нарисованный у Пьеро. Он и запричитал как-то по-детски мне в лицо, будто я мог его не услышать:

– А если хочешь знать, ты – придурок! Ты хочешь знать? Он – вонючий! Потому что пьяный всегда, козел ебучий. Или сейчас пьяный в хлам, или с похмелья еще пьяный! А ты у меня первый человек, первый! Какая ты тварь!!! Ты...

Он почти вскричал.

Меня поразил сложный профиль его эмоции, вернее, сила и глубина ее источника. Все-таки я видел его со стороны, в отчуждении, через большую дистанцию. У него будто не было сил подняться.

– Это ты с В. А. так обучился...

Он плакал, как-то семена, мелко, не стыдясь, будто приуменьшился, я как-то сухо понимал внутри себя, что совсем не соболезнаю ему.

– Ему, бугаю, все одно – мертвяков порет от горла до яиц. Как чё скажет – прямо святых выноси.

Он наконец вскочил и как-то косо быстро пошагал прочь, в глубь острова, в жидкие кустарники, будто его директорию сносила настоящая гравитация, шел, отмахиваясь от веток, такой непростительно голый, нелепый, позорный. С упоением обслуживший мою похоть какое-то малое время назад.

О, прощенья мне не было...

Андрюша вернулся быстро, не прошло и пяти минут. Было видно, что глаза его только что высохли. Он автоматически еще раз размазал вокруг глазниц по сухому. Но это было совсем не для меня.

Он уселся рядом и уставился куда-то в пустое место, вдаль, будто там повесили плакат.

Он него шло какое-то робкое тепло, и я понял еще и еще, что его тело может волновать.

– Не плачь, не мужское это дело – рыдать. Побереги слезы, пригодятся, – сказал я.

Он кивнул, не улыбнувшись.

Долго сердиться он не умел.

Он заговорил на отвлеченную метеорологическую тему:

– Жилок подул, он нежный. Это тебе не южак с песком, его издали видать. Тогда точно ненастье придет. Это жилок.

Он посплюнвил указательный палец и выставил его вверх, как антенну, будто не поверил своему метеорологическому чутью.

Трепетные имена ветров сказали мне, в каком краю я очутился, за сколько тысяч миль от моего утешного прошлого, которое прошло навсегда. Мне захотелось разрыдаться. Только на мгновенье.

Дальние холмы уже погружаются в оптический жар, как на честных русских картинах девятнадцатого века – искренних трудах бродячих рисовальщиков. Они стерилизовали пленэры, как и народившиеся в то же время гигиенисты измененную суть человека. Ни на одном известном мне пейзаже я не погружался в изнурение, не придвигался к самому уплощенному горизонту, не слизывал с сохнувших губ фермент угрозы. Вверху монументально стоят мазки кипенно-белого фермента, сгустки, ничего общего не имеющие с паром, – они так обобщенно легки и незначущи, они предназначены стать горячей эссенцией, смыслом, обжигающим зрение одним лишь соприкосновением со старой матрицей привычных, прирученных кудлатых облаков.

Иногда мне казалось, что профиль Андрея точно соответствовал контуру буквы, вернее, звука, произносимого им, он будто вставлялся в види-

мый абрис буквы. И ему тесно и неудобно. Такой звуковой конфуз одолевал его – вроде это временно. При этом казалось, что речь его уже звучит, и он движется по ней, как бусина четок, и все уже известно. Ведь он чуточку картавил.

Будто им сами перебирали какие-то силы.

Его нос Пьеро, тонкие запястья... Пьяные, порозовевшие сквозь летнюю смуглость губы.

Едва мы разлеглись с ним на песке, как я почувствовал, что потемневшие облака размывают солнечный свет, и песок из золотистого вдруг закоричневел и стал грязным, истоптанным, хотя по нему кроме нас и каких-то мелких птиц и змеек никто не ступал целый месяц. Я заметил, как четкий контур тени, только что отбрасываемый лежащим рядом Андреем, стал проницаемым, размылся, и нечеткое пятно посветлело, если так можно сказать о тени, будто перед тем как исчезнуть совсем, она просочилась в запачканный новыми сумерками песок.

– Ну, ведь не ливанет, – сказал с надеждой он, не открывая глаз.

Я положил ладонь на его разогретое от только что скрывшегося солнца плечо.

– Погладь, а? Ну пожалуйста. Лучше ты меня пожалей, а... – тихо попросил он, кажется, опередив мой жест.

И во второй половине дня будущий ливень проступал как мотив далеких фронтов, вдруг зашевелившийся над поверхностью вод. Я подумал, глядя на далекую, но близящуюся картину, что грозы и сопутствующие им ливни – обмороки тверди, чтобы мы знали, что у зримой сияющей поверхности есть сумрачная слезящаяся изнанка.

Я ждал, чтобы из сгущающейся картины, которая на глазах упрощалась, сводилась к зримому термину «гроза», исчезло расстояние, как последняя интеллектуальная черта, отвлекающая от зрелища ее сути. И вот действительно – река лишилась цветовой глубины, стала уплощенной, будто служители выкатили к просцениуму пляжа распрямленную ленту однородного водяного цвета. Она, эта лента, перестала воспринимать небеса, окрасилась каким-то матовым невосприимчивым тоном серого, густеющего на глазах цвета. Неба в этой замершей (в цветном смысле) массе не отражалось. Это стало зримым противоречием, которому непременно требовалась разрядка. Так не могло продолжаться, хотя бы потому, что координата времени обнулилась. И дождь пошел театрально – будто с колосников опрокинули протяженную цистерну, и она пролилась всем своим телом сразу через отверстие дна хляби. Гроза просвечивала непонятно откуда попадающий на серый экран цветной просвет атмосферы. Будто это расцветенный рентген или начался новый особенный бездлительный день, навстречу которому мы раскрыли глаза. Мы увидели весь завтрашний, послезавтрашний и вообще мировой день, его больные легкие, обернувшиеся атмосферой.

Асимволические цвета молодого вечера, которого почти что нет. Такие дистилляты, для которых не придуманы названия. Это похоже на время ожидания Мессии. Действительно, сколько еще осталось его ждать? То, что впущено в наше сердце, не нуждается в линейном времени.

Сквозняк, который мой спутник поименовал «жилок», зашевелил низкие ивы непроходимого тугая.

Мой Андрей был вообще-то чутким – он молчал, жевал какие-то травинки, ходил коренасто к воде, бесстрашно заплывал народными саженками, по-другому не умел, и быстро выдыхался, но оказался способным освоить брасс – «ну это почти что по-собачьи, по-бабьи».

– Ты в воду выдыхай и держись ровно, не прогибайся – вот и вся наука.

Чувство его скользкого полегчавшего тела в воде, которое я «обучал» плаванию, незабываемо: легкий и глупый, плавный и цепкий. Он долго делал вид, что у него не получается, хотя стоило только его подтолкнуть, как он, легко прогнувшись, пошел в воде правильной дугой и, выдохнув в воду, поплыл, брассируя, толкая перед собой небольшую волну.

– Ну, будешь меня помнить, когда поплывешь, – каждый раз.

Он странно ответил примиренно, будто уже простился со мной, и я был далеко:

– Каждый раз.

Конец нашим мирным преступным глупостям был не за горами, он это чувствовал. И когда он угощал меня мелкими китайскими яблочками, взятыми из дому, то (я это увидел) он понимал, что это из литературы, и неважно, что он никогда не узнает – откуда. Ведь он накормил еще и птиц, и это ранило меня*.

«Начнем снова», – эти слова я обращал к Андрею, когда его еще не было, но... но все-таки он был в той же степени, как и Гремьк, которого не было уже в абсолютном смысле. Такая апология поправимости. Я выстраивал ее в себе при помощи скрупулезных, но выцветающих слов, словно в них не было сил на поддержку. Ведь можно начать существование, только исчезнув...

«Ты исчезнешь, когда я перестану говорить за тебя, но твоими губами».

Грозу мы переждали в воде, так как на берегу растительности было мало и лезть под вымахавшее громоотводом дерево было опасно. Мой дружок со скоростью обученного пса вырыл нору, где спрятал нашу одежду. В воду мы вошли уже под первой холодной каплейю.

Голый, примеривающийся к рытью по-собачьи, он показывал все свои сокровенности, разведенные ягодицы с розовым узелком на дне мелкой

* Вдруг до меня дошло – отчего эти бесконечные путешествия на Восток. Почему европейцы обожали арабских бессмысленных парней. Это только тело с мимикой приязни, благодарности – почти что без языка, поэтому оно непротиворечиво насыщается любимыми смыслами. Их тарабарская дикция транслируется в личный мелос наблюдателя.

воронки, но это было совсем не постыдное зрелище, ибо в нем, невзирая на способ нашего знакомства, не было ни одной черты, которая бы могла быть подвержена порнографированию, в отличие от моего дорого Г., который просто весь просился на подпольный разворот*.

Со мной такое бывало, это происходило от достоверности всего случившегося. За ним как-то нельзя было подсматривать, хоть он и подставлялся, – и зад его походил на устье яблока, на то яблочное место, откуда может вырасти черенок. Как он ни выворачивался, будто что-то мешало ему явить свой испод, словно Гремык, который, даже исходя, сберегал какую-то тайну своего тела, которое я знал как свои пять пальцев, и никогда не делался постыдным.

Значит, и он, Андрей, принадлежал к породе людей, которые могут свою нехватку, неутолимую жажду вообще-то самих себя обращать в безмерную прибыль. Да его, как и Гремыка, видимо, не исчерпать. Как это еще называют – цельность личности, безотчетная манкость, жертвенность, которая ничего не просит взамен. Просто дает, и забыть эту самоотдачу нелегко, если вообще возможно.

Вот среди бела дня слабая, малокровная луна пятнит свой будущий оттиск. Такой водяной знак, просвечивающий в небесной купюре. Как это забыть? И фронт высокой грозы, накатывающийся поперечными волнами на приостановившийся день. И дурашка роет торопливо песок. Жизнеутверждающая идиллия. Я есть. Я вижу. Живу. Любим. Еще на сутки. Но они – впереди.

Его яички какой-то ветошкой затыкали его чудное тело, когда он на карачках с головой урывался в песчаную нору и песок летел веерами. До ливня он успел. Он голый был немного комичен, так как загорелыми у него были только голова и руки до середины локтевого сгиба – словно он был облачен в белое трико. Этот цвет любое тело делает жалким и стыдливым, невзирая на то, каким бесчинствам оно предается. Про меня и нечего говорить.

Но, честно говоря, я углядел на его лице и следы его скрупулезного будущего, будто эта жизнь уже полонила его, не оставив ему шансов, и он должен ей только честно принадлежать. Сетка, разбегающаяся от глаз, складка, которая незаметно проляжет от крыльев его носа к уголкам губ... Я подумал, что он может постареть в одно мгновение – как Дориан. И в этом была заключена вся его прекрасная и дикая органика.

Шея его была все-таки коротковата, будто он был островитянином, где в конце концов все семейные связи делаются инцестуозными. И я, не

* Я до сих пор вспоминаю, как он раздевается в спальне своего дома, где мы оставались вдвоем, и весь вечерний свет, заключенный в тех темнеющих часах, собирался на его белом холодноватом теле, будто приготавливая его не только для моего созерцания, но еще и для съемки.

отнимая руки от его тела, спросил его – откуда он родом, хотя уже догадывался, но хотел, чтобы он сам сказал мне. Я почувствовал, как по нему прошла волна, но он не набычился, он продолжал лежать неподвижно, но я понял, о чем он подумал: что, мол, мне, я здесь (по мне видно) на день, отвалю, – и он не кивнул в сторону города, туда – через реку.

Я давно обратил внимание, что здесь так принято – приоритетное положение – город и еще дальше на запад, а на восток – степи, безысходность, мрак. «Там» и «туда» – объясняли восточным или западным склонением головы или взгляда.

Так, значит, у всех в голове компас? Если все согласились с этим числением? Всех пронизывают магнитные силовые линии?

Он оказался, как он сказал, – «чистым немцем». Из глубокого Заволжья. И он кивнул куда-то. Всю его семью большую – полно народа – всех отпустили, и он опять кивнул. Будто была тайна, на которую все могли сослаться одним кивком, – захоронения предков, сакральный вигвам, то, что все знают, но не упоминают. А как же он? А он с матерью – отдельная семья по закону. – А ведь мать твоя – немка. – Ну и что, – ответил он, отца-то у меня нет. Как это нет? В свидетельстве прочерк, а отчество – дедово. Нас это с мамашей моей «чисто немецкой» и спасло, так как гнали тех, где мужчины были немцами, а я из-за прочерка – уже русский, хотя и Рейнгольдович.

Я ахнул! А ты не Вотан случайно, не Парсифаль, не Клингзор? Он только вздохнул глубоко. Я сказал, что понимаю цену его признания. И он зачем-то добавил, что похож на старшего материнского брата, – чем старше, тем сильнее, есть фото. Но я ответил, что это ничего не значит, я тоже ношу на себе черты младшего брата отца, так что пусть он себе не морочит голову, это ведь совершенно все равно.

Когда он негромко, повернувшись ко мне, говорил эту сагу, приоткрывая рот, и я видел небольшую щербинку на его клыке; ведь для этой истории русских букв слишком много, он бы мог обойтись одними дифтонгами, просто бы промычал.

Он стоял лицом к несильному после грозы солнцу, и глаза его голубели до сумасшедшего цветочного тона – как васильки, отмытые в щелоче. И зачем они так голубели, это ведь такая литература... Он почти ничего не умел скрывать, и это несокрытие и было главным его свойством. Его лицо, насколько я успел его узнать, выражало истину положения. Не думаю, что с другими он был бы иным. Просто обходил запретные зоны. Как мог. Своей нелепой твердой походкой.

Этот день отвлек меня от всех забот. Будто это могло продолжаться сколь угодно долго.

Вот уже я не чувствовал контраст между голосом и телом Андрея, только вдруг непонятно отчего то тут, то там я обнаруживал шрамы и рубцы, но я хорошо понимал, что они – на самом деле во мне.

На барже, которая все не могла отчалить, собирая оставшийся люд, Андрей, сев на теплую деревянную палубу, привалился к борту и заснул.

Я думал, что в его лице я запомнил те качества, которые не обнаружу в нем через пять лет, если повстречаю.

Женская мягкая припухлость, лишаящая его возраста, которая может стечь, как холм в овраг под вешними водами.

Я, может, и полюбил в нем эту вневозрастную неустойчивость, она ведь вдруг откуда ни возьмись в каком-то ракурсе насыщала его смыслом, которого в нем совершенно не было.

Ведь стоило ему прищуриться, как-то моментно взглянуть на меня, насквозь, очень глубоко, как он делался охотником, ожидающим дичь в тесной засаде, – вся его скованность и зажатость получала исчерпывающее объяснение, и это казалось мне чудесным, будто я отгадываю его, не имеющего кроме своей подпольной сексуальной практики никаких тайн.

Желание, алчба, скрытность были не из его арсенала.

Он просто уступал своему хотению, так как хотел почти всегда, и он и не понимал, что бывает иначе.

Когда он уснул покрепче и смежил веки, я видел цвет светлой терракоты, который о желании говорил еще сильнее, чем его глаза, так как к его телу добавлялся еще и культурный смысл, делал его фавном, оттиском помпеянской полости, звуком инструмента...

Я думал позже, и видимо, прав – это желание и было в нем единственной гарантией людского. Таким тормозом, который может ускорить, разогнать самое важное – жалость, соболезнование, нежность. Меня занимала эта идея, так как у Г. все было наоборот, я даже думал о его алчности и ненасытности, которые он сдерживал лишь потому, что был дисциплинирован и элегантен. Всего лишь...

Андрея разбудили три нетрезвых надвигающихся друг на друга голоса, вступающие с задержками, будто это гомофонный хорал, – будто раскрывают во всю длину подзорную трубу, выдвигая кольца звуковой аскезы, – одно из другого. Калейдоскоп с его перевертышами и ошеломительным весельем еще не был изобретен. Какая-то заунывная пьяная песня.

По такой схеме вообще-то поют птицы, рассыпая блестящие акустические кольца, которые выступают одно из другого.

Андрей сказал, что черный дрозд возле его дома тоже все поет. Он его даже вроде обучил – и Андрей просвистал мне клочок хабанеры: «У любви, как у пташки, крылья».

Я будто услышал, как птичка это повторяет, сбиваясь после трех тактов на россыпь прекрасных бессмысленных колец. И Андрей погядел в сторону пьяно поющих без осуждения:

– Метизники они обычные, шулера.

В городе мы потом шли мимо краснокирпичного обшарпанного, но величественного здания. Над забитым досками входом косо висел лозунг, бессмысленный и наглый.

– Это была синагога давно. Но и здесь нас не помолвят, – заключил серьезно Андрей.

Я заметил, как к бродяге, сидящему у входа, качнулся неизвестно откуда взявшийся человек в очках и светлой рубашке, перемазанной свежей кровью. Рот его был размашисто разбит и кровил.

Бродяга протянул ему грязную тряпицу.

– Вот, их помолвили, – сказал я.

И я не признался Андрею, что очень хорошо знаю всю глубину цветовой гаммы следов крови. Свежей – от спящей до тяжелой алой. Знаю, как она рыжеет под солнцем, чавкает с сыростью и совсем не сворачивается на сквоньяке. Но он уже не слушал меня.

Андрей опять вернулся к моему заглавному сюжету:

– Мелюзга, щупачи, оголодали, шантрапень. Теперь кошельками-то не трясут, карманы позаметали.

К концу фразы он соскользнул на пение. Я даже узнал мотив.

– Козин? – переспросил я.

– Он самый. Надо Гере вообще-то про твою бумаженцию поскорее рассказать.

Но было видно, как он нахмурился, – с Герой делить меня ему совсем не хочется.

ЦЕНА

С Герой мы встретились в клубе, где у него должна быть репетиция плясунов. Мы примостились в коридоре, из-за двери доносилось чтение и критика с вскриками каких-то несусветных стихов. Будто великаны кидались обломками скалы.

Но пришел Гера, и посерьезневший, он записывал что-то с моих слов в свою тетрадку. Ну там, как они стояли, кто с бородой, кто с усами, рост-вес, сколько лет и по мелочам что-то о наколках, из которых я запомнил только якорь во всю лапу и сивые перстни с лучистым сиянием у того, кто «ел пирожок».

Гера сказал: «Перстни это очень хорошо. Напрягись-ка, еще чего вспомни».

Он выводил буквы небыстро, будто это клинопись и он ее высекает в камне, делал умопомрачительные ошибки, но взгляд его сузился и сделался лисьим, и это многое сулило. Я даже расслабился. Мне вообще это жутчайшее мое злключение напоминало великую литературу: греческие романы с разбойниками и чудесным избавлением, «Одиссею», которая все-таки завершается, благополучные в конце концов приключения Гулливера... Там тоже могли и съесть, и растереть между жерновами. В сущности, думал я, так и происходит в эпические времена, когда перекраиваются не то что судьбы – границы и календари. Роптать мне было нельзя, только надеяться.

Гера пролистал дальше свою тетрадь и вдруг она раскрылась на записи посередине страницы крупными буквами, многократно подчеркнутая:

МЫСЛИМО ЛИ ДВИЖЕНИЕ БЕЗ МАТЕРИ?

– Гера, как это понимать?

– Да я сам ничего не понимаю, нам задиктовывают. Вот и пишу. Когда поспеваю.

– Дай посмотреть.

Он пододвинул ко мне тетрадь, испещренную безумным диктантом.

Это были обрывки фраз без начала и конца, искаженные имена философов и прочие красоты. Если он не успевал за лектором, то начинал с полуслова, с конца предложения. Иногда встречаются слова «точка», «тире», «с красной строки», «итак», «все я сказал», «это не надо».

– Гера, а что за пустые места?

– Да я соснул тут.

– А ты сам-то понимаешь, что пишешь?

Гера внимательно посмотрел на меня:

– А об этом не надо. Кто не понимает, тот давно кайлом махат.

Он съел глагольные окончания так, что получилось очень убедительно. Я не переспрашивал.

В тетрадь вложен листик с рисунком, такая русская элегия – склон, березы плачут, река, лодка без рыбака, месяц.

– Да ты способный.

– Я на много способный. С малолетства.

Это прозвучало обезоруживающе двусмысленно.

От него, сидящего вблизи, едва пахло кожей, гуталином и казармой, и он напомнил мне Г. именно этой волной, вдруг разошедшейся вокруг, будто в воду бросили плашмя крупный голыш. Моя память меня обрызгала.

«У тебя весь лоб мокрый», – он мне этого не сказал, хотя посмотрел так пристально, будто счел капли, выступившие на моем лбу.

Я утерся тыльной стороной ладони.

В цивильном платье он был бы неотразим. Я вообразил. Смокинг, пластрон, из черных рукавов белейшие манжеты с кошачьими запонками, какой-то флорентийский аромат с низкой животной нотой, делающей желание теплым и неудержимым, как светлое известие, преломленное в раду-гу широким фасетом оконного переплета. Ведь Г., понимающий в этих делах, говорил когда-то мне о своей вычурной парфюмерии: «Не запах, а пятно жидкого света. И вообще – это мой естественный фермент».

Документ, добытый чудесными стараниями В. А., дающий мне право на жизнь, вернулся ко мне через несколько нервных дней.

Андрей днем высвистал меня, сообщил радостную весть, и мы отправились в Герино учреждение. Я с большим сомнением шел рядом с ним. Лучше всего в такие заведения мне было не попадать.

– Ты чё, прям потемнел. Ничего тебе не будет. Ничего.

Последнее слово он произнес отдельно. Он потрепал меня по плечу.

– Андрей, а может, ты сам зайдешь туда, а я тебя обожду?

– Нет, Гера велел, чтоб я обязательно с тобой пришел самолично. Да это близко, почти пришли. Если Гера сказал найдет, то так и будет.

Гера действительно все разыскал, он ведь был самый настоящий кот-сыщик, знавший всю шантрапень города, они ему представлялись не крупнее мышей, все их повадки и тропы он знал как свои пять пальцев. И никто не мог посрамить его ловчий азарт.

Несколько коротких переулков, тихий бульвар, череда приземистых домов. Я действительно не заметил, как мы дошли. Около одного дома, который и был тем самым учреждением, на лавочке под алым стендом с пожарными аксессуарами сидел Гера. Я обратил внимание, что лопата,

топор, ведро и багор были приколочены к стенду намертво, и в случае настоящего пожара воспользоваться ими можно будет только вместе с самим стендом.

Гера был в свежем цивильном платье, светлых штанах, какой-то сверхчистый и преувеличенно аккуратно причесанный.

Совершенно белый лоб выдавал в нем человека, почти никогда не снимающего фуражку.

На фоне щита, выкрашенного алым, кожа его скуластого лица сверкала, будто он только что окунал его в противопожарную воду, налитую вскользь в бочку, прикопанную рядом и также выкрашенную алым. Перехватив мой взор, застрявший на алой лопате, прибитой гвоздями по черенку и клинку, Гера, презрительно бросил скороговоркой в сторону своего учреждения: «Показуха. Пыль в глаза. Слова на ветер».

От Геры разило одеколоном, будто он разжевал свежие еловые побеги. Он сплюнул по узкой дуге в совершенно пустую бочку. От сердца моего отлегло.

Вход в заведение был распахнут.

И он вдруг разбавил наступившую паузу:

– Давай зайдем, ты не против? Для формалистики. Андрей, ты тут погуляй пока.

Я понял, что он к этому тщательно готовился, ну, по мере своих сил. Деваться мне было некуда.

В этом пустом из-за выходного дня заведении была разлита какая-то странность, плотно обволакивающая меня, будто бы имеющая вкус и запах, – вроде пустое пространство может заполниться по условленному свисту тревоги, и люди сгустятся из пустого воздуха, сначала – топот их подошв по худым половицам, потом – они сами. Но сейчас неподвижность того, что в пустых коридорах ничего не происходит, была слишком выразительной. Значит, должно непременно произойти.

За неплотным окном заквакала лягушка, запела, захлебнулась, словно увидела желанную бледную звезду на помутневшем летнем небе.

– Ну, как от счастья захлебнулась.

Гера умел держать паузу.

Вот комната, в которой есть Герин стол. В нее ведет пародийная дверь, главное в двери – запор, легко отжимаемый плечом. Шаткий замок должен был вывалиться из дупла, как пломба. Это была такая нарисованная дверь, немного похожая на Геру, который тоже был словно нарисован. Во всяком случае, моя встреча с ним была органична, как киноэпизод. Будто я нашел на полу листок с нарисованным пижоном, который на глазах ожил.

Стакан в подстаканнике хранил череду коричневых ободов, чай из него точно не пили. Окурочек лежал на сухом дне.

Гера очень тихо проговорил, будто нас слушают:

– Все выкинуть недосуг. Да не сиди ж ты курьлём. Им что, сюда с твоей бумажкой было бежью бежать? Вот и посуди сам. Вдруг да не вдруг. Вот вернулась твоя бумазея. Ценишь?

Он говорил о плате.

Его требовательные слова не соответствовали ни выражению его посветлевшего лица, ни тембру его замедлившегося голоса.

На плоской тарелке – какая-то медовая тряпица с коллекцией мертвых насекомых, в основном мухоедство десяти сортов, словно прекрасная флорентийская плакетка, такая искусная керамика.

Гера пристально смотрит на меня, будто ждет ответа:

– Вот я и говорю...

Я молился о том, чтобы желания были словесными, потому что без слов все – похоть, телесная жадность, прелесть. Но можно ли без слов хотеть жить?

Я не мог отвести глаз от мушиного кладбища. Почти черные, крупные особи обычных мух, еще другие – зеленые, синие, все – блистательно отшлифованы кабошонами. Я не знал слов, которые к ним подойдут, – цокотуха, зубоножка, жигалка, це-це – вот, пожалуй, и все... Это была такая же яркая языковая туманность, как истинная Герина речь, залегающая под его словами. Я ведь их слышал как отзвук происшествия, которое не могу увидеть, и моего воображения не хватало вообразить их.

– Подминдалишь? – он двинулся на меня, и не понять это непонятное слово было невозможно.

Но перекрестным взором мы глянули на окна, раскрытые напролет.

– Ах, садись, садись, присаживайся-ка, – как-то совсем по-женски ласково для своего мужского тембра защебетал он, уже раздетый по пояс, наконец нашедший свой истинный регистр.

Мне стало грустно и очень одиноко.

– Ты куда это ушел-то? – спросил он меня, будто догонял, хотя я никуда из этого запертого им на ключ помещения уйти не мог.

И я почувствовал на своем плече его лапу, он поворачивал меня, словно бакен течение, он погружал меня с головой в свой дух – еды, пота, тела, казармы, кошек и желания...

Знал ли он, что это такое – эти костры, разжигающие в нас ничто?

Я только заметил, как за моим плечом метнулась по сквозняку с тихим чирком от раскрытого окна мгновенная синяя тень.

Я вздрогнул.

Голубь?

Гера, не отрывая взгляда от меня, подошел к окну, чтобы закрыть створки, и я услышал, как в помещение буквально ворвались охапки и всполохи шуршания, – будто это все газеты мира, которые только еще выйдут под утро, уже полны сообщениями о том, что произойдет между

нами. Это трепетала листва старого тополя, перестоявшегося в жару; он серебрил воздух изнанкой своих крупных листьев. Будто все было завернуто в хрустящую фольгу.

Когда Гера заелозил, я еще успел заметить лозунг – восклицательные бессмысленные слова, выписанные на кумаче; они стекали вниз колофонном, словно должны были навсегда исчезнуть.

Так и произошло. Все исчезло.

Честно говоря, я бы хотел из всего, что произошло между нами, запомнить только синий рывок копирки наперегонки с ее тенью. Подробностей, о которых не хочу упоминать, не из-за щепетильности, а из-за того, что они стоят в моем прошлом тавтологическим рядом и их время не сводится ни к чему; главнейшее их свойство в том, что они, будучи осуществленными, в совершенстве и минули.

Я подумал, что вот ничего уже не помню, ну совсем стал как дерево. Хоть бы вспотел.

Гера продолжал что-то говорить, держа руки перед собой, и эта молящая и одновременно преувеличивающая его жестикация, была в сумме все-таки жалкой, незначительной, будто бы заемной. Будто и это был совершенно провальный эпизод из драмы его ненастоящей жизни, где все – не то, не то, не то... Доблесть, служба, родители, приятели, судьба...

Я понял, что имел дело не с ним, а только с его именем, только с тем, что не имеет по-настоящему тела и, прикасаясь, только лишь сквозит через меня, не задевая. Как речь на неизвестном языке. Под его задраным подбородком несколько раз скользнул рывками кадык, как аварийный лифт, который запустили на один день для значительных визитеров. Только для того, чтобы я его увидел.

Я понимал, что он меня совершенно не волнует, но оттолкнуть его было бы святотатством. И только это примиряло меня с этой ситуацией.

На моем языке уже не было слов для его тела, только медицинские термины, будто он уже труп.

– Там часы, говорят, с тебя еще эти прощелыги сняли. Знаю. Дорогие. Но часы, извини, не обещал. Попадутся часики, верну. А бумагу – получи-те. Даю без росписи. Значит, ты Аскольдович. Бывает.

Перед тем как протянуть ее мне, он близко поднес бумагу к глазам, будто был близорук, может, он хотел поцеловать ее, как любовное письмо. И в самом деле, губы его непроизвольно округлились.

И он с шумом выдохнул, будто хотел сдуть этот листок.

ЭПИЛОГ

ПОЕЗДА

Это случилось быстро. В одно прекрасное утро В. А. ушел себе на службу, и я даже испугался сам своей прыти, будто ветер во мне задул и я оказался сквозным, обрел внутреннее измерение. Надо признаться, что все время, бытуя с В. А., я внутренне не переставал готовиться к этой волшебной минуте. Но вот мотор внутри заработал, закрутились лопасти, запахло электрическим огнем, будто надо на любовное свидание бежать, туда Тадеуш уже пришел, стоит в условленном месте, переминается, желваками играет, брови светлые хмурит, сейчас уйдет к чертям собачьим, ищи-свищи его... Мне потом будет казаться, что это он меня позвал сорваться с места, шмыгнуть за приподнявшуюся полость.

«А дальше-то ждать уже было нельзя», – шепнул я сам себе, будто растолковывал свое мутное прошлое; а на самом деле повторил и интонацию, и слова В. А., сказанные о его кудрявом друге. Главное, как понял я, в конце концов, была не безоглядная любовь его к В. А., а то, что он непростительно погиб в самом начале их общего пути... Образовавшийся вакуум меня и засосал, и не виноват нисколько, что не совпал я с тем, чего В. А. так ожидал. И меня эта концепция любовного чувства отталкивала. Я знал, что даже обидеться на меня В. А. не мог по-настоящему, будто для обид я еще не вырос.

Все последние дни, насыщенные разными событиями, я раздумывал эти мысли, пока не почувствовал предел своего положения.

Кажется, я все время улыбался узелку своей силы, вдруг закрутившемуся во мне по-морскому.

А ведь стоило мне только шагнуть, Боже мой!

Мне было как-то невероятно торжественно ощущать себя мелким вором, это было исключительной новостью, низость этих мелочных жестов меня волновала. Будто я рушил концепцию любви В. А., античный лоск его записок ко мне, от которых я ни за что не смог бы отказаться.

Так, я заткнул глубокий зев старого саквяжа, конечно, его, поувеченного, но по-прежнему прекрасного саквяжа (с чем он в баню в субботу пойдет, бедняга бедненький?) оскорбительной невозможной мелочью какой-то подорожной – серого хлеба черствую четверть, мыло простое вынимать не стал с прилипшей бумажкой, мочало оставил деревенеть, а брит-

венный станок в жестяной коробочке звенит, наверное, (банный станочек, совсем простой, он там ведь бреется), полотенчико замусоленное с гвоздя сдернул тоже – украл попросту все-все-все. Еще деньги смешные на билет и на неделю жизни. Ну, чуть поболее взял, бледнее, чуть поболее. Из стола. Эх... Но он простит. Всё – его, я-то ничего ведь не нажил, все было настолько легко, что уже и бестелесно. И потому не было мне стыдно, ведь там, где пребывал я, о стыде не помнят.

О стыд, что это? Форма праздности? Христианские каникулы? Разве другое?

«Так-то вот» – словно я В. А. это объяснял, понимая где-то внутри своего ума, что мне нужны следы, соприкосновенные с его телом, которое я навсегда покидаю, чтобы... чтобы не утратить свою связь с ним, моим спасителем несчастным.

Господи, добрый и крепкий, которого не убоюсь я, грешный, и еще Святой Франциск, так любимый мною, садовник мой дорогой, пасечник, травник и птичник, простите ли меня.

На улице, которая меня напугала своей тишиной, едва прикрыв за собой дверь, безжалостно почувял, ну прямо как сеттер на охоте, – что вот и избавился от всего, что *было**. Только в ноздрях заглохло так таинственно. Не подозревал, что время, его магию и морок удастся снять вместе с ремешком часов... Я почувствовал, что шурюсь, сгоняю слезу и сдерживаю свое собачье тело, чтобы не ринуться к ближайшему дереву и не понюхать растрескавшийся ствол осокоря, вспучившего корнями тротуар. На прощанье!

В. А., полюбивший меня, в приливе самоутверждения своего непомерного минувшего, как свою вечно возобновляемую жалость к собственному прошлому, которую можно воплотить, разве стоял кладбищенским командором за моей спиной, не пытаясь ни остановить меня, ни гулко сказать что-то в мою сторону?

Я потом много времени посвятил размышлениям о природе его чувства ко мне. Главное в нашей истории помимо моего спасения было самоутверждение его в его любви ко мне, и в этом самоутверждении мне не было места. Для того чтобы все состоялось, я должен был уравниваться ему без малейшего зазора, впитаться целебной мазью, которую наносят на тело. Но я ведь спасался, и я был согласен на спасение, я его искал, какой еще у меня мог быть выбор? Так что это рассуждения для бедных. У меня были другие основания быть его зеркалом, осыпающейся амальгамой. Мне даже казалось временами, что все-таки он прожил со мной огромную жизнь, так как заставил меня увидеть собственное прошлое изнутри него самого, но моими глазами.

* И я с такой же силой знал, что в нем, времени, бывшем со мной, моим и мною, заключено то, которое только еще будет, не проступая пока ни в чем, но уже властное и повсеместное. Сообразил, на что похоже это мое чувство, – будто в прорубь провалился с головой.

«Прости-прощай!»

Новая жизнь, новая жизнь!

Меня бы не удивило, если бы на всех домах воссияли свежие таблички с неведомыми именами улиц.

Но по-прежнему никому ни до кого нет дела, хотя бы потому, что обычным людям надо не рассыпать свой скарб, которым они невидимо нагружены, не лишиться нажитого столь трудно, когда и сама их жизнь – не внеположный дар, а деталь амуниции, которую так легко сорвать.

И я понял в абсолютном смысле – как вижу череду прохожих, столь внимательных к своему отрепью, глубоким карманам, мешкам, котомкам. И чем вид людей был ничтожнее, тем больше в них было опасливости, тем заметнее проверяли они все пазухи своего платья, буквально доводя себя до чесотки.

Вот сейчас, спеша, обгоняю их; ведь все эти люди в обступающей меня стране должны быть тотально обокрадены. И я заговорил в такт своему дыханию, видя, как коренастый мужик в заношенном и обвислом костюме, еще довоенном, щупает свои многочисленные карманы на бедрах, ягодицах, на груди, зажимая под мышкой еще какой-то сверток: «У тебя похитят навсегда свободу, волю, время, а ты все тискаешь свои карманы, шаршишь там свои последние денежки, хлопаешь по документам, зашитым, завязанным, скомканным в укромных пахучих местах».

Мне стало смешно думать о людских телах, несущих на себе оттиски государственной цифири: номеров казначейских билетов, справок, паспортов, удостоверений и предписаний. Будто всех целиком должны была растратить злая сила, сверить, сосчитать.

«Прощай В. А., дорогой мой! Бессчетное число раз прощай, моя прощая радость. Я не сказал тебе этих слов. Никто не сосчитает, сколько раз я с тобой прощаюсь...» – твердил я это слезное заклинание в такт своей ходьбе, пока поспешал по проулкам к вокзалу.

«Будучи вблизи тебя столько часов, я тебя не узнал, твоя оболочка, доступная мне, осталась непроницаемой и отдаленной в той же степени, с которой ты желал меня. Все случилось наоборот. Но разве ты обрек себя этому отчуждению? Как же иначе может быть еще в предельной несвободе, в которой ты вынужден влачить свое достоинство?»

Этот город, еще не разогретый солнцем, невысокие облупившиеся дома его, поставленные на прямые, со вкусом распланированные улицы, еще не запыленные тополя и акации бульваров, отцветшая жухлая ботва в палисадах, кошки в форточках и на подоконниках, похабное барахло в витринах старинных магазинов, классические соборы и церкви, приспособленные в ничтожные учреждения, все казалось мне тесной перчаткой, которую я наконец снимаю.

Моя победа состояла в том, что я не ждал будущего.

Там, где бульвар, по которому я тесно ходил с В. А., взбираясь на склон, чуть кривился, будто на него подул заволжский ветер, имеющий имя, меня нагнал трамвай-одиночка, дугой он царапал провод, нещадно пуская фейерверки бледных на свету искр; над слепым фонарем-прожектором сияла табличка «Вокзал – Волга».

Я бросился на эти слова, как пес на подачку. Побежав рядом, я тявкнул в открытую крайнюю дверь: «На вокзал?» Мне все закивали, будто были рады моему рекорду, что я нагнал больной трамвай, и никто не посмотрел подозрительно. Всем ведь бывает надо срочно на вокзал. Мне требовались любые формы ускорения, чтобы еще кто-то приложил силы к своему побегу, тем самым оправдывая его и возводя его в степень душевной отвлеченности.

Когда я вскочил внутрь, то понял, что совершил духоподъемный прыжок, попал в желанный промежуток свободы, которую не дожидался и не просил ни у кого.

Тряска и рывки казались мне чудесным аттракционом.

В окнах город сам попятился от меня, сматывая ленту бульвара.

«Звени в звонок, звени в звонок», – залопотал кто-то во мне.

И действительно, в панораму улиц полетели веселые брызги, будто низкие дома, кудлатые деревья, переросшие их, прохожих, сумбурные кустарники и убогие витрины кто-то щедро окроплял.

Я тотчас признал кондукторшу, она стояла, как-то непроизвольно качаясь, держась за поручень, – это на ее глазах любезной особы жестоко обокрали меня ее земляки.

В ее простом лице, заметил я, проступило еще сильнее что-то калмыцкое, светящееся, будто я поймал тайный жар потускневшей монеты, могущей заблестеть от прикосновенья.

Нет-нет, эта женщина не была болезненной или одутловатой, как могло показаться. И я поймал себя на том, что должен непременно придумать историю ее нового здорового блеска. Ноздри приплюснутого носа такие мелкие, кажется, и дышат узким степным присвистом. Было заметно, что она определенно изменилась, будто специально к этому дню прихорашивалась, – под кондукторским синим халатом светлая блузка, из-под опрятной веселой косынки – выбиваются бурунчики свежих кудельков.

И я на миг полюбил ее со всей сердечной силой. За то, что в ее жизни случился чудесный поворот; а может, она возгордилась нежданной премией, катает во рту кисленькую карамельку, выигранную вчера вечером в лото. Но больше всего мне хотелось, чтобы ее настигла великая любовь, такая, которая только раз в жизни.

Я негромко сделал ей комплимент, мол, при такой тряской работе не теряет женственность, а наоборот – и вот тебе в простом городском трам-

вае благодаря ее персоне воцарились женское очарование, сердечная любезность и даже уют. Настоящий сюрприз пассажирам, которые такие воодушевляющие перемены не могут не заметить. И я, произнося эту тираду, совершенно не язвил.

Сидящая напротив дева, бледный невинный цветок, разодетая преувеличенно женственно и кукольно пышно, как одеваться для трамвайного путешествия было совершенно невозможно, вперила в меня темные очи, раздраженно подула в густое кружево челки, почесала крыло тонкого носика, будто ее защекотали собственные локоны. Наверное, она хотела покрутить пальцем у виска. Но я и без этого жеста догадался, каким словом она поименовала меня.

Широкая коса была уложена на затылке ползучим холмом, скрывающим клад.

В таких ангелических призрачных одеяньях девочек приводят к первому причастию.

Это была Дамира. Бледная брюнетка в бело-розовой кудели, ночное насекомое, пойманное светом. Меня, дневного, она не могла признать.

О! Последнее свиданье с этим миром!

Кондукторша, ничего не замечая, смущенно отмахивается широкой ладонью, будто какое-то крупное насекомое закружило у самого ее лица, как у распустившегося цветка; она не может сдерживать улыбки, такой безыскусной и наивной, что ее не портят ни заголившиеся высокие десны, ни тусклый свет стальных коронок не своего размера*.

Будто в подтверждение моих слов в опущенное над ее головой окно брызнула охалка зелени высоких кустов, подступивших в этом месте к самым трамвайным путям.

– Вот и настоящий букет! Только для вас, чемпионки всех кондукторов! – не унимался я.

Она радостно задакала мне на весь вагон, как старому знакомому:

– Да сиди-сиди-сиди, да я скажу, когда сходить, до кольца тебе не надо, да сразу в пролом и напрямки пойдешь. Да ведь там не залатали. Да бомба в сорок втором угодила. Не взорвалась, только проломила. Не поспели все еще. Да туда и иди себе, не бойся, да не пропадешь.

Она меня признала, она приветствовала меня этими многими, ничего не означающими символами согласия «да».

Дамира больше не поднимала лица, будто читала несуществующую книгу, распахнутую на самой волнующей странице моей истории. Гора ее темных волос клубилась тучей.

* Эта сокровенность, показанная мне, и была сутью соцветия ее лика. Это мне из ее утробы просигналил угрюмый нелюдской механизм незавидного времени, которое одолело своей каторгой всех.

«В. А., чудесный мой, Вася дражайший, ну кто меня теперь в целом свете остановит? Да?»

Везде проломы сквозные в стенах, сквозь них небеса сияют; вскоре-женные Гераклом неубранные рельсы, в них путаются простодушные звонки трамваев, как очесы в гребнях; все еще отвердевает нестарая глинистая почва до горизонта, и только кудель облаков пришита девичьей оборкой к подолу горизонта, будто там, высоко-высоко, идет праздник, а я наблюдаю веселье взрослых, притаившись под столом на неметеном полу.

Только один Павел-Павлик знает, где я спрятался, потому что чуял меня тайной железой, жаром своего сердца...

К вокзалу я пробрался через распахнутый пролом в краснокирпичной высоченной стене. Было в этом что-то пародийно-триумфальное. Берлинский стиль, берлинский стиль в скромной вытемневшей кладке, впитавшей всю сажу мира. Я не признал в этом едва заметном орнаменте давнее непростительное издевательство.

В почти пустом зале на лавках сутулилось несколько сонных человек, я сразу понял, что они здесь давно и совсем прижились, но готовы уйти по первому требованию, чтобы опять вернуться. Из нарисованного в глухой стене оконца настоящая прекрасная кассирша, когда я протянул ей несколько купюр и попросил отправить меня в путешествие, в южное и морское – насколько достанет этих вот денег, не поинтересовалась никакими документами, а только жеманно усмехнулась: «До Адлера, что ли? Сама, мужчина, жду не дождуся хорошей компании, но я только купе-люкс!» Она протянула мне (и я не мог оторвать взора от розовых капелек ее ногтей) волшебную картонку плацкарты на самый ближний проходящий, и это было так легко-легко-легко, что россыпь цифр на просвет опалила меня высокими звездами.

Я подул сквозь них, обмирая.

Какие ж это созвездия?

Медведицы? Цефеи? Геспериды?

Она замахала мне вслед:

«Да скорее же, скорей, шестой путь, опоздаете...»

И я не воскликнул в ответ, как оперный тенор:

«О, теперь уж никогдаа!».

Я перелетел по высокому мосту целую реку проходящих поездов, прибитых щепой к этому вокзалу. На шестом пути уже не было перрона, и я едва успел вспрыгнуть с почвы, перемешанной с гудроном, на высокую подножку отъезжающего зеленого вагона. Люди потянулись следом, перекрикивались последними словами через высокие окна, кто-то пьяно свали-

вался с подножки, его оттянули в сторону от победивших колес, кто-то метнул в приспущенное окно последним в своей жизни свертком.

Я успел заметить, как люди вдруг рванулись к какому-то субъекту, будто почуяли своими железными внутренностями мощный магнит. «Вора словили, глянь-ка, забьют!» – кто-то рядом сказал удовлетворенно.

Мне ведь отчаянно хотелось, чтоб перед моим взором омываемые всплесками знаменитого марша, под глухое буханье барабана проплыли и ширма облупленного здания с именем города, которое мне уже не выговорить без волнения; и короста больной штукатурки привокзальных построек, и погасшие трубы котельной, и низкая копоть зданий депо, и чухающие паром паровозы, и стоящие дыбом космы пирамидальных тополей. Но я заметил только путейских рабочих с тяжелыми инструментами на изготове, они стояли, будто несли тяжелый караул, а потом с низкого старта, как инвалиды, поволоклись наперегонки голые руины выселок, разрушающиеся сами по себе, и засоренные бурьяном пустыри-пустыри-пустыри, не занятые даже огородами. Это прошлое время брезгливо отодвигалось от меня, будто весь глобус моей жизни пришел в движение под собственной вещественностью и тяготой.

И я просто лежу на жесткой полке головой в окно, тащусь себе в другие неизвестные места, не жалея ни о чем, всё на юг, на юг, где-то еще пересяду, чтобы смещаться дальше... Куда же мне еще... Я бормотал какие-то скороговорки в такт колесному стуку:

«Только ничему не удивляйся, дивляйся, вляйся, ляйся, яйся...»

На частых станциях народ выходил и входил, тесно утрамбовывался на нижних гладких лавках, егозил, заталкивая себе под ноги багаж, скрипел им как-то пахуче, шелестел съестными обертками, хрумкал огурцами и в конце концов устраивался и плотнился в спокойную однородность, и кроме вида из окна ничего не менялось.

Уже на второй день пути – а я все лежал на голой высокой полке, уставившись в опущенное окно, – мне полюбились новые свойства людских тел, дарованные щедрой железной дорогой. Они, ни женские и ни мужские, но вещественные и плотные, вдруг складывались в откровенный неприкрашенный дух залежалого и затертого мира, в котором не было скупости. Этот новый мир овеществлял в возлюбленный мною символ липкую соленую кожу, с которой стекал сквозняк. Все становилось какими-то очесами, ненужной прелью, даже вагонный видимый воздух, его дремотные одурелые люди пронизали, как чтецы, не замечая, что книга давно закрыта, если только не спали по-настоящему.

Мне казалось, что в ускользящей безмерности этой духоты умрет все, но без сугубой смерти, а так, что будет в конце своего бытия разбавлено до неуловимости мировыми сквозняками, входящими в мое окно.

И это была самая свободная пора моего приключения.

Так, наверно, чувствует себя кубик рафинада в стакане теплой воды, неудержимо теряя форму, растворяясь в сладкую бессвязность. Я понимал, что если я останусь в живых, то во мне сохранится только эссенция моего прошлого такой вот таинственной многозвенной формулой, заслонив мое истинное прошлого.

Это бессмысленное время движения все прочие попутчики, встретившиеся мне, переживали легко и бесшабашно, будто растворяясь и протекая сквозь мелкое сито покойной матрицы великого перемещения. Они ничего и не о чем меня не спрашивали, так как говорили сами, непрерывно и бессмысленно, про себя и вслух, вторя моей внутренней речи. «Кто они такие?» – спрашивал я себя. Никто, никто, никто. Разве в этом есть обида...

Они удивительно молчали. Да! А когда молчали, мне чудилось, что на все возможные вопросы ответили сами. И я оказался и сыт, и напоен, и выслушан, и утешен. Правда, и я не говорил ничего, но так бывает...

Все вопросы были оставлены в прошлом, оттого что оно у меня появилось.

Такое же, как у всех.

Ничего не имея общего с этими людьми, каким-то чудесным образом я стал – их, как и они – моими. Даже не частью, а сутью. В этом разубедить меня было невозможно. Так же как и несколько милицейских патрулей, проходящих насквозь по составу все мимо и мимо меня.

На второй день равнинного пути я дышал осипшим от теплого ветра воздухом, забиравшимся по-пластунски в вагон.

Пыль степи, перекасти-поле омывали железнодорожную насыпь, незаметно, но уверенно подымающуюся к горизонту, на плоскость которого усердно налегал наш поезд. В своем боковом окне каким-то образом я отчетливо видел, что расстилается перед паровозом войлок мирового пространства.

Телеграфные столбы тянули свои пустые прописи, будто вот-вот появятся элементы литер неведомого мне языка, чтобы я ознакомился с ними и выучил эти новые знаки. Но они так и не появились. Дрозды, воробьи и вороны, сидящие заунывной мелодией на этом нотным стане, не в счет.

Иногда в окно залетали раскаленные капли штыба, и я смахивал их с лица и рубашки.

Я бессмысленно думал одну и ту же мысль в ритме небыстрого перестука. Я знал, что вопросов ко мне ни у кого больше никогда не будет. И, кренясь, вагон опережал свой скрип и лязганье на плавных изворотах, и вдруг, будто кто-то перекидывал стрелку, – расступалась пересохшая долина: поблизости слезились оконцами слабые домики, и понуро переступала животина, и крошечный южный дождь перед моим окном свисал стек-

лярусным ламбрекеном. За недолгими натеками ничего не было видно. Будто я попал внутрь рыдающего ока.

Ну какие такие слова? Вопросы? К кому?

Вот поезд, оцарапавшись последний раз о тесные склоны горы, подполз по однопутке к приморской ночной станции, где надо было некоторое время ожидать встречный.

Южные насекомые, бесшабашно метущиеся вокруг тусклого станционного фонаря, будто они не могут запомнить вчерашнего урока. Шумная ночная моль, напитавшаяся темноты, отяжелела к самому мрачному часу, она усердно рискует попробовать *другого*, того, что ее прикончит...

За полночь приморские станции освещены только с одной стороны, так как другая своим косым краем зачерпывает кромешную темноту моря.

Зачем мне водянистая память о том, как я боролся с мелким прибоем? В море, куда можно было легко прыгнуть прямо из тамбура. Я не мог не окунуться, азарт переполнял меня. Волны катали гальку и липли пеной к насыпи перегона по пути на настоящий Кавказ. Безымянный разъезд перед сквозным тоннелем. Встречный, судя по замигавшим семафорам, уже подбирался, и мне оставалась какая-то минута с запасом.

Глубокая чернота юга, вся моя одежда сброшена в тамбуре, и сейчас мокрый я взберусь в вагон.

И мне, схватившемуся за потянувшимися в сторону поручни уже соседнего, не моего вагона, задирающему голени на поднятую площадку, закидывающему мокрое тело в поехавший в сторону темноты тамбур, помог вскарабкаться большой нелепый парень. Он, облаченный в какую-то робу, улыбался, будто я оказался долгожданным гостем.

Да какой такой парень – а никакой, один из многих, простой легионер железных дорог, если такие бывают. Он зажимал под мышкой ком моей одежды, принесенный из соседнего тамбура. Тоже мне голое приключение.

Только и спросил негромко, хихикнув в фальцет:

– Пассажир голый, твое шмотье?

Поезд набирал скорость.

Глупая луна уже зашла, и темное время замерло, поперхнувшись последним отблеском. На черном раскатанном листе едва мерцали звездные прорехи. Я успел заметить из раскрытой двери, пока поезд не вкатился в тоннель, как вещество ночи превращалось в чернила. Будто рядом проплыла каракатица в непроницаемой мантии, она боялась остаться заметной. Это было так похоже на Средиземноморье. Упавшая с колосников непроницаемая ночь. На Мальте? В Италии? Света не было никакого.

– Да после облачишься, чего стоять, – и он мягко потеснил меня своим большим телом в совсем темную полость.

В крошечном купе мы слепо сидели на полке рядом.

– И куда она девается? Вот была – и не стало. Ты, часом, не знаешь? – спросил мой волшебный попутчик про луну.

По простодушию этих слов было ясно, что он и на самом деле не знает.

– Ты читать-то вообще сумеешь? А считать?

Как будто мне было важно знать: в ладу ли он с грамотой.

Он дыхнул из потемок своего тела подсолнечником.

– Да ты меня обидел. – Упрек был не настоящим.

– Только не надо говорить, что на войне за это убивают.

– А ты вот, скажем, воевал?

– Воевал, воевал, воевал... А как тебя звать?

Имя оказалось каким-то древесным, мшистым. Что-то вроде – Груша, Миша, Вишня, Гриша. Из-за темноты я его легко позабыл тут же, как услышал, не переспрашивал... Ну Груша-Миша-Гриша. Чего мне?

В темноте, знал я, обидеться невозможно, так как даже слыша чью-то речь, на самом деле говоришь ее себе сам. А какие с собой счеты?

Мне стало холодно и кисло, потому что я пальцами касался вагонной латуни.

Я потрогал его мягкое большое лицо, широкие гладкие щеки, едва выступающий над ними смешной нос, круглый пухлый подбородок, отзывчивые губы уже ловили мои пальцы. На ощупь он чудился мне восточным безбородым богатырем.

«Вася, сердечный В. А., спаситель мой, эта сказочная история для тебя.

Так получается, что то, чего ты так хотел, всегда легко достается другим»*.

Ночная тесная встреча с этим крупнотелым покладистым существом показала абстракцией поправимости моего существования.

Краткость и стремительность заглянули для меня чувственную сторону душевной жизни, будто все действительно становилось последним.

Хотя именно так и получалось, будто я уже не мог следить за настоящим... И вот я увидел себя в перевернутой последовательности времени. Это было не со мной, не со мной, но оттого (я это знал) все делалось неположенным и непоправимым.

Засопевшее большое тело рядом с моим.

– Только не жми так, тебя побаиваюсь, – попросил, смеясь, я, – как на полке поместимся, раздевайся...

Какой-то там вагон. Ближайшее к тамбуру служебное купе, окно, к которому присох лист черноты, почему-то блеснувшее гнездо для ключа, я видел все это миллион раз.

* «Звезды изменяют диоптрии ночного путешественника», – говорил ты на волжском откосе, и я ведь уже тогда подумывал о прекрасной службе проводником на дальних поездах, ведь тогда связь с временем, даже с часовыми поясами делается столь плотной, что свое собственное «я» мне удастся утратить. А мне так порой этого хотелось.

Это провернувшийся валом образ моей единичной жизни, вышедшей в гигантский тираж, как газетная лента из печатного станка – река «Правды» с заглавными материалами.

Ощущение тела было таким же, как сам процесс, – оно приравнялось времени. Телесная колкая прель сена посочилась на липкость и скользоту все запоминающей эмульсии моей чувственной памяти – мне не сказать точнее; и я отчетливо понял, что наконец-то лизнул запавшую в темную зону луну, которая невеликое время назад была желанной и недостижимой ландринкой из жестяной коробки, которую мои семейные безуспешно от меня прятали в бесконечно далеком детстве, – вся в пыльной стеклянной крошке, испарине ментолового мороза и нестерпимом блеске обиды, когда я приставлял ее линзу к зрачку.

– Ах, любезные ведь всё люди, мил-человеки! – запричитал едва слышно я.

– Ты смолчи, не ахай. Смолчи лучше. Какой колочий.

– А ты вот нет. Из бурятов, что ли, будешь? Каких кровей, калмыцких? – кряхтел я, вглядываясь сквозь сумрак, в это великое тело.*

То, что происходило меж нами, было почти чистой органикой, и перед моим взором разлетались веера наших сиамских беспорочных невидимых фотографий, целая пачка. Поцелуи в подсолнух в кольце гигантских объятий. Внутри меня тоже шел тщедушный поезд, чье движение можно было легко разрушить, если только пройти по его полым внутренностям из головы в хвост. И мир, обездвиженный, останавливался. У нас получилось точно так же. Об этих эпизодах мне было бы трудно рассказать, ведь на обычную любовь это совсем не походило, так как никто не уступал – в этом не было нужды. Это было словно легкое уравнение в самом первом разделе, и надо было просто подставить значения – для проверки – и все сходилось. Я даже думал иногда, что если уже последовательно и неотступно подби-

* Такие люди бывают – сидят себе за столом, на диване, на лавочке – куль кулем, ни формы ни смысла, а вот с места сдвинутся – будто кот очнулся, который на самом-то деле не спал, а поджидал недвижимый легкую добычу, и пластика тебе и мягкость, а самое главное – чувственное обещание, которое не обманет никогда. Это одинаково – и у женщин и у мужчин. Будто в теле такой профиль еще есть однозначный и сокровенный. Эти линии почти никогда не чувствуют скульпторы, у которых, как правило, тело в лучшем случае спит, если еще не разложилось.

Крупные тела на первый взгляд лишены эротической привлекательности, которая обычно – скользкая верткость, почти слышимая шелуха линий, сезонный абонемент культурного пантеона. Но вот вид крупного голого тела, вспыхивающего внутренним озарением только лишь от случайного внимательного движения, – почти потрясает, как телесный и истовый звук запевшего большого музыкального инструмента – тромбона, контрабаса, трубы. Именно такой звук может ошеломить своей редкостью, предьявленной сокрытостью, простодушным вызовом, который – ни к кому, на который никто вроде бы не должен откликаться.

Будто есть прекрасная тайна – в складках, за бахромой, многими завесами.

Только без похабного брюха, дряблости, порсячих сосцов...

раться к решению, то оно всегда найдется. И потому мои простые телесные действия с этим большим телом в теснине купе были чреваты несложной системой переменных – запаха, колкости, мягкости, открытости, самоотдачи и ласки. Ласка была в самом конце прекрасного списка.

Это тело, словно большой механизм, издавало высокие звуки, прищипывало и выводило «ж», как насекомое, утомленное полетом.

В моих действиях, понял я, было что-то от ревизии в паровозном депо, розыски глубоких потемок, где зреет пар, летит горячий штыб, пахнущий искрами. Тело походило на укладку глаженья в бельевом шкафу. Плотные складки казенных простыней, наволочек в тяжелой стопе. В их глубине фатально не было того, что ожидал найти.

Я опешил.

Ничего похожего на меловой карандашик, нафталиновый мелок, плотный мешочек саше.

Я рылся в низине тела, трагически не находя ничего, что бы привлекло меня.

– Ты чё вскочил-то? Ты добрый, в тебе ласка есть.

– Ужалил меня кто-то, – солгал я.

– Да нас обрабатывали в отстое с неделю, значит, занесли...

Сначала я подумал о каком-то врожденном ущербе, о телесном мужском недостатке, нехватке, об особенном изуверском изъятии, умышленном увечье этого тела еще в малолетстве.

В моем сознание пронеслись обрывки историй о евнухах в восточных гаремах, волшебных гермафродитах, купающихся в ручьях с нимфами, о певчих кастратах ватиканских капелл и потаенных боголюбивых скопцах. И я мгновенно смирился и с таким вариантом людского обличья.

На меня пошло облако духа, каким никогда не пахнут мужчины. Все становилось похожим на миф.

Тело какого-то минус-мужчины, сложенное из утрамбованных лепестков, запыхавшее разморенной простоквашей, заспело рядом преувеличенно нежно.

– А тебе это надо, чудо? – шептал я.

– Да ты приглянулся, не урод ведь какой. И из воды к тому ж – значит, не вонючий.

– А те, кто не из моря?

– Так не продохнешь ведь иной раз.

Со мной говорил житель ровного и ладного комбинезона, простеганного ватным подбоем. Ухватистый добрый мужичок, застегнутый в оболочку, лишённую примет пола.

– Чё, не подхожу я тебе?

– Совсем наоборот, – шепнул я в ушную раковину чистую правду.

Я запустил пятерню в ее короткие волосы, они были совсем не монгольскими, а чрезвычайно легкими, как посохшая тина на берегу, когда сошла высокая вода.

– Да, я мало кому в пару гожусь...

– А как тебя в детстве родители звали?

– Детдомовская я, записана Агриппиной для красоты, а так – Граней, а получше всего – Грушей.

«Почти что Гриша», – подумал я безнадежно.

Поезд наш еле-еле тек, он больше стоял, будто вникал утомившемуся морю. Иногда раздавались сырые несильные плюхи. Вдруг чайка вскрикнула куда-то в сторону недалекого утра.

– Прямо пса ошпарили.

– И правда, – я прислушался в установившуюся тишину.

Не отрываясь, засветив слабый ночник в изголовье, я вглядывался в нее, будто хотел проникнуть сквозь сотни овалов ее зыбкой, размякшей оболочки, я замечал, как ее тело отвечает железнодорожной качке, – все в моей спутнице было как прорастающее неотвердевшее зерно, слои теплой белковой массы, обволакивающие несусветный кавардак внутренностей.

На меня в ответ смотрели глупые продолговатые очи размером с молодой листик, дышал коротенький всхожий нос, будто под ним жило еще одно маленькое млекопитающее, и я блуждал в мягком овале лица, которое уже оплывало, но это неважно.

Все тело, всходящее изнутри, можно было поколыхать, как опару.

И грудь была примятой кочкой с розовыми розетками сосков.

Я понимал, что тело ее стоит на пороге, за который переходить уже нельзя. Но кто мог ей, и тем более ее телу запретить сделать такой шаг? Да хотя бы потому, что она была именно телом, не больше.

Приладившись к сдвинутой вниз фрамуге, немудреная большая дева закурила в серую сторону и так держала грошовую папиросу, окуная свое лицо в огонек затяжки, что годилась для стихотворения.

Будто между строк будут заложены длинноты ее обидчивых затяжек. Тем, кто это стихотворение напишет.

И на тощей полке она сидела так, что я вспомнил книги в доме В. А. – раздел нахоженных птиц из справочника орнитолога и преувеличенного формата атлас старинных анатомий.

На полу комом коробилась ночная мужская роба. Именованная человека, облаченного в этот доспех, надо Гришей, но никак не Грушей. Я не запомнил деталей ее форменной одежды проводницы, – юбка-гимнастерка, ну что-то такое, что можно легко стянуть, повесить на крюк и потом застегнуться в ней снова, попав в полость.

Еще совсем грустное белье, такое, что лучше бы его не было вовсе.

Она и сама догадывалась об этом ущербе и просила меня не смотреть, когда в него облачалась. Потому что в нем, в этом бесполом камуфляже, и был неодолимый срам, в отличие от мягкой голизы, прикрывать которую ей не приходило в голову.

«Теперь можно», – будет говорить мне дева-воительница, застегнув роговые доспехи проводницы.

«Хочется-то ведь мужикам меня, хотя и большая», – прибавляла хвастливо она свою фантазию, узко вспыхивая очами, как потаенным фонариком с раздвижной шторкой, за которой миг назад еще трепыхала запечная букашка.

Она совершенно не понимала, на каком расстоянии находится от того, что именуют «женским».

В любом ракурсе заповедный объем ее тела был одинаков.

Она всегда стояла боком, в любой позе.

Она была словно стрелка компаса, который реагирует не на магнитное поле, а на особую плотскую гравитацию, излучаемую другими. Ведь даже не глядя в мою сторону, она только ко мне и обращалась, таинственно вслушиваясь в мое тело, вернее, в его массу, и ждала ответа.

Смутность и выразительность нашей встречи были событием одного рода, связным и нечленораздельным, словно все, что таилось в ней, нуждалось в особенном усилии, для которого еще нет внятного языка и вообще слов, но есть внутренняя мера, способная ей ответить так же – безъязыко.

Заполняя пустое время, я повествовал ей сюжеты: как я куда-то откуда-то все ехал и ехал в своей жизни. И мне виделись руины, волнами омывающие железнодорожные пути. Руины моей жизни. Какие-то небывалые разливы воды, на сквозных продуваемых равнинах реки, вливающиеся друг в друга, налитые всклин в безмерной долине. С долгого моста невозможно не увидеть, как протоки раздвигают стеклянные ноги на многие версты. Это все вставало за моей простой примитивною речью.

Она могла слушать меня столько, сколько я говорил. Смотрела с удивлением или просто наивно.

Я попросил:

– Теперь ты расскажи.

Она как-то сосредоточилась, что давалось не без труда, будто поймала некую непростую идею:

– Да чё говорить-то, и так все про меня ясно. Детдомовская, зовут Грушей. Работящая, хвалят. А ты в проводники, одним словом, хочешь, любишь езду, так это я тебе запросто, к начальнику поезда пойдем – и всё тебе тут. Устроит он. Точно говорю. Устроит тебя, со мной станешь в смене. У нас в проводниках недостаток. Ты спишь, я кипяток кипячу, я сплю, ты кочережкой печку шуруешь. Все-таки мужику кочегарить-то полегче. Делов-то. Ты, вижу, не контуженный, целый, хорошо.

Отчего это *хорошо*, я уже слышал в доме В. А. при совсем иных интенсивностях.

Все произошло именно так.

По-хорошему уныло и буднично. Груша буквально за руку подвела меня на большой станции к мужичку – начальничку поезда, верткому и ушлому, и мое приключение обернулось службой. До следующей станции мы уже втроем выпивали в его купе: он деловито, Груша внезапно всхаживала и как-то сильно толкала его, побуждая к чему-то, а я просто старался не очень ерзать.

Моей спасительной справки вполне хватило для легализации.

Чуткий вагонный сон моего будущего времени был посечен на смены, смены на доли, равные перегонам между станциями.

Я обрел прекрасный передвижной остров в бескрайнем земляном море этого государства.

Южная железная дорога все-таки давала возможность иногда расслабиться, бездумно растянуться на койке в общежитии Адлера. Все вокруг было служебным, клейменым, и мне это нравилось.

Простые приемы заработка я освоил в одночасье: ловил на лету смятые купюры подсадных пассажиров, рисковал ведерком-другим уголька и закладывал душу клейменым наволочкам и простыням, которые иногда попросту крал. Ревизоры не лютовали, так как сами были людьми и очень хотели жить. А вместе с ними не лютовала и милиция.

Я утешал себя: вот и мелкие деньги, когда их роняешь, не звенят и раскатываются глухо, не оставляя даже акустических следов. Так разве преступны мои деяния ради них? Когда они столь нищи и бессмысленны, как и беззвучные монеты? Что, кроме самого ничтожного мусора, съестного или одежного можно приобрести на них?

Нет, этот простодушный обмен ничего не нарушал, так как ничто не уменьшалось, будучи ничтожным. Пустые километры, уступленные безбилетным людям за бесценок, ведро крупяного угля, исходящего до огня холодным дымом, серые сырые наволочки и простыни, которые уже никогда не станут белыми.

Совершенно не удивившись своей мимикрии, я обнаружил себя уютно зажившим с необъятной подругой Грушей. Меня буквально прибило к ней морской волной, и поэтому я ничего самому себе объяснять был не должен. В сущности, это была особенная женщина войны, вернее, женщина, отправленная военным временем в запас, в пустое ожидание. Я понял, что в своей подростковой от женского пола она давно отстала, но и на мужчину не походила, только если ночью в страшной робе. Она осталась между. Так случается, когда история перетирает в кавардак простые людские гормоны.

Я был с ней не циничным, по меньшей мере очень старался не обижать ее. Хотя на самом деле мне просто не удалось узнать, возможно ли это. Я ведь не показывал, что уже вижу внутренним взором, как она от щиколоток до запястий покроеется ровным резиновым слоем надвигающегося тела, слой за слоем, такими телесными годовыми кольцами. Она с трудом втискивалась за откидной столик служебного купе:

– Груша ты моя, а в самую войну ты не тощала?

– Да какой там, меня даже с пустого кипятка будто разносит.

Она совершенно не умела обижаться.

«Товарищ проводник, когда туалет откроете?» – за нашей дверью кто-то откровенно нарывался.

Хорошо, что Груша встретила меня не как путевая обходчица, а то что бы я делал, оставшись подле нее, – факелом в буксы тыкал, по тормозам стучал метрономом пудовым, мазут в ведре мешал мешалкой?

На далеком полустанке...

Но хоть я и знал, что в чине проводника продержусь недолго и спелая Груша осточертеет мне безмерно с первого мига нашей встречи, все равно позволил времени затянуть на моей шее легкую удавку сожительства.

Я задумывался порой о том, что же кроме жалостливости женского в ней? В инстинктивном желании реализовать невозможное – создать семью, которая была для нее чистой метафизикой, завести детей, что было тоже невозможно, обрести неконтуженного мужа. Она множество раз говорила при мне, будто я нуждался в ободрении: «С фронта или больные *навсюжизнь*, или вообще ку-ку. А ты не ку-ку ведь, совсем ты не ку-ку-кукареку». Что это значило?

Все имело свой предел, и вот из вагонного окна привольный пейзаж стал видеться мне иллюзорным фоном фальшивой ассигнации, которая имеет хождение по всем лавкам и толковищам самопровозглашенной и такой же фальшивой республики мошенников и контрабандистов.

Шум моря, когда я до него доезжал в компании с Грушей, – Черного, Каспийского и Аральского врывался через окно, сдвинутое вниз, и по мере того как я начинал сосредоточенно вслушиваться, я закручивался сам в себя, будто застиг себя за чтением однообразного свитка, где было записано одно-единственное простое стихотворение, никогда не могущее надоесть и окончиться.

Неужели это и было обещанием моей жизни?

Как так?

Мельница, не знающая тоски, мелет пригоршни прибрежной гальки, и какая-то сила подсыпает ее еще и еще. Ровный шум и был итогом труда, как мука в мельнице.

Я несколько раз успел оказаться в тех же местах, где началась настоящему моя железнодорожная история. Я, как нарочно, попадал туда ночами. Морской шум словно путал ночное время, когда поезд стоял на разъезде, пропуская встречные светлые составы. Но однажды я понял, что этот звук и был моим временем, такой мировой условностью, единственной из всего, что может становиться мельче мелкого и еще мельче лишь потому, что якобы *есть всегда* и не убывает.

Шум волн я и слушал, чтобы не разувериться в этой максиме, еще раз упереться в неразрешимую суть хаоса, потому что эта суть и есть время, отведенное мне на жизнь.

Будущее, которое будет, – оно у меня было!

Когда я слишком долго стоял в тамбуре, глядя в раскрытую дверь, Груша выходила ко мне и тесно вставала рядом, она подстраивалась, как могла, к моему настроению, колебалась в такт дороге, пригорюнясь. Она иногда всматривалась туда же, куда и я, но услышать, как шумящее время порождается соприкосновением двух валов – небесного и земного, не могла.

Да и зачем?

Но именно она помогла мне свидетельствовать то, как огромное раскрутившееся колесо прошлого громит прекрасную мировую керамику в беспросветные черепки, мраморную скульптуру богов и героев в хаос обломков, кости живших когда-то в хаос звучной муки.

Именно она помогла мне одолеть то, что я понимал безязыко, любовно и равно сразу алфавиту всех языков; то, что, пятясь, выкладывало попятные орнаменты, без которых движение вперед невозможно. То, имя которому еще не было дано.

Однажды я спрыгнул на узенькую платформу какого-то приморского разъезда и смотрел на вертикальную сине-голубую морскую стену в блистательный солнечный день. Меня буквально настигло чувство, что я лишь случай моего тела, это переживание защемило меня какой-то неискоренимой реальностью.

Неужели смысла нет?

Что еще, кроме перемены цвета?

Возлюбленные слова возлюбленного языка?

Все дорогие тела, оставленные в прошлом?

Меня настиг сладкий-сладкий бестелесный запах синего простора. Неожиданно сложный, вопиюще чувственный, несущий в себе невозможные припоминания. Из дальней мировой влажности пахло совсем не солью, а каким-то приторным потом очень близкого желанного тела. Как лотос, наверное. Как плечо и шея поспешно одевающегося Тадеуша, выпутывающегося из моих объятий, – он спешил на вокзал, так как отбывал с полком в Тишинский край девять лет назад.

Много?

Совсем нет.

Вот вместо него шастанут вокруг возвращенные люди, будто выросшие из давно позабытых семян.

Большая женщина говорит о скорой перемене погоды, о надвигающейся безумной грозе, называет ее невероятным словом «громорезка».

Что я чувствовал к ней, как понимал ее?

Ответить можно совсем просто: осторожную жалость, как сытый к тому существу, кого накормить на всю оставшуюся жизнь невозможно.

Тощий цепкий кустик высоко зеленел в облупившейся штукатурке, он как-то примостился у самого края вокзального фасада, на самой высоте водостока, где водружены металлические литеры, складывающие имя того самого города, где я попал когда-то в плен к В. А.

Молодая зелень натужно росла из клока побитой стены, как красноречие заголившегося тела, распахнутого ворота, задранной подмышки.

Где-то внизу, под краем перрона, к которому подошел наш усталый поезд, пробирается обходчик, остукивая буксы, его гулкий инструмент задает ритм моему сердцу, всей моей будущей жизни.

Глухо и безразлично...

Невзирая на свою штатскую одежду, люди,двигающиеся по перрону, не могли скрыть, что почти все недавно воевали, мирное пятилетие на самом деле вовсе не демобилизовало их. Форма, снятая давным-давно, повешенная в шкаф, перешитая детям или пропитая, будто не оставила их. На каждом из них неизгладимые помочи портупей, тяжкая кобура толкает бедро.

Мужики оправляли пояса затрапезных штанов, перегоняли складки рубах, приглаживали короткие стрижки, будто боялись, что головные уборы, которых на большинстве в теплую погоду не было, сместились от канона. Они ставили на перрон чемоданы, чтобы высвободить руки. Мне чудилось, что они щелкали подошвами, будто еще были в сапогах. Их теснила эта жизнь; всех-всех-всех: сверхопрятных инвалидов, старающихся ничем не отличаться от здоровых, у которых не заложены пустые рукава и к поясу не подколоты штанины, бравых уцелевших щеголей, наконец, пропойц, теряющих остатки человеческого облика. Бросалось в глаза, что многие не избавились от окопной привычки курить в ладонь, будто опасаются снайперов на окрестных тополях, обступающих стройным рядом вокзал этого города, за тысячи верст от периметра настоящих границ. Азиатских или европейских

И еще этот притворный порядок в выбеленных приствольных кругах, многочисленных плевательницах и вазонах, в которых не вырастают цветы, в замыленном до неузнаваемости свежей краской-бронзовкой бюсте.

Среди всей этой кутерьмы его было невозможно не признать. Даже сквозь армию людей, вдруг ринувшихся на штурм последнего поезда, я бы различил его во всей бравой красе.

Он сиял в свежем мундире в центре вокзальной шантрапени, как планета, они образовывали вокруг его заматеревшей фигуры хоровод сателлитов, и он вдруг выдал балетное коленце, притопнул в балетной позиции и широко отвел руку, просиял и замер, будто схватил на лету букет аплодисментов.

До меня донеслось, как он крикнул самому себе: «Ну, бесподобен?!»

Неужели я смогу его не окликнуть?

Вот он летит навстречу, растопыривает лапы, сияет, разгорается, ба- лагурит, треплет меня, дышит мне в физиономию выпитым и съеденным.

Вот тут есть одна проблема.

На самом деле у меня нет уверенности, что все воспоследовавшее он мне рассказал. Я даже не уверен, что разговаривал с ним. Но то, что видел его, ручаюсь. Именно его, ставшего грузным, как-то осевшим, распоря- жавшимся предотъездной кутерьмой перрона. Зачем мне были его слова о том, что жизнь моя прошла да и тут все переменялось. Я сам знал, что еще никому не удалось отнять у меня то, что пройдет.

Тем или иным образом...

Но когда я его на самом деле невдалеке увидел, во мне все сорвалось, и речь его, заковыристая Герина речь побежала наперегонки с биением моего сердца, будто все эти годы я только и делал, что готовил вопросы, чтобы выслушать, как он на них ответит:

– Чё? Ты? Это ты? Ёпт-переёпт! Ну ты, Аскольдич, сам! Ну ты седе- ешь! Ну ты прямо не признать.

Его речь внутри меня разворачивалась цепью автоматчиков:

– Ты чё, не знаешь ничего? А у нас тут пару лет уж все переменялось. Да жив-здоров твой В. А. почтенный, с Андрюшечкой дружит, он у него квартирует уж четвертый месяц. Ты б им хоть черкнул. Мне не надо чер- кать, я неграмотный, ты ж знаешь, едва считаю. А я тебе про другое: грох- нул-то Иоаннушка нашего Ю. Ю. Прямо ножницы закрутил ему в ухо и с мозгами заодно. Это уже когда Ю. Ю. к нему совсем поздно захаживать стал, старый пень. Когда совсем уж, ну совсем никого. Ты уж отчалил то- гда. Я-то ему намекал, вы, мол, того, Ю. Ю. почтеннейший, златоуст-то ваш безбашенный совсем, учтите, лихой он, хоть и орденосеиц. Чё он на фронте в своих разведках выделявал, никто ведь не знает.

Да! И в ухо с мозгами покрутил, и за ухом все старику изрезал, где ка- кая-то жила важная. Голый Ю. Ю. в кровище, вся парикмахерская в волос- не с кровью. Руки-ноги связаны. Не позабыть мне картинку. Что они там ночью делали друг с другом, никто теперь не узнает. Иоанна не нашли, конечно. Так все и осталось.

В. А. тебя не искал, да никто тебя, гуся, не искал. И Андрюша не ис- кал. Чего тебя, дурака, искать? Таких, как ты, до Пекина раком не переста- вить. Ты убёг, а новый прибёг. Это, знаешь, кто про тебя так сказал? Ви- кентьич, морская душа. Он насквозь видит. До дна. Сразу и сказал, что ты гусь и до Пекина переставить.

Что тебе В. А., он-то в рост пошел, эх и вырос наш В. А. Городского морга глава! Но Ю. Ю. я ему еще в тот, старый еще, по-простому оформ- лял. Самолично привез аккуратно. Честь по чести. Потом похороны были – прям с театра, весь город приперся. Написали, что просто скрапастивно, и все нормально. Венки тебе, букеты, покойничка по нос завалили, оркестр огромный все бухал. Аж тряслось. А жалко мне его.

В. А. сказать, что тебя видел? Я теперь часто там бываю, друзья ведь! – Гера должен был сально усмехнуться и посмотреть куда-то поверх моей головы.

И я посмотрел по этому невоплощенному лучу, убегавшему по выселкам, подкатывающим к железнодорожным путям, по всему русскому злополучью.

Вот компания непростых мужиков, пьяных, красномордых бывалых вояк, еле стоящих на ногах вокруг желтого большого чемодана. Они уже и не знали, кому надо уезжать. Одеты и обуты они были одинаково добротно, из одного значительного источника. Даже роста одинакового. Если бы они попробовали разойтись из тесной пирамиды, то повалились бы непременно. Но, как ни странно, они были совершенно не смешными, будто за всем этим стоял некий зловещий ритуал, который они отправляли, когда бывали трезвыми.

Груша, затянутая в доспех формы (в соответствии со значительностью станции она меняла кубовый замызганный халат), часто вглядываясь в сторону семафоров, которые уже начало слезить, озиралась на мифическое железнодорожное начальство, обтерла в который раз поручни и затеребила скатку с сигнальными флажками. Она почувяла, что я волнуюсь:

– Ты чё сам не свой? Сблелнул? Глянь, эти щчас обслунят друг дружку, прям обсосутся, не разлепишь, хоть уезжает один, – она говорила едва слышно, напряжение, разлитое в этом месте, достигло и ее.

И вот тут-то, стоя в тамбуре, у раскрытой двери я и услышал настоящий любезный голос Геры и разглядел его вблизи, он появился внезапно, как черт из табакерки, как верткий божок, скакнувший из кулисы в балете:

– Уважаемые товарищи военные, кто уезжаем? Поезд уже отходит. Потааарааапливаемся, уважааемые.

Он был так же брав и театрален, время его не коснулось, он отменно разбирался в чинах. Один из красномордых, выпучившись на него, хрипло заорал, будто перед ним строй, вытянувшихся во фронт:

– А иди ты, сержант, на хер, а лучше – на хуй иди, рожа, мелицанер, кругом марш. Да нет же, да спасибо тебе товарищ!!! Да это я ж, твою мать, отъезжающий. С друзьями забылся.

Тут мы на друг друга и посмотрели. Он сдернул фуражку. Поезд потащило, и он непроизвольно сделал несколько шагов в мою сторону, потом развернулся и зашагал, будто одумался...

Надо ли говорить, что от Груши я оторвался, как «тощий плод, до времени созрелый» в великих русских стихах, продержавшись целый месяц с небольшим, не смог подольше. Просто по-тихому договорившись с мужичком-начальничком, уволился и сошел себе однажды в совершенно неизвестном мне степном месте.

КОНТОРЫ

Окна моей теперешней конторы (я иногда зову ее «ротонда») слишком высоки от пола, гораздо выше человеческого роста, они только на первый взгляд плывут степенным высоким хороводом по внутренней поверхности барабана, поддерживающего линзу церковного купола, с рассолом легкого тумана в фокусе непостижимой световой кутерьмы, иногда там начинают парусить холстины пропыленного воздуха, вдруг на мгновенье обретающие видимый лад.

Если забыть на какое-то время о работе, о листах с готовыми таблицами и рукописными цифрами внутри них и переводить взор с одного окна на другое, насколько хватит зрительного поля, то довольно скоро начинает ныть шея, будто без усталости вертишь головой, хотя сидишь, не меняя позы, а потом приходят признаки сладкого головокружения, будто будет забытье.

Это здание, которое вряд ли возможно так просто разрушить без помощи авиации, приметно еще издали, когда поезд едва подбирается к степной станции, и, конечно, потом: со всех улиц плоского городка со странным населением, с берега чахлого проседающего огромного пруда и с любой лавочки пародийного «Запрудного» парка, где кроме железных лозунгов ничего не всходит, а также из загаженных вековым мусором лесопосадок, в любой сезон не сдерживающих напора песчаных зарядов, только зимой, имеющей тут самое большое протяжение, песок перемешан со снежной сечкой.

Собор виден всем: с поржавелым куполом, чья кровля кое-где на ветру курчавится железной листвой, пародийно бескrestный, будто самое главное наверху обломил пьяный великан, косо промчавшийся через эти края, с наклонным шилом громоотвода, перепоясанный недавно свежим кушаком транспаранта (на такие украшения власть находила деньги всегда).

Когда дни светлые, а в этих местах так бывает почти всегда, сквозь кисею птичьего помета, размытую дождем, в окнах можно рассматривать облака, они кучно липнут к отвесу синей высоты часами, не приближая иллюзии окончания работы, будто нанизались на хрустальное острие, восшедшее из нашего учреждения. Подкупольный этаж бывшего кафедрального собора, иссеченного теперь прослойками встроенных госконтор, куда я попал, как степной бурьян, оказался заполнен самой мифической дея-

тельностью, не оставляющей никаких зримых следов, кроме «усталости организма» (так жаловались постоянно мои бедные сослуживицы), – однообразными элементарными действиями с числами: прибавить, отнять, поделить, умножить, сверить, отпроцентовать...

Тусклым серым колером еще до войны были зловредно наскоро закаты фрески на внутренней поверхности барабана нашего цилиндрического помещения, куда восходить надо было через проем в полу. Когда я туда подымался, то всегда старательно глядел на носки своих ботинок, чтобы не болеть за штопаные чулки на ногах наших трудниц, среди которых единственной особью противного пола был я.

Работа в каждом новом учреждении, куда меня заносила нелегкая, была пронизана сложной партийной диалектикой, не имеющей к доминирующей политике никакого отношения. Я всегда спотыкался о старый непримиримый сюжет: борьба отчужденных, совершенно разнородных сред, совпавших на одной единственно возможной территории. Мне даже казалось, что эти несопоставимые по численности классы были сутью противоположности. Скорее это были не классы, а касты. Сейчас поясню. Сталкивались: внеклассовое честолюбие начальства, доведенное до какой-то древней эстетизации (они должны были танцевать особые ритуальные танцы власти, чудилось мне) в своей сытой отвлеченности, – и низкий материальный промысел низших субъектов истории, касты управляемых трудников, которым, невзирая на несколько послевоенных лет с успешными урожаями и якобы растущим производством, не хватало самого элементарного: еды, одежды, жилья, отдыха и т. д. и т. д. Мера несоотнесенности этих сред была вопиющей. Высшие все-таки подразумевали себя разумным динамическим классом с желаниями и их реализацией в смысле завладения материальными осязаемыми объектами и воплощением в карьерной институционализации, но низших считали устойчивой отверделой в своих потребностях безропотной кастой, которой надо целесообразно распределить оставшееся.

Связи между этими иерархиями могли возникнуть только при обмене особого рода: предательстве сокастников – других вариантов не было.

Обитая в самой нижней касте, постоянно испытывая это на себе, я повторял в любых ситуациях, как откровение: «Господи, как хорошо, что никто от меня не зависит. Как хорошо. Я никого не волоку, не поднимаю, не обслуживаю. Вот снимусь себе прямо завтра, и поминай как звали», – говорил я разнообразным сезонам: скоротечной весне, несносному лету, после которого моментно устанавливалась продувная зима; самый лучший, сезон сезонов, на этой территории был точно потерян или присвоен высшей инстанцией в безраздельное владение.

Свои чаемые перемены осуществлял я уже неоднократно. Чем и спасался. Мне это стало необходимо, так как с каждой переменной я делался все более настоящим, включенным в небезопасную суету времени.

Отсутствие зависимых примиряло меня с бытовым безобразием существования, ведь я был жив и в высокой мере свободен.

Прежних ошибок я не допускал.

Было ли это бытием – совсем другой вопрос.

По меньшей мере мне стало казаться, что ответ на него все-таки будет мной получен.

Сложное, а скорее невозможное равновесие, которое надо было строить, подразумевало множество унижительных вещей. О том, что я должен был ежечасно мелочно предавать самого себя в каждой цифрной клеточке, которую заполнял, я уже не говорю.

Живые картины, строяемые иерархией начальник – подчиненный, были рассчитаны на зрителей с железными нервами.

Невзирая на всеохватную тоску, внутреннюю машинерию счетного дела, чушь и мизерию отношений, я все-таки начинал примечать, особенно после обеденного рубежа, подъема из подвальной столовки, где мне давали за купончик суп, кашу и компот: что вот контуры огромных голов евангелистов начинают проступать сквозь безбожный налет шарового слоя, чтобы в один момент просиять общим всполохом, видимым только мне, и я уже представлял их скорбную унижительную аскезу, узкие понурые плечи, фигуры в вислых хитонах, ниспадающих еще на несколько слоеных этажей вниз, вниз и вниз.

Мимо отдела образования, библиотечного куста, учреждения эпидемиологов и пр.

Вряд ли кто-то еще мог бы разделить мое визионерство.

Конечно, свод, на котором должен был сиять лик Спасителя, с издевкой был закатан едким ультрамарином, будто Он уже сам соскользнул с покатых небес, и они навсегда опустели для солнца, луны и звезд, не темнеют и не светлеют; но в одном месте свода краска предательски облупилась, и неясная деталька облачения или лика, через которую проходила сияющая золотая дуга, светлела всем, кто отваживался задирать голову. Но в нашей понурой конторе таковых «верхоглядов» не наблюдалось, матерьялизм победил окончательно и бесповоротно. Да и начальница смотрела в нашу сторону неотрывно, так как ее монументальный стол, как остров, стоял в том же помещении.

Меня поражало порой, насколько исповедуемая повсеместная неорелигиозная доктрина была проста и назамысловата. Будто цивилизация специально свела все к сухому неразложимому дальше остатку: мол, всё так или иначе когда-то сгниет, но плоды сегодняшнего самоотвержения позволят уменьшить грядущим поколениям муки их собственного неизбежного гниения. Когда я продолжал дальше возводить в степень эту идею, то получалось, что через несколько поколений биологическая смерть станет вожделением и счастьем, ибо будет окружена негой, к которой приложили силу все предшествовавшие поколения трудящихся. Эта нега, очевидно, должна будет снизойти и к нижней касте трудников-счетоводов. Ради этой

идеи стоило жить, вороша цифирь. От этого я после муторного обеда за купончик трезвел. Наверное, это и есть воплощение тоски, думалось мне. Думать, знать и предаваться самому предательству.

В какой-то момент я перестал удивляться способам изощрения при доказательстве этого непроверяемого постулата. Мой любимый лозунг включал в себя все аспекты новой логики, принесенной неведомо откуда чумным поветрием, на который не обратили когда-то внимания настоящие эпидемиологи. «Учение Макса всеильно, потому что оно верно» – вопияли на кумаче белые заразные буквы. Я давно заменил неистового бородача Маркса фамильярно вертлявым Максом, но это уже перестало меня смешить, так как, во-первых, поделиться мне было совершенно не с кем, а во-вторых, я понимал, что моя язвительность начинает уже изъязвлять самого меня.

Еще три «попутчика» спали рядом со мной в общежитской комнатке, хранили исподнее и верхнее в одном шкафу. Несемейным в нашем волшебном купе, (а в нем еще обитали-ехали Мухтор, Василь и Эйно), был только я, а супруги остальных троих жили в женском общежитии по другому адресу, не очень далеко. Самое смешное, этнически они им не подходили. И когда их многонародная мешанина собиралась вместе, а такое по дням красного календаря случалось, то самым грамотным русским говорил из них, конечно, я. Никаких речевых подвохов не чувствовал никто. Даже на вопрос о моей неженатости не надо было серьезно отвечать, сорить всякими резонами. Я только рукой обводил наши мужские хоромы со шмотьем, повешенным на самодельные плечики по гвоздям на стенках, на ломаную створку шкафа, и все понимающе смолкали и больше не убеждали меня в прелести и счастье семейностроительства.

Один наивный Мухтор всегда с укоризной гудел, глядя в меня черными очами:

«А гулят не с баба где? Ты? Там иды с баба сэбе женыс-гулят. Эй, баба наш на горах рафинад-конфет».

Его украинская супруга, если присутствовала при подобных дебатах, замахивалась на него, называла «нехрит з гори», говорила лукавой скороговоркой:

«Не слухай цього дурня. Одружений він? Та у нього вдома ще дві».

Эйно с Василем помалкивали.

Я провозглашал серьезно, без тени улыбки:

«Новый жизнь пайду-долбыт, тады женыс-гулят, жит буду там, где одын рафинад-конфет добре-хорошо».

Мухтор улыбался в усы, что его русский поняли с первого раза, гордо поглядывал на свою «дружину», он полагал, что говорит удивительно хорошо и понятно. А самое главное – разумно.

Все вместе любили выпивать за «мой будущий, прямо тебе вот-вот, сейчас-сейчас, баба-жена».

По ночам я озадачивал свою хилую подушку загадками:

«Откуда идет род товарищ-Сталина? Правильный ответ: с Талина». Это была загадка для Эйно, хуторянина.

«Как зовется любимая ягодка товарищ-Калинина? Правильный ответ: малинина».

Это для Василя, полесского оратая.

«Без чего нельзя представить товарищ-Ворошилова на сборе хлопчатника? Правильный ответ: без ворошилова».

Но мне было неизвестно, видал ли Мухтор, человек-с-гор, хлопковые равнины.

И далее по кругу.

Да, они вредной юлой буравили мой мозг.

Новая философская доктрина, пронизывающая все слои жизни, требовала неукоснительной веры, в любой форме одинаково губительной – как полного согласия, так и злостного отрицания.

«Или все-таки, – бубнил я про себя, – „верно, потому что всесильно“?»

Об этом меня никто не спрашивал, особенно разлученные семейные соседи.

Упомянутый пресловутый лозунг об максовом ученье и его верности был однажды процитирован мной в нашей конторской стенгазете «Степной счетовод» в совершенно бесхитростной заметке, и чего-то перепугавшаяся начальница потребовала незамедлительно доставить ей «первоисток», что-бы сверить. Что сверить? Галиматью? Истину?

Во всяком случае, чем больше времени проходило, тем глубже я понимал, что новая истина, хоть и есть самая обычная *galimatias*, но по мере какого-то античной силы цинизма и мрачной готической запутанности не знает себе равных в истории познания.

Иногда, а если быть точным, то несколько раз в неделю, поспешая из своей общаги на службу (опаздывать было немислимым злодеянием) или уходя с нее, я зачастую наблюдал одну и ту же сцену, по которой, как думалось мне, хорошо бы сверять настоящее личное время, но не похабное, означающее начало и конец труда, а другое, другое, с которым можно сладостно соотнести сумерки и рассвет над линией горизонта или в душе.

Эта сцена из заброшенной жизни, разыгрывающаяся на краю света, всегда трогала и волновала меня: вот распаивается дверь неказистого невысокого старого дома – прямо на улицу, без крыльца, и какая-то женщина, не переступая границу порога, оставаясь в сумерках глубокой рамы, начинала креститься на огромное конторское здание.

Я присматривался к ней через широкую площадь на большом расстоянии, но каким-то образом находился очень близко, будто мог различить и шорох ее невыразительной нецветной одежды, и уютный домашний

дух. Во всяком случае, я понимал ее сердечную сдержанность, будто она скрадывала такой естественный жест, будто она скованно говорила: я это только для себя.

Я сдерживался, чтобы не поспешить через пустоту глупой площади и не познакомиться с нею. Но все равно ничего бы не получилось, хотя бы потому, что площадь была огромной, и перелететь ее за мгновение, пока женщина не затворит дверь, я бы не успел. Бежать со всех ног в ее сторону? И нечего было думать.

Однажды моя сослуживица по счетной конторе, неплохая, в сущности, и совсем невинная особа, а лучше сказать, «своя тетка», перебравшаяся в эти места поближе к мужу, завершающему еще довоенный какой-то одический срок ссылкой, «из настоящего культурного центра, где институт-театр-музей», как она говорила, не уточняя их пород, входя вместе со мной в низенький собачий пропил в огромных, сколоченных навсегда дверях бывшего собора, заметила, куда я так пристально смотрел, что уж «ни в жизнь не поймет этих боговерующих, их глубоких пережитков: раньше-то ладно, безграмотные старухи все принимали на веру, а теперь ведь самолеты всюду летают». «В сию не летают, – съязвил я и добавил, встретившись с ее удивленными глазами: – в сию окрестность», – обведя рукой наши выселки, что было чистой правдой, – сквозь этот городишко проходили только поезда. Но как-то жгуче мне подумалось из-за слова «окрестность», что крестом все равно осенено все, невзирая даже на то, что по этому поводу эта неплохая и верная женщина думает.

Во время работы мне порой казалось, что начальница только и следила, чтобы никто не смел вглядывался в голубеющий над головами счетоводов высокий свод. Иногда под его линзу попадал каким-то чудом голубь, губя около часу рабочего времени, пока его изгоняли, так как форточки были высоки и требовали стремянок, которые надо было откуда-то снизу нести, кого-то звать, и несколько раз бывало, что когда мы многотрудно выгоняли диверсанта через распахнутые фрамуги на его место залетали несколько новых.

Мне чудилось, что, перелетая с карниза на карниз, перечеркивая светлый объем высоты, они оглашают церковные своды аплодисментами во славу Господа, будто освящают нашу прискорбную ерунду.

Тетки инстинктивно наваливались грудью на столешницы, на распахнутые веера всяких справок и ведомостей, будто плеск крыльев может поднять такой ветер, что все хозяйство вылетит в открытые створки. Или капля помета может уничтожить труд целых поколений букашек, попав на оттиск наиважнейшей печати.

Одна женщина говорила, глядя на голубка на карнизе, подруге через стол: «Кажется, гадят только галки, чайки и вороны, а голубь почти домашняя птичка, он не пачкун».

Начальница вскидывалась, начинала махать рукой, задирая голову, кричать в ритме своих взмахов: «Как это понимать! Как! Ничего себе! Ни-

чего! Отказываюсь понимать! Остатки попов (было заметно, как она что-то посчитала про себя) вывели двадцать семь лет назад! Голуби столько не живут!!! Отказываюсь понимать эту наглость!»

Голубь с высокого карниза совершенно невинно смотрел вниз, оставаясь недвижимым.

Начальница снова села за стол.

«А нет ли, интересно знать, подпольных голубятен в округе? Мясо-то деликатесное, не знаю про их яйца».

Она поняла, что сказала неуместное, и посмотрела на меня в упор, как на единственного мужчину, который в силу этого понимает про яйца и деликатесы и из которого при известных условиях когда-то можно было воспитать непокаянного диверсанта, но такта в ней не было, она продолжала жевать отвердевший от ее речей воздух:

«А что вы тут все думаете, частный сектор же кругом, сплошные полуграмотные нацмены, колхозов кот наплакал, никакого тебе серьезного контроля. Переселенцы всякие. Расконвоированные без присмотра. А этот же белый – он чисто почтовая порода. Берданки у сторожей придурочных нет. А жалко. (Я понимал, что она-то славно целится.) Записки ведь можно всякие переправлять из известных учреждений, к слову. Разве я не права? А вы вот метко стреляете (это ко мне)? Голубь – он не белка, в глаз не обязательно».

Она мне все-таки делалась омерзительной, хотя бы потому, что у меня началась уже с месяц дружба с самым настоящим хвойным бельчонком, аборигеном, демобилизованным в мирный дом.

С этим рыжеватым зверьком я познакомился в месте вечернего отдохновения – в читальном зале городской библиотеки, и теперь мы всегда вместе сидели перед стопками книг за одним столом на плотно сдвинутых стульях в светлом кругу одной настольной лампы с мутно-зеленым, как нехорошая мокрота, абажуром.

Бельчонку об этом наблюдении я не говорил, потому что не смог бы заглянуть в раскосые щелки глаз, столь узки они были, чтобы проверить, как он реагирует на рискованные шутки.

Каково было мое удивление, когда я узнал, углядел в его читательском билете, что этот восточный юноша старше меня на целых семь лет, семья старшей сестры, племянники, старые родители-учителя...

Через защитную ткань военной формы, которую переменить ему было пока что не на что, я чувствовал пронзительно смуглое гладкое тело, если судить по редким черным точкам бритья над широкой губой и на подбородке, которые давно счел справа налево и наоборот.

Счел с его позволения, он не отворачивался.

Да он и не думал отодвигаться, когда путь библиотечной близости был преодолен мною недели за две, стулья наши сблизались, и он теперь, придя раньше, сам сдвигал их, будто хотел показать мне какую-то исключительную книгу, одну на двоих.

И обращаясь к нему в тиши зала, я вкладывал шепот в его ушную раковину, невзначай задевая ее губами, чуть приобняв хрупкое плечо.

Никто нас не замечал, и это было такое волнующее свиданье в плотной толпе. Но моя новая задача – поймать в его узких глазах свое собственное отражение, пока не решалась, так как он, как восточный человек, не смотрел прямо.

Прощались мы пока степенно на пороге библиотеки, расходясь в разные стороны, я в общагу, он в родственный дом, но мне начинало казаться, что магнетизм уже гнет наши траектории в очевидную близость. Где мы ее осуществим, знал только Бог. Его или мой.

Я украдкой взглянул на сослуживицу, подивившуюся пережиткам этих несчастных недалеких «боговерующих», не подозревавших о самолетах. Потому что очень сочувствовал ей. Она сидела в той же позе, будто одеревенела, скрестив руки на распахнутой конторской книге, замерев, отняв руки от костяшек счётов, которыми только что щелкала, будто вдруг поняла, что против воли оказалась на богомерзкой проповеди, затеянной нашей начальницей.

И вот, бледная, в россыпи нервных пятен, как сеттер перед наказанием за утонувшую утку, она ждет, замерев, потому что эта голубиная почта должна была быть адресована ей, если бы имела хождение.

В другое время я иногда примиренно размышлял, если было не очень жарко от близкой кровли, что ничего богоборческого и богопротивного в нашей примитивной деятельности под церковным сводом на самом деле нет; ведь цифра, число, не говоря уже о действиях с ними, суть самая отвлеченная идеология, облагораживающая самые низкие человеческие умыслы и деяния.

Во всяком случае, я, пересчитывая примерно одно и то же с небольшими вариациями, понял для себя вот что:

То, что исчислимо и исчислено, не может быть бедствием уже хотя бы потому, что учтено и, таким образом, вошло в счет, стало временным и может беспрепятственно обнулиться.

Ведь сосчитать – уже значит узнать, принять сердцем великую истину смысла в существовании.

Хоть в каком-то...

Например моем собственном.

Иногда я мог подумать о том, что если бы точно утвердился в том, что мой славный Тадеуш действительно погиб, пал или был растерзан, и есть об этом бумаги, а в них паскудные номера и индексы, ненавистные даты и местности, то это наверняка облегчило бы мое бремя, я не говорю при слове «бремя» будущее, на это я не замахивался. Хотя я боялся настоящему, скрупулезно подумать об этом, будто оставлял свою память о нем, а значит, и каким-то волшебным образом уцелевшего в ней его в не-

прикосновенной зоне оболыщения. Как мне было объяснить себе самому, что я томлюсь по нему, о, столько лет, ношу его под сердцем, маюсь им?

Сегодня потемки, как ненастоящие, из-за чистых неожиданных холодов истово слюденеют необычной вечерней синькой в высоких окнах, оскорбляя меня тем, что я вообще перестал замечать погоду, волноваться, как раньше, отвесным небесам, окатывающим меня теперь только веществом безразличья, в котором не осталось волшебства.

Невыразительные персонажи досиживают рабочий день плюс еще полчаса для демонстрации преданности, оплывая животным стеарином усталости на прошитые конторские журналы и вороха выжелтевших бумаг. Невзирая на телосложение, все трудники нашего безбожного, но не богомерзкого барабана виделись мне примерно одинаковыми: невинные женщины, непорочные женщины и женщины, вторично отмолившие девство. Цифирная паства.

В это время иногда сами собою счеты сводят костяшки, которых никто не касался, вдруг нервной трещоткой разряжается арифмометр, как огромное насекомое, которое спугнули и оно тяжело взлетело.

Со счетных работниц можно лепить скульптуры, что-то вроде каменных дев степей, ведь они в неподвижности заняты одним и тем же, кажется, что они и сами готовы уже застыть, но так как их оболочки лишены особенного фермента выразительности, то и застыть по-настоящему они не могут. Такое зримое противоречие...

Примерно такое же воспоминание осталось у меня и о насельниках прошлого счетного учреждения, легко оставленного мною по пути на восток. Там, уже в прошлом, должны были говорить о моей диковинной любви к цифрам, этажам формул, аппаратам для вычислений – счетам, арифмометрам, логарифмическим линейкам. Никто не понимал, сколько в них целесообразного, мужественного. Ведь только я вошел в их благодатную сень. «Его бухгалтерии цены нет! Он ведь может разлить любую недостачу, божественно свести рваную кассу» – мне казалось, что так говорили мне вослед. Но начальники и особенно начальницы как-то проницали меня, а я чувствовал себя перед ними стеклянным, говорящим звонким, совершенно пустым голосом, будто у меня внутри – реверберация: все полое. Как ни пытался, я не смог постичь их игры, и не раз перехватывал их проницательный взор-укол, будто различавший мое настоящее прошлое.

С утра я совершал одно и то же умственное гигиеническое упражнение, против всех ожиданий облегчившее мне жизнь: перед тем как покинуть свою комнатку какого-то там очередного общежития, я всегда представлял одно и то же, одно и то же, сначала очень натужно и буквально с тошнотой, потом все происходило почти что самопроизвольно, будто невидимый, очень надежный медиум держал мою руку в своей. Как, придя в контору, я перво-наперво надеваю нарукавники, достав их из незапертого ящика стола.

Как ни смешно, но этот предстоящий ритуал бодрит и примирял меня со многим.

Столь же хорошо я обучился представлять, как шью на швейной машинке эти самые нарукавники сам. Но это я откладывал на послеобеденное время в учреждении, когда его метафизическая несущественность становилась вещественной нестерпимостью. Вот я старательно закладываю ровные швы, чуть высовываю язык от удовольствия, не торопясь, строчу черной нитью грубый мужской порочный сатин. Прогоняю в получившейся прошве белого червя нитяной резинки, прицепив ее к булавке, будто это рыболовный крючок для какой-то изощренной рыбалки.

И нет сомнений, что, снимая и надевая эти мифические нарукавники, я буду владеть временем. По меньшей мере тем, которое попадет в их полость.

Вот ко мне подходит мой Тадеуш, он в военной форме непонятной армии и легких гуцульских тапках-шленцах, он с улыбкой проникает мои умственные убогие занятия и, курчвя свой по-прежнему светлый и так легко выгорающий на свету вихор, крутит у виска пальцем. Мое сердце замирает. Я понимаю, что самое лучшее чувство впервые сквозь бездну времени пробилось ко мне.

Тихое шипение возвращает меня в мир простых отношений:

– Как часто работу, смотрю вот, меняете все и меняете, меняете и меняете. Вот с железной дороги – и проводником побывали, и сразу на статистика скакнули, а у нас уже повыше – бухгалтер... – перед начальницей нашего бюро папка с моими незначительными документами, она пытается в них вычитать нечто, чего там нет.

– Так я на курсах аттестован по разряду. Приложены диплом и табель. И хочу успеть за недолгую человеческую жизнь осмотреть нашу советскую страну. Попробовать себя на различных участках... Быть полезным до самых до окраин...

Змея не слушает мои доводы:

– Да, не зря в народе толкуют: голову отдай, а тайну никогда. Это я про вас. И что вы себе на уме всё, нет чтоб в коллективе.

В этих словах не содержалось никакого вопроса. Просто она что-то заподозрила про меня, и это подозрение уже не может в ней уместиться.

Она отодвигает незакрытую папку, которую станет еще читать и читать.

Я сижу от нее через проход и стол, чиркаю ногтем о листик-шпартгалку, ведь сегодня была политинформация, на которой я «запевал», так как пришла и моя скорбная очередь.

Тупица ты тупица, говорил я себе, будь попроще, попроще. Умучишься переезжать с места на место, скоро граница через пару лет такими темпами. Упрешься в океан!

Очерк, оглашенный сегодня публике, назывался «О понимании равенства в нашей советской стране».

Вот и тезисы, которые я изощренно развил:

Под равенством марксизм понимает не уравниловку в области личных потребностей и быта, а уничтожение классов, то есть

а) равное освобождение всех трудящихся от эксплуатации после того, как капиталисты свергнуты и экспропрированы,

б) равную отмену для всех частной собственности на средства производства после того, как они переданы в собственность всего общества,

в) равную обязанность всех трудиться по своим способностям и равное право всех трудящихся получать за это по их труду (социалистическое общество),

г) равную обязанность всех трудиться по своим способностям и равное право всех трудящихся получать за это по их потребностям (коммунистическое общество). При этом марксизм исходит из того, что вкусы и потребности людей не бывают и не могут быть одинаковыми по качеству или по количеству ни в период социализма, ни в период коммунизма.

Конечно, я и не помышлял скрывать, что эти исключительные мысли почерпнуты мною у гения всех времен и народов.

Надо признаться, невзирая на компиляцию, я имел успех. Женщины вообще любят слушать.

Я мог бы им проскандировать свой доклад, как античные стихи, нараспев, качаясь и закрыв глаза и воздевая руки.

На обороте календарной странички поперек этого политического блуда мелким гордым почерком В. А. когда-то были записаны прекрасные слова. Они в моей памяти.*

– Ну, и вдоволь уже насмотрелись-то?

Глянув на ее рот, жарко обведенный доедаемой к вечернему времени помадой, я протягиваю руку к отрывному календарю, висящему рядом на зеленой стенке, и вырываю страничку:

– Позвольте? Чисто ритуально, день уж минул...

** Отчего прикосновенье
Горит огнем попятным
В какую скважину затянет*

*Твои глаза бездонные
Вбирают свет*

*Ведь не умрет ничто
Ни день и ни минута
Что нас увидели вдвоем*

8 октября 1948 года

Восх. 06.35

Зах. 17.48

Луна

Восх. 04.39 (16.40)

Зах. 11.53 (0.15)

(но это верно только для Москвы, а не Кустаная)

В 1831 умер Иоанн Каподистрия, первый президент независимой Греции (род. 1776).

В 1796 родился декабрист Сергей Муравьев-Апостол, (ум. 13(25) июня 1826 г.).

На обороте кроме цитат совет по ведению хозяйства:

Для замазки 8 частей негашеной извести смешать с двумя частями снятого молока. Такая замазка быстро твердеет, не трескается и очень хорошо держится в любую погоду.

Еще невнятная там картинка: вроде дальний план, слабенький сельский пейзажик, кажется, там есть и речка и стога, какая-то злополучная русская истина, что там еще изображено и начиркано в подробностях, неясно, так как плохая печать все оборотила во всепогодный хаос.

Меня охватывает настоящее сожаление, потому что в мешанине черных пятен и штрихов все действительно застыло и стало неразличимым, – но это не потому что картинка бездарная и прокатана печатным станком миллион раз, – вдруг доходит до меня пронзительный укол, а потому что – Спасителя нет.

2005, 2011

Н. КОНОНОВ: **ФЛАНЁР**: Роман.– Москва: Галеев-Галерея, 2011. – 424 с.
УДК 882
ББК 84 (2Рос-Рус)6
ISBN 978-5-90536-802-8

Герой романа совершает прекрасную и мучительную «одиссею», полную желаний плоти и тончайших душевных переживаний. И брэнное человеческое тело, пройдя сквозь призму времени и череду событий 40-х, предстаёт единственным домом души. Ведь именно в его хрупкости обретается связь души и вселенной. Ведь именно в нем – последняя обитель воспоминаний.

Н. Кононов (род в 1958 г.) – известный русский поэт, прозаик, критик современного искусства.
Лауреат премий: «Андрей Белый», «Аполлон Григорьев», «Улов». Дипломант премий: «Букер», «Антибукер», «Юрий Казаков». Издается на многих языках. Живет в Санкт-Петербурге.

Николай КОНОНОВ

ФЛАНЁР

роман

Художник М. Покшишевская

Подписано к печати 14.04.2011. Формат 70X100/16.

Гарнитура Times. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 24.

Заказ

«Галеев-Галерея»

Москва, Большой Козихинский пер., 19/6, стр. 1

тел.: +7(495) 699 98 54; 699 83 83; 699 85 50

e-mail: ildar@galeyev@mail.ru

www/ggallery.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие
«Искусство России»
198099 Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к.2



Герой романа совершает прекрасную и мучительную «одиссею», полную желаний плоти и тончайших душевных переживаний. И брэнное человеческое тело, пройдя сквозь призму времени и череду событий 40-х, предстает единственным домом души.

Ведь именно в его хрупкости обретается связь души и вселенной.

Ведь именно в нем – последняя обитель воспоминаний.

Н. Кононов (род в 1958 г.) – известный русский поэт, прозаик, критик современного искусства. Лауреат премий: «Андрей Белый», «Аполлон Григорьев», «Улов». Дипломант премий: «Букер», «Антибукер», «Юрий Казаков».

Издается на многих языках.

Живет в Санкт-Петербурге.

*

Кононов говорит о теле, о чувстве, о желании, о неотступной мысли, которая преследует с детства, когда в человеке пробуждается мир. Это – дар памяти требовательному письму, свитому из размышлений и поэтических перебоев ритма.

LE FIGARO

*

Даже говоря о серьезном, Кононов может легко соскользнуть в область детского, когда ребенок смеется, закрывая рот ладошкой. Николай не верит в открытие новых истин, но требует от писателя, и прежде всего от себя, нащупать живую пульсацию бытия.

Роман, который пришел к нам из Санкт-Петербурга – это откровение.

LE MONDE

*

Метафора Кононова впитывает в себя догадку, чувство, мысль, все лучи памяти, которые блестят на поверхности или уходят на дно ночи, в которую погружен человек.

LIBÉRATION

*

Николай Кононов знает, как найти слова там, где переплетаются образы, желание, ужас и двойственность тайны. Он находит верный, точный, стыдливый язык, верный и элегантный, словно тянет за ниточки, которыми прошита изнанка сознания.

TÊTU

ISBN 978-5-90536-802-8

